

Лев Копелев

И СОТВОРИЛ СЕБЕ
КУМИРА

ХАРЬКОВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2010

ББК 84.4 Р

К 65

Второе издание,
исправленное и дополненное

Художник-оформитель

Б.Е. Захаров

Издание осуществлено при поддержке
представительства фонда Генриха Бёлля в Украине

Копелев Лев

К 65 **И сотворил себе кумира / Харьковская правозащитная группа.** — Харьков: Права людини, 2010. — 482 с., фотоилл.

ISBN 978-617-587-010-5.

Книга Льва Копелева «И сотворил себе кумира...» впервые была опубликована в США в издательстве «Ардис» в 1978 г. и с тех пор не печаталась. Это первая часть автобиографической трилогии, в которой автор повествует о своем детстве и юности на Украине, в Киеве и Харькове, честно и открыто рассказывает о своих комсомольских заблуждениях и грехах, в частности, об участии в хлебозаготовках в начале 1933 года; о первых литературных опытах, о журналистской работе на радио, в газетах «Харьковский паровозник», «Удар». Получив в 1929 г. клеймо «троцкиста», он чудом избежал ареста во время чисток после смерти Кирова. Несовместимость с советским режимом все равно привела его в лагерь — за месяц до победы над нацизмом. В заключении Лев Копелев понял: *«...моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой, и счастливой. Справедливой потому, что я действительно заслуживал кары, — ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в преступлениях — грабил крестьян, раболопно славил Сталина, сознательно лгал, обманывал во имя исторической необходимости, учил верить лжи и поклоняться злодеям. А счастьем было то, что годы заключения избавили меня от неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах».*

Повесть «На крутых поворотах короткой дороги» была впервые напечатана Валерием Чалидзе в Нью-Йорке в 1982 г. и с тех пор не переиздавалась.

ББК 84.4 Р

© Лев Копелев, 2010

© Мария Орлова, предисловие, 2010

© Евгений Захаров, приложения 2 и 3, 2010

© Борис Захаров, художественное оформление, 2010

ISBN 978-617-587-010-5

ПАМЯТИ
моих родителей, брата,
всех друзей, родных и добрых знакомых,
которых уже нет в живых

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо,
Перед ними я всеми в долгу.

Борис Пастернак

Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Александр Блок

После всего я сказал себе, что «не сотвори себе кумира» — великая истина и что народа, как мы себе его часто представляем, единого и неразделимого, с одной физиономией, — нет. А есть миллионы людей, добрых и злых, высоких и низких, симпатичных и омерзительных. И в этой массе, — в это я глубоко верю, — все больше и больше распространяется добро и правда. И значит нужно служить этому добру и правде. Если при этом можно идти вместе с толпой (и это тоже иногда бывает) — хорошо, а если придется остаться и одному — что делать. Совесть — единственный хозяин поступков, а кумиров не надо.

Владимир Короленко
1893-й год

ПРЕДИСЛОВИЕ

В январе 2009 года на карте города Кельна появился новый топоним «Тропа Льва Копелева». Эта тропа проходит в Бетховенском парке рядом с домом, в котором прошли последние семнадцать лет жизни писателя, германиста, правозащитника, ученого, отсидевшего за «буржуазный гуманизм» десять лет в сталинских лагерях (1945–1954), а в брежневское время лишённого гражданства (1980–1990).

О своем времени и о себе он написал книги: «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно» и «Утоли моя печали». И вместе с женой Раисой Орловой «Мы жили в Москве. 1956–1980 гг.» и «Мы жили в Кельне. 1980–1989 гг.». Книги эти изданы на многих языках, но первая книга воспоминаний, которая предлагается вниманию читателей, была издана на русском языке лишь в США в 1978 году (Из-во АРДИС).

Книга эта о детстве и юности на Украине началась с главы о хлебозаготовках 1933 года, в которых молодой журналист, активный комсомолец, сотрудник заводской многотиражки Лев Копелев принимал участие. Он работал в то время на Харьковском паровозостроительном заводе. В 1935 году Копелев вместе с родителями и женой Надеждой переехал с Москву, закончил институт иностранных языков, аспирантуру, стал филологом-германистом, кандидатом наук.

Во время войны Лев Копелев занимался пропагандой среди войск противника, писал листовки, убеждал немецких солдат сдаваться в плен, готовил из военнопленных немцев диверсантов для заброски в тыл противника, воспитывал из них антифашистов. Он

рассказывал пленным немецким офицерам о немецкой культуре, которую они так мало знали, о том, какой Германия была и может быть без Гитлера. (Позднее следователи и прокуроры обвинят его в «прославлении немецкой буржуазной культуры»). Некоторые из его учеников, с которыми он вместе вел, нередко под огнем противника, передачи со звуковых агитмашин на линии фронта, заняли впоследствии высокие посты в Германской демократической республике. За боевые заслуги Копелев был награжден орденами и медалями, а за месяц до победы арестован за «буржуазный гуманизм и жалость к противнику», а также за «клевету на командование Красной Армии и клевету на союзников». Вообще то этот приговор «за гуманизм» просто уникален. Почти десять лет он провел в лагерях и тюрьмах, но гуманистом быть не перестал. Спасительным для Копелева во время заключения оказались его несломленная наивность, его юмор и ненасытное любопытство к людям и к жизни. В заключении ему пришлось работать на «шарашке», заниматься секретной телефонией, именно там Лев Копелев познакомился и подружился с Александром Солженицыным и Дмитрием Паниным.

Из-за десяти потерянных тюремных лет Лев Копелев очень спешил наверстать упущенное, в 1956 году он был реабилитирован и восстановлен в партии. В том же году он женился вторым браком на Раисе Орловой, ее специальностью была американская литература.

В годы оттепели Копелев много пишет, публикует статьи и книги, переводит, читает лекции о немецкой литературе и театре. В 1957 году он опубликовал статью о Генрихе Белле, которая стала предисловием к первой переведенной на русский язык книге Белля «И не сказал ни единого слова». Когда в сентябре 1962 года Белль приехал в Москву в составе делегации писателей ФРГ, Лев Копелев познакомился с ним. Они подружались. В 60-е и 70-е годы Генрих Белль неоднократно приезжал в Москву, их дружба продолжалась впоследствии и в Германии и оба они до конца жизни очень ею дорожили. И конечно, именно Генрих Белль написал предисловие

к первой книге Льва Копелева «Хранить вечно», изданной в 1976 году в Германии на немецком языке.

С середины 60-х Лев Копелев активно включается в борьбу за права человека в СССР, пишет письма протеста, обращается к правительству, надеется, что его услышат. Он не забыл свои тюремные годы, остро чувствует чужую боль и на всю жизнь сохранил благодарность друзьям, бывшим свидетелями защиты на его собственных судах в 1945–1947 гг. Копелева увольняют с работы, исключают из КПСС и Союза писателей, запрещают читать лекции. На этот раз свое исключение он считает совершенно правильным. В это время Копелев и начинает писать свои воспоминания.

«О зиме последних заготовок, о неделях великого голода я помнил всегда. ...Но записывать начал много лет спустя. И когда я писал, то всплывали все новые воспоминания. Внезапно проступали забытые лица, слышались давно умолкшие голоса. Строчки сплетались в диковинный невод и тащили из темных омутов памяти обломки затонувшей жизни. ...Оживали умершие боли и радости. И проклевывались вовсе новые мысли».

В 30-е годы Лев Копелев был уверен, что он строит новую счастливую коммунистическую жизнь и даже «...гордился тем, что помогал отнимать хлеб у крестьян, что двадцатилетний городской невежда поучал стариков, исконных хлеборобов, как им жить, как работать, что им во вред, а что на благо.

...я был убежден в своем идейном превосходстве над крестьянами и стыдился простых чувств сострадания, когда мы их грабили».

Но тридцать лет спустя он думает совсем по-другому: «Этого греха не отмолить. Ни у кого. И ничем не искупить. Остается только жить с ним возможно пристойней. Для меня это значит — не забывать, не скрывать...». До конца жизни он казнил себя своим участием в этом несправедном деле. И даже считал, что десять лет заключения он получил именно за участие в тех последних хлебозаготовках. И что эта кара справедлива. Он признал, что его судьба, казавшаяся ему в заключении несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой, и счастливой. Что десятилетний

тюремный срок был заслуженным наказанием за грабеж крестьян на Украине и ложь «во имя исторической справедливости».

Копелев обладал редким даром звуковой памяти, в своих книгах он воскресил голоса давно ушедших людей, они встают перед нами как живые. Воспоминания Копелева — документ большой эмоциональной силы, читатель словно переносится в те далекие годы.

Но в книге не только воспоминания очевидца трагедии, Копелев предпринял попытку анализа произошедшего, несмотря на ничтожное количество документов, доступных в 60-е годы.

«...когда я переписывал черновики и когда читал друзьям, возникали вопросы. Давние — казалось, уже навсегда припечатанные ответами, — поднимались со дна, как рогатые мины старой войны, ржавые, но все еще опасные. И совсем новые выныривали неожиданно. Вопросы к истории, к современности, к самому себе.

— Как все это могло произойти?

— Кто повинен в голоде, погубившем миллионы жизней?

— Как я мог в этом участвовать?

...За рубежом есть об этом научно-статистические, социологические, исторические работы. У нас в стране¹ их не знают. Сама тема все еще запретна. Голод 1933 года продолжают скрывать и десятилетия спустя как государственную тайну».

С середины 1970-х книги и статьи Льва Копелева публикуются в немецкой печати. В 1980 году Лев Копелев с женой Р. Орловой выезжает в Германию для работы в архивах, и вскоре их обоих лишают советского гражданства. С тех пор он жил и работал в Кельне. Главным его делом стал «Вуппертальский проект» — исследование взаимного узнавания русских и немцев от средневековья до XX века, изучение истории духовного родства русской и немецкой культур, проблем создания образа чужого и образа врага. Никто, пожалуй,

¹ В середине 1960-х, когда писалась эта книга, страна — СССР.

не сделал так много для того, чтобы пробудить у немцев понимание и почтительное уважение к русской культуре.

В Германии дом Копелевых быстро стал таким же центром притяжения, каким был их дом в Москве. Все его книги были изданы и многократно переизданы на немецком и других европейских языках. Он снова начал преподавать, читать лекции, вдвоем с женой объездил всю Германию с выступлениями и чтением отрывков из книг, побывал почти во всех странах Европы и несколько раз в США.

Умение Льва Копелева «делать **своим** все, к чему он прикасался, помогло ему, может быть единственному из эмигрантов, обрести в Германии вторую родину... Его там почитали, обожали, к нему прислушивались не потому, что он был германистом, а скорее из-за того, что и для Германии он стал **своим**... Но его хватало и на Германию и на Россию, его волновало все, что происходило на родине от малого до великого» (писал Вл. Корнилов в предисловии к книге Л. Копелева «Поэт с берегов Рейна»), он следил за всеми книжными и журнальными новинками. Лев Копелев создал в начале 80-х годов общество Ориент-Окцидент (Восток-Запад) для издания в Германии книг русских авторов (а также польских, чешских, украинских и др.), активно занимался продвижением лучших книг, написанных в России (но не подлежащих по цензурным соображениям публикации на родине) на немецкий книжный рынок. Вел переговоры с издателями и переводчиками, выступал по радио и телевидению с рассказами об авторах, читал отрывки из их произведений (предварительно переведенные на немецкий язык), писал вместе с женой предисловия и послесловия. Их усилиями изданы книги украинских поэтов, Василия Гроссмана, Семена Липкина, Лидии Чуковской, Фазиля Искандера, Анатолия Приставкина и еще некоторых чешских, румынских и отечественных авторов.

17 лет прожил Лев Копелев в Кельне, он награжден многими премиями и наградами, всю свою жизнь он посвятил исследованию и укреплению духовных связей между Россией и Германией и именно в Кельне был создан Форум имени Льва Копелева, который про-

должает главное дело его жизни. Из незнания другой культуры рождается подозрительность, страх, и на этой почве возникает образ врага. Надо знать своих соседей в Европе и научиться терпеть их (по словам Гете). Создание Форума свидетельствует о том, что в Германии хотят сохранить память о Льве Копелеве, посреднике между двумя культурами, одного из выдающихся гуманистов двадцатого совсем негуманного столетия. Главу из книги о последних хлебозаготовках я впервые услышала летом в конце 1960-х на даче в подмосковной Жуковке, чтение записали на магнитофон, эта запись сохранилась. Услышав этот рассказ один раз, забыть его уже невозможно.

Мария Орлова

Глава первая
БЕЗ ЦАРЯ, НО ЕЩЕ С БОГОМ

Где тот ребенок, что был некогда мною?
Живет ли он еще во мне, или его уже нет?

Пабло Неруда

...сохраню ли я наследство,
Уроки детства, память детства?

Елена Аксельрод

1

Лето 1917 года. Няня — Полина Максимовна — мама называла ее «бонной» — гуляет со мной и с моим двухлетним братом Саней по Крещатику. Вдруг суматоха. Шум. Няня заталкивает меня в подъезд. По мостовой движется разноголосо орущая толпа. Люди теснятся у края тротуара. Из-под няниного локтя вижу флаги трехцветные и красные. На плечах несут человека, который размахивает руками и что-то кричит. Вокруг говорят: «Керенского понесли». Мне передается испуг няни, но с ним и возбужденное любопытство. Няня любит царя и ненавидит Керенского — «хриstopродавец, батюшку царя заарестовал... Вот царь вернется, повесят его, а черти в ад унесут». Страшно видеть человека, обреченного на такое. Няня

заталкивает меня поглубже в подъезд. На руках у нее толстый Саня. Ей трудно, а я хочу видеть и слышать. Жутко, грешно — и все же не-удержимо влечет. Толпа проходит, пестрая, взъерошенная, шумная. Не различаю лиц и голосов...

Няне я верю. Но у дедушки в столовой на стене портрет: носатый, волосы ежиком, френч, как у моего отца. Ничего страшного. Это Керенский. Дедушка говорит: «Он хороший человек; за свободу, за справедливость».

Дедушка — несомненный авторитет. Его даже папа слушается. Но прадедушка — отец бабушки, Яков Богданов — самый настоящий герой. У него две георгиевские медали. «На Кавказе воював и в Севастополи». Он хвастает, что ему скоро сто лет. У него длинная овальная борода, седая, с желтизной, зубы длинные, темноватые. Худое смуглое лицо иссечено морщинами, но ходит прямо, не сутулясь. Он ловко показывает палкой артикул: «На пле-е-чо! Ать-два! К но-ги! Ать-два! На крра-ул! Ать-два-тры!» Доблестный прадедушка оказывается ближе к няне.

— Керенский — босяк, лайдак, бесштаный пройдысвит... Я пры пятёх царах жив — пры Александри первом благословенном родився. Пры Миколи первом на службу взяли, в москали. То строгий цар был. При Александри втором освободителе до дому вернулся... От кто свободу дав. Цар Александр дав, а не цей босяк, Цар дав свободу и мужикам, и нам, солдатам. (На площади возле Купеческого сада стоял этот царь, большой, темнобронзовый, с бакенбардами, в длинном сюртуке с пышными эполетами.) И пры царю Александри третим миротворци жив, и при Миколи втором... Той дурковатый царек був, нас, евреев, обижав, японцы его побили и нимци побили, Распутина слухав... А все ж таки цар, значит от Бога. Я еще доживу до шостого цара. От Миколаев брат Михаил — кажуть, геройский будет цар. Вин босяка Керенського выжене, як собаку...

Так первый в моей жизни вождь представал в клубке неразрешимых противоречий. Няня и прадед против. Дедушка за. Папа

и мама, видимо, согласны с дедом, но не хотят ничего толком говорить: «Подрастешь, узнаешь».

Потом о Керенском уже никто не вспоминал. Возникали все новые имена Ленин, Троцкий, гетман, Петлюра, Деникин... Няня твердо держалась царя.

Когда в Киев вошли немцы, на стенах появились плакаты с картинками: царь Николай говорит по телефону с кайзером Вильгельмом, просит помочь ему навести порядок. Этот плакат очень поразил и няню, и меня. Мы ведь знали, что кайзер — злейший враг! Совсем недавно она учила меня петь: «Пишет, пишет царь германский, пишет русскому царю: завоюю всю Россию, сам в Москву я жить приду. Ты не бойся, царь наш русский, мы Россию не дадим...»

Но теперь оказывалось все наоборот.

Немцы были явной силой. Много солдат в больших тяжелых касках, огромные пушки, сытые толстые лошади. И все это — за царя.

Няня учила постоянно: царя нужно любить и почитать. Она бережно хранила цветные открытки, вырезки из журналов: царь и царица, порознь и вдвоем или с царевичем Алексеем, с дочерьми. Когда она перебирала эти картинки, то крестила их, всхлипывала, сморкалась, шептала молитвы. Утром и вечером я молился, став на колени в кровати. Няня подсказывала. Я просил у Бога здоровья для папы, мамы, брата Сани, для всех бабушек, дедушек, тетей, дядей и обязательно еще для царя-батюшки, которого надо было называть благоверным. Молились мы с няней тайком от родителей. Она объяснила мне под большим секретом, что они плохой, жидовской веры, что жида Христа распяли, но я, когда вырасту, могу креститься, стать православным и попасть в рай. Это было соблазнительно. Мы скрывали, что ходим в церковь, что любим царя, что я уже знаю наизусть «Отче наш». Когда мы гуляли, я, вслед за няней, крестился на все купола. Ее иконы Божьей Матери и Николая-угодника висели в углу в детской и к ним-то я обращал все молитвы. Я надеялся, когда вырасту, уговорить родителей креститься и тогда все будет в порядке.

2

Первый «идейный кризис», первая решительная перемена убеждений была связана с приходом немцев. Раньше их полагалось ненавидеть. Они враги: злые, глупые, трусливые, в касках с острыми пичками. Они удирали от казаков и наших геройских солдатиков. Так было нарисовано в «Ниве»; в Киев они пришли только из-за проклятых изменников большевиков.

Первая неожиданность — каски у немцев оказались без пичков, гладкие, темные, похожие на котлы. Вторая неожиданность — плакат, изображавший дружескую беседу царя и кайзера. И, наконец, выяснилось, что немцы вовсе не злые. Когда наш толстый Саня шлепнулся на скользком тротуаре и заревел, проходивший мимо немецкий солдат весело сказал «гопля», поднял его, ловко пощелкал пальцами и просвистал так звонко, что Санька мгновенно замолк. А я окончательно убедился, что немцы — хорошие люди и не только за царя, но и за всех нас...

Однажды утром заплаканная Полина Максимовна сказала, что большевики убили царя. Она повела меня в церковь. Там пели торжественно и печально. В толпе стояли и несколько немцев, сняв каски. Я очень старался выдавить слезы, тер кулаком глаза и хныкал, — боялся, что няня обнаружит мое бесчувствие, да и сам стыдился его.

Но все же царь был для меня таким же далеким и неосязаемым, как и Керенский; ни картинки, ни восторженные, молитвенные слова няни не придавали ему живой реальности.

До февраля 1917 года мы жили в деревне Бородянка: отец работал земским агрономом. Снежным солнечным утром вбежала соседка, кричавшая: «Ой, лышенько, царя скинули, а Лещинского мужики на базаре порют». Лещинский — высокий, черноусый, носил длинную саблю и сапоги со шпорами. Он был лесничим. И я со сладким ужасом вообразил — его порют мужики, бородатые, в лохматых шапках и кожухах, порют ремнем, как меня отец, или прутом, как наша кухарка свою дочку Галю... Это было страшнее и по-

разительнее того, что где-то скинули царя. Откуда скинули? С престола — большого золотого кресла, под золотым двуглавым орлом?

Няня плакала и крестилась. Мама ахала, ломала руки и кричала: «Немедленно в город, в город, на станцию!..»

Мы уехали на станцию за двенадцать верст от деревни и жили там несколько дней в маленькой комнате вчетвером: мама, няня и мы с Саней; потом приехал отец и отвез нас в Киев к маминим родителям. Тогда он и рассказал о событии, которое потрясло меня больше всего.

За несколько дней до крика «царя скинули» оценилась Милка — папина охотничья собака, шоколадная, с большими молочными пятнами, мягкими, длинными вислыми ушами и добрыми блестящими глазами. Щенята были слепые, крохотные, дрожащие и до слез милые. Я и впрямь ревел, упрашивая маму и няню взять их, когда мы уезжали. Мне говорили, что нельзя, они еще слабые, вот подрастут, тогда будешь играть с ними. Первое, что я спросил у отца — «как поживают Милкины детки», и услышал ужасную весть — они погибли. К отцу зашел его приятель — богатый хуторянин Петр Охримович Добрывечир, а позднее несколько крестьян пришли во двор и просили кухарку вызвать папу. Мама вскрикнула: «Они хотели тебя убить!» Папа зло: «Дура, они пришли советоваться с агрономом». Но Добрывечир испугался крестьян, побежал прятаться в кладовку и в маленьких сенцах нечаянно затоптал щенков...

...Революция — это скидывание с трона открыточного царя и еще нечто более яркое, но стыдное — голый зад усатого Лещинского, которого порют косматые дядьки, и, наконец, страшное, горестное: растоптанные щенята.

Был май. Мы собирались на дачу. Зимние пальто засыпали нафталином, зашивали в старые простыни и длинные белые коконы висели на стенах квартиры, заставленной корзинами и чемоданами; веселая предотъездная суета длилась два-три дня. Утром одного из этих дней я проснулся от сильного гула. Окно шумно распахнулось, со стены сорвался белый куль — зашитое пальто и упал на мою

кровать. Мама и няня, бледные, быстро одевали нас. Мама кричала — «бежим в подвал». Грохот повторился, задребезжало разбитое стекло. Мы бежали по черной лестнице, в подвале толпилось много людей, горели свечки. Маленькие подвальные оконца затыкали подушками. Пахло сырыми дровами. Какой-то незнакомый бородастый в шинели говорил: «Немцы тикають... На Думской площади уже Антанта с Петлюрой...»

Потом оказалось, что были взорваны пороховые склады. Немцы оставались в городе до поздней осени. Мы жили на даче в Дарнице, в лесу стояли немецкие пушки. Там я наконец увидел офицера в каске с пичком, как на картинках. Он даже приходил к нам на дачу и гулял под руку с маминной младшей сестрой, тетей Тамарой; он позволял мне трогать его саблю, длинную, светлую, с блестящими полосками на ножнах. И сам он был длинный, светлый: блестели очки, пуговицы, серебряные погоны.

Осенью вокруг озабоченно говорили, что немцы уходят и придет Петлюра; это имя звучало все чаще. Моему брату Сане было три с половиной года, он отличался флегматичностью; только начав произносить «р», он старался всюду вставлять полюбившийся звук. Однажды Саня с необычным возбуждением закричал: «Мама, смотри, там Петррюра пошра. В боршой боршущей шляпе!»

Высокая дама в очень большой круглой шляпе с птичьими перьями и в длинном узком платье шла по тротуару, смешно семеня мелкими шажками. Этот возглас Сани надолго стал одним из семейных анекдотов.

Но я в то время уже знал, что Петлюра это не женщина, а злой атаман. С ним связано страшное слово «погром». Багрово-черное слово. Когда входили петлюровцы мы сидели дома, на улицу нельзя — «будет погром». Из окна я видел колонны солдат в серовато-синих шинелях, похожих на немецкие, и в серых папахах или касках, как половинки дыни, но с рубчатыми гребешками, — такие носили французские солдаты на картинках «Нивы». Прошло несколько дней, мы опять стали гулять. Конница петлюровцев остановилась у скверика. У них тоже были большие пушки. А пели они

«Ой, на гори тай женци жнуть» и «Стоить гора высокая» — те же песни, что пела моя первая няня Хима, веселая, голосистая, и мой отец, когда бывал хорошо настроен.

3

Первые зримые представления о вождях большевиков, о Ленине и Троцком, — карикатуры в газетах, — при немцах и при белых. Больше других запомнилась одна: Ленин-карлик в кепке, скуластый, с куцей бородкой, брюки винтом; рядом Троцкий в больших очках на крючковатом носу, мятый картуз на курчавой шевелюре, тощие кривые ноги в сапогах. Перед ними шеренга оборванцев с дурацкими лицами. Няня говорила про них: «антихристы, царевбийцы.» Оба эти имени — Ленин, Троцкий — тогда произносили вместе. Они проникли в мою ребячью жизнь одновременно с грозными шумами войны, были связаны с ее непонятными силами, пугающими, таинственными и влекущими.

Далекое глухие пушечные гулы; все вокруг напряжены, встревожены, что-то будет. Потом близко грохочущие раскаты. Мать кричит: «Уведите детей в ванную». Ванная без окон считалась самым безопасным местом в квартире. Но и там иногда слышны резкие щелчки — выстрелы — частый-частый треск, будто огромная швейная машинка. Это — пулемет. Соседи с верхних этажей приходили к нам; мы жили в бель-этаже. Ниже был только «Синематограф» и никто не жил. Вечерами соседи и мои родители играли в лото, в преферанс, пели. У нас было пианино. Об отце говорили «хороший баритон». Чаще всего он пел «Гори, гори, моя звезда», «В этом городе шумном, где вы жили ребенком», «Свидетель жизни неудачной, ты ненавистна мне, луна»... Хором пели «Из страны, страны далекой», «Быстры, как волны», «Мой отец Тихий Дон, мать моя Россия».

Песни были грустными и казались прекрасными. Свербило в носу от теплых слез. Если стреляли далеко, окна в детской закры-

вали подушками, а нас с братом укладывали. Но через двери слышалось пение, смех, разговоры. Застревали слова: «наступают... отступают... большевики... гетман... немцы... Петлюра... Антанта... Ленин... Троцкий... Деникин... красные... белые... большевики... гайдамаки... наступают... отступают... погром... голод... расстрелы... Чека... контрразведка... паек... обыски...»

Тогда было много таких зловещих пугающих словосочетаний. «Большевики говорят: «Грабь награбленное», — и реквизируют все». «Заложников они расстреливают». «Кто интеллигент, для них контрреволюционер, и к стенке»...

В нашем доме на Дмитриевской улице 37 я не помню сторонников советской власти. В одной квартире с нами жила домовладелица — старая немка мадам Шмидт, — она же владела и синемаграфом. Она ходила медленно — толстая, широкая книзу; на пухлых плечах торчала совсем маленькая круглая голова с темным, складчатым, бородавчатым лицом, а сзади кукишем — серый узелок. Она оставила себе одну комнату. Я слышал, как мама говорила: «Шмидтиха специально уплотнилась евреями, чтобы красные не национализировали». Но с хозяйкой мама разговаривала чужим сладким голосом, улыбалась и покрикивала на меня: «Скажи «гут морген», шаркни ножкой».

Няня Полина Максимовна ушла от нас в конце 18-го года, еще при немцах, кажется, именно потому, что мать заметила мою православную набожность.

Но добрые отношения с Полиной Максимовной сохранились. Она осталась жить в том же доме у сестры, кассирши синемаграффа, помогала ей: заменяла в кассе, проверяла билеты. Она иногда пропускала меня в темный, магнитно притягивающий зал. Там пахло остро и приторно особым синемаграфическим запахом, похожим немного на аптечный и на кондитерский, но больше всего — на самого себя, на запах именно этого чудесного, огромного зала: 12 стульев в ряд и целых 10 рядов.

На бренчащем пианино играла сестра Полины Максимовны громко, быстро и весело. Это казалось мне более высоким мастерст-

вом, чем тихая, медленная и чаще всего печальная игра соседок на нашем пианино. Когда я просил у них веселое, как в синемаатографе, то они наигрывали чирика-пырика или «зеленую крокодилу». Это было явно пренебрежительно и оскорбляло человека, который уже сам прочитал толстого «Робинзона Крузо» и знал наизусть не какие-нибудь детские стишки «Пряник шоколадный в голубом кафтане», а даже Пушкина «Как ныне собирается вещей Олег...» и «шестой уж год я царствую спокойно».

В синемаатографе я смотрел похождения Глупышкина, веселые мультипликации и какие-то непонятные фильмы, в которых показывали Веру Холодную, бледную, с большими темными глазами, в огромных шляпах и длинных-длинных платьях. Она заламывала руки, плакала большими холодными слезами, рядом в зале тоже плакали женщины, я не понимал почему и терпеливо ждал следующего сеанса, который начинал весельчак Глупышкин.

4

В Киеве часто сменялись власти. Каждый раз была стрельба, и тогда соседи приходили к нам играть в лото, в преферанс и петь.

Пока меня не загоняли в постель, я вертелся среди взрослых, разносил фишки для лото и даже удостоивался чести выкликать номера. Я уже знал все цифры, и мама этим очень гордилась.

На смену Полине Максимовне пришла немецкая «фроляйн» Елена Францевна. Высокая, узколицая и светловолосая, не улыбочивая, но справедливая. У нее не было икон, она читала маленькую Библию, иногда вслух тихим голосом. Она тоже говорила про Христа, но ее Христос не требовал, чтобы я крестился. Более того, оказывается, и он сам, и его ученики тоже были евреями, хорошими, как мы, а распяли его другие евреи, злые, как Троцкий и большевики, которые против Христа. А он учил прощать обиды, жалеть и любить не только друзей, но и врагов. Это было совсем необычно и прекрасно.

Мама любила хвастать моими «поразительными» способностями. Когда приходили гости, в канонадные вечера меня заставляли декламировать. Такое выставление напоказ было противным. Я упирался и получал оплеухи. Должно быть, поэтому я с тех пор раз и навсегда забыл и стихи о прянике и монолог Бориса Годунова. Захлопнулась в памяти какая-то задвижка. Однажды вместо декламации я стал говорить о том, что Христос велел любить врагов и жалеть их. И я жалею Ленина и Троцкого. Жалею, потому что их никто не любит.

Отец скривил рот и ударил меня злее, сильнее, чем всегда, по одной щеке, по другой, больно ткнул в лоб: «Идиот... мерзавец».

Мама закричала: «Он же ребенок, он не знает, что говорит».

Я старался не реветь. Бубнил: «Так Христос говорил. Он тоже еврей. Христос говорил: надо жалеть врагов».

Кто-то из соседей успокаивал отца: «Ребенок... дитя... Его лаской надо...» Мать уволокла меня в детскую, шептала: «Не говори так. Не говори так. Ты хочешь, чтобы мамочку и папочку убили? Не говори так. Нас всех убьют».

Кажется, это было мое первое политическое выступление. Столь же мало удачное, как и все последующие.

Некоторое время я упрямо старался убедить себя, что действительно жалею Ленина и Троцкого. Но они были для меня такими же бесплотными и придуманными, как нянин открыточный царь.

5

У нас в семье о большевиках говорили: «бандиты, грабители». Помню несколько обысков — «изъятия излишков». Парень в кожаной куртке и высоких сапогах забрал отцовское охотничье ружье, женщина в красном платочке и шинели связывала в узел постельное белье, салфетки. Наутро мама хвасталась соседям, что успела спрятать за корсетом серебряные ложки. Слово «Чека» произно-

силось испуганным шепотом... На втором этаже, прямо над нами, жил важный старик. Его называли «прокурор». Высокий, толстый, с короткой раздвоенной седой бородой. И жена у него была важная, полная. А дочь все называли «красавица». С тех пор еще много лет, услышав слово «красавица», я видел именно ее — высокая, белолицая, золотистая коса венком вокруг головы, большие серо-голубые глаза и маленький, красным сердечком, рот. Когда стреляли, прокурор с женой и дочерью приходили к нам. Он уговаривал отца быть председателем домкома. Прокурора забрали в Чека заложником и расстреляли. Когда пришли белые, мама ходила с женой и дочерью прокурора искать его тело. Мама, возвращаясь, долго плакала. Многих расстрелянных не успели похоронить. В синематографе показывали фильм «Зверства Чека». Меня не пускали, но в витрине были снимки: трупы лежали на лестницах, на тротуаре. Я не понимал, что значит «заложник», но это слово неизбежно влекло за собой ощущение тоскливого ужаса, как и слова «расстрел», «зверства».

Белые тоже оказались страшны. В первый же день, когда они вошли в город, они арестовали моих родителей. Огромный краснолицый казак с маленькими желтыми закрученными усиками и широченными красными лампасами грубо отпихнул меня ногой. От него воняло потом и кожей. Я залез под кровать. Потом Елена Францевна увела меня и Саню наверх, где жила приятельница мамы. Ее называли баронессой. Она, вдова прокурора и еще кто-то из соседней пошла выручать арестованных. А я ревел и твердил, что белые хуже большевиков, хуже Петлюры. Наутро вернулись родители. Потом я много раз слушал мамины рассказы о том, как на улицах толпа «разрывала» каждого, о ком скажут «комиссар» или «чекист», как на вокзале сотни арестованных сидели без воды, без пищи и одного за другим уводили расстреливать.

При белых то и дело угрожающе говорили о погромах. На два дня в город опять ворвались красные. Тогда мы ушли на другую улицу к знакомым баронессе, и она ушла с нами. Все вместе мы сидели в подвале. Уходить с Дмитриевской нужно было потому, что ждали погрома. Мама говорила мне: «Если спросят откуда, то ска-

жи — с Кавказа. Если узнают, что мы евреи — убьют». Она шептала иступленно, задыхаясь, и глаза ее становились страшными.

В подвале собралось много людей, неудобно было спать на узлах и тюках. Снаружи доносилась стрельба, отдельные выстрелы, трескотня пулеметов. В последнее утро вошли напиться двое солдат в шинелях с красными погонами. Один постарше, с бородой, другой молоденький. Они говорили: «Краснопузых погнали за Десну. Это жида их пустили. Жиды нам в спину стреляли».

Мать сжала мне руку так сильно, что потом долго оставался синяк на запястье.

В этот день мы вернулись домой. На улице кучками стояли солдаты с красными погонами и несколько телег. На одной лежал убитый, укрытый с головой шинелью. Торчали ноги в больших ботинках с блестящими подковами. Это был первый мертвец в моей жизни.

Муж баронессы — офицер — приходил к нам в гости и пел вместе с отцом романсы. Высокий, узколицый, с очень гладкими блестящими волосами. Золотистая шелковая косоворотка с вшитыми черно-красными погонами, была перетянута черным поясом с серебряными бляшками; сзади — маленькая замшевая кобура. Он сердито говорил, а мама потом по секрету повторяла его слова другим соседям: «Мы не можем победить. Белое движение гибнет. У красных железная организация. Коммуна — это сила. А у нас хаос, разгильдяйство».

Слушавшие ахали. Мама и другие женщины заламывали руки. Я понимал, что они «представляются». И наперебой говорили: «Погибла Россия... Мы все погибнем... Неужели Антанта допустит?»

Когда я слышал слово «коммуна», то почему-то виделось пустое поле и большой столб с надписью «Коммуна»... «Белое движение» — идут солдаты в белых рубахах и всадники в белых черкесах на белых лошадях... «Железная организация красных» — много железных лестниц, таких, как у нас на заднем дворе, — в мороз они были жгуче холодными, пальцы прилипали. А на лестницах пушки, пулеметы, люди в красных рубашках... Антанта» звучала

как женское имя; но гулкое оранжевое слово напоминало еще о духовом оркестре — сверкающих трубах, треске барабанов, пронзительных тарелках... Антанта была огромна и могуча, но очень далека. А красные где-то близко. О них упоминали все чаще и всегда со страхом. Раньше ждали белых, но с тех пор, как они пришли, у нас в семье их боялись... «Контрразведка» — это звучало так же зловеще, как «Чека». Папиных сестер, тетю Лизу и тетю Роню, забрала контрразведка и мама плакала по-настоящему, хотя она этих теток не любила, попрекала отца тем, что Лиза крещеная, а Роня грубиянка, и обе они большевички.

Поздней осенью мы переехали на другую квартиру, в другой район, на Рейтерскую улицу. Из старого дома к нам иногда приходили только худая баронесса с мужем и вдова прокурора. Потом они пришли прощаться, белые отступали. Женщины плакали и целовались. Вдова прокурора спросила маму:

— Вы не будете возражать, если я благословлю ваших детей?..

Мама отвечала очень вежливо, но я-то слышал — «нарочным», не своим голосом:

— Что вы, что вы, ведь Бог один.

Прокурорша перекрестила меня и Саню, поцеловала нас, приговаривая: «Христос с вами, Христос с вами».

Когда они ушли, мама бросилась целовать нас и что-то бормотать по-еврейски. Отец смеялся.

Ни белые, ни красные, ни Петлюра не вызывали у меня симпатии. Только однажды понравился «настоящий генерал»: сиреневая шинель, малиновая подкладка и погоны золотые с зигзагами. Он выходил из дома с колоннами, с карниза свисал большой трехцветный флаг. Часовой во французской каске «с гребешком» выпятил грудь и лихо отмахнул в сторону винтовку напряженно вытянутой рукой. Генерал приложил ладонь к фуражке с красным околышем и сел в автомобиль. Дверцу перед ним распахнул усач в черкеске, с кинжалом; щелкнул каблуками и тоненько зазвенели шпоры. Шофер был в кожаной фуражке с большими прямоугольными очками, в кожаной куртке. Автомобиль зафыркал, зарычал, стреляя сзади

синими тучками, и запах от него был острый, пекучий, неведомый. Генерал уехал, козыряя ладонью с небрежно растопыренными пальцами.

Это было великолепно, однако мимолетно. А настоящие белые, те, что каждый день, — это казак, уводивший родителей, это страх грома и тоскливые речи мужа баронессы...

Так в ту пору у меня, восьмилетнего, еще не было ни политических убеждений, ни вождей, ни героев. Был только Бог, добрый лютеранский Бог Елены Францевны.

6

Зимой пришли красные, Наша новая квартира была четырехкомнатная. И вскоре нас «уплотнили».

Одну комнату занял высокий рыжий скуластый латыш в скрипучей кожаной куртке, необычайных сапогах, зашнурованных, как ботинки, до самых колен. Он носил огромный пистолет в деревянной коробке. Он редко бывал дома. Мама и Елена Францевна говорили о нем: «чекист». Говорили со страхом и неприязнью. Но мама упрасивала его сладким голосом:

— Това-ариц, умоляю вас, неужели нельзя входить в дом без этого ружья. У нас дети... вдруг оно выстрелит. Я с ума сойду. Дети могут заболеть.

Он отвечал коротко и смеялся коротко, негромко:

— Ха-ха... Не ружье... Не стреляет... Можно показать. Мама вскрикивала.

— Умоляю вас, товарищ! Умоляю, не надо. Ради детей. Он смеялся негромко:

— Ха-ха. Не надо, так не надо.

Его комната всегда была открытой, но меня в нее не пускали.

— Не смей туда ни ногой. Елена Францевна, не подпускайте детей даже к двери. Зараза! Тиф! Он из Чека любую заразу носит.

У него и на столе, и на постели газеты, брошюры. Грязная мерзость, прошли всякие руки... А на стене прикинул своих святителей: Ленина, Троцкого — ихние иконы.

Разумеется, я то и дело норовил сунуть нос в запретную комнату. Оттуда пахло по-другому, чем в любом месте нашей квартиры, — кожей, холодным горьким дымом, совсем не таким, как от отцовских папирос. И еще был особый чужой запах — кисловатый, похожий на то, как пахли газеты и афиши, которыми обклеивали круглую тумбу на перекрестке. На стенке в аккуратных бумажных рамках два вырезанных из газеты рисунка. Лысый, прищуренный, с короткой светлой бородкой и темноволосый в очках, горбоносый, с черной бородкой и высокомерно выпяченной нижней губой.

...Рыжий латыш-чекист уехал.

Опять стреляли. Наступали поляки. Мы жили на третьем этаже и теперь уже мы уходили вниз. В первом этаже жила большая семья. Я слышал, как мама говорила о них презрительно: «Настоящие местечковые жидки; моются, наверно, только раз в неделю».

Там был мальчик — Сеня, моложе меня на год. Тихий, задумчивый, он сутулился, втягивая голову в плечи, и совершенно не умел врать.

А я к тому времени уже знал цену родительским наставлениям: «Никогда не лги! Никогда не говори неправду!» Но сами-то они только что наверху смеялись над матерью Сени: «Остригла патлы, нацепила пенсне и думает, что она уже курсистка-интеллигентка и, конечно, большевичка». А через несколько минут ей же мама говорила, как вареньем мазала:

— Ах, дорогая моя, вы представить себе не можете, как я счастлива, что мы живем в этом доме, с вами, с интеллигентной еврейской семьей и такой советской. Там, на Дмитриевской, весь дом — сплошные белогвардейцы и петлюровцы. Мы дрожали за жизнь каждый день. Клянусь вам здоровьем детей, я Леленьку учила говорить, что мы с Кавказа; сама учила ребенка в таком возрасте говорить неправду. Это сплошной кошмар.

Иногда, слушая мать, я начинал ей верить. Ведь в ее словах всегда что-то было правдой. Но сам я в ту пору врал много и вдохновенно. Когда мы жили на Дмитриевской и Елена Францевна водила нас с Саней гулять в ближний сквер, я рассказывал ребятам, что мой папа — испанский министр, что мы бежали от испанской революции и что я сам с балкона видел, как рубили головы. Почему именно испанская революция — не помню. В новом доме я рассказывал более правдоподобно об уличных боях, которые якобы самолично наблюдая на Дмитриевской. Особенно разработан был эпизод, как у солдата вывалились из живота синие кишки. Об этих синих кишках я рассказывал еще годы спустя, уснащал великолепными подробностями те события, которые действительно видел, как белые арестовали моих родителей, как мы два дня сидели в подвале. Я уверял, что наш рыжий квартирант — главный чекист у Троцкого и каждую ночь расстреливает десятки людей.

Сеня верил всему. А второй мой друг Сережа с четвертого этажа верил мне из солидарности. Он был крепок, лобаст, коротко стрижен, хорошо боролся и сам умел порассказать замечательные вещи. Его отец, офицер и георгиевский кавалер, погиб еще на германской войне. Мать — молчаливая невысокая женщина, работала машинисткой. Сережа был самостоятельнее всех нас. Он сам ходил за покупками, разогревал себе обед. Мне иногда разрешалось ему помогать. В их квартире в шкафу хранилась отцовская уланская каска с квадратной нашлепкой, — еще с японской войны, — настоящая сабля и настоящее кавалерийское седло. Он научил меня новым словам, грандиозным и героическим: эфес, темляк, чепрак, седловка... Сережа рассказывал, как его отец одним ударом сабли рассекал немца от плеча до пояса. На стене висел портрет Отца — настоящий герой: гордый взгляд, тонкие усики, широкая грудь с белым крестиком.

Но рассказчик не забывал и себя. Он ездил к отцу на фронт и сам стрелял; не из винтовки, конечно, ведь мал был, а из пулемета, — его поднимать не надо, только целиться и нажимай. Этому верилось с трудом, но ведь Сережа по-дружески верил в то, что я под

пулеметным огнем бегал по Дмитриевской улице и что у меня на глазах, в десяти шагах, — ну вот, как эта стенка, — из солдата вываливались кишки... Было просто нечестным сомневаться в том, что рассказывал он.

А доверчивый Сеня, изумляясь, верил нам обоим. У него самого был только один сбивчивый рассказ о том, как его папа дружил со студентом, у которого брат в черной косоворотке делал бомбы, а папа тоже носил черную косоворотку, и мама его называла «горьковский босяк», а жандармы его арестовали, думали, что это он делал бомбы, и держали в участке и в тюрьме целую неделю и еще один день...

Сеня был за советскую власть. Он говорил, что Ленин и Троцкий великие вожди, что есть еще Буденный, Щорс, Котовский и Пятаков — они тоже вожди, хотя и поменьше. Но мы с Сережей твердо знали, что великими были Александр Македонский, царь Петр, Суворов и Наполеон; уж это бесспорно. Сережа называл великой еще и царицу Екатерину. Я возражал: женщина, не участвовавшая ни в одном сражении, не может считаться великой, и противопоставлял ей «старого Фрица», самого замечательного из немецких королей. Сережа не соглашался: ведь Екатерине подчинялся даже Суворов, а Фридрих воевал против России и был побит.

Екатерина и Фридрих оставались спорными. Но с величием каких-то там живых «вождей» мы оба не могли согласиться. Сеня спорить не умел, начинал заикаться, обиженно супился и ссылался главным образом на авторитет тети Ривы, которая была членом партии и работала в Губкомпрофе. У моего отца в шкафу стояли 82 тома, темно-зеленых с позолотой — энциклопедия Брокгауза и Ефрона. В них были и Петр, и Фридрих, но не было ни Ленина, ни Троцкого, ни других Сениных вождей. Он после консультации у тети торжественно объявил, что это старорежимные книги. Однако нас это не поколебало. Великолепные книги с картинками, картами, флагами и гербами всех государств, рассказывающие про все страны, города и реки, про всех царей и писателей, заслуживали, конечно, больше доверия, чем любая тетя.

Польские войска недолго занимали Киев. Мальчишек поразил грандиозный парад. Маршировали колонны одинаково обмундированных серо-лиловых солдат. Они согласно топали под музыку, высоко задирая ноги. Рысила кавалерия. В каждом эскадроне были совершенно одинаковые лошади: в одном все вороные, в другом — рыжие, в третьем — пегие с одинаковыми чулками и звездами. Солдаты кричали дружно, громко и непривычно, вместо «ура» «виват».

Шатаясь по улицам, я то и дело спрашивал польских солдат в квадратных фуражках, которых называли познанцами, по-немецки «который час?» Некоторые весело отвечали и заговаривали: «Сколько тебе лет? Где мама? Есть ли сестры, братья?»

Таковыми беседами я хвастался перед Сережей, но он их осуждал. Он был против поляков и против немецкого языка, учил французский и говорил, что ненавидит немцев, потому что они убили его отца. Когда мы ссорились, я попрекал его тем, что французы сожгли Москву и убили Нахимова, а вот Петр любил немцев, и Екатерина сама была немкой. Иногда мы дрались, — он за французов, я за немцев.

Сеня в этих ссорах не участвовал и вообще никогда не дрался. Он учил древнееврейский и рассказывал о подвигах Самсона, Маккавеев и Бар Кохбы, который воевал вместе со своим ручным львом. Но это было похоже на сказки, а бронзовые Наполеоны, скрестив руки, стояли на письменных столах в Сережиной и в нашей квартире. И у Сережи, и у нас были огромные позолоченные книги «Отечественная война 1812 г.» со множеством иллюстраций. А про Нахимова рассказывал мой прадед, непререкаемо убежденный, что «якбы нэ убыли Нахимова, то мы бы всих тих хранцузов, анлийцив и турков покидылы в Чорне море. Нахимов був такий герой, такий мудрый адмирал, шо його сам цар Микола уважав и слухав. А як Нахимова убыли, то Меньшиков-Изменщиков отдав Севастополь хранцузам и анлийцам».

Великих людей было много, но они все оставались в прошлом, в бронзе, на цветных картинках под папиросной бумагой.

Отступали поляки и опять была канонада. Мы сидели в квартире внизу, точь-в-точь такой же по расположению комнат, как наша. Но у родителей Сени не было ни пианино, ни зеленовато-красного ковра, ни книжного шкафа с Брокгаузом и Ефроном, ни большого письменного стола под зеленым сукном с бронзовым Наполеоном, с огромными чернильницами. У них все было серое, все меньше и везде пахло кислым. Младший брат Сени только начинал ходить и в разных местах сушились его пеленки. Мама потом говорила: «Пролетарская квартира! Ужас, в какой грязи они живут».

Сережа с матерью во время обстрела уходил в подвал к дворнику. И мама говорила: «Эта офицерша — антисемитка, перед нами нос дерет. Тоже мне барыня, стучит на машинке и папиросы курит».

Когда польские войска отступали, в нашу квартиру ворвалось несколько мародеров. Елена Францевна увела меня и брата в детскую; она обнимала нас и молилась по-немецки. Из комнаты родителей слышался громкий, рыдающий голос мамы:

— Чтоб мои дети так жили, клянусь вам, это все, что мы имеем. Вот эти ложечки — настоящее серебро. Часы золотые, клянусь вам жизнью и здоровьем. Возьмите все, но пожалейте детей. У вас же тоже матери есть. И может быть, дети есть. Или будут, чтоб они вам были здоровы. Заклинаю вас жизнью ваших родителей и ваших детей...

Потом она рассказывала, что спасла жизнь отцу. Мародеры — не то поляки, не то петлюровцы, не то просто бандиты, хотели его расстрелять тут же в комнате и почему-то именно у зеркального шкафа. Требовали золото.

Два дня слышалась канонада, мы уходили вниз или отсиживались в ванной.

Приход красной армии в этот раз воспринимался как радостное событие. Польская оккупация, несмотря на великолепный парад, не нравилась никому из жильцов нашего дома. Почти ежеднев-

но рассказывали страшные истории о том, как польские солдаты побили молодых людей в сквере и увели их барышню, как они били сапогами лодочника на Днепре, потому что не хотели платить за перевоз. В последние дни рассказывали о том, что они жгут Печерскую лавру, подожгли кирху на Лютеранской и синагогу на Мало-Васильковской, поставили пулеметы и не пускают тушить. Кирха действительно сгорела, но от попадания снаряда. Лавра и синагога остались невредимы. Однако об этих мнимых польских поджогах в Киеве можно было услышать рассказы еще и десять лет спустя.

К нам в квартиру вошли первые красные двое: командир и боец; постучали и попросили напиток. И мама приветствовала их впрямь искренне, горячо, я слышал «настоящий голос», хотя она и слишком часто и громко повторяла «товарищ, товарищи».

Командир был молодой, в длинной серой шинели, обтянутый портупееми. А красноармеец — в куртке и папахе. Оба звенели шпорами, скрипели ремнями, у них были длинные сабли. Мама усадила их к столу, налила борща. Отец угощал их папиросами. Нас с братом выгнали в детскую. Но я все же вернулся потихоньку; тарачился на храбрецов, только что победивших такую мощную, такую нарядную польскую армию, и старался услышать, что они говорят.

Мама потом часто повторяла: «Вот что значит равенство, офицер и солдат сидят за одним столом. Этот красный офицер — вполне интеллигентный человек. Сын врача, кончил гимназию. Солдат, конечно, из простых, но смотрит на него и уже тоже умеет вилку держать, говорит «пожалуйста», «спасибо». Только чавкает еще...»

Молодой командир несколько раз повторял: «Мы армия Буденного... наша армия Буденного». Он произносил это очень выразительно и горделиво. И так же произносил: «Товарищ Ленин призвал... товарищ Троцкий приказал...»

Я не удержался и спросил: «А вы Ленина и Троцкого видели?» Он улыбнулся и сказал: «Да, видел».

Что он еще говорил, я не помню, то ли потому, что меня сразу ущипнула мама, а Елена Францевна потащила в детскую, то ли

потому, что в последующие годы столько насочинял об этой беседе с буденновцами, что я сам уже не могу отобрать скудные волоконца правды из того, что застряло в памяти.

Через несколько дней был митинг на площади у бронзового Богдана Хмельницкого. В толпу я пробраться не мог, тщетно пытался вскарабкаться на ограду. Но потом рассказывал, что сидел на хвосте Богданова коня. Там действительно клубилась кучка мальчишек, которым я смертельно завидовал. На площади было много красноармейцев, стояли строем конные части. Больше всего было обычных людей, которых ежедневно встречаешь на улице. Впервые я увидел так много красных флагов. На трибуне или на грузовике виднелись несколько человек в шинелях и темных пальто. Один из них взмахнул шапкой и громко закричал: «Гра-аждане Ки-иева!»

В толпе кто-то сказал: «Это Троцкий». Одни ему возражали, другие поддакивали или шикали: «Дайте послушать». Оратора я не разглядел, что он говорил — не слышал. В толпе доказывали: «В черной кожаной пальте, в очках, значит — Троцкий...»

Потом я часто рассказывал, как слушал Троцкого с Богданова коня и вполне правдоподобно объяснял, что от сильного волнения и по ребячьей глупости, еще и девяти лет не было, — не запомнил его слов.

Глава вторая

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ПЕРВАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Чем глубже проникают наши воспоминания, тем свободнее становится то пространство, куда устремлены все наши надежды — будущее.

КРИСТА ВОЛЬФ

В 1920 году от нас ушла Елена Францевна. Потом за три года сменились еще несколько немецких бонн — Шарлотта Карловна — высокая, пучеглазая, с толстыми влажными губами; Вилярзия Александровна — очень старая, творожно седая, творожно бледная и расплывчатая. Последней была Ада Николаевна, увядшая рижская барышня с печальными, добрыми глазами. Когда я уже ходил в школу, она еще год воспитывала Саню.

Не помню, как и чему учила нас каждая из них, но в итоге мы с братом бойко лопотали, читали и писали по-немецки. Саня в ту пору еще оставался политически индифферентным, — последняя бонна ушла, когда ему исполнилось восемь лет. Но я к десяти годам был убежден, что немцы — самый культурный из всех народов и к тому же лучшие друзья России, а немецкая монархия — самое справедливое государство.

Книги мы брали в лютеранской библиотеке при доме пастора. В кабинете пастора висел большой, во всю стену, портрет Лютера. Вдохновенный взгляд, обращенный к небу, темно-коричневая су-

тана, темно-багровый фон. Для меня этот портрет еще долго оставался образцом прекрасной живописи, впервые увиденной вблизи. В романах Карла Мая благородные немцы совершали подвиги в самых разных странах света, чаще всего среди североамериканских индейцев. Не менее увлекательны были книги о «старом Фрице», — великом короле Фридрихе II, о подвигах «черных егерей» Люцова в 1813 году.

Больше всего я радовался, когда немцы оказывались союзниками русских и вместе воевали против шведов, против Наполеона.

Два лета 1921 и 1922 годов мы жили в совхозе, где отец работал агрономом. Директором совхоза был Карл Майер, который раньше арендовал эту же землю как садовод. Совхоз по привычке называли «садоводство Майера», — но теперь он принадлежал Горкомхозу; вместо цветов разводили картошку, капусту, свеклу... Лишь на тех участках, где земля отдыхала, буйно росли задичавшие тюльпаны и георгины.

Директору оставили большое приусадебное хозяйство с фруктовым садом. Карл Майер — высокий, грузный, седой, с бельмом на левом глазу, с густыми длинными усами — был величествен и молчалив. Домой он приходил только к обеду и к ужину.

Мама говорила: «Он просто не умеет плохо работать. И все должен сам проверить, каждую грядку. Вот поэтому немцы и живут хорошо, что они так работают, Они прилежные, добросовестные, потому и стали культурными!»

Вся большая семья Майеров работала. Каждый точно знал свои обязанности. Жена — «гроссмутер Ида», рослая, прямая, смуглая, с блестящими глазами, всегда замысловато причесанная, ведала садом, огородом, птичником и собственным домом. Ее свекровь — 80-летняя «гроссмутер Мария» заведывала коровами, свиньями и крольчатником. Лицо, словно вырубленное из сухого дерева, почти без морщин. В большом рту желтели большие зубы. Она курила самодельные сигары — на чердаке сушились табачные листья. Гроссмутер Мария вставала раньше всех, носила темную затрапезную юбку, темный передник и грубые башмаки на деревянной подошве

без задника. Жилистыми, по-мужски широкими руками она легко носила полные подойники и ведра с кормом. Она была так же молчалива, как сын, казалась еще более строгой, чем он, вовсе не говорила по-русски. Только изредка ругалась: «зволичь... зукин зын.»

Дочь хозяев — «танте Люци» — высокая, белолицая, всегда озабоченная, готовила, убирала в доме, шила, чинила, занималась с детьми, учила их грамоте и арифметике.

Муж Люци — «онкль» Ганс Шпанбрукер, перекапывал сад и огород, возил навоз, чистил коровник и свинарник, плотничал, слесарничал, ведал инструментальной кладовой. Он был плечистым, сильным — легко поднимал бревна, которые мы, ребята, вчетвером не могли сдвинуть с места. Веселые, светлые глаза глядели из-под мохнатых бровей и нос был веселый, курносый, вздернутый над роскошными усами, темно-русыми, толстыми, с лихо подкрученными кончиками. Солдат немецкой армии, он никогда не воевал против России, а, напротив, вместе с русскими солдатами сражался в Китае в 1901 году, участвовал в штурме императорского дворца в Пекине. Танте Люци горделиво показывала его трофеи: черный лакированный ларец с нежным пестрым рисунком, который пахнул таинственной, сладковатой горечью, шелковый халат, черно-синегоранжевый, звонко хрустевший, и несколько медных статуэток. Все это были сокровища китайского императора, добытые героем в честном бою. Там, в Китае, солдат Шпанбрукер заболел, его положили в русский военный госпиталь и привезли в Киев, где лютеранский пастор и его прихожанки навещали немецких солдат. Так он познакомился с дочерью садовода Майера и остался у них «приймаком».

У Люци и Ганса было трое детей: старшая, моя ровесница Лили, белобрысенькая, рассудительная, хозяйственная, тихоня и чистюля; Эрика, быстроглазая озорная чернушка, на год моложе ее, и шестилетний Буби, щуплый, болезненный, но упрямый. Он все время таскался за нами, расшибал нос и коленки, ел известку и зеленые ягоды, иногда пугливо ревел, но никогда не жаловался.

Онкль Ганс возился с нами больше, чем все другие взрослые. Когда он работал, мы помогали ему, а он неторопливо рассказывал.

Наваливал навоз в тачку и рассказывал. Потом отвозил ее в кучу компоста, а мы подметали, подгребали в коровнике. Он возвращался и продолжал. Он рассказывал о войне в Китае и о разных животных, о коровах и о китах, о лошадях и слонах, о Наполеоне и старом Фрице, и о том, зачем нужно удобрять землю. Работать с ним, выполнять его поручения было почетно и радостно. Девочки чаще помогали матери в кухне или бабушке в саду. Буби и мой брат Саня, который был его ровесником, еще мало что могли. Поэтому я считал себя главным помощником дяди Ганса, зазнавался и ревновал его. Обидно было, когда он вдруг поручал не мне, а одной из девочек принести гвоздей или длинную палку с подвязанным на конце мешочком и ножом для срезания яблок.

Но лучше всего была охота. Дядя Ганс с двустволкой и патрон-ташем становился еще более величественным и прекрасным. Охотился он главным образом на воробьев, реже на куропаток. Мы ходили за ним и подбирали сраженную дичь. Страшно было добывать раненых воробьев, испуганно и бессильно трепыхавшихся. Но дядя Ганс учил: «Добивай! Не отворачивайся, не бледней. Чтоб не мучился. Нельзя мучить ни птиц, ни животных. Поэтому бей сразу головой о камень, о твердую землю. Будешь трусить, они будут больше мучиться. Мужчина не должен бояться крови, не должен бояться смерти, ни чужой, ни своей. Девочкам простительно, а ты будь мужчиной...»

То были уроки рассудительной и как бы даже справедливой жестокости. Я очень старался их усваивать, закусив губу, колотил о землю дрожащие тельца, капавшие бусинками крови, и казался себе настоящим суровым воином. Было жалко, страшно до тошноты и все же увлекательно. Почти так же я раньше сладострастно лупил девочек. Именно девочек — с мальчишками просто дрались. Примерно до девяти лет влечение к девочкам сводилось к тому, чтобы побить, а потом пожалеть. Так и мечталось перед сном. И тогда же влекли описания казней, пыток, убийств. Годам к 9–10 все начало меняться. Позывы к насилию, любопытство к страшным книгам и картинам дополнялось острым чувством жалости. Читая, плакал.

И к девочкам тянуло по-другому. Все же было что-то родственное в этих постыдных, но неудержимых, соблазнительных влечениях.

Отель Ганс стал для меня первым настоящим героем, увиденным вблизи. А его дочь Лили была первой девочкой, в которую я влюбился «по-настоящему», и очень старался испытывать страсть и страдание, и отчаяние... Влюбился так, как только можно в 9–10 лет, когда уже прочел «Айвенго» и «Князя Серебряного», уже презирал Чарскую, — хотя украдкой почитывал, и совсем недавно узнал, от чего именно рождаются дети.

Когда мы играли в прятки или строили домики в старом высохшем бассейне и в густых малинниках за усадьбой, я всегда старался быть рядом с Лили, прикасаться к ней. Иногда, прячась, мы вдвоем забирались на чердак, где с непонятным для меня пренебрежением были свалены поразительные сокровища — кипы старых немецких журналов, газет, календарей за несколько десятилетий, множество книг с картинками, елочные украшения, испорченные игрушки, разная утварь. Мы с Лили подолгу застревали в разных закоулках на чердаке или в кустах, очень серьезно шикали друг на дружку, озабоченные тем, чтобы нас не нашел тот, кто «водил». Однажды я неожиданно поцеловал ее, чмокнул, сам пугаясь, куда-то между розовой щекой и беленькими завитушками на затылке. Она сделала вид, что ничего не заметила, но когда я попытался второй раз, она зашептала: «Nei, nei, man darf nicht...» — и удрала, покраснев, и, как мне показалось, рассердившись.

Тогда я пошел на проселочную дорогу, по которой изредка проезжали телеги и не каждый день грузовик, — грохочущий, фырчащий, чадающий, — и лег поперек жесткой, пыльной колеи. Я хотел покончить самоубийством от несчастной любви, старался вызвать в себе чувство скорбного отчаяния. Об этом намерении я под величайшим секретом успел сообщить моей двоюродной сестре. Она всполошилась, суетилась, бегала взад и вперед, уговаривала меня остаться в живых и вернуться к игре. Стриженная, как мальчишка, — после скарлатины, — в больших круглых очках из-за косоглазия, она необычайно азартно выполняла роль посредницы и в кон-

це концов сообщила мне, что Лили твердо обещает выйти за меня замуж, когда вырастет. Мы и до этого иногда играли «в семью»: Лили и я были «родителями», Эрика, Саня и Буби — нашими детьми. Лили готовила, пекла взаправдашние пирожки, жарила воробьев, мы пили «вино» — вишневый и малиновый соки.

После несостоявшегося самоубийства я несколько раз многозначительно спрашивал ее: когда же мы наконец вырастем? Этот вопрос стал нашей общей тайной, общей секретной шуткой, почти фривольной. Лили густо краснела и называла каждый раз другой возраст в пределах от 15 до 20 лет. Дальше начиналась старость.

Мама ни за что не хотела пускать меня в «босяцкую советскую школу». Нас с братом учили дома и, когда мама, наконец, смирилась и было решено, что я поступлю в третий класс — тогда говорили «третью группу», — то оказалось, что я слишком невежественен для «босяцкой» школы. Правда, я болтал по-немецки, знал всех царей, благодаря Данилевскому и Мордовцеву, а многих немецких, французских и английских королей — благодаря Вальтер Скотту, Дюма и Шекспиру, которого мне подарили ко дню рождения. Но я ничего не смыслил в арифметике, писал с ятем и твердым знаком, о географии имел весьма смутные представления, основанные главным образом на Жюль Верне, Майн Риде и Карле Мае.

Тогда-то и появилась в моей жизни Лидия Лазаревна, которая готовила переростков, вроде меня, в новую школу. Она преподавала словесность, историю, географию, и переучивала по новому правописанию. Лидия Лазаревна была низкорослая, широкая, скуластая, смуглая, глаза близорукие на выкате из-за базедовой болезни, — большие, серые, очень добрые глаза, — большой нос, большой рот, волосы темные, гладкие, связанные сзади большим круглым пучком. Зимой она носила круглую меховую шапочку, летом черную шляпку-блин, всегда ходила в длинных темных платьях.

От Лидии Лазаревны я впервые услышал, — может, и раньше слышал или читал, но *услышал* впервые именно от нее, — такие слова, как *идеал, гуманность, человеколюбие, народное благо, народное дело, любовь к народу...*

Мы занимались три раза в неделю. Она жила на Большой Подвальной в двух кварталах от нас. Я нетерпеливо ожидал каждого очередного урока. Правда, бывали и скучные минуты, когда нужно было высчитывать за каких-то купцов цены разных «штук» ситца или угадывать цены яблок, которые на столько-то дороже груш. Смешны и диковинны были цены в старом задачнике Шапошникова и Вальцева. Они считали на рубли, копейки и даже полушки. А на улице две ириски стоили три миллиона рублей! Впрочем, в арифметике были свои увлекательные задачи, когда можно было придумать, почему один путник должен догонять другого или кто именно едет во встречающихся поездах.

Но всего лучше, разумеется, была словесность. Лидия Лазаревна читала вместе со мной стихи и прозу. И каждый раз так, будто она сама это читает впервые. Иногда она плакала, тщетно пытаясь скрыть слезы, жалуясь на насморк. Мы вместе плакали, читая Некрасова — «Русских женщин», «Железную дорогу» и, конечно же, «Размышления у парадного подъезда», — плакали и над стихами Никитина — «Вырыта заступом яма глубокая», «Эх, товарищ, и ты, видно, горе знавал», — и Надсона — «Я рос одиноким, я рос забытым», — плакали над рассказами Короленко «Сон Макара», «Чудная», «В дурном обществе», над «Оводом» и над «Хижиной дяди Тома».

Когда она говорила, что нужно быть правдивым, жалеть слабых, уважать храбрых и добрых, презирать трусов, лицемеров, себялюбцев, скупцов — это было убедительно не потому, что она находила какие-то особенные слова, а потому, что она сама действительно восхищалась красотой правды и добра, и по-настоящему радовалась хорошим людям, хорошим поступкам и по-настоящему ужасалась корысти и злу.

Ей было очень трудно жить в той громкой, сложной и хитрой жизни, которой жили все вокруг нас — мои родители, наши соседи и знакомые. Иногда она даже казалась мне беспомощной и не только потому, что, теряя шпильки, тщетно пыталась их найти.

Лидия Лазаревна была убежденной народницей. Она любила Некрасова больше, чем Пушкина, хотя, забывая обо всем, могла часами наизусть читать «Полтаву» и «Медного всадника». Она любила Короленко больше, чем Толстого и Чехова, хотя говорила, что именно они самые великие писатели, которые когда-либо жили на земле. Имена Желябова, Перовской, Кибальчича, Веры Фигнер она произносила с таким обожанием, с каким ни одна из моих бонн не произносила имени Христа.

Мама ревновала меня к Лидии Лазаревне больше, чем раньше к немецким боннам. Своим приятельницам при мне иногда говорила с насмешливой неприязнью:

— Эта старая курсистка не совсем нормальная. Своих детей не имеет, так липнет к чужим... Она знает только то, что в книжках, а не в жизни... Не от мира сего. Но, конечно, добренькая, чего бы ей не быть добренькой...

В такие минуты я ненавидел мать и кричал со злостью:

— Лидия Лазаревна самый лучший человек в мире, самый умный, самый добрый!

— Так ты ее любишь больше, чем мать, да? Больше, чем родную мать, которая тебе жизнь отдает? Чтоб я лучше подохла, как собака, до того, как услышала это... Малохольную курсистку, слезливую квочку он любит больше, чем родную мать... Вот так и живи для детей, отдавай им всю свою кровь, все здоровье... Вы похороните меня, тогда поймете...

Входя в раж, мама громко плакала, била себя в грудь и по голове, рвала волосы, кричала уж вовсе нечленораздельно. Потом постепенно затихала, пила валерьянку, причитала:

— Никто вас так не любит, как мать, никто, никогда...

Но в другой раз, другим, или тем же самым собеседникам, она говорила то умильно, то саркастически, в зависимости от настроения:

— У нашего старшего сына такая прекрасная учительница, что он ее любит больше отца и матери... Ну что ж, понятно, она светлая личность. Народница! Бестужевка. Бессеребренница... Правда, не-

множко «того»; знаете, — одни книжки, брошюрки, стишки. В общем, неземные идеалы... Конечно, благородный человек, настоящая интеллигентка. Таких можно почитать, преклоняться. Но чтобы жить так же, — нет, упаси Боже. Ни себе, ни людям. Одни воздушные замки и глаза испорченные. Вы б видели, как она читает!

Мама очень похоже и очень смешно показывала, как близорукая Лидия Лазаревна тычет носом в книгу и растроганно сморкается.

2

Весной 22-го года я стал скаутом — «волчонком». КВОС — Киевский Второй Отряд Скаутов — гордо называли: «волчий». Волчатами командовала бледная, высокая, коротко остриженная девочка, Аня. Она рассказывала нам про Баден Пауля, учила гимнастике со скаутским посохом; обещала научить разжигать костры и ставить палатки. Она требовала, чтобы волчата, носившие голубые галстуки, завязывали на них узлы после каждого доброго дела, — например, помог слепому перейти дорогу, заступился за малыша, которого били более сильные пацаны, догнал прохожего, уронившего сверток.

Она же пела «Покс, токе, свенсен-прима, что вы задаетесь, мы побили вас вчера, вы не признаетесь». Покс и Токе были первый и третий отряды. «Свенсен-прима» — отряд при частной школе Свенсена, тогда еще такие школы существовали.

Легенды о великих битвах между отрядами скаутов я не слышал, сам пересказывал и сочинял, но ни одной такой битвы не видел. Помню только перебранки и несколько мелких драк во дворе Софийского собора, в скверах, на Владимирской горке и в Ботаническом саду. Но эти драки бывали уже и политическими. Поксовцев считали почему-то «белыми», кричали им, что они за царя

¹ Баден Пауль (1857–1941) английский офицер, основал юношеское движение скаутов во время англо-бурской войны.

Николашку и за панов, которые в Черном море купаются. У Свенсена были маменькины сынки и маккабисты, — то есть, сионистские скауты, которым кричали «тикайте в Палестину!», а в Токсе, якобы, преобладали «желто-синие» петлюровцы, которые нарочно хотели только «балакать». Зато у нас в Квесе были самые настоящие скауты, они защищали бедных и слабых и не возражали против Советской власти. Среди них-то и появились первые «юки» — «юные коммунисты». Скаутские отряды начали распускать в 1923 году и окончательно запретили в 1924 году. Новый вожатый «юк» Миля водил нас к себе домой на Прорезную в большую квартиру. Его отец был зубным врачом. Миля захватил комнату за кухней с антресолями, которую объявил клубом юных коммунистов. На стенах мы развесили вырезанные из газет и журналов портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Калинина, Демьяна Бедного, Чичерина, Луначарского, Буденного, Котовского. Сами намалевали лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Лордам по мордам!», «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян», «Да здравствует комсомол и юные коммунисты!»...

Мы собирались после школы, пели новые песни: «Флот нам нужен, побольше дюжин, стальных плавучих единиц», «А комсомол смеется, смеется, он к западу несется» и, конечно, «Смело мы в бой пойдем за власть советов». Пели и украинские песни: «Заповит», «Ой на гори тай женци жнуть».

Миля объяснял нам, что мы живем на советской Украине, что по-украински говорят не только петлюровцы, но и все крестьяне и многие рабочие, что скауты, которые в школе уходят с уроков украинского языка и насмешничают над украинскими надписями, вывесками и плакатами — дураки и контры. Их нужно агитировать, перевоспитывать или бить морды. Это мне нравилось: я с детства слышал дома украинскую речь и украинские песни от первой няни Химы, которую любил больше всех бонн, от друзей отца — агрономов. Бабушка — мать отца — говорила только по-украински и по-еврейски. Случалось, что она сердито обрывала меня: «Та не троскочи ты по-кацапськи, я ж так не розумию. Як не знаешь рид-

ной мовы, ни лошен кейдиш, ни идиш, то хочь говорь по-людски, а не попаньски: *па-ажалиста-а... это што такой...*

3

Лето в садоводстве Майера, любовь к Лили, мои собственные, грядки в огороде, на которых я выращивал редис, огурцы, салат и даже несколько кустиков помидоров, отвлекали от скаутско-юковских забот.

Осенью 23 года я стал наконец школьником. Меня приняли в третью группу, слово «класс» все еще полагали «старорежимным». Школа была далеко от дома, на углу Мариинско-Благовещенской и Владимирской, бывшая частная прогимназия, теперь называлась начальной школой, имела номер. Но никто его не помнил, а говорили «школа Лещинской», по фамилии директора. Фаня Григорьевна Лещинская преподавала сама арифметику и природоведение. Нас учили также русской словесности, французскому языку, пению, рисованию и гимнастике. Мне в школе было не по себе. Поступил я поздно — мы переехали в город уже глубокой осенью. В третьей группе я был самым рослым, ребята из младших групп кричали мне «каланча» и «достань воробушка». Но я знал меньше всех других, вернее, вовсе не знал того, что они уже прошли; это было обидно. Мама постоянно восхищалась моими успехами — это раздражало, но было уже привычным. А тут мне ставили в пример каких-то куцых сопляков и даже девчонок с косичками и бантами. На уроках пения я тоже оказался из худших: какой-то худосочный пискун, которого я мог отлупить одной правой рукой, считался запевалой и первым учеником, хотя у него был противный, почти девчоночий голос. И на гимнастике не везло, я был сильнее многих, но зато менее ловок, просто неуклюж.

Школу я невзлюбил сразу и, когда заболел корью, обрадовался этому, как избавлению. Блаженствовал в полутемной комнате —

как полагалось тогда при кори — и, впервые сам сочинив стихотворение, прослезился. Стихи назывались «Молот» и начинались: «тяжки, грозны удары млата, но не железо так он бьет, он рушит все дворцы, палаты, дробит стекло, булат кует».

Я скрывал эти стихи от мамы, чтоб не хвасталась, но, разумеется, прочитал их Лидии Лазаревне, которая отнеслась к ним серьезно, одобряла; осторожно заметила, что не нужно повторять строки из чужих, даже пушкинских стихов, что я теперь должен больше читать именно поэтические произведения, надо искать свои слова. Конечно, в молодости многие пишут стихи, но, может быть, у тебя и впрямь божья искра...

Став школьником, я продолжал ходить к Лидии Лазаревне; она не притворялась, когда говорила, что рада меня видеть, в ее книжном шкафу всегда можно было найти еще не читанную книгу — не Жюль Верна, Буссенара или Нат Пинкертона, которых я добывал у других ребят, — а романы Амфитеатрова «Шестидесятники» и «Семидесятники», роман о народовольцах Бржозовского «Зарво», воспоминания Кропоткина, Степняка-Кравчинского, Веры Фигнер, журналы «Былое», «Каторга и ссылка», «Природа и люди» и переводные книги — Шпильгагена, Джека Лондона, О. Генри, Элтона Синклера...

Когда я рассказывал Лидии Лазаревне о школе, о том, что хорошие скауты перешли к юкам, которые вскоре стали называться юными спартаковцами, а потом и пионерами-ленинцами, ей все это было по-настоящему интересно и важно.

От родителей мне приходилось скрывать свою политическую деятельность. Мама зло насмешничала и проклинала босяков, которые натравливают детей на родителей. Отец грозил: «Увижу с красной тряпкой выпорю, сидеть не сможешь. Запру дома, в школу не пущу».

А Лидия Лазаревна слушала очень заинтересованно.

— Это очень хорошо, что у вас товарищество, что хотите делать добро, помогать людям... Коммунизм — прекрасный идеал. Первым коммунистом был Христос. Все лучшие люди мечтали о равенстве,

братстве, справедливости — Бакунин, Кропоткин, народовольцы... Но очень важно, чтобы идея была чистой и чтобы осуществлять ее с чистым сердцем и чистыми руками... В Библии есть такие слова — не человек для субботы, а суббота для человека. И коммунизм должен быть для человека, а не наоборот...

Иногда я приставал к ней с расспросами, хотел знать, что именно она думает о Ленине и Троцком, о Советской власти. Лидия Лазаревна отвечала сбивчиво, краснела пятнами. Она не умела говорить неправды, но, видимо, боялась внушить мне такие мысли, которые стали бы для меня опасными.

— Ленин очень умный. Даже гениальный. И, конечно, настоящий революционер... Он из хорошей семьи. Его старший брат был народовольцем, героем, — так же, как Желябов, выручал товарищей. Ленин пошел за братом. Он, конечно, любит народ. Хочет добра. Но, видишь ли, он слишком нетерпеливый и нетерпимый. И поэтому допускал жестокости. Ну, так же, как Робеспьер, как Марат. И потом он — материалист. Не лично, нет, лично, он, конечно, идеалист. Это все говорят: он бескорыстен, скромн. Но по убеждениям он — материалист, то есть не верит в силу идеалов. Это у него от Маркса. Тот тоже был, конечно, гениальным и лично благородным. Но признавал только материальные силы — капитал, товар, фабрики, деньги. Вот и Ленин так же думает, что главное — это захватить материальные силы, захватить власть. А все остальное — потом. Потому ради революции хороши любые средства. А что получилось? Все голодные против всех сытых; рабочие и крестьяне против всех имущих, против интеллигенции... Грабь награбленное. Но ведь Пушкин и Толстой были помещиками, и Тургенев. Я знала многих дворян и купцов и фабрикантов, которые помогали революции: Софья Перовская — дочь генерала. А сами большевики? И Ленин — дворянин, и Луначарский, и Чичерин, и Коллонтай. Но считается, что это — исключения, и нужна беспощадная классовая борьба. А всякая беспощадная борьба делает людей безжалостными, жестокими, несправедливыми. И тогда не может быть никакого равенства, не может быть братства, не может быть свободы.

Об этом писали Короленко, Толстой, Куприн, Горький — все лучшие писатели. И в других странах тоже. Обязательно прочти Диккенса «Повесть о двух городах» и Гюго «Девяносто третий год»... Ленин, конечно, гений и лично добрый человек, а Троцкий — холодный, жестокий, честолюбец. Конечно, он тоже выдающаяся личность — полководец, оратор... И тоже был революционером. Но он хуже Ленина. Он думает больше о политических доктринах, чем о народе; о государстве, об армии — а не о народном благе...

Почти так же рассуждали мои родители, их приятели, знакомые, когда говорили о политике.

— Ленин все-таки гений. Лично порядочный человек, но одержимый... Ему коммунистические эксперименты, а народу страдания... Нет, не говорите, Ленин большой государственный ум... Это он ввел свободную торговлю. И крестьянам теперь куда легче... Деревня теперь, как сыр в масле... Не дай Бог, если придет Троцкий. Опять будет террор, начнется война с Антантой... — Троцкому, видите ли, срочно нужна мировая революция. Он вызовет такой антисемитизм, какого раньше и не бывало...

В отряде мы пели: «Красная армия, смело вперед, нас товарищ Троцкий в бой ведет», — и еще: «Ленин и Троцкий и Луначарский они основали союз пролетарский».

А на откосах Владимирской горки и Царского сада беспризорники хриплыми голосами выкрикивали частушки: «Шо я вижу, шо я слышу, Ленин с Троцким влез на крышу. И кричат всему народу: подавайте нам свободу!»

Нашу квартиру опять уплотнили. В комнате, где раньше жил рыжий чекист, поселились две сестры-рабфаковки. Потом к ним приехал еще и брат, школьник. Старшая была красивая и неразговорчивая. Младшая — медно-рыжая, круглолицая, веснушчатая, в красной косынке, часто пела громко и картаво: «Мы комсомол, страны рабочей гордость... родных полей надежда и оплот, и знает весь наш трудовой народ, что проявить свою сумеем твердость». Песня была заунывно-романсовой, надсадно гортанной. Но мне она казалась воинственной и пророческой. «Мы идем на смену старым,

утомившимся борцам, мировым зажечь пожаром пролетарские сердца...»

Сестры повесили в комнате портреты Ленина, Троцкого, Крупской, Коллонтай. Однажды я сказал, что я за Ленина, но против Троцкого. Младшая сестра щелкнула меня больно по лбу и сказала: «Сопляк, что ты понимаешь: Лев Давыдович самый лучший друг, товарищ и помощник Ильича, он самый лучший ленинец». Я обиделся и стал кричать про жестокость и про честолюбие. Тогда брат и сестра просто вытолкали меня за дверь.

С братом мы расквитались потом, когда он остался один. Он был старше и сильнее меня, но я позвал на помощь Сережу; вдвоем мы свалили его и затолкали под кровать, требуя, чтобы он кричал: «Долой Троцкого!» Он пыхтел, барахтался, но кричать не хотел. А мы не пошли дальше легких тумачков — лежачего не бьют.

4

Весной 1923 года я впервые прочел настоящие «взрослые» политические книги, — Вильгельм Либкнехт «Коммуна» и Фердинанд Лассаль «О прусской конституции». Это были две брошюры в тёмно-красных обложках, напечатанные по-старому — с Ъ и € на хорошей бумаге, что придавало им особую солидность и убедительность. Новые школьные учебники и новые книжки и брошюры печатались на темной, ломкой бумаге, слепым шрифтом, быстро тускневшим.

У Лассаля я почти ничего не понял, но проникся тем большим уважением к нескольким вразумительным фразам о необходимости власти народа и неизбежности социализма. Зато Либкнехт понятно рассказывал о героизме и страшной судьбе парижских коммунаров. Читая о кровавой майской неделе, о гибели Домбровского и Делеклюза, я плакал такими же горячими слезами, как и над самыми любимыми страницами Некрасова, Короленко, Диккенса. И окончательно решил, что я убежденный коммунист.

Летом мы жили в деревне Соболевка к западу от Винницы на сахарном заводе, где отец работал агрономом, в доме заводского механика пана Тадеуша Вашко; его младший сын Казик был моим ровесником, младшая дочь Зося — на год моложе. С ними дружили сыновья мастера-аппаратчика одноногий Збышек и Казик, которого в отличие от чернявого Казика Вашко, называли «Казик Рудый». Влюбился я сразу же в Ядзю — круглолицую дочку химика. Она была неразлучна с младшей сестрой Хеленкой, остроносенькой, молчаливой озорницей, и с подружкой Вандой, маленькой, пухленькой, непрерывно болтавшей.

Все эти ребята и девочки были верующими католиками. По воскресеньям их, накрахмаленных, наглаженных, возили в костел в городок верст за двадцать. Ко мне они сперва отнеслись недоверчиво, так как я сразу же объявил, что я юный коммунист, демонстративно читал в саду красную книжечку «Коммуна» и к тому же оказался жидом. Пока я усвоил, что по-польски «жид» — вовсе не ругательство, а то же самое, что по-русски «еврей», состоялось несколько драк. Впрочем, они же возбудили у нас взаимное уважение. Казик Вашко был меньше меня ростом, но дрался лихо, метко бил костлявым кулачком, не плакал и не прекращал боя, когда текла из носа кровь, а, потерпев поражение, не злился. Второй Казик, рыжеватый, веснушчатый, плотный, был хитрее, умел опрокинуть неожиданной подножкой, ударить зло под ложечку, а, проигрывая, падал с криком: «Лежачего не бьют!» Его старший брат Збых ходил на костылях, но они служили отличным оружием в потасовках с хлопцами из соседних деревень.

Польские ребята вскоре приняли меня в свою компанию, называли Леон; со мной приняли и Сережу, сына агронома из соседнего совхоза. Раньше его чуждались и дразнили москалем.

Между поселком, где мы жили, и заводом тянулся большой пруд — ставок. На самом дальнем берегу была деревня. В кустах и зарослях очерета, окружавших несколько маленьких глинистых пляжей, происходили бои между заводскими и сельскими ребятами. На первых порах и я принимал в них участие. Но мне было

не по душе, что мои новые друзья вели эти бои как часть вечной войны польских рыцарей с «дамами», «схизматами», «быдлом»... Вспомнив скаутские и юковские наставления, я решил стать миротворцем. Сельские ребята, босые, простоволосые, в серых холщевых штанцах до половины икры и драных сорочках, отнеслись ко мне грубо недоверчиво. Однако я говорил по-украински, хотя и не их «говиркою», рассказывал про Киев, про войну, про книжки, умел спивать «Стоит гора високая», «Хмель», «Реве тай стогне». С одним из их заводил — Митьком — коренастым крепышом — мы постепенно сблизились. Боролись по-честному, без подножек, и оказались примерно равной силы, хотя я был на голову выше ростом. Это ему льстило, тем более, что я признал равенство после того, как уложил его на лопатки приемом «двойной нельсон», недавно изученным по книге Берроуза «Тарзан». Наша дружба приобрела еще и экономическую основу. Мы с Казиком Вашко завели общий крольчатник в старом каменном сарае, который нам предоставил его отец. Первых кроликов мы купили за наличные, которые выпрашивали или крали у родителей. В ход шли и новые пятаки, и старые «лимоны», и даже керенки, гетманские «шаги» и деникинские «колокольчики». Потом мы главным образом менялись кроликами с сельскими ребятами или приобретали новых в обмен на тетрадки, книжки, на клетчатую и линованную бумагу. Митько был главным инициатором, посредником и партнером в большинстве таких сделок. Он же добывал корм для наших кроликов — рожь и пшеницу. Небольшой мешок — несколько килограммов зерна — стоил один «химический» карандаш или два простых.

Митько раньше был знаком с Сережей, который и свел меня с ним, но с польскими ребятами он сходилась туго. На мои велеречивые уговоры отмалчивался, либо отвечал коротко, но скептически. Он был сурово лаконичен и обычно не возражал по существу, а только выразительно бросал «то це ты так кажешь» или просто «кажи, кажи!»

Я обижался, кипятился, клялся. Говорил о польских друзьях Шевченко, пересказывал свежепрочитанные романы Сенкевича,

соответственно изменяя некоторые интонации и детали, и всячески убеждал, что у поляков есть очень хорошие, замечательные люди. Пересказывал и Короленко и, конечно, Либкнехта.

Митько и его хлопцы слушали внимательно, иногда вроде бы и соглашались. Драки между заводскими и сельскими почти прекратились. Но все же не получалась та идиллическая дружба «всех со всеми», какая воображалась мне, когда перед сном, в теплой темноте, я мечтал о будущем, о воинских подвигах, достойных пана Володыевского, о мягких розовых губках и тугих грудях Ядзи, о выведении новой породы кроликов, о славе поэта-революционера и государственного деятеля в Киеве, в Париже, в Берлине...

5

Дом Вашека был окружен большим садом, густыми зарослями смородины и малины. Сзади, на добрых полверсты, тянулся фруктовый сад, парники, огороды. Впереди густо росли клены, каштаны, липы, акации, синеватые елки-туи. А за сетчатой проволочной оградой пролегалла широкая пыльная улица поселка. На противоположной стороне была «кооперация» — лавка, длинный дом с низкими широкими окнами и крытой «гальдереей» с деревянными побуревшими столбами. Внутри пахло селедкой, махоркой, керосином, рогожей, мешковиной, мышами и запыленными приторными сладостями.

Мать Кази и Зоси пани Агнеш польско-русской скороговоркой пугала нас: «Там завше хлопы; завше пьяны; брудны. Така грязь! Лайка! Невольно детскам...» Моя мама, как всегда и везде, боялась заразы. «Там же холера, брюшной тиф. Заклинаю вас жизнью матери, ни к чему не прикасайтесь».

Но иногда одному из нас удавалось получить официальное поручение — купить стекло для керосиновой лампы, спичек, перцу или керосину. Разумеется, друзья его сопровождали. Случалось, и по пути на ставок мы забирались в лавку просто так поглазеть

или купить на раздобытый гривенник переводных картинок, карамель-подушечки. Дядьки, стоявшие у прилавка или курившие махорку у возов, привязанных тут же, нас попросту не замечали. Это было обидное, равнодушно презрительное отчуждение. Впрочем, не лучше бывало, когда какой-нибудь усач помоложе, загорелый, в серовой сорочке с выцветшей вышивкой, пахнувший потом, дегтем и соломой, вдруг спрашивал усмешливо, но не ласково: А ты, хлопчик, из яких будешь — з ляхив, з кацапив чи з жидив?.. А ну кажи — кукурудза с гречкою. А ще кажи — паляныця.»

Предполагалось, что еврей не может выговорить «р», а поляки и русские не способны правильно произнести мягкое, вкусно пахнущее слово «паляныця».

Однажды утром к нам в сад прибежали запыхавшиеся, взволнованные Ядзя, Хеля и Ванда. Они наперебой, задыхаясь от ужаса, рассказывали: там на лавке повесили картину, страшную насмешку над Маткой Бозкой. Такая подлая, такая ужасная насмешка, такой грех, такое злодейство. Пухленькая Ванда все время ойкала — «Езус Мария! Езус Мария!» — и силилась плакать. Они стали шептаться с ребятами, и я вдруг почувствовал, что все они отдаляются от меня, ведь Матка Бозка была только их святыней.

Смятение и ужас девочек, сердитый шепот ребят, горькое чувство внезапной отчужденности усилили все то, что я знал раньше от Лидии Лазаревны, из Короленко, из скаутских книжечек-спутников — нельзя оскорблять чужую веру, нельзя смеяться над тем, что другим свято. А Ядзя была так прелестна, когда, сжимая кулачки у подбородка, вздыхала: «Свенто панна, цо то бендзе! Яки то гжех!»

И тогда я ощутил силу, поднимающую, как на качелях, — тревожно холодившую, легкую, властную силу, — вроде того, что испытываешь, когда нужно драться с опасным противником или прыгать с большой высоты или идти по узкому мостику без перил... Ни с кем не говоря, я выбежал из сада и перешел через улицу. На двери лавки висел большой желто-коричневый плакат-кариатура. Кривомордый лорд Керзон в виде мадонны и бородатый Чернов-младенец.

В конце «гальдереи» несколько дядьков о чем-то спорили, не глядя в мою сторону, лениво матюкаясь. Я выждал несколько секунд, сорвал плакат, сунул под рубашку и, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать, широким, напряженным шагом пошел обратно. Затылок болел от желания оглянуться и от боязни того, что могло быть сзади... Но зато в саду девочки кричали: «Бохатер! О, Леон, яки бохатер!» Ванда и Зося даже поцеловали меня. К сожалению, Ядзя только улыбалась, хотя глядела нежно и покраснела. Казик Вашко обнял меня и сказал, что мы теперь — друзья на всю жизнь. Збых похлопал по плечу и только рыжий Казик, скептически ухмыляясь заметил, что ничего особенного не произошло, ведь сын пана агронома не католик, а коммунист, ему все равно ничего не было бы, если бы и поймали. Вот для других это был бы риск. Но великодушные девочки напустились на него; плакат мы изорвали и торжественно сожгли. Его исчезновение осталось без последствий, хотя два дня, опасно поглядывал на всех незнакомых людей, появлявшихся у нашего дома и еще долго не решался подходить к лавке.

6

В немногих верстах от деревни находилось местечко. Через него я несколько раз проезжал с родителями в фаэтоне по пути в гости на соседний завод.

Дома были невысокие, беленые, но облупленные, с грязно-серыми и бурыми крылечками. У домов, у лавок стояли бородатые мужчины в котелках, в картузах или в ермолках, в длинных сюртуках. Они разговаривали громко, певуче и картаво. Женщины звали детей пронзительными и заунывными нараспев голосами: «Шлемке-е-е!.. Мойшеню-ю-ю!»

Когда начался охотничий сезон, Сережа, Казик Вашко и я увязались за отцами. В субботу большая компания заводских охотников на линейках поехала на дальние болота. Все ночевали в домике

у лесничего, спали на полу, завтракали вкуснейшей румяной ряженкой и медом прямо из сот. Охотники уходили еще до рассвета, а мы потом искали их по звукам выстрелов, опасливо подкрадываясь, как индейцы. Нам было запрещено приближаться, чтоб не подстрелили случайно. Обедали у костра густым кулешом, дичиной, печеной картошкой, пахшей дымом и болотом. Взрослые пили водку, домой возвращались хмельные, громко хвастались или оправдывались, ссылаясь на осечку, на то, что солнце било как раз в глаза.

На обратном пути в воскресенье линейки остановились в местечке. Взрослые пошли в лавки, мы оставались на улице.

Линейку окружили босые мальчишки в картузах с обломанными козырьками, в мятых шапчонках, из-под которых свисали вдоль ушей курчавые пейсики. Они галдели, смеялись, тыкали в нас пальцами. Их явно смешили мои короткие штаны до колен. Все они — так же, как сельские и заводские ребята, — носили длинные, подвернутые, или полудлинные штанцы. Крики «кирце хейзеле»² звучали саркастически. Я попытался заговорить с ними по-украински и по-немецки, меняя «а» на «о», чтоб было похоже на еврейский. Ребята постарше отвечали, мешая еврейские, польские и русско-украинские слова. Ни скаутов, ни юков среди них не было. Когда я сказал, что я тоже еврей, они зашумели недоверчиво и враждебно. Чаще и громче всего слышалось «хазер» — то есть, свинья, «апикойрес» — то есть, безбожник, и «мамзер» — ублюдок. Один курчавый, глазастый, в огромном продавленном котелке, спросил зло: «А паныч йисть хазер — свиню?» Я признался, что ем, и пытался объяснить, что древний запрет годился для жаркой Палестины, а здесь свинина не опасна.

Несколько голосов заорали: «Сам свиня... хазер... мамзер... киш ин тухес!»³ Полетели увесистые комья грязи, и только вмешательство бородачей, стоявших неподалеку, предотвратило большую драку.

² Короткие штанишки.

³ «Поцелуй в задницу!»

Мне было и жалко этих оборванных, тощих, бледных пацанов и неприятно смотреть на них, слушать их. К тому же было еще и стыдно перед Сережей, и Казиком, и кучером. Ведь эти ребята говорили на том же языке, что и мои дедушки, бабушки, а иногда и родители. Они были мне как-то сродни. Но я стыдился их, и еще мучительнее стыдился этого своего стыда.

Из Соболевки мы уехали поздно осенью. Я порядком опоздал в школу. Но зато обогатился такими знаниями, каких не нашел бы ни в одном учебнике. Я научился говорить и читать по-польски; открыл книги Сенкевича и Мицкевича, полюбил историю Польши — всю, начиная от Мешко и Болеслава Храброго до Костюшко, Домбровского и повстанцев прошлого века. Заражаясь волнением моих друзей, я с ними пел «С дымом пожарув...» и «Еще Польшка не згинела». Тогда я был уверен, что Домбровский, о котором говорится в припеве их гимна, это тот же бесстрашный и благородный генерал Парижской Коммуны, о котором писал Либкнехт. Там я навсегда излечился от неприязни к полякам, которую раньше внушали мне Загоскин, Гоголь, воспоминания о польских войсках в Киеве и недобрые шутки иных взрослых. Кроме того, я научился плавать «на вымашку», играть в крокет, узнал много существенно важного о диких утках, о том, как делают сахар, какие бывают калибры охотничьих ружей и как набивают патроны...

Полюбив Польшу и поляков, я не изменил Германии и немцам. На Рождество мы несколько дней прожили у Майеров, и я опять влюбился в Лили и окончательно решил, что женюсь все же на ней. Хотя не мог забыть Ядзю. А в школе на соседней парте сидела Софа; она еще носила большие банты и короткие платья, из-под которых виднелись кружевные панталончики и цветные подвязки. Но у нее были уже выпуклые груди, и мальчишки на переменах норовили «жать масло» прежде всего из Софы.

Германию я любил уже по-новому — не за королей и полководцев. Я прочитал книгу Алтаева «Под знаменем башмака»⁴. А в газе-

⁴ Исторический роман о крестьянской войне в Германии.

тах писали о баррикадных боях в Гамбурге. В клубе юков были брошюры о Марксе, Энгельсе, Либкнехте и Розе Люксембург. И мое детское германофильство легко сплавлялось с тем живым человеколюбием, которым дышали уроки Лидии Лазаревны, повести Короленко «В дурном обществе», «Сон Макара», «Без языка», рассказ Куприна «Гамбринус», «Итальянские сказки» Горького, скаутские и юковские наставления.

Ребячески наивный, но неподдельный интернационализм питали разные силы. И одной из самых существенных был Бог.

Глава третья ПОТЕРЯ БОГА

І не лишилось вже нічого...
Ні Бога, навіть ні пів-Бога.

Тарас Шевченко

1

До шести лет я верил в православного Бога няни Полины Максимовны. Потом еще четыре года верил в лютеранского Бога, в того евангельского Христа, которого чтили Елена Францевна и ее приемницы. Но мне так и не пришлось поверить в еврейского Бога дедушки и бабушки.

Впрочем, по-настоящему набожной была только бабушка, — мать отца. У нее в квартире хранились отдельно мясная и молочная посуда, соблюдался особый ритуал уборки. По пятницам она молилась над свечами. Приходя к нам, она ничего не ела.

— У вас же все трэф... Вы й свиню йистэ. Вся посуда не чиста, перемишана...

Она соглашалась только пить чай с тем вареньем, которое сама раньше подарила. Сахар она тоже почему-то считала нечистым.

Но дед, когда приходил к нам без нее, спокойно ел ветчину и любую снедь из любых тарелок.

Бабушкин Бог был мелочен и нелепо требователен. Почему грешно «молочной» ложкой зачерпнуть мясной бульон? — Грих и всэ. Так Бог наказав и пророки. А ты ще мале порося. Мусиш не пытаты, а слухаты. Не то Бог покарае, ос липнеш, паралик скрутыть руки и ноги.

— а почему папа и мама все едят, а Бог их не карает? (На Деда я не хотел ябедничать.)

— Воны апикойресы, гришни — Боже их просты и помилуй! Бормочет что-то сердито по-еврейски. — Я за их молюсь, а ты не пытай, як дурень. Ще малый за батьковы грихы пытаты. Язык в тебе дуже довгий, одризать треба...

Мама часто клялась Богом всемогущим, угрожала: «Будешь врать Бог накажет. Не будешь слушать родителей Бог накажет...» Не помню, чтобы она хоть когда-нибудь молилась всерьез. Но осенью перед «судным днем» покупалась курица, и мама вертела ее над головами у меня и брата, бормоча какие-то заклинания. «Это, чтобы от вас все грехи и все болезни ушли». Потом ту же грешную и больную курицу благополучно съедали. Когда я спросил, не съедим ли мы обратно все грехи и болезни, мама сердито прикрикнула: «Ничего не понимаешь; вот вырастешь — поймешь». Но позднее пересказывала родным и знакомым мой вопрос, восхищаясь: «Ну скажите, разве не поразительно умный ребенок!»

В судный день мама постилась и упрекала отца, что он ест.

— Ты думаешь, твоя мамаша все замолит. Должно же быть хоть что-то святое в жизни.

Однако мама была не столько верующей, сколько суеверной. Она ничего не начинала в понедельник. Боялась сглаза. Потеряв что-либо, прежде чем искать, завязывала ножку стола платком. Самым верным способом добиться от нее чего-нибудь, было заклятие: «Заклинаю тебя моим здоровьем... сделай то-то, позволь мне то-то». Когда умерли мамины родители, оба один за другим в 21 году, то мама, ее сестры и братья несколько дней кряду сидели в их квартире на полу разутые. Мне объяснили, что это траур по еврейскому

обычаю. Ничего торжественного, а какое-то странное подобие детских игр. Только все печальны.

О «маминой бабушке» я знал, что она тоже не ест тrefного, блюдет отдельную посуду и в субботу ничего не делает, а бабушка в гостях охотно лакомится запретными блюдами. Его я однажды видел молившимся. Бледный, с узкой седой бородой, он накрылся белым шелковым покрывалом с черными полосами, обмотал руку ремешками, ко лбу прикрепил черный коробок и надел черную шелковую шапочку. Но в еврейские праздники мы прежде всего навещали родителей отца. «Отцовского бабушку» я не помню молящимся. Он был коренастый, плечистый, краснолицый, короткая седая бородка. Иногда он объяснял мне значение праздника. И любил рассуждать «о политике». Говорил многословно и скучно. Я делал вид, что слушаю, и нетерпеливо ждал, когда получу подарок, полагающийся в «Хануку», или когда уже начнем есть пироги с маком, которые бабушка пекла в Пурим.

Самым важным праздником была Пасха. Все дети и внуки должны были приходиться на «сейдер» — пасхальный ужин. Мужчины сидели за столом в шапках — у нас дома такое считалось неприличным. В церквях, в кирхе и в костеле полагалось снимать шапку. Это была понятная вежливость перед Богом.

Бабушка замечательно готовила. Это признавала даже моя критически взыскательная мама. Ее фаршированная рыба, фаршмаки, винегреты, печеночные паштеты с гусяными шкварками, борщи и суп с клецками были необычайно вкусны. И великолепно редька, варенная в меду, — горечь и сладость.

Пасхальный стол был особенно обилен. Посреди него красовалась чаша вина для пророка Ильи, все отливали в нее из своих бокалов. Наружная дверь оставалась открытой — чтобы пророк мог войти.

Все было бы хорошо, если бы не запрет есть хлеб. У бабки в пасхальные дни подавалась только пресная безвкусная маца. Однажды я решил схитрить и принес из дому в кармане кусок французской булочки. За столом старался незаметно отщипывать. Но был изоб-

личен, бабушка надавала мне злых, жестоких тумачков, велела выбросить булку во двор, вымыть руки, прополоскать рот и еще долго ворчала, перемежая украинские и еврейские ругательства, причитала, жалуясь, что в такой праздник должна была наказывать грешного внука.

Младший брат отца Миша — мама иначе не называла его, как «Мишка-бандит»⁵ — и муж младшей тетки — тоже Миша, прокурор, член партии, во время сейдера перемигивались, отпускали иронические замечания, но так, чтобы бабушка не слышала, и подливали вино в бокал лимонада, который полагался мне.

Несколько раз я задавал традиционные вопросы младшего за столом к старшему, заучивая предварительно текст, написанный русскими буквами: «маништано халайло хазе» — «почему мы празднуем этот день?» Потом внуки отыскивали кусок мацы, спрятанной дедом, и требовали выкупа.

Эти подробности пасхального ритуала, хотя и не казались мне такими некрасивыми, как шапки за столом, и такими досадными, как отсутствие хлеба, все же не внушали благоговения. Бабушка, главная представительница еврейского Бога, была необъяснимо сурова и к тому же явно не любила мою маму. Как правило, после каждой их встречи у матери с отцом возникали перебранки. Если мы с братом еще не спали, родители старались говорить по-еврейски, но словосочетание «дайне маме» было понятным и произносила его мама то с ненавистью, то с насмешкой. Отец распался, орал «дурра», иногда слышались шлепки пощечин. Она истерически кричала «убийца!» и проклинала весь его род. Мы с Саней начинали реветь, и отец уходил, с грохотом швыряя входную дверь.

Так, Бог нашей родни, Бог тех бородатых стариков в длиннопольных сюртуках, которые толпились у синагоги, разговаривали на

⁵ Он побывал в белой и в красной армии, командовал фортком в Севастополе, украл дочь бывшего царского офицера, дезертировал, был уголовником, потом явился с повинной, где-то служил, а бабка обратила его жену в еврейство и даже водила ее в синагогу. Потом он образумился. Учился. Стал инженером «по сельхозмашинам». Погиб в 1941, в первые месяцы войны.

распев и размахивая руками, не вызывал у меня ни любви, ни почтения.

Мама иногда говорила насмешливо или презрительно: «Тише, что за гвалт, не устраивайте тут синагогу...» — «У такого-то или такой-то противный акцент...» — «Умойся, ты грязен, как местечковый капцан...» — «Сними шапку, ты не в хедере...» — «Не размахивай руками, как остерский жидок...» (в Остре родился отец и жили многие его родственники).

Она же с гордостью уверяла, что ее семья из старого раввинского рода, тогда как отцовская — «безграмотные шикеры», солдаты, сапожники и, в лучшем случае, мелкие лавочники. Отец обижался, сердился и возражал, что она все выдумывает, что ее дед был балагулой (извозчиком), а отец — конторщиком у помещика. А его родные плевали на любых раввинских предков. Они честно зарабатывали свой хлеб мозолистыми руками на мельницах и в мастерских.

Когда мама ссорилась с отцом, то каждый раз напоминала, что у него одна сестра крещеная, а брат — бандит и женат на «шиксе» (то есть, не еврейке) — и кричала, что его мать — ханжа, но своих новых «гойских» родичей любит и только ее, мою маму, ненавидит и попрекает нечистой посудой.

Слова «антисемит», «юдофоб» для нее были бранными, пугающими. Боннам, домработницам и знакомым она объясняла, что есть, мол, евреи, и есть жиды; еврейский народ имеет великую культуру и много страдал; Христос, Карл Маркс, поэт Надсон, доктор Лазарев (лучший детский врач Киева), певица Иза Кремер и наша семья — это евреи, а вот те, кто суетятся на базаре, на черной бирже или комиссарствуют в Чека, — это жиды; жаргон — это испорченный немецкий язык, он уродлив, неприличен, и ее дети не должны его знать, чтобы не испортить настоящий немецкий язык, которому их обучают. А древнееврейский — это прекрасный культурный язык. Сама она его не знала, но соглашалась с бабушкой и дедушкой, которые требовали, чтобы нас с братом учили древнееврейскому. Тогда же, когда я начал заниматься с Лидией Лазаревой, появился и учитель древнееврейского. Илья Владимирович Галант был

до революции профессором истории в Киевском университете. Но в те голодные годы он давал частные уроки иностранных языков и древнееврейского. Он казался мне очень старым, был рассеян, неряшлив; забывал то снимать, то надевать калоши; его пиджак был постоянно осыпан папиросным пеплом, он крутил тоненькие папироски дрожащими, узловатыми пальцами. Пенсне на тонком шнурке то и дело падало с большого синесизого носа, и на дряблых щеках топорщилась серая щетина. Начал он учить меня древнееврейской грамоте; она оказалась такой же скучной, как и гаммы Бейера, которые я разучивал, долгими часами брэнча на пианино. И сразу же не понравилось, воспринималось как нелепость, чтение шиворот-навыворот, справа налево.

Зато очень интересны были рассказы Ильи Владимировича. Начинал он просто излагать библейские предания, историю Иудеи. Но потом увлекался и, забывая об учебниках, о Библии, подробно говорил о Вавилоне, об Ассирии, о Древнем Египте, о древней Греции и Риме. А я благодарно расспрашивал, проверял сведения, почерпнутые из исторических романов. Так же подробно и увлеченно рассказывал он о битве при Калке, о Фронде, о Ричарде Львином Сердце, о сравнительных достоинствах Суворова, Наполеона и других полководцев, описывал, как были вооружены египетские и еврейские воины, афинские гоплиты и римские легионеры, рисовал осадные машины и боевых слонов... Илья Владимирович должен был учить меня еврейской религии, но он говорил, что Бог один у всех народов, что во всех религиях есть много предрассудков, но много и хорошего, что и Моисей, и Христос были великими пророками, и только наивные фанатики приписывают им божественность. Самым великим пророком для него был Лев Толстой, о котором он говорил с волнением, заметным даже для меня. И с гордостью показывал свою брошюру, — кажется, что-то об истории еврейского вопроса — предисловием к которой были письма Толстого и Короленко.

Дедушка и бабушка с огорчением убедились в том, что после целой зимы уроков профессора Галанта я не знал ни одной еврейской молитвы и не видел никакой разницы между Моисеем и Хрис-

том, — благо многие рассуждения Ильи Владимировича совпадали с тем, что говорила Лидия Лазаревна. Когда я ее спрашивал о Боге, она отвечала, что Бог, конечно, не старик с бородой, как на иконах и на картинках, а великий закон любви, идеал добра, та сила, которая позволяет различать, что хорошо, а что плохо.

— А что с нами будет после смерти, где находятся рай и ад, об этом поговорим, когда подрастешь, все это очень непросто...

Мне сказали, что Илья Владимирович заболел и больше не будет давать уроков. Новым учителем стал студент, который должен был обучать меня и древнееврейскому, и музыке. Долговязый, худой, очкастый, он постоянно утирал свой длинный розовый нос грязно-серым платком. Не помню, как он учил меня религии и что говорил о Боге. Главным в его уроках были уверения, что все евреи должны уехать в Палестину и создать свое государство. Он учил меня петь сионистский гимн и печальную песню на слова Фруга «Друг мой, я вырос в чужбине холодной, сыном неволи и скорби народной. Два достоянья дала мне судьба — жажду свободы и долю раба».

Но в то время я уже стал юком, умел петь «Интернационал» и был убежден, что сионистских скаутов-маккабистов нужно лупить так же, как «белых» поксовцев и «жовто-блакитных» токсовцев. Когда мечтал о путешествиях и странствиях, то, никогда о Палестине, а, прежде всего, об Африке, об Индии, о Южной Америке. Очень хотел поехать в Германию, где вот-вот должна была начаться революция, или в Америку, где небоскребы, ковбои, индейцы, негры, и тоже революция не за горами.

Нового учителя я так невзлюбил, что даже не запомнил его имени. Впрочем, и занятий состоялось немного. Несколько раз он больно щелкал меня по темени за то, что я не выучил заданного. Когда я сказал, что не хочу ехать ни в какое еврейское государство, он назвал меня идиотом, повторяющим чужие слова. Обиженный, обозленный, я сказал ему: — Если вы такой умный, чего же вы живете в Киеве и учитесь в киевском университете? Уезжайте в свой Эрец Исраэль, а я хочу остаться в Киеве. Это мой город. Я здесь родился...

Тогда он стал по-настоящему лупить меня и драть за уши. Я орал и отбивался. Прибежали мама и Ада Николаевна. Мама кричала: «Убийца! Зверь! Я не позволю трогать моего ребенка грязными лапами. Чтоб ноги вашей не было в моем доме, сопливый мела-мед!» — и еще что-то ругательное по-еврейски.

Он злобно отвечал ей по-еврейски и ушел, рывком захлопнув дверь.

Мама побежала согреть воду для ванной — отмыть меня от заразы. Ада Николаевна ахала и причитала:

— Das ist ein Henker! Ein Pharissäer! Ein böser pharissäischer Henker!⁶

Я не успел поверить в сурового еврейского Бога. И как-то не-приметно отвык от величественного, нарядного православного Бога. А лютеранский Бог, менее пышный, но более снисходительный, почти семейный «либе Готт», легко уживался с той светлой обезличенной религией добра, которую внушали уроки Лидии Лазаревны и Ильи Владимировича.

Когда я впервые прочел «Песню радости» Шиллера —

Brüder, über dem Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.

— то воспринял это как ликующую истину, как выражение наивысшего смысла жизни. Моим Богом стал добрый отец всех людей, всех племен и народов, — Бог Льва Толстого и «Сна Макара», Шиллера и Диккенса.

Ему был сродни Христос из немецких пересказов Евангелия и Сакья Муни из стихотворения Мережковского, который падал ниц перед голодными и нищими. Этот единый и многоликий Бог помогал мне избавляться от смутных мыслишек, от темных чувств, порождающих неприязнь к людям, которые говорят на другом языке, верят другим богам, живут по другим обычаям, принадлежат иному роду-племени.

⁶ Палач! Фарисей! Злой фарисейский палач!

2

В четвертой группе я стал постепенно свыкаться со школой. Но именно только свыкаться. Главная жизнь была не в школе, а в отряде, во дворе, на улице, в садах — Золотоворотском, Николаевском, на Владимирской горке, в ботаническом парке... Там мы играли в футбол, в «чижа» (один выбрасывал острую деревянную палочку из гнезда в земле, ударяя по ней второй палкой и стараясь, чтобы «чиж» летел подальше; другие должны были подкинуть его прямо в гнездо, а бросавший отражал), в «казаков-разбойников»; дрались, обменивались книжками... В школе тогда мы еще только учились. Правда, в каждой группе был выбранный староста и каждый день назначался дежурный. Но школьная общественная жизнь началась для меня только с пятой группы.

А самым значительным событием 1923 года, двенадцатого года моей жизни, стала потеря Бога.

Утерял я его, увы, при крайне несерьезных обстоятельствах. Несколько одноклассников пришли ко мне в гости. Мы стали играть в прятки — и Зоря, с которым мы вдвоем заползли под кровать, в душном запахе пыли и старой обуви, сообщил мне, что Бога нет. Меня знобило от скорби и ужаса. Зоря говорил шопотом, серьезно, убежденно. Он узнал это от своего старшего брата и еще от каких-то заслуживающих доверия лиц. Зоря — щуплый очкарик — считался самым образованным в школе; он собирал камни, собирал гербарии, коллекционировал марки, больше всего любил читать про зверей, птиц, вулканы, кристаллы. На его этажерке стояли огромные тома собственного Брэма; на подоконнике — аквариум; в клетках жили птицы — канарейки, щеглы, попугаи, а в кладовке в ящиках черепаха, еж и еще какая-то живность.

Отец Зори, врач и известный киевский эсер, в то время был на Соловках; мать — тоже врач — казалась мне чрезвычайно суровой. Сыновей она называла не иначе, как босяками, бандитами, архаровцами, золоторотцами и т. п., и постоянно их наказывала: запирала в комнате — они удирали через окно по водосточной трубе, остав-

ляла без обеда и ужина — они дочиста обирали буфет и кухонные шкафчики, колотила чем попало — они орали нарочно громкими голосами «убила, умираю!» и ловко увертывались. Старший Гриша учился в профшколе, уже гулял с девочками, был вожатым у скаутов, потом у юков, переплывал Днепр, боксировал, ездил на велосипеде и прыгал с крыши двухэтажного дома — словом, являл нам абсолютный идеал мужских доблестей. Младший Ося учился в третьем классе, но знал такие ругательства и похабные частушки, которых не знал даже Гриша, матерился в рифму, любил сам драться и стравливать других ребят; самыми частыми в его речи были выражения «стукнуться», «дать по сопатке», «пустить юшку»...

Зоря был слабее братьев, но яростно лез в драку, если они посягали на его сокровища. Я уважал в нем ученого, а ему были любопытны мои политические рассуждения и стихи, которые я обильно сочинял, подражая Лермонтову, Некрасову, Надсону и Демьяну Бедному. Были у нас и общие увлечения — Жюль Верн, Майн Рид, история России и особенно Народная Воля. Зоря очень любил отца, уверял, что тот лично знал Желябова и Веру Фигнер, говорил, что отец за советскую власть, но только без коммунистов; Ленина уважает, а Троцкого нет...

В тот знаменательный день под кроватью Зоря начал объяснять мне, что Бога нет и никогда не было, люди произошли от обезьян, а вообще все живое из клеток и амёб. Я и раньше знал, что в Библии много путаницы, что Адам и Ева и Ноев ковчег сказки. В детской энциклопедии и в неоспоримых томах Брокгауза и Ефрона были статьи с картинками, рассказывающие о Вселенной, о древних эпохах, бронтозаврах, ледниках. Я уже знал, что мир бесконечен, и очень боялся этого. Особенно страшно бывало в темноте перед сном. Или в деревне вечером, под огромным открытым небом, когда вдруг думалось о холодной беспредельности там, над звездами. Бог был единственным утешением.

Пытаясь возражать Зоре, я ссылался на Шиллера и на Пушкина. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...»

Зоря не знал Шиллера и тем более решительно отверг его, а Пушкина призвал в союзники. «Никакого Бога нет, одна равнодушная природа». Он был неумолим. «Стихи — это только фантазии, выдумки, а наука — это правда, и наука доказала, что Бога нет».

Лидия Лазаревна, к которой я пошел, потрясенный жестоким открытием, опять стала объяснять, что Бог — это нравственный идеал, добро; опять рассказывала про Толстого — царство Божие внутри нас; говорила о силе гармонии, управляющей движениями звезд и планет. Но так она лишь подтверждала урок моего первого наставника в атеизме. Ведь вовсе не это люди называют Богом. Исчез тот всеобщий, добрый и мудрый отец, в которого я верил еще и после ее уроков.

Но я не рассердился на учительницу. Она же не просто обманывала меня, а жалела, хотела предохранить от холодного ужаса бесконечной пустоты, лишенной Бога, от горестного сознания своего ничтожества и бессмысленности жизни: вот умру, закопают, сгнию и все — ничего больше.

Но я старался мужественно преодолеть этот страх. Когда мы приехали на елку к Майерам, и я торжественно сообщил Лили, что наука отменила Бога, она испугалась, затыкала уши, едва не плакала. «Это грех, очень большой, я не хочу слушать, ты не должен так говорить». А потом обещала, что будет молиться за меня, чтобы я исправился. Она ни разу не пыталась ни спорить, ни возражать, просто не хотела слушать. Рядом с ней я чувствовал себя умудренным жизнью и наукой, сильным и храбрым. Но тайком, не признаваясь себе, радовался ее обещаниям молиться. Все-таки это могло оказаться полезным...

После Нового года мы вернулись в город, и к нам приехали из Соболевки погостить Сережа с отцом. Я с гордостью водил друга по городу, показывал Богдана, Владимирскую горку, Золотые ворота, памятники княгине Ольге, Александру Второму, Николаю Первому; жалел, что зима, что он не видит настоящего зеленого Киева, настоящего Днепра.

Сереее я тоже, разумеется, сообщил о своем безбожии. Он не столько испугался, сколько возмутился. В отличие от робкой Лили, он спорил, ссылался на книги, на примеры из истории, из жизни, на случаи исцеления после молитв, на обновление церковных куполов, на чудотворные иконы... Мы спорили жестоко и, хотя я был хозяином, принимавшим гостя, и поэтому пытался сдерживаться, пару раз даже подрались. В то время, подражая какому-то книжному герою, я стал в драках угрожающе скалить зубы и прикусывать нижнюю губу. Сереее так стукнул меня по челюсти, что я высек зубом кусочек мяса и наглотался крови. Обозлившись, я на мгновение забыл о законах гостеприимства и разбил ему нос. Мы быстро помирились. Сейчас, когда я бреюсь, едва заметный шрам иногда напоминает, как я потерял Бога... Я вижу темный зимний вокзал. Сереее с отцом уезжают. Мы с ним целуемся печально, куда холоднее, чем при встрече, и он шепчет сердито, заклиная:

А ты помни: Бог есть, Бог есть, ты должен верить. И я действительно поверил, но уже в совсем других богов.

3

Вечером пришел дедушка, встревоженный: «Ленин умер. На Думе черный флаг повесили». Я закричал: «Это опять враки. Сколько раз уже такое говорили!» Отец дал мне подзатыльник: «Не смей дерзить дедушке, болван! Пошел вон!»

Я ушел в детскую, лег на кровать и ревел в подушку. Я верил, что горюю о Ленине, что ненавижу буржуев, которые хотят его смерти, ненавижу отца и деда. Но в тот же вечер все оттесняли обычные, предсонные мечты, воинственные и тогда уже эротические. Я командовал боевым кораблем, преследовал пиратов, открывал новые земли, вроде таинственного острова Жюль Верна, цветущие в неизвестных теплых течениях, и обязательно спасал голубоглазых девушек с длинными золотистыми локонами, в белых кружевных

платьях, перепоясанных широкими синими шелковыми лентами. Раньше такие вечерние мечты бывали жестокими: я бил девочек за какие-то вины по нежнорозовым ягодицам, а они каялись, плакали, целовали меня. Позднее я уже спасал их от побоев, наносимых другими... В скаутскую пору мне объяснили, отчего рождаются дети. Сначала было противно до тошноты. И почти болезненно стыдно от мысли, что все взрослые так. И мои родители, и бабушка с бабушкой. Так же, как собаки, на которых мне показывали «просветители», как было нарисовано углем на стенке в дальнем дворе... Не хотелось верить, и я спросил у Лидии Лазаревны, единственной взрослой, которой верил. Она долго рассказывала, краснея и сморкаясь, о цветах, тычинках и пестиках, о законах природы. Говорила, что подробности мне знать ни к чему, что в свое время все узнаю, но должен запомнить, что только невежественные, грязные люди могут произносить гадкие слова и смеяться над прекрасной тайной двух людей. Ведь это любовь. Из этого возникают дети, семьи, продолжается человеческий род...

Слушал я жадно и благодарно, с чувством радостного облегчения, словно избавлялся от липучей пакости. Но уже несколько минут спустя я смотрел на ее широкие, мягкие бедра и вспоминал ее щуплого мужа — инженера, молчаливого, всегда глядевшего словно бы удивленно сквозь круглые очки, приветливо улыбаясь из-под щеточки усов. И мерещилось: вот и они так же, — тычинки и пестики...

Предсонные мечты, — когда с головой под одеялом и в плотно зажмуренных глазах пестрые искры, цветные пятна, узоры, а потом живые картинки, — становились разнообразнее. Желанные девушки появлялись уже не только с распущенными золотыми волосами и в белых кружевных платьях, но и такие, как вожатая Аня — стриженные, отмахивая пряди со лба, в белых апашках и синих плиссированных юбках. Я целовал их и спал с ними в одной постели, хотя все же не совсем ясно представлял себе, что при этом нужно делать. И я уже не просто командовал кораблями, преследуя пиратов и открывая неведомые острова, я воевал за революцию, строил барри-

кады в Париже и в Берлине, становился вождем американской «народной воли»...

В ту январскую ночь я приезжал к Ленину из революционной Англии, завоевав сердце королевской дочери, этаким красным д'Артаньяном, и Ленин назначал меня Наркомвоенмором Англии, командующим всем флотом. Он очень хвалил меня: «Ты молод, но доказал, что достоин». И Ленин говорил обо мне самыми лучшими словами Лидии Лазаревны: «На стоящий революционер — идеалист! Благородный, бескорыстный юноша». А я гордо проходил мимо смущенно молчавшего Троцкого. Вожатая Аня смотрела на меня влюбленными глазами. Сережу я назначил своим первым помощником, осыпал благодеяниями всех ребят из нашего двора, из группы, из отряда...

Утром по дороге в школу я увидел на первом же углу толпу у афишной тумбы. Лист в черной рамке: сообщение о смерти Ленина.

В школе вместо первых уроков несколько групп объединились в музыкальной комнате и мы разучивали песни: «Вы жертвою пали», «Замучен тяжелой неволей» «Не плачьте над трупами павших бойцов», повторяли «Интернационал» и «Заповит». Песни были печально торжественные. Некоторые девочки плакали. Но после большой перемены начались обычные уроки. По расписанию был французский. Месье Картье — высокий, с большим овальным лицом, великолепным пробором, уже издали источал запах одеколона. Мы его почему-то прозвали «картошкой» и придумали нелепые стишки: «Месье картошка, влюблен немножко, пэт этр, фенэтр, сантиметр». На уроке я стал сочинять стихи о Ленине. И строфа за строфой показывал их Зоре. Стихотворение было высокопарным и невероятно длинным. В первом варианте оно начиналось: «Погиб наш вождь, невольник чести». Зоре стихи нравились, и он давал дельные критические советы. Так, он сразу же отверг «невольника чести».

Месье Картье заметил нашу переписку, — мы сидели за разными столами (в школе вводили Дальтон-план и не было парт), —

и выхватил у меня исписанные листки: «Кес ке сэ? Пошему ты опять мешаль урок?»

Я смотрел на него страдальчески и гордо: «Это стихи на смерть Ленина. Может быть, вы знаете, что вчера умер наш вождь товарищ Ленин?»

Картье смутился, вернул мне листки и отошел, пробормотав, что надо все-таки вести себя прилично, тем более, в такой печальный день.

В отряде мы еще долго читали вслух стихи и рассказы про Ленина, пели траурные песни. Ребята постарше рассуждали о том, кто теперь будет вместо него. Некоторые называли Троцкого. Им возражали, что он даже на похороны не приехал. Называли Калинина, Луначарского, тогда я, кажется, впервые услышал имена Рыкова, Зиновьева и Каменева. Но о Рыкове чаще всего говорили непочтительно: пьяница. Поэтому и водка — «рыковка».

Летом 24-го года мы жили на даче в Дарнице. Фамилия хозяина дачи была Шевченко. А его сына, моего ровесника, звали Тарас, чем он очень гордился. Наш дачевладелец был лишенцем — «куркулем», кроме того дома, который он сдавал на лето, ему принадлежали еще две хаты, мельница, и никто не знал точно, сколько у него коров, копей, овец. Когда я спрашивал Тараса, тот отвечал:

— Скильки треба, стильки и е. А я не знаю, бо то не вси батьковы, а есть которых тетки поставили у нас, бо чоловіки в москалях, ну, значить, в армии.

Тарас объяснял, что куркуль — это поганое слово, придуманное босяками, лодырями из комнезама⁷.

— Ленин говорил: «Даешь культурных хозяев!» — хотел, чтоб селянин был культурным. Мой батько был в червонной армии, героем был, с пулемета стрелял, ранетый сколько раз, а потом стал культурный хозяин. Вот у него и молотарка, и сепаратор, и сеет не на три поля, а как по культуре надо — на семь полей. Ну, а комнезамаи против культурных селян. Вот и дразнятся «куркуль». Ленин

⁷ «Комитет неможлих селян». В России комбед, т. е. комитет бедноты.

был за селян, за Украину. А комнезами и Троцкий за городских, за москалей...

Тарас рассказывал, когда батько услышал, что Ленин умер, то сел вон там на бревнах в углу двора, и целый день плакал и ни до кого не говорил.

Отец Тараса был угрюмо суров: висячие серые усы, красно-бурые, клешнистые руки. Однажды за какие-то грехи Тараски он ухватил его за волосы и стал хлестать кнутовищем так яростно, что тот, взвизгнув разок: «Ой, тату, не буду», — потом лишь надрывно орал на одной нескончаемой пронзительной ноте. Отброшенный коротким злым пинком, он забился под веранду и долго тоненько всхлипывал: «Вси кости перетрощив...»

Я дрожал от ужаса и жалости и хотел немедленно бежать в милицию. Но Тараска обреченно шептал, хлюпая носом: «Не смий, його вся милиция боится. Вин може всех поубивать, вин як Махно...»

И этот грозный человек, бесстрашный и беспощадный, как те запорожцы и гайдамаки, о которых я читал у Гоголя, Шевченко и Сенкевича, плакал, когда умер Ленин. Он говорил моему отцу, с которым иногда советовался, называя «гражданин агроном» и стараясь произносить слова по-русски:

— Якбы Ленин был живой, он бы дав нам настоящую волю хозяйствовать. Он понимал и уважал сельского хозяина. А эти, як их там, цыковы-рыковы, что они понимают? Троцкий тоже до нас неласковый. Он городской, военный. Конечно, там на фронтах он был герой, главком. Это я добре знаю, сам воевал и в Петрограде, и на Перекопе, и аж в Сибири. Но теперь эти цыковы-рыковы уже и Троцкого наладили, сами царевать хочут. Значит будет разруха и в селе, и в войске. А без села и без войска держава не стоит. Тут английцы и французы, и японцы, и поляки нас голыми руками поберут.

Потом отец несколько раз пересказывал своим приятелям этот разговор как пример народной мудрости. Он вспомнил о мрачных предсказаниях нашего дачевладельца, когда в газетах было опубликовано ироническое письмо Бернарда Шоу советскому правитель-

ству и злой рифмованный ответ Демьяна Бедного, который называл Шоу «вяленой воблой» и восклицал: «До какой же ты подлости довялена!». Я, разумеется, был целиком на стороне Демьяна, почитаемого мною автором «Главной улицы». Наша группа выучила эту поэму наизусть и декламировала ее на разные голоса со школьной сцены и в день годовщины Октября, и в день Парижской Коммуны, и 1-го Мая, и в первую годовщину смерти Ленина. Правда, я не принадлежал к тем энтузиастам, которые считали это самыми лучшими из всех стихов, когда-либо написанных. Я соглашался, что стихи у Демьяна Бедного, возможно, лучше, чем у Пушкина и Жуковского, — ведь те были аристократы, — но у Лермонтова и особенно у Некрасова, пожалуй, не хуже получалось.

В ту зиму я в первый раз в жизни попал в оперу, слушал «Демона», после чего то и дело распевал «не плачь, дитя, не плачь напрасно» и «будешь ты царицей мира», а в литературных спорах отражал оппонентов сокрушительным аргументом, что стихи, которые стали оперой, несомненно значительнее таких, которые остаются только стихами. «Сказка о царе Салтане» и «Евгений Онегин» восстановили в моем сознании пошатнувшийся было авторитет Пушкина.

Но Демьян Бедный, даже уступая авторам оперных стихов, был неизмеримо выше какого-то нахального англичанина. Несколько книжек Шоу, оказавшихся в отцовском шкафу, были заполнены малопонятными пьесами и многословно скучными статьями. А союзник Шоу — отец Тараса, был куркулем, и я уже знал, что это кличка сельских буржуев. Но моя защита Демьяна Бедного, обличения дарницкого Шевченко и далекого Бернарда Шоу закончились тем, что отец надавал мне пощечин: «Болван! идиот! Повторяешь, как попка, газетную брехню! Попка-дурак! Не смей читать эти вонючие газеты!»

Мать заступилась, как всегда с воплями и слезами: «Ой, ты убьешь ребенка! Чего ты от него хочешь, ведь его этому учат!»

— Ах, этому их в школе учат! Так я тебя лучше в сапожники отдам!

Осенью 24-го года я перешел в пятую группу в другую школу — в «Единую трудовую школу № 6»; она помещалась в здании бывшей реальной гимназии, напротив маленького сквера, где тогда еще стояла белая статуя княгини Ольги и по обе ее стороны такие же белые изваяния монашек и монахов.

В отличие от немногочленной школы Лещинской, где всем управляли директор и учителя, — это называлось «старорежимный прижим», — новая школа была огромной, многочисленной и привольной. Одних пятых групп было четыре («а», «б», «в», «г»). Я попал в группу «б», которая, разумеется, оказалась лучшей в школе, самой дружной, самой сознательной и, конечно, именно в ней были самые боевые пацаны.

Директор школы товарищ Маркман до революции был сапожником. Он говорил невнятно, картаво и певуче. Поэтому выступал редко и немногословно.

— Ну вот, издесь все в общем и целом сказали пхавильно. Значит, надо, чтобы сообща, как следует, учеба по-ленински, значит. И чтоб дисциплина и успехи. И на отлично, значит. И учком тоже должен, значит, обеспечить дисциплину и учебу. И чтоб учителям не ставить палки в колеса, значит. Никакая демагогия, никакая пахтизанщина, никакой хулиганизм нельзя допускать. Нам хабочий класс и советская власть создают какие условия! Значит, единая тху-удовая школа. Учебные пособия. Помещение. Вот буфет для питания, высшее качество. Мастехские имеем. Учком, свое самоуправление. Значит, даешь учебу. Сейчас надо уже не даешь Вахшаву, а даешь учебу. Это, значит, надо понимать, надо иметь сознательность школьническая, ну, школьная, такая, то есть всеобщая сознательность по заветам Ильича, значит, даешь учеба на отлично...

Настоящим хозяином школы был завуч Николай Иванович Юдин, оставшийся еще от реальной гимназии. Он преподавал физику в старших группах. А его жена, сухонькая, тонкогубая фран-

чуженка, преподавала географию с тех пор, как отменили уроки французского.

Когда «проходили» Египет, она рассказывала, как Наполеон, воодушевляя своих солдат, говорил о том, что «сорок веков смотрят на нас с высоты этих пирамид». И потом обязательно спрашивала: «А ты помнишь, что сказал император Наполеон о пирамидах?» и «Почему это сказал император Наполеон?» — и сладенко улыбаясь, кивала, когда отвечали правильно. Я ответил урок сносно, однако на вопрос о Наполеоне возразил:

— А зачем это нужно повторять, что сказал какой-то император? Он был угнетатель народа, эксплуататор, контрреволюционер и ни при чем к географии.

Маленькое остренькое личико учительницы покраснело, румянец был влажный, гневный.

— Ты говоришь глупость. Император Наполеон был великий гений.

— Он был злой гений, и никакой не великий, а контрреволюционер, белогвардеец, он французскую революцию в крови утопил.

— Это неправда, это глупый ложь. Ты глупый, дерзкий мальчишка. Уходи из кляс.

— За что уходи, я урок знаю.

— Уходи из кляс, я буду тебе ставить неуд.

— Ах, так! Значит, неуд за то, что я не признаю вашего Наполеона, да еще из класса уходи. У нас тут не старорежимный класс, а группа, советская школа. И нам не надо никакого Наполеона, никакой контрреволюции.

— Уходи из кляс, сейшас уходи, немедленно! Ты есть дебошир, ты есть анаршист...

Теперь она уже кричала, стуча по столу маленьким кулачком, и в пискливом голосе дрожали слезы. А я чувствовал себя все сильнее и азартно наглед.

— Ладно, я уйду! Но не один. Ребята, кто против старого режима, давай за мной. Пусть она тут остается со своим Наполеоном.

Почти все пацаны и даже кое-кто из девочек с веселым гудением ринулись к двери. Урок был сорван. Меня в тот же день вызвали на учком, пришли Маркман и Николай Иванович, был долгий спор, за меня заступался представитель шестых групп Филя Фиалков, а председатель учкома Толя Грановский, — он был уже комсомольцем, носил кожаную куртку и огромную кепку, назвал меня идиотом с партизанскими ухватками, за что я возненавидел его на всю жизнь. Но и сам себе не признавался в этом, так как чтил его величие, когда он так уверенно, угрюмо председательствовал на собраниях и хриповато, надсадно ораторствовал, призывая к сознательности, к смычке с деревней, ко всеобщему вступлению в ряды МОПРа или общества «Друг детей».

Учком вынес мне выговор за срыв урока, но отметил и неправильную политическую линию преподавательницы. Вскоре после этого собрания меня выбрали в учком и я стал членом редколлегии общешкольной газеты «Ленинская искра». Кроме того, как пионер, я участвовал и в сборах пионерского «форпоста». Стенгазетой управляли девочки из 7-го класса Инна Антипова и Таня Юрченко; Инна — светло-русая, стриженная, писала стихи, поражавшие меня великолепием составных слов: «динамит-кличи», «энерго-взлеты», «победо-май». Таня была рослой, крепкой физкультурницей, с каштановой косичкой и чуть раскосыми темными глазами.

После долгих колебаний, — в кого из двух, — я влюбился в Таню, однако, не смел признаться. Несколько раз по вечерам я рвал цветы на клумбах городских садов, ловко укрываясь или удирая от сторожей. Опасность придавала особую значимость букетам, которые я потом засовывал в ручку двери Таниной квартиры и, позвонив, стремительно удирал. Когда на следующий день в комнате учкома, где мы делали газеты, Таня рассказывала, что опять какой-то неизвестный подкинул огромный букет цветов, а мама дразнит ее и называет неизвестного почему-то печальным рыцарем, я старался не глядеть на нее, краснел, потел, делал вид, что не слушаю, и боялся упустить хоть слово... Год спустя, уже многоопытным парнем, испытавшим первые любовные разочарования, я встретил Таню,

которая после семилетки поступила в профшколу, и признался, что это я носил букеты. Она смеялась, сказала, что сама догадалась, «но нельзя же девочке спрашивать». Три года спустя я узнал, что Таня утонула, переплывая Днепр, полночи плакал.

Иногда в поезде вечером, проезжая незнакомые места, вдруг замечаешь освещенное окно, силуэт девушки, и на мгновение уверен вот оно, счастье; сейчас бы соскочить на ходу, пойти к ней. А потом несколько минут саднит печаль. И много времени спустя еще вспоминается то окно и та неведомая девушка, каждый раз по-другому прекрасная, единственная...

В учкоме и на форпосте моими главными делами были стенгазета и борьба за дисциплину. Мы должны были заботиться, чтоб не дрались на переменках, не убегали с уроков, не били стекол, не воровали в буфетах пончиков. Учкомовцы по очереди дежурили — т. е. расхаживали по коридорам и по двору, разнимая дерущихся, успокаивая слишком резвых и шумных пацанов из младших групп.

Эти милицейские обязанности я не любил не только потому, что иногда самому доставалось от более сильных нарушителей, но еще и потому, что очень трудно отделить усилия охранителя порядка от обычной драки, если тебе тычут кулаком в скулу или под ребра. Как тогда ограничиться увещаниями и призывами к сознательности? И, всего труднее было соблюдать справедливость. Самые отчаянные «бузотеры» и «битки» Сева Морозов, Петя Вильскер и Коля Сивачев учились в моей группе — причем Петя и Коля были моими «корешками» и родственниками моего лучшего друга Коли Бойко. Все они снисходительно иронически относились к общественной деятельности. Их занимали главным образом футбол, Нат Пинкертон, летом Днепр, а зимой коньки и во все времена года кино: в какой клуб легче «протыриться», т. е. пройти без билета, чтоб в десятый раз посмотреть Гарри Пиля, Дугласа Фербенкса, «Красных дьяволят» или «Трех мушкетеров».

Коля Бойко читал те же книги, что и я, любил исторические романы и душевные стихи. Мои учкомо-пионерские дела он то называл «бузой» вроде собрания марок, то вдруг распаялся гранди-

озными и неисполнимыми проектами усовершенствования, чтобы были свои клубы, оркестры, живая газета, библиотека и даже общежитие-коммуна. С Колей можно было всерьез толковать на политические темы. И чаще всего наши взгляды совпадали. Мы безоговорочно почитали величие Ленина, были убеждены, что Советская Власть самая правильная, самая справедливая власть на земле, а большевики самая лучшая партия. Так же думали и в то же верили, пожалуй, все наши товарищи в школе и в отряде. Политические разногласия возникали только по частным вопросам — кто важнее: Троцкий или Буденный, правильно ли, что советское государство торгует водкой, нужно ли учить в истории про царей...

5

К Троцкому я впервые испытал чувства приязни, когда читал в школьной хрестоматии «Освобожденный труд», в чьих-то воспоминаниях о гражданской войне, как доблестный наркомвоенмор вдохновлял своими речами бойцов, бесстрашно и находчиво командовал, а после боя обнимал и целовал красноармейцев, не имея для них других наград. В книге Ларисы Рейснер «Фронт 1918 года» Троцкий предстал уже вовсе легендарным героем. Он вместе с охраной своего поезда отразил налет казаков, забросав их консервными банками, которые те приняли за гранаты и бежали, подставляя спины меткому огню малочисленных, но хладнокровных стрелков.

Прозу дополняли стихи. Моим любимым поэтом после Демьяна Бедного в то время стал Есенин; меня восхищали и его соблазнительно грешные, кабацкие, хулиганские стихи и героические — «Повесть о великом походе», «Баллада о 26-ти». В «Повести» были слова, которые впоследствии исчезли из новых изданий: «Ленин с Троцким наша двойка, ну-ка пробуй-ка, покрой-ка... Ой, ты атамане, не вожак, а сотский, и зачем у коммунаров есть товарищ

Троцкий? Он без слезной песни и лихого звона приказал коней нам наших напоить из Дона».

Словесник Владимир Александрович Бурчак был похож на портреты Шевченко — лысый, с густыми седеющими запорожскими усами и густыми бровями. На вид он казался суровым, но в действительности был добродушен и наивно хитроват. Он так же, как Лидия Лазаревна, любил Некрасова больше, чем Пушкина. Но Лидия Лазаревна, посетовав на то, что Пушкин писал «нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», могла сразу же вслед за этим добрый час читать пушкинские стихи, утирая слезы восторга... А Владимир Александрович только иногда «зачитывал» несколько строф для примера и говорил сердито:

— Стихи у него, конечно, прекрасные, очень прекрасные, но крепостных он имел и на волю не отпускал. А герои у него кто? Такие же господа, как он, паны и панычи, те самые, кто мужиков пороли и продавали, как скот, на собак меняли. Мазепу и Пугачева он как показал? Негодяями и преступниками. А они кто были? Народные герои! За свободу воевали. Зато царь Петр у него как показан? Почти святой! А ведь от Петра-то и пошло настоящее самодержавие, всеобщая солдатчина, жандармы...

Это звучало убедительно, хотя и вызывало трудные сомнения, Сколько я себя помнил, я любил Петра, царя-героя. Любил его, благодаря Пушкину, благодаря золотообрезной книге из серии «Жизнь замечательных людей», благодаря Брокгаузу и Ефрону, романам Данилевского и Мордовцева и, наконец, благодаря опере «Царь-плотник». Царя изображал друг моего отца Николай Николаевич Орешкевич. Он красиво пел и замечательно лупил голландских солдат табуреткой и даже столом. В Петре соединялось множество дорогих и важных для меня свойств: он был храбр, добр, любил Россию, — «о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога», — и в то же время любил немцев, называл города немецкими именами...

Но потом я узнавал о нем и дурное. У калитки Золотоворотского сада сидел молодой слепец-лирник. Высокий, тяжелый лоб нависал над маленьким треугольным лицом. Светлая, вышитая, «гапто-

ванная» сорочка виднелась из-под потертого городского пиджака. Серая барашковая шапка лежала на тротуаре на аккуратно расстеленном рушнике с черно-красными узорами. В шапку бросали деньги. Вертя ручку старой коробчатой лиры, которая позванивала печальными и тоненько дрожащими медно-проволочными всхлипами, он не то чтобы пел, а скорее выговаривал напряженно повышенным гортанным речитативом старинные «Думы» и стихи Шевченко, заунывно вытягивая концы строк...

«Ой, ляхи и татары дывылысь, жахалысь, як Петрови злые каты над нами знушались. Як погналы на болота столыцю робыты и заплакалы по батьках голодныи диты».

На Владимирской горке другой слепец, старый седоусый бандурист в холщевой драной сорочке и холщевых штанах тоже vypевал стихи Шевченко вперемежку с думами про Морозенко, про дивку-бранку Марусю Богуславку. И тоже пел скорбно-сердито и о Петре, и о Екатерине Второй: «Катерина, вража дочка, що ж ты наробыла...»

В школе мы учили историю по книжечкам-выпускам «Русская история» Шишко. На блекло-синих, блекло-зеленых и мутно-красных обложках был эсеровский девиз: «В борьбе обрешь ты право свое». В этих книгах описывались все цари как тираны, самодуры, дураки и развратники. Петру было посвящено несколько очень злых страниц, на которых попадались и вовсе непонятные мне ругательства: садист, сифилитик, параноик... Пришлось обращаться за помощью к энциклопедии. Правда, мое доверие к урокам истории существенно ослаблялось тем, что всем нам не нравился преподаватель — плешивый желтолицый старик с грязно-седой бороденкой и мокрым лягушачьим ртом. Он плохо слышал и, спрашивая урок, вызывал к столу, требовал, чтобы говорили громко, хватал за плечи и придвигал к себе цепкой липкой рукой. А девочек иногда и вовсе не отпускал, глядя плечи, хихикал. «Так, деточка, так, а за-сим расскажи, откуда пошла поговорка «вот тебе, бабушка, и Юрьев день»? Этот старый слюнявый козел тоже ругал Петра. Как тот

поганный дьяк, о котором писал Есенин: «у Петра с плеча сорвался кулак. И навек задрал лапти кверху дьяк».

Царь Петр вызывал сомнения, а Наполеон — тем более. Книга Эркмана-Шатриана «Волонтер 1813 года», стихи Лермонтова, романс «Во Францию два гренадера», который очень выразительно пели Николай Орешкович и мой отец, представляли Наполеона не только великим императором, но и хорошим человеком, доблестным «маленьким капралом». Но я прочел «Войну и мир». Первый раз читал, опуская французские тексты, описания природы и пересказы, кто что думает. Но, не отрываясь, упоенно, читал о событиях — Толстой описал Наполеона куда убедительней, чем Шишко, который просто бранил узурпатора, душителя великой революции, кровавого идола солдатни.

И я решил, что несправедливо сравнивать с ним нашего геройского наркомвоенмора.

Осенью 1924 года появились статьи об «Уроках Октября», в них о Троцком писали зло и неуважительно, доказывали, что он всегда был противником Ленина, меньшевиком. Статьи Зиновьева и Каменева меня не убедили, они были многословны, иногда просто непонятны, к тому же они сводили личные счеты. Троцкий еще раньше напомнил, что Зиновьев и Каменев накануне революции трусили, пошли против Ленина, вот они и обозлились и «едут на обратных».

Именно тогда я впервые услышал имя Сталина. Из всех, кто писал против Троцкого, он мне показался наиболее понятным. Но он доказывал, что Троцкий не был великим полководцем, а я не мог этому поверить после «Освобожденного труда», после Есенина и Рейснер. К тому же Сталина опровергал сам Шурка Лукашук, бывший ординарец Котовского... Он учился в седьмой группе, был старше всех, — ему уже исполнилось семнадцать.

Широколицый, скуластый, чубатый, он носил матросскую форму, распахнутую почти до пупа и брюки-клевш необычайной ширины и длины, так, что ботинок не было видно. Фуражка-блин то непонятно как лепилась к затылку, то надвигалась на самый нос, широкий, угрястый, лихо вздернутый. Он плевал необыкновенно

шумно, с присвистом и на огромные расстояния, сморкался в два пальца, ходил «по-морячки» — вразвалку, круто сгибая колени. На школьные вечера он нацеплял кобуру с наганом, которая свисала на правую ягодицу. Шурка был сиротой, жил в детдоме и, как уверяли его почитатели, каждое воскресенье ходил обедать и пить чай к Котовскому. В школе у него не было друзей. Нас, «мелких шибздигов», он презирал величаво, не снисходя даже до затрещин. Активистов, уговаривавших его выступить с воспоминаниями, он отшивал безоговорочно:

— Нет, не буду трепаться. Григорий Иванович сам не трепет-ся и не уважает таких, кто «бала-бала-бала, мы — герои»... Возьми-те книжки и почитайте, там все написано, за Григория Ивановича и еще за кого надо.

В школе о Шурке рассказывали легенды: он из нагана за сто шагов убивает летящую ласточку... Наган у него дареный за храбрость, и поэтому он его может носить даже в школе... У него есть любовница! Кто-то даже пытался утверждать, что у Шурки есть незаконный ребенок.

Иногда в благодушном настроении Шурка заходил в учком или на пионерский форпост. Он садился на стол или на подоконник — так он, приземистый, мог на всех смотреть сверху вниз, и, засунув руки в карманы клеша, курил, ловко двигая папироску губами туда и обратно, или, зажав ее в одном углу рта, метко плевал через всю комнату в урну. Если учком обсуждал поведение какого-нибудь злого «волынщика», который сорвал урок, обругал учителя или дрался на переменке, Шурка иногда вмешивался и говорил хрипаво:

— Та шо его уговаривать, як слона. В гражданку мы таких шлепали. К стенке, и все. А теперь гнать надо. Хай идет в котел до беспризорников, если ему рабоче-крестьянская трудовая школа не нравится.

Несколько раз Шурка снизошел и до редколлегии, одобрил нашу стенную газету и даже похвалил мои сатирические стихи, которые я подписывал «Жало». Я был счастлив и старался выпросить его о прошлом. Он рассказывал, постепенно распаляясь.

— От раз послал Григорий Иваныч разведку до одного села. А те разведчики зашли только на край, в одну-две хаты. Напились там воды чи молока и вертают. Говорят, порядок. Пошли в село колонной, поэскадронно, з музыкой. А там банда. Махно. Как ушкварят из пулеметов... Японский бог! Наших, может, двадцать ни, двадцать два убитых, а сколько ранетых, так без счета. Ну, Григорий Иваныч, как положено: даешь боевой порядок! Захождение с флангов. Развернули тачанки с пулеметами. Батарея вдарила. Потом уже лавой. Рубай все на мелкие щепки!.. Взяли село... Тогда он зовет тех, которые в разведке были, кто живые остались. Через вас, говорит, погибли геройские товарищи. Через вас наша кровь марно потекла. За это вам кара: всех до стенки. Полный расстрел без всякой пощады. Там один хлопец был, ну трошки застарше меня. Григорий Иваныч его любил, сам воспитал. Смотрит на него, покраснел, еще больше заикается, чем как всегда. «Ты, каже, мне за сына был, я на тебя надежду имел... Но пощады тебе не дам». Комиссар тот пожалел хлопца. Каже: «Может, этого помиловать, как несовершеннолетние у него года». Но Григорий Иваныч только глазом зыркнул и зубами скрипнул: «Н-нет, каже, справедливость одна для всех. Стреляйте его в мою голову...» Ну и постреляли... А они что? Стояли молчки, понимали же, что виноватые. И Григорий Иваныч тот потом ночью плакал и еще целу неделю глаза кажно утро червонные были. Так переживал.

Несколько раз Шурка повторял рассказ о том, как сам Котовский отбирал бойцов.

— Наша котовская дивизия была самая славная на всю Украину, на всю Россию, да, може, и на весь свет. Геройская дивизия. Одно слово: непереможна, непобедимая. И скрозь до нашей дивизии шли добровольцы. И городские, и сельские. Кто босой, обдертый, голодный, а кто на своем коне со справным седлом, с карабином или с шашкой; с той войны сберег или отнял у кого. И еще мешок харчей везет. Григорий Иваныч сам принимал каждого и спрашивал: ты, значит, кто будешь, кто батько. зачем воевать хочешь? И за всегда давал такой последний вопрос: а в Бога веруешь? И если кто

скажет «верую», то Григорий Иванович говорил: тогда ты мне не подходящий. Хоть бы какой геройский был с виду, и с конем, и с оружием, не брал. Иди, говорил, до кого другого. Потому, что у меня так: я в людях понимаю, и когда человека узнал, то знаю шо с него ждать, шо спрашивать. Но если у него Бог есть, то я уже не могу знать, шо ему той Бог прикажет. А у меня в дивизии должен быть один бог — комдив.

Когда в газетах начали писать про «Уроки Октября», Шурке не нравилось, что ругают Троцкого. «Это все тыловики на него кидаются, интенданты сраные на геройского наркома гавкают». Зиновьева и Каменева он презирал безоговорочно. «Эти же и пороху не нюхали, только заседали там, трепались, книжки читали, бумажки писали». О Сталине отзывался мягче, но тоже неодобрительно.

— Этот на фронт ездил. Ну, был вроде комиссара. Но только до товарища Троцкого ему, как взводному до Григория Ивановича. Калибр не тот. А злой он на Троцкого за то, что ему когда-то по жопе насмал, бо он плохо воевал. Война — не в игрушки играть, там строгость нужна. Лев Давыдович строгий, еще строже от Григория Ивановича. Он тоже своих стрелял, когда надо. Вот Сталин и заимел на него зуб. А тепер с этими интеллигентами-интендантами на него кидается. Но так не по-бойцовски, не...

Шурка был для меня величайшим авторитетом. Однако ему внезапно противостал сам Демьян Бедный.

Вожатый нашего отряда, рабфаковец Сеня, настоящий пролетарий, проработавший уже целый год учеником токаря, и высокообразованный комсомолец — он даже на сборы отряда приходил с пачкой книг, среди которых были сочинения Маркса и Ленина, — утверждал, что Демьян был самым близким другом Ленина и что его нужно считать не просто великим поэтом, но еще и вождем революции. И вот в газете «Правда» появилось большое стихотворение Бедного «Бумеранг», в котором описывалось, как автор ходил к разным вождям. Троцкого он не застал, но увидел каких-то ленцнерят (Ленцнер был редактором собрания сочинений Троцкого), которые зублили по складам «у-у-ро-ро-ки-ки Ок-ок-тя-тя-бря-бря».

После чего остроумно и складно говорилось: «что-то в этом бряканыи намечалось, но Октября не получалось». Я воспринял это как образец блестящей и благородной поэтической критики. Демьян не согласен с Троцким, но не ругает его лично, а потешается над какими-то ленцнерятами, тонко показывая свое отрицательное отношение к «Урокам Октября». Рифмованные описания встречи поэта с Калининым, Зиновьевым, Каменевым, Рыковым не произвели на меня особого впечатления, но очень понравилось, как он посетил Сталина — добродушного, приветливого, простецкого молчальника. Поэт заседал с разговорами, а тот только улыбался: «Нам бы с Францией надо понежней, с голубкой — запыхтел трубкой. С Англией бы поладить давно — поглядел в окно...» А на прощание сказал ласково: «Заходите, так приятно поговорить».

Вожатый Сеня тоже считал, что Сталин — один из хороших вождей, такой же, как Бухарин. Они оба не носят шляп и галстуков, до которых стал унижаться даже Калинин. Ну, может, ему и надо для иностранных послов, как Чичерину. Но вот Рыков, Луначарский, Каменев, Зиновьев — почему они фигурируют, как буржуи? Это уже получается обрастание. Троцкий тоже задается, хочет быть первым над всеми. И на Ленина критику навел, да еще исподтишка, когда Ильич умер. Он и раньше был против Ленина, но потом замирился, получил доверие. А теперь думает, что по-своему командовать будет. Нет, маком! Вот Сталин, сразу видно, рабочая душа. И как одетый, и как пишет. По-рабочему — красиво и просто.

Сомнения, которые в те годы возбуждал Троцкий, не умаляли его величия, даже придавали ему некую живую реальность, привлекательность. Ведь разноречивыми были оценки всех великих людей царя Петра, Наполеона и Бисмарка, которого так чтит мои бонны и Ганс Шпанбрукер, а потом оказалось, что он был за царей, против рабочих и против Парижской Коммуны.

А Сталин казался мне похожим на некоторых героев Дюма, Диккенса или Жюль Верна — суровых с виду, грубоватых, молчаливых, но потаенно добрых чудаков, самоотверженно преданных

своему долгу — королю, даме сердца, опекаемому дитяти или другу. Самые ранние впечатления, связанные с именем Сталина, были в общем положительными.

6

В апреле 25-го года мне исполнилось 13 лет — возраст «бармицво» — еврейского религиозного совершеннолетия. Бабушка была в отчаянии: я не знал ни одной молитвы и еще ни разу в жизни не был в синагоге.

Своенравная сила памяти — тот «холодный ключ забвения», что исцеляет боль сердца, помогала мне еще в детстве стремительно забывать все, что было не по душе: «Пряник шоколадный», монолог царя Бориса, те несколько музыкальных пьес, которые я уже было играл наизусть, и даже нотную грамоту. Так же прочно забылась еврейская азбука и почти все слова, кроме тех немногих, которые запали на самых первых уроках Ильи Владимировича: «бейс» — дом, «йолод» — ученик, «эрец» — земля... Все прочее словно выдуло, вымело начисто.

Позднее, бывало, очень хотелось подойти к пианино, сыграть хоть что-нибудь. А как противны были недоверчивые ухмылки иных знакомых, когда я не мог прочесть еврейскую надпись. Но я ничего не мог вспомнить.

Дедушка считал необходимым, чтобы я отметил торжественный день, как положено по древнему обычаю. Нельзя отрекаться от своего рода и от своего народа. Отщепенцев презирают все — и те, кому они изменили, и те, до кого хотят прилепиться. Отщепенец — не человек, а так, дурная трава; как перекасти-поле или сорняк, что растет где попало и везде мешает, всем противный.

Для того, чтобы я не стал таким отщепенцем, дедушка уговаривал меня выучить наизусть хотя бы только одну молитву и короткую речь, которую по ритуалу должен произносить достигший

13 лет. И то, и другое он сам написал крупными русскими буквами с подстрочником, на листке прочной бумаги из гроссбуха. Разметил ударения, паузы, даже интонации («громче», «радостно», «серьезно», «печально» и т. д.).

К счастью, отец в то время работал на сахарном заводе, далеко от Киева. Он, как послушный сын, стал бы выколачивать из меня уступку деду. Мама была не так настойчива, хотя в этот раз оказалась союзницей свекра и требовала, чтобы я подчинился. Но ведь я давал торжественное обещание юного пионера-ленинца. я уже был заместителем звеньевго в пионеротряде, в школе членом учкома, состоял в обществах «Друг детей», МОПР, «Долой неграмотность!» и в «Союзе безбожников». Я не хотел и слышать о синагоге. Дедушка решил не ссориться и предложил мне сделку: я не стану заучивать молитву, а только прочту по бумажке текст, записанный русскими буквами, и за это он подарит мне велосипед, настоящий новый велосипед.

В нашем отряде ни у кого не было велосипеда, а в школе только в параллельной группе сын директора какого-то треста имел настоящий велосипед — предмет всеобщей зависти. Я, разумеется, доложил звену о проекте деда. И начался ожесточенный спор. Некоторые ребята доказывали, что раз я не верю в Бога и все это знают, то хождение в синагогу и молитва сами по себе ничего не значат: сказал раз-раз, и прощайте. Рыжий Толя с Бассейной улицы, живший за крытым рынком, тайный курильщик, биток и матерщинник, но лучший агитатор среди беспризорников и лучший барабанщик отряда, сердито доказывал, что все разговорчики про «честное слово», про пионерскую совесть — чи можно обманывать, чи нельзя — одна трепня. Буржуйская, интеллигентская, мещанская трепня. Как у скаутов с их добрыми делами — ах, честное слово, помри, но держись! А по-нашему, по-рабочему, по-большевицкому, надо просто решать: велосипед — это дело. На нем все могут научиться. И для Красной Армии польза, и для милиции — бандитов ловить. Ради такого дела можно один раз послушать деда. И это даже не обман. Ты ж ему говорил, что ты неверующий, значит, не обманываешь,

Заучи, что он хочет, как стишки на елку, бери велосипед и давай в отряд. Я б за велосипед пошел и в синагогу, и в церкву, и попу руку поцеловал. А потом плюнул бы, сел на велосипед и айда!..

Большинство девочек было против уступки. Аня-малая, самая злоязычная и умная из всех, кричала:

— Я тебя уважать не буду, если ты так сделаешь. Толька и пацаны хотят покататься, а ты чтобы ради них подлости делал... Да, да, подлости. А что если просто украсть велосипед? Это тоже хорошо для отряда, для Красной Армии и для мировой революции? На краденном кататься?..

Толя побаивался «языкатую» Аню и втайне обожал ее, но уступить не мог.

— Ну и что ж, что краденый? В гражданскую войну или когда в подполье, как делали? И велосипеды крали, и автомобили, и целые поезда. И разведчики переодевались в белогвардейцев и разве так брехали, если надо?.. А ты «подлость», «уважать не буду» — мещанство какое!

— Мещанство? Ты сам дурак!..

— А ты не лайся! Шибко умная.

— Тише, ребята, просите слова, не кричите!

— А ты чего смотришь, звеньевая? На сборе дураком обзывают. Я, может, почище умею...

— Ребята, ребята, будьте организованны! Ты, Анька, не ругайся, извинись, а то я лишу тебя слова.

— Извиниться? А он за «мещанство» извинится?

На полчаса все отвлеклись процедурной дискуссией. Что оскорбительнее — мещанство или дурак? Толя доказывал, что если бы он сказал «мещанка», тогда можно было бы сравнивать. А то он идейно спорил, а она ругается. Аня, так и не извинившись, произнесла пылкую речь.

— Нет, в гражданскую войну не крали, а воевали. И разве можно сравнивать? Тогда была война, революция, тогда и людей убивали. А теперь кража — преступление. И у нэпманов нельзя украсть, и на базаре. Когда воруют несознательные, беспризорные, их надо

перевоспитывать, а пионер — всем пример. Какой же тут пример ходить в синагогу ради велосипеда? Позор!

Кричали все допоздна. Вернувшись домой, я долго не мог уснуть. Меня одолевали неразрешимые противоречия. Толя был прав: обман пройдет, а велосипед останется. Одобрение Толи привлекало: настоящий, свой парень. Но ведь и Аня права — действовать против того, чему веришь, обманывать, притворяться перед какими-то бородатыми раввинами унизительно и подло. И ради чего? Не на фронте, не в разведке, не в подполье. Ради велосипеда.

В конце концов я устоял. Мама, убедившись, что компромисс невозможен, нашла выход. Меня уложили в постель, объявили больным и дня рождения вообще не праздновали. Ребят из отряда и из школы, которые пришли меня проводить, мама даже не пустила в квартиру, так как пришел дедушка. Бабушка, разумеется, не пришла. Она еще долго сердилась на меня и на маму; едва разговаривала с нами, когда мы приходили к ней. Дед заглянул ко мне в комнату, поздравил печально и неласково. А потом долго толковал о древней религии, которую нужно уважать, даже если не веришь.

Но, оставшись без велосипеда, я все же не мог себя чувствовать таким уж доблестным подвижником атеизма. Ведь я не боролся, не отстаивал свои взгляды, а просто спрятался за мамину хитрость. Дедушка в тот вечер говорил, что после выздоровления нужно будет все же пойти в синагогу. Мама за его спиной делала умоляющие глаза, прижимала руки к сердцу и кивала головой, мол, скажи «да»; а я только вздыхал, жаловался на боль в горле и трусливо избегал прямого ответа.

Глава четвертая
МЕЖДУ ПОЦЕЛУЯМИ И ГАЗЕТАМИ

Liebe und Trompetenblasen
Nützen zu viel guten Dingen.

*Viktor Scheffel*⁸

Ist es die verschwundene süsse,
Blöde Jugend-Eselei?

*Heinrich Heine*⁹

1

Летом 1925 года мы жили на даче в деревне Будаевка. Там я целыми днями не вылезал из пруда, учился плавать «разными стилями», издавал стенную газету «Сплетни Зеленой улицы», в которой были карикатуры на знакомых и незнакомых дачников, стишки и фельетончики с пошловатыми намеками — самые что ни на есть доподлинные сплетни. И никакой политики.

⁸ Любовь и игра на трубе
Бывают весьма полезны.

Виктор Шеффель

⁹ Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла?

Генрих Гейне (пер. В. Левика)

Осенью в газетах писали о двадцатилетии революции 1905 года и снова напоминали о Троцком. Была переиздана его книга «1905 год». Я читал его воспоминания о первом Петроградском совете, об аресте, тюрьме, ссылке, побеге из Обдорска. Читал, как Дюма или Купера, пропуская рассуждения.

Однако больше всех политических событий меня увлекали тогда сугубо личные дела.

Наш отряд имени Семашко сформировался в клубе Медсантруд. Попал я в этот отряд потому, что ходил в клуб с «корешком» — Жоржиком Браиловским, сыном врача. Потом отряд перевели на окраину в Александровскую больницу. Там проводились общие собрания и торжественные вечера. Но в обычные дни мы старались собираться где-нибудь поближе. Вечерами неприятно было проходить через пустыри и темные переулки. Мне раза два пришлось возвращаться домой с фонарями, синяками и ссадинами, в разорванной рубашке, измазанной кровью — увы! — из моего носа.

Сборы мы стали проводить пораньше и уходить всем скопом, только что не со знаменем и барабаном. Однако репетиции живой газеты, занятия кружков, изготовление стенгазеты требовали неограниченного времени и небольшого числа участников. Стенную газету стали делать у нас в квартире. Отец, как обычно, жил в деревне, мама часто уезжала к нему, либо по вечерам уходила в гости. Никаких бонн уже не было, всем заправляла домработница: глуховатая, хлопотливая, добродушная тетя Маша. Десятилетний Саня обычно гонял с ребятами во дворе, либо зубрил уроки в детской.

В распоряжении нашей редколлегии оставались столовая с обеденным столом и буфетом и большая комната родителей с диваном, кроватью, письменным столом, пианино и книжным шкафом — ее называли то спальней, то гостиной, то кабинетом. И в той, и в другой комнате можно было расстелить по четыре листа ватмана вприпрыжку. Собирались несколько ребят и девочек. Писали и рисовали, шутя, смеясь, распевая «Картошку» или «Взвейтесь кострами». Иногда объявляли перемену, я приносил самовар, и все пили чай с сухарями.

Закончив работу, мы играли в нехитрые детские игры, главное, чтоб со штрафами, с фантами. Выкупая фант, нужно было петь, плясать, декламировать или поцеловать того (ту), кто больше всех нравится. Особенно частым выкупом назначалась «исповедь». Задавали обычно три вопроса: в кого влюблен? если не влюблен, то кто из друзей иного пола больше всех нравится? с кем хотел бы дружить? и т. п.

Некоторые называли два или даже три имени. Меня это в первый раз поразило как примета «нового быта». В книгах, которые я читал, влюблялись не так. Правда, нередко изменяли.

Но то были нравы лицемерного старого мира. У нас все должно быть по-иному...

Звеньевая Феня — румяная, курносая, запевала, хохотушка, лучшая в отряде гимнастка и прыгунья, отвечая на вопрос о влюбленности, покраснела и назвала трех: первым — вожатого соседнего отряда, который восхищал нас ухватками лихого строевика, зычными командами и тем, что «вертел солнце» на турнике, а вторым — меня. Потрясенный неожиданным счастьем, я даже не заметил третьего соперника. А «взрослый» восемнадцатилетний вожатый чужого отряда был фигурой настолько идеальной, что ревности не вызывал. В то время я, разумеется, тоже полагал себя влюбленным. И тоже — колебался, не зная, кого предпочесть. Таня Юрченко, которой я тайком носил цветы, была старше на целый год; она благосклонно снисходила до разговоров со мной, но оставалась недостижимо далекой. Люда Ш. из пятой группы — беленькая, пухлая, с большой русой косой — казалась мне самой красивой в школе. Правда, ее называли глупой, не развитой. Она не была пионеркой — ей запрещал отец-священник — носила крестик. Но разве не заманчиво было перевоспитать дочь классового врага? Наставить такую красавицу на правильный путь...

Феня больше походила на задиристого пацана, чем на девочку, в которую можно влюбиться. Однако, после ее признания, я заметил, что она очень привлекательна. Весело блестели зеленоватые глаза. Ярко пунцовы были толстенькие губы. Она смеялась, дале-

ко запрокидывая лохматую, рыже-русую голову, открывая нежную белую шею. А спортивную блузку распирала большая грудь...

На следующий день мы переписывали последние заметки, подчищали заголовки ножиками и резинками. Ответственный редактор номера Аня-маленькая внезапно сказала, что все в общем и целом закончено, а мелочи пускай доделает Феня — она самая аккуратная. Ну, и ты ей поможешь. А то, если всем гамузом возиться, только мешать друг другу.

Наш главный художник Витя пытался возражать. Он хотел нарисовать еще несколько виньеток. К тому же, он жил по соседству с Феней, им все равно вместе идти — накануне он, исповедуясь, назвал ее первой из нескольких девочек, в которых был влюблен. Однако, она же и попросила его:

— Вить зайди, пожалуйста, к моим. Скажи маме, что я задержусь.

И мы остались вдвоем в тихой темной квартире.

На ковре белела-пестрела распластанная стенгазета. Меня знобило от нетерпеливого страха. Мы недолго возились, что-то дорисовывая, дописывая. Лежали рядом на ковре на животах. Каждое прикосновение, как ожог. Наконец, она сказала: «Ну, хватит. Можно отдохнуть...»

Уселась на диван. Не помню — и в тот вечер уже не помнил, — о чем говорили натужными голосами, пока я, наконец, не выдал давно придуманный хитрый вопрос:

— А ты не рассердишься, если я тебя поцелую?

Быстрый взгляд. Веселый.

— Н-нет...

Задыхаясь, потея, — только бы она не заметила, как мне страшно, как дрожу, — я чмокнул тугую румяную скулу.

— Да разве так целуются? Ты, видно, еще не умеешь?

Она обхватила мою шею твердыми, как у мальчишки, руками и поцеловала в губы. Влажно; сильно. Ничего подобного я еще никогда не испытывал. Обдало запахом словно от тепловатой простокваши и холодных котлет. Закружилась голова. Поташнивало.

Но я осмелел. Стал целовать еще и еще. Губы. Щеки. Шею. Развязал тесемки, стягивавшие ворот спортивной блузы. Женскую грудь я видел только на картинках. Запах какой-то молочно-мясной, сладковатый. На темно-розовых твердых сосках капельки пота. Мутит, наплывает дурнота. Но целую, целую...

— Ого, быстро ты научился...

Мы уже не разговаривали. Только целовались. Прижимались порывисто грудь в грудь. Меня снова и снова пробирало ознобом. Эрекция становилась надсадно болезненной. Тошнота удушливой. Когда в передней грянул звонок — возвращались мама и Саня, — я испытал облегчение. Только боялся, чтобы мать не заметила, какие мы возбужденные, красные, взъерошенные.

Феня жила далеко. По тогдашним понятиям почти на окраине — на кривой Бассейной улице, за крытым рынком «Бессарабкой». Провожать ее полагалось только до рынка. Мальчишки Бассейной славились неумолимой свирепостью: шайки из враждующих дворов мгновенно объединялись, чтобы избить чужака. Феню они все знали — ее отец-мясник работал тут же на Бессарабке. Ей прощали и красный галстук и приятелей-пионеров. Она и Витя — сын жестянщика, чинившего всем жителям улицы кастрюли и примусы, — были «своими». Их не тронул бы и самый отпетый босяк. Но гости с других улиц решались навещать их только днем, а если вечером, то большими группами, либо в сопровождении местных жителей.

В тот вечер мы с Феней долго добирались до пограничного рубежа у Бессарабки. По пути было немало уютных подворотен и подъездов, в которых мы целовались. А в промежутках я уверял ее, что люблю, что теперь уже окончательно понял, уверен, что люблю впервые по-настоящему, что она мне нравится неизмеримо больше, чем все девочки в отряде, в школе и вообще все, каких я знал и знаю.

О своем счастье я рассказал только одному из друзей — однокласснику Жоржу Браиловскому. Его я считал наиболее серьезным экспертом в сложных житейских проблемах. Правда, сам Жорж

еще ни разу не «крутил романа» — был застенчив и заикался. За малый рост и монголоидные черты лица его дразнили «япешка» или «ходя». Но тем не менее он считался весьма осведомленным теоретиком во всех областях платонической и плотской любви. Он знал больше, чем все мы, ровесники, об особенностях женской психологии и физиологии, о разнообразной технике нормальных и извращенных половых отношений, об опасностях венерических заболеваний и вреде онанизма... Серьезный тринадцатилетний мужчина наставлял меня, предостерегая от горячности и легкомыслия.

— Т-ты не должен заходить слишком далеко. Ведь т-ты сам признаешь, что это т-твой первый роман. П-п-первый, но не последний. Вы оба должны п-проверить в-ваши чувства. Она, конечно, хорошая д-девочка. Н-но все же слишком темпераментна. И т-ты тоже. Вы, конечно, как пионеры, против мещанства, ревности, семейных драм и т-тому подобное. Но т-ты же еще не знаешь, что т-такое ревность. Не можешь даже себе п-представить.

Он советовал мне «подвергнуть наши чувства испытаниям», не встречаться неделю или даже две. И если после такой разлуки ничего не изменится, то можно будет уже говорить о серьезных отношениях.

Этому совету я не успел последовать. Когда мы опять выпускали очередной номер стенной газеты, ответственной за него назначили Раю, которая мне казалась строгой, неулыбчивой «задавакой». Она пришла по-новому постриженной и причесанной — челка, раньше по-детски ровная, задорной косой прядью спускалась на одну бровь. Открыв Рае дверь, я сказал, что это здорово и очень ей идет. Она улыбнулась тоже по-новому и посмотрела искоса. У нас это называлось «строить глазки».

— Вот как? Оказывается, ты замечаешь. А говорят, что ты видишь только одну-единственную.

— Кого же это?

— Только не притворяйся, пожалуйста! Ненавижу, когда притворяются!

Мы разговаривали быстрым полупшепотом в передней. А в большой комнате ребята уже разостлали склеенные листы ватмана. И Аня-

большая пела, по-деревенски взвизгивая, «Как родная меня мать провожала...»

Феня пришла после всех, запыхавшаяся.

— Ух, ребята, как я беспризорников агитировала! Трое пацанов — старшему двенадцать и девочка совсем малая. Сидят у асфальтного котла на Фундуклеевской. Грязные, черные, как трубочисты. Только глаза и зубы видно. Чешутся — вшивые. И едят французские булки. Я с ними целый час говорила. Про текущий момент. И что зима скоро. И вообще за смысл жизни. Дала им газетку. Повезло, как раз у меня была со статьей про общество «Друг детей». Они много спрашивали. Хорошие такие пацаны. Обещали, что сегодня же пойдут в детприемник на Подоле. Я завтра обязательно туда позвоню.

Она говорила, говорила... Непрерывно. Громко. Азартно. Мне стало казаться, что «фасонит», представляется. Она была, как всегда, весело шумной. А мне уже казалось — бестолково суетливой.

Зато Рая была ей во всем противоположна. Темноволосая, темноглазая, тихая. Говорила мало; неторопливо, негромко. И почему только я считал ее строгой, заносчивой? Она была задумчивая, печальная. Но зато когда улыбалась... И я начал сочинять стихотворение про ее улыбку: «Будто солнечный луч в тихий пасмурный день...»

Жорж однажды сказал, что Феня и она похожи на Ольгу и Татьяну из «Евгения Онегина». Рая покраснела и смолчала, а Феня была недовольна.

— Очень даже глупо! Сравнивать пионерок с помещицами, с барышнями. Ты хочешь сказать, что я такая дура, как Ольга?!

В тот вечер мы опять играли в признания. И отвечая на роковой вопрос, я назвал первой Раю, а Феню только второй. Она поглядела удивленно, но потом опять заговорила быстро, весело и смеялась еще чаще и громче.

А Рая, когда ей пришлось исповедоваться, тихо, но без запинки назвала сперва меня, а потом какого-то родственника-студента.

Уходили все вместе. Мы с Феней проводили сначала Раю, потом Аню-большую. Дальше пошли вдвоем. Серый, лиловый октябрь-

ский туман. Мутно-желтые пятна фонарей. Тускло-белые, розовые, оранжевые прямоугольники витрин. Под ногами шуршали опавшие каштановые листья. Мы говорили мало и напряженно о какой-то чепухе. В конце Крещатика у витрины книжного магазина Феня остановилась.

— Дальше не ходи. Холодно. Я побегу, озябла. Давай простимся. В последний раз.

Мы обнялись на свету. Крепко поцеловались.

— Будь счастлив. И давай будем друзьями.

— Конечно. И ты будь.

Возвращался я торопливо. Одинокому пацану вечерние улицы иногда кажутся джунглями. Внезапный свист из подворотни. Окрик «эт-та кто по нашей стороне шляется?!» — придавали стремительное ускорение...

Все же я успел и погрустить, и ощутить элегическое удовлетворение: кончилась первая настоящая любовь. И нетерпеливое любопытство: какой будет новая?

Рая жила недалеко, на крутой шумной Прорезной улице. Можно было чаще видеться, дольше оставаться вместе. И с каждой встречей она представлялась мне все более умной, скромной и загадочной. Она никогда не целовала первой. И словно неохотно подставляла щеку. Мягко, но решительно отстраняла слишком настойчивые ласки. Редко-редко удавалось поцеловать ее в губы — плотно стиснутые, неподатливые.

— Ну, довольно. Хватит! Неужели нужно все время только так... Давай лучше почитаем.

Она любила стихи. Мы читали по очереди вслух. Главными нашими поэтами были тогда Некрасов и Демьян Бедный, нравились Кириллов, Жаров, Казин, Безыменский, Орешин. В 1925 году почти все внезапно влюбились в Есенина. Влюбленность была тем сильнее, что считалась греховной. Ведь он сочинял «упадочные», безысходно тоскливые стихи. Про самого Демьяна написал так насмешливо и ругательно, что нельзя было напечатать. Но даже многие взрослые запоминали наизусть: «Ты только хрюкнул на Христа...»

То были стихи по поводу большой поэмы «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», которая печаталась в газетах.

Мы все были, конечно, убежденными атеистами. Маршируя по улицам обязательно пели:

Долой, долой монахов,
Раввинов и попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов!

Но злые, идейно неправильные стихи Есенина привлекали больше, чем непомерно многословная и местами вовсе непонятная антирелигиозная поэма, тянувшаяся день за днем через газетные «подвалы».

А стихи о Москве кабацкой мы читали наперебой, когда однажды вся редколлегия — рассудительная хитренькая Аня-маленькая, тихоня Рая, задира Феня, горластая певунья Аня-большая, флегматичный Витя и еще несколько пацанов и девочек решили вдруг устроить «вечер нарушения уставов».

В мамином буфете стояло несколько бутылок — водка, наливки. Восполняя изъятия водой, я нацедил кому стакан, кому чашку, горланя «Налей, налей стаканы полней!». Мы пили понемногу, но с пышными тостами и застольными песнями. Все закурили папиросы, раздобытые мной из отцовских тайников. Курили, кашляя, дуря от тошноты. Рассказывали анекдоты о вождах советской власти и пели частушки: «Ленин Троцкому сказал: пойдём, Лейба, на базар. Купим лошадь старую, накормим пролетарию». Снова и снова читали стихи Есенина и целовались без фантов, просто кто с кем рядом оказался. Это называлось «предаваться распутству», «вот как буржуазия разлагается».

В тот вечер я еще был влюблен в Феню и мне было неприятно, что она целовалась с другими ребятами, громко смеясь. А Рая, которую я тогда безуспешно попытался поцеловать, явно избегала этого. Когда все уже расходились, она сказала Фене и мне:

— Ну, поваляли дурака и хватит. Больше так не надо. Никогда. Это нечестно! И вообще — противно.

Тогда она показалась мне «кисейной барышней», маменькиной дочкой. Я спросил:

— Что противнее — пить, курить или целоваться?

Феня засмеялась. А Рая ответила сердито:

— Не притворяйся дураком. Противно все, что нечестно.

Рая жила в маленькой тесной квартире, заставленной громоздкой старой мебелью. Ее отец работал в какой-то конторе. Родителей ее я, кажется, никогда не видел. Всем в доме распорядилась старая няня, ворчливая и добродушная. У Раи был свой угол, отгороженный огромным шкафом. Там стояли маленький стол и большой сундук, покрытый старым ковром. На этом сундуке мы подолгу сидели, читая вслух стихи, рассказы Куприна или Аверченко. Прозу мы читали и про себя, висок к виску, а стихи вслух. Няне говорили, что готовим уроки. И чтобы не врать, мы еще действительно решали задачи, зубрили химические формулы. Рая училась в другой школе, но тоже в пятой группе. Мне казалось, что я люблю ее с каждым днем все сильнее.

Мама давно собиралась повезти сыновей в Харьков, где жили ее сестра и брат. Наконец, свершилось. Поехали к Рождеству 1925 года.

Ночь в вагоне. За окнами снежные поля, серо-белые леса. Далекое огоньки. Тусклые желтые фонари. На станциях дядьки в кожаных, бабы, замотанные платками. Гундосо звенит колокол. И снова снежные поля, сугробы и деревья назад, назад. Лес то набегают, то откатывается. Мир ощутимо бесконечен. И загадочен. Моя первая дальняя поездка.

Грустно от множества людей, чужих, безразличных и вовсе не замечающих тебя. Грустно и любопытно. О чем думает эта сердитая красивая женщина с локончиками, прилепленными перед ухом, как на женских портретах времен Пушкина? О чем говорят вполголоса двое мужчин в толстовках и высоких сапогах, неторопливо обгладывающие темнорыжих, плоских сухих рыб — тарань? Перед ними на столе в мятой газете растет куча костей, голов, чешуя.

Я лежу на верхней полке. Приобщаюсь к необычности поездного быта. Наконец-то я путешественник. Принят в огромное, разнородное племя пассажиров. Раньше только читал о них.

Перестук колес. Теплый душный полумрак. Издалека неразборчивые, приглушенные голоса. А рядом, за дощатой перегородкой, на соседней верхней полке храп с чмоканьем и свистом...

Внизу мама рассказывает случайной попутчице фантастическую историю нашей семьи. Отец уже заснул и она может беспрепятственно сочинять, как ее мужа хотели назначить министром сельского хозяйства у Петлюры, но он отказался ради семьи, и как лучшие профессора в Киеве говорили о гениальности ее сына.

Утром долго подъезжаем к Харьковскому вокзалу. Тянутся закопченные кирпичные здания, разбегаются и сбегаются рельсы. Красные и серые товарные поезда, водокачки, пакгаузы. Вокзал не похож на Киевский — куда больше и куда нарядней. Огромное здание с куполом, как в церкви. Подземные переходы, стены кафельные, как печки у нас дома. На площади множество извозчиков, их зовут «ванько», и сани у них ниже, чем у киевских. Все они в одинаковых толстых синих пальто с широченными складчатыми задами. Впервые вижу автобусы, желто-красные с темными, железно-вафельными мордами моторов. А трамваи здесь иные, чем в Киеве, — у киевских дуга, длинный гнущийся прут, увенчанный роликом, у харьковских — трубчатая рама, расширяющаяся наверху.

Любопытны особые, харьковские слова. Трамвайные номера называют «марками». «На какой марке ехать до Сумской?» В набитом людьми вагоне те, кто пробиваются к выходу, спрашивают у стоящих впереди: «Вы встаете на Павловской?» «Вставать» означает здесь «выходить».

Экзотично звучат выкрики кондуктора: «Улица Свердлова», «Площадь Розы Люксембург», «Площадь Тевелева», «Улица Карла Либкнехта». У нас в Киеве новые названия еще не прижились. Хотя я и стараюсь говорить «улица Короленко» вместо Владимирской или «улица Воровского» вместо Крещатика, все равно по-настоящему не получается. Даже истовые пионеры постоянно забывают,

и я ловлю себя на том, что думаю о Думской площади, а не о площади Маркса, о Купеческом саде, а не о Первомайском.

Харьков — столица. Это заметно сразу. Людей очень много, тротуаров не хватает, идут по мостовой. Впервые вижу столько автомобилей, и легковых, и грузовых. В Киеве они редки, единичны, а здесь их, пожалуй, не меньше, чем извозчиков и ломовиков.

В Харькове уже есть новые дома. Мы проезжаем мимо большого красного здания «Пассаж» и серого — редакции газеты «Коммунист». На крыше возвышается статуя рабочего с молотом. Встретивший нас дядя говорит, что начали строить настоящий небоскреб.

Когда у нас в Золотоворотском сквере впервые после революции забил старый фонтан, когда отремонтировали большой дом на Нестеровской улице, сгоревший еще при поляках, а на Владимирской горке поставили новую ограду и покрасили скамейки, я на сборе звена говорил о значительных успехах социалистического строительства. А тут были совсем новые многоэтажные здания. И новенькие автобусы с лоснящимися оранжево-красными боками. И в разных местах на улицах желтели строительные леса. Много нарядных витрин и пестрых вывесок. Вечером яркие фонари. В Харькове было куда больше государственных и кооперативных магазинов, чем частных. Разноцветные буквы ХЦРК (Харьковский Центральный Рабочий Кооператив) сверкали в каждом квартале. А в Киеве еще преобладали частные магазины и лавки. Мама покупала молоко, масло, творог, ветчину и сметану только у Назаренко на Прорезной. И на мою агитацию против нэпманов отвечала просто: «В твоём рабкоопе продают, может, и дешевле, но гнилье, тухлятину, и еще нахальничают. А у Назаренко все свежее, и они верят в долг». То, что пирожные и конфеты в кондитерской у Фрузинского лучше, чем в рабкоопе и чем в школьном буфете, я и сам знал.

Но в Харькове в кондитерских УКО (Украинское Кондитерское Объединение) простые молочные ириски казались мне слаще нэповских трюфелей.

И совсем по-столичному бегали вдоль улиц пареньки-газетчики, оравшие надсадными голосами: «Ви-и-черные радио! Ви-и-чер-

ние радио! Зверррское убийство на Холодной горе... зверррское убийство!..»

Улицы казались узкими после киевских; совсем плоские, ни одного подъема. Сады и бульвары были меньше, жиже. Тощие речки в грязных берегах перетянуты куцыми, затоптанными мостами: они кишели прохожими, дрожали под трамваями. Убогие речки с диковинными кличками: Лопань, Харьков, Хоть и Нетечь. Старая шутка: «Хоть лопни, Харьков не течет!» Дико было бы сравнивать их с огромным, величавым Днепром. Короткие затрапезные набережные разворачивались неказисто и неуклюже.

А там, в Киеве, осталась Владимирская горка высоко над Днепром и Подолом, над крышами, улицами, церквями, над приглушенными шумами... Зелено-желтые откосы Царского сада, Мариинского парка, Аскольдовой могилы, поросшие густым кустарником и старыми деревьями. На том берегу Днепра распахивались далекие просторы. Зимой — серо-сизые с прочернью; осенью — золоченые с красными отсветами; весной и летом — голубые, зеленоватые, лиловые... В закатные часы ярко-оранжевое, золотистое зарево, пониже вспышками пурпур и багрянец, а сверху тянутся фиолетовые тонкие пряди облаков. В пасмурные вечера сквозь темные тяжелые тучи едва просвечивает матово тлеющая или бледная желтизна. Либо только светло-розовое мерцание в белесом тумане...

Каждый день заднепровские дали иные. Но всегда притягивают, влекут, и необъяснимая грусть теснит гортань, и нет ни желаний, ни мыслей, а только бы глядеть и глядеть...

Не раз я тщетно старался описать все это в стихах, в дневнике. И так же тщетно пытался высказать, объяснить себе, что именно я ощущаю, испытываю, когда смотрю на Днепр и Заднепровье.

Вспоминая о Киеве в деловито-суетливом, шумном Харькове, я думал, что это устаревшие, красиво-бесполезные чувства, вроде как стихи Пушкина, которые упрямо звучали в памяти, вопреки убеждению, что они чуждые, «не наши». Неожиданно вспоминал: «...перед новой столицей... порфиросная вдова», либо сравнивал себя с якобинцами из аристократов и народовольцами

из дворян. Сен-Жюст и Перовская покинули семьи, поместья, родные края, наполненные воспоминаниями, чтобы уйти в городские трущобы, в сумрачные кварталы бедноты. С гордостью «узнавал» я свои чувства на страницах книжек Гюго, Эркмана-Шатриана, Веры Фигнер, даже в опере «Травиата» в трогательной арии Жермена: «Ты забыл Прованс родной...»

Привлекательность Харькова была очевидна, понятна и разумна. А привязанность к Киеву нужно было преодолеть как слабость, как «пережиток», как сентиментальную «болезнь возраста».

Почти каждый день я писал Рае длинные письма в прозе и стихах, о любви и тоске. Они были искренними, хотя и весьма преувеличенными. Тоски я не испытывал. Но ведь так полагалось. Она прислала мне два письма больших, на нескольких страницах. Подробно рассказывала о событиях в отряде, что было на сборах, кто что говорил, кто из ребят заболел, уехал, кто с кем поссорился. Писала она и о книгах, которые читала и собиралась читать. Ни слова ни о каких чувствах. Но в конце письма — маленькими буквами — «целую». Такой радостной гордости я с тех пор никогда не испытывал.

2

В те же декабрьские дни проходил 14 съезд партии, на котором она была переименована из РКП (б) в ВКП(б). Газеты с отчетами о заседаниях съезда я читал очень внимательно; старался понять, о чем именно там спорят. Однако, преобладающим было все же такое любопытство, как у зрителя на стадионе, — кто кого? Именно зрителя, а не болельщика. Я не знал еще, за кого «болеть». Троцкий молчал; Зиновьев и Каменев были неприятны с прошлого года. А споривший с ними Калинин даже помянул добрым словом Троцкого: «...авторитет, накопленный им, это авторитет всей партии». Но ленинградцы выступали так дружно, хотя их было меньше, они

так смело спорили с большинством, с начальством!.. Они говорили от имени рабочего класса, от питерских пролетариев; Евдокимов, Залуцкий, Сафаров упрекали Бухарина за примирение с кулаком, с нэпманом, за то, что он призывал — «обогащайтесь!» Ленинградцы убедительно ругали бюрократов, зажимщиков. И Крупская была за них, и цитаты из Ленина у них были погуще, позвучнее. Зиновьев, хоть и неприятен — гладкое, совсем не рабочее, не революционерское, а какое-то актерское лицо, — но ведь с Лениным он действительно дружил, и в шалаше с ним вместе прятался, и книжки вместе писал. Кто-кто, но он-то уж знает, чего Ленин хотел, что завещал. А ему кричат, что он недооценил середняка...

Опять понятней всех говорил Сталин — правда, грубовато, но ведь он из боевых подпольщиков, не кабинетный интеллигент. И тоже хочет, чтобы все было так, как завещал Ленин, и тоже за рабочих. Но он еще и за дисциплину, за единство. А без этого никак нельзя.

В иные дни, читая один и тот же газетный лист, я по несколько раз менял суждения, то соглашался с ленинградцами, то с цекистами. Либо вовсе недоумевал, в чем же сущность спора? Все вроде хотят одного и того же, все за советскую власть, за рабочих, против кулаков, против буржуев, против бюрократов. Чего же они там не поделили? Неужели есть какая-то правда в злых словах отца и дяди, когда они презрительно хмыкают: «Дерутся за власть, каждый хочет залезть повыше»?

Единственный серьезный собеседник в те дни — двоюродный брат Марк. Он тоже внимательно читал газеты, даже делал выписки. Но он смотрел на меня сверху вниз, насмешничал, задавал каверзные вопросы о давних съездах партии, о том, какая разница между национализацией и муниципализацией, сколько раз Троцкий спорил с Лениным и о чем именно и кто оказался прав. Марк не любил Троцкого: «Фразер, позер, козер, вспышкопускатель; ради красного словца не пожалеет мать и отца». Марк нравился Бухарин как личность и как философ, но он «слишком мягок и прекраснодушен, недооценивает кулацкую опасность». Марк считал, что ленинградцы — более последовательные ленинцы, более связаны

с пролетарскими массами, чем большинство ЦК, и, хотя Зиновьев действительно несимпатичен, — склочник, визгливый бабий голос и, говорят, очень жесток, — но ведь и Робеспьер был в таком же роде, однако, именно он был настоящим вождем революции. А Камил Демулен — красавчик, поэт, смельчак, остроумец — оказался либеральным болтуном, испугался террора, объективно изменил революции. В политике нельзя исходить из личных симпатий или антипатий. Ленин очень любил Мартова и Засулич и неприязненно относился и к Троцкому, и к Сталину, однако он боролся против тех, симпатичных, а эти были его соратниками; Ленин дружил с Зиновьевым и Каменевым, но в Октябре мог их расстрелять, а после Бреста мог шлепнуть даже Бухарина, хотя сам называл его любимцем партии. Политика имеет свои законы, свою мораль. Там не так, как в футболе, на пионерских сборах или в картине «Красные дьяволята», — эти за красных, те за белых, всем все ясно... Политика — дело грязное. Уже революцию нельзя делать в белых перчатках, а после революции все оказывается еще труднее и куда сложнее. Когда брали Бастилию, был сплошной восторг и ликование... Потом «чудо 4-го августа» — аристократы братались с буржуа, всеобщее умиление. А через два-три года все резали друг друга; потом перегрызлись и сами революционеры; вожди пошли на гильотину. Ты не читал Анатоля Франса «Боги жаждут»? Прочти и подумай, это очень правдивая, очень умная книга.

Новый 1926 год мы встречали в Харькове на квартире у дяди; три комнаты были заставлены мебелью — громоздкими шкапами, креслами, обитыми кожей или толстыми тканями; «многоэтажный темный буфет мерцал стеклом и бронзой. Сын дяди, Леня, был моложе меня на два года — бледный, с длинными беспокойными руками и серыми сонными глазами, всегда смотревшими в сторону, он ходил косолапо, кособоко. Он тоже любил историю, тоже читал Иловайского, Ключевского, многотомную «Всемирную историю» и, конечно же, статьи из энциклопедии Брокгауза. Лучшее всего он знал древность и средние века. Мне было обидно, что он младший и беспартийный, даже не интересовавшийся тем, чем занимаются

пионеры, и во всем послушный своей маме, знал куда больше, чем я, о Вавилоне, Ассирии, Персии, лучше помнил ход Пелопоннесских войн и чередование римских императоров. Я пытался отыграть на Англии, на «войне роз» — выручал Шекспир, — но он зазубрил всех до единого Капетингов и Валуа и еще всех скандинавских и испанских королей. Правда, его эрудиция кончалась где-то до Тридцатилетней войны: дальше он пока не дошел. Он запомнил всех киевских и владимирских князей, а я уже после Ярослава Мудрого и, тем более, после Мономаха непросто путался во множестве безликих Святополков, Ярополков и буйных потомков Всеволода Большое Гнездо. Зато после Ивана III мы были на равных, а после Петра он был почти столь же невежествен, как и во Французской революции.

Но общение с этим образованным кузенком мало меня привлекало, он собирал в памяти исторические факты, как другие ребята собирали марки, бабочек или старые «дензнаки». Просто коллекционировал, не размышляя, не сравнивая ни между собой, ни со временем¹⁰.

Такой же чудачкой оказалась и единственная моя ровесница в этой компании — его кузина по матери. Тускло-смуглая, с туго заплетенной и почему-то маслянистой наощупь косой, с большой, «взрослой» грудью, упругой, как мяч. Она боялась целоваться. Даже не хихикала (тогда можно было бы подумать ломается), а потливо, слезливо сопела: «Ой, не надо, я маме скажу». Она призналась, что никогда еще не была влюблена в живого человека, — дольше всего любила Александра Македонского, а потом колебалась между Петром Великим и Суворовым. Это странное признание я выслушал в полутемном закутке коридора на старом кресле после того,

¹⁰ Леня Каганов через десять лет ушел из дому, полюбив женщину, которая была много старше его, имела дочь и от нужды занималась проституцией. «Коты» грозили ему, что убьют, и действительно ударили ножом в живот. Но после больницы он женился на ней, ушел из института (Мукомольно-технологического), работал на мельнице, где-то у Чернигова, учился заочно. Летом 1942 г. он был пулеметчиком и погиб в бою на Кубани.

как она уже несколько пообмякла и перестала вырываться, а я дал «честное пионерское», что больше не попытаюсь целоваться и лезть за пазуху, но обнимать ее приходится просто из-за тесноты.

Марк ушел с новогоднего ужина рано к своим друзьям. При взрослых он разговаривал со мной еще более насмешливо, чем наедине. Ведь он уже и сам был взрослый, почти 19 лет. Но все же я привязался к нему, рассказывал и о своих сердечных делах, читал стихи и не обижался на иронические замечания, понимал, что это он меня «воспитывает». Большеголовый, большеглазый, ушастый, сутулый, с узкой грудью и тонкими руками без мышц, он казался мне настоящим ученым-подвижником: плоть немощна, но дух могуч. Я был крепче его, и это меня утешало — несколько уравновешивало его превосходство.

После столичного Харькова, после бесед с Марком о судьбах страны и мировой революции, Киев казался тихим, захолустным, а все отрядные и школьные дела мелкими, детскими. Раю я увидел только на второй или третий день. Рассказывал ей о необычайно важных вопросах, которые меня занимали. Она слушала, по-моему, недостаточно внимательно. Но ее застенчивое отстранение от слишком пылких поцелуев раздражало меня больше, чем то, что она даже не старалась понять суть разногласий между ленинградцами и ЦК.

Вскоре я заболел скарлатиной. Почти два месяца не видел никого из друзей. Я лежал один в большой родительской комнате; ухаживала за мной тетя Тамара, специально приехавшая из Харькова. У нее в ту пору произошел разрыв с очередным женихом. Однажды я услышал: в соседней комнате она подробно рассказывала маме, как едва не отдалась ему. Это был чрезвычайно занимательный рассказ и потом мне снились похотливые сны. Первая поллюция испугала, я решил, что это болезнь. Помогла толстая книга «Мужчина и женщина». Там все объяснялось, и потом такие сны уже были только приятны и воспринимались как свидетельство возмужания.

За время болезни я перечитал, теперь уже полностью, «Воину и мир» и все самые любимые книги: Диккенса, Короленко, Твена,

Тургенева, читал и полученные от Марка настоящие научные и политические книги — Каутского «Предшественники научного социализма», Г.Зиновьева «История ВКП(б)», лохматые, в крохких бумажных обложках книжки по истории немецкой и русской социал-демократии.

Тамара принесла однажды немецкий журнальчик мод — приложение к «Берлинер Тагеблатт», который продавался вместе с газетой. А газета заинтересовала меня. В ней открывался далекий неведомый мир. Споры в рейхстаге, статьи о черном рейхсвере, о террористах из монархических союзов, отнимать ли земельную собственность бывших монархов и удельных князей; заметки о поимках преступников, отчеты о судебных процессах, сообщения о катастрофах, ураганах, демонстрациях, о боях в Китае, спортивных состязаниях, конкурсах королев красоты, о новых аэропланах, об опытах по омоложению стариков... Каждый будничный номер этой газеты был во много раз толще любой из наших, а воскресные стоили журнала. Но ежедневно, кроме понедельников, были еще приложения: самыми интересными оказались субботний юмористический журнал «Кладдерадач» и воскресный иллюстрированный «Вельтшпигель». На фотоснимках представала жизнь всего мира: Америка и Индия, Франция и Китай. Про нас немецкая газета писала редко и обычно не много, по тону и смыслу скорее дружелюбно, но как-то обидно, снисходительно. Не было там ни «злобного воя классовых врагов», ни «испуганного визга буржуазных шавок», о которых я читал в наших газетах. И о своих коммунистах эти немецкие буржуи писали примерно так же. В отчетах о заседаниях рейхстага речи коммунистических депутатов приводились без комментариев, так же, как и речи других ораторов.

Узкие темно-серые листы и разноцветные фотостраницы приложений даже пахли иначе, чем наши газеты и журналы. То были запахи далекой, чужой жизни, таинственной и магнитно притягивающей.

Нет, я не завидовал буржуям, не хотел походить на них. но хотел видеть все это вблизи, летать на аэропланах, мчаться в между-

народных экспрессах, спорить с этими самоуверенными дипломатами, разговаривать с этими смеющимися нарядными женщинами. Может быть мне удалось бы объяснить им, как неправильно они живут. А потом строить баррикады в огромных богатых городах, вооружать рабочих, выбирать советы... Мировая революция была совершенно необходима, чтобы наконец победила справедливость, чтобы освободить всех заключенных из буржуазных тюрем, чтобы накормить голодающих в Индии и Китае, отдать немцам отнятые у них земли и Данцигский «корридор», отнять у Румынии нашу Бессарабию... Но чтобы потом вообще не было никаких границ, не было нигде капиталистов и фашистов. И чтобы Москва, Харьков и Киев стали такими же огромными, благоустроенными, как Берлин, Гамбург, Нью-Йорк, чтобы у нас были небоскребы, улицы, полные автомобилей и велосипедов, чтобы все рабочие и крестьяне ходили чисто, нарядно одетые, в шляпах, при часах... И чтобы всюду летали аэропланы и дирижабли.

Мировая революция была совершенно необходима, а тут, как на зло, наши вожди перессорились. Почему они не понимают, что это только вредит нам и радует врагов? Троцкий объединился с ленинградцами. Они называли себя ленинской оппозицией, они были за мировую революцию, и это хорошо. Но они уверяли, что мы сами не можем построить социализм в одной стране. Может быть, это и так, но ведь обидно, мы же победили и в Октябре, и в гражданскую войну, почему бы не попробовать, пока нет войны, а вдруг все-таки построим, и ведь нашим рабочим и крестьянам неприятно, если им говорят, что им вроде как «слабо» самим построить социализм. В этом я соглашался с Бухариным и Сталиным, которые доказывали, что мы все можем, ведь Ленин же сказал: коммунизм это советская власть плюс электрификация. Но зачем они так несправедливо ругали Троцкого, Зиновьева, Каменева, Пятакова, как будто те контрики и уже никаких заслуг не имеют?

Дискуссии 1926-го года мне показались раздражающе нелепыми в своей ожесточенности. В отряде несколько ребят были за Троцкого и я с ними разругался потому, что они говорили, будто в деревне ни-

кому нельзя верить, каждый дядько лезет в куркули и готов продать пролетариат и мировую революцию по дешевке. Возражая им, я орал уже вовсе по-газетному про смычку города с деревней и доказывал, что социализм строят для всех трудящихся, не для одних только городских рабочих, — их у нас самое малое меньшинство и нельзя из них новых дворян делать, а Разин и Пугачев, и Калинин, и Буденный тоже крестьяне, а Троцкий был всегда против Ленина и «лезет в Наполеоны». Но в школе, на форпосте, все были за ЦК, говорили, что Троцкий — меньшевик и задается, Зиновьев и Каменев были в Октябре штрейкбрехерами и все ленинградцы — бузотеры. Тогда я тоже лез в спор, доказывал, что без Троцкого не было бы Красной Армии, что Зиновьев — вождь Коминтерна, с Лениным дружил всю жизнь, ленинградцы — лучшие пролетарии и они за мировую революцию, а Бухарин и Сталин защищают кулаков и нэпачей.

Мне очень хотелось быть справедливым и примирить между собой всех, кто за советскую власть. Но из-за этого хотения я только перессорился с разными ребятами; ссорясь, становился яростно несправедлив, приписывал небывалые подвиги тем, кого защищал, а в другом споре столь же незаслуженно их поносил. Из-за этого я злился на себя и еще пуще — на других, стал реже бывать в отряде и даже к газетам поостыл. Благо, пристрастился читать немецкие. Выпрашивал или выкрадывал у мамы деньги на «Берлинер Тагесblatt», на «Аи-Цет» и на самый дорогой, но зато и самый интересный журнал «Ди вохе». Тогда эти издания свободно продавались в особом магазине иногородних и зарубежных изданий на Владимирской улице.

3

Отряд стал мне чужим еще и по другой, значительно более веской причине. Во время болезни я редко получал письма от Раи, их все более сдержанный суховатый тон я объяснял соображения-

ми конспирации. Она знала, что моя мама шарит у меня в книгах и тетрадках. Но когда впервые после выздоровления я позвонил Рае, она и по телефону говорила бесцветно вежливым голосом. На прямой вопрос, когда увидимся, — я старался спрашивать просто, мужественно, но так, чтобы слышна была страсть, — она ответила равнодушно: «А ты приходи послезавтра на сбор». Во время сбора она явно старалась держаться подальше. Потом, на улице, мучимый обидой и ревностью (к кому только?) и просто досадой — сколько раз мечтал о том, как будем опять целоваться, — я все же попытался заговорить с ней непринужденно.

— Ты что же, влюбилась в кого другого?

Она смотрела в сторону, хотя большой козырек низко надвинутой, почти полукруглой кепки и без того закрывал глаза. И ответила с необычным для нее хихиканьем:

— Да брось ты эти глупости! Ведь мы уже не дети. Надо быть серьезнее.

И сразу же заторопилась, окликнула девчат:

— Давайте песню «Вскормили меня и вспоили отчизны родимой поля...»

Феня участливо взяла меня за руку.

— Ну, ты не вешай нос и не злись. Я ведь не злилась, когда ты от меня ушел. И горевать давно перестала. А ты еще скорее утетишься. Давай петь. Как в песне говорится: «Пой, тоска пройдет...»

«Теперь для нас тревожный час борьбы настал, настал, коварный враг на нас напал, напал, напал».

Мы дружно горланили, топоча по булыжной мостовой крутой выгнутой улицы. Пели, как всегда после сборов, отпугивая вечернюю окраинную темноту, едва разжиженную редкими фонарями и тускло просвечивающими занавешенными окнами. От песни крепло чувство: мы вместе, мы заодно. И когда пели, шагая в обнимку с девочками, даже не хотелось думать о том, какие у них мягкие покатые плечи, как бы прижаться плотнее. Не до таких низменных ощущений, когда все поем в лад, зычно об отряде коммунаров, который сражался «под частым разрывом гремучих гранат», или

о том, что «флот нам нужен, побольше дюжин стальных плавучих единиц».

В школе после болезни я тоже оказался дальше, чем прежде, от учкома и от форпоста. Школьные вожди — Толя Грановский, щеголявший в потрепанной кожанке, сиплый от ежедневных надрывных речей, и Филя Фиалков, курчавый, любивший поговорить «по душам», «с подходцем», хитрюга и похабник, — еще раньше зачислили меня в оппозиционеры, уклонисты. Они допускали меня только в редколлегию стенгазеты.

Мне даже несколько льстила репутация «опального таланта». Хотя неистовый Толя говорил обо мне без всякой тени уважения: «Он же идиёт. Мелкобуржуйский бузотер. Босяк и трепло. Но мы должны его спользовать, шо он грамотный, рисует-писует, стишками даже может... Ну, в общем, спользовать, как спеца, но иметь над ним комиссарский глаз».

«Комиссарским глазом» стала член редколлегии Броня, по прозвищу Белка-Белочка, добродушная, маленькая, складная смуглянка с острым носиком и ярко-красными губами, любознательная и приветливая. Уже после второй встречи — мы писали вместе какой-то обличительный фельетон — она показалась мне самой красивой, самой умной, самой доброй и, конечно, самой привлекательной из всех девочек, с которыми случалось обсуждать такие важные жизненные проблемы, как — возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, бывает ли любовь с первого взгляда, как отличить увлечение от настоящей любви, существует ли таковая вообще, можно ли пионерам целоваться, должна ли девочка обижаться на товарища, если он вдруг захочет ее обнять, можно ли соглашаться на это только из товарищеского сочувствия, и должен ли парень обижаться, если ей просто не хочется и, тем более, если она влюблена в другого...

Теоретические беседы, и сами по себе необычайно увлекательные, естественно перешли к еще более увлекательной практике.

Броня жила на Андреевском спуске, недалеко от голубой церкви Растрелли, вдвоем с матерью, такой же маленькой, смуглой, но

ссохшейся и всегда усталой. Мы виделись каждый день. Чаще я приходил к ней, так как у нас дома в любую минуту могла появиться моя мама, — а ей ничего не стоило, забывая, что мне уже 14 лет, что у меня растут усы и я читаю те же книги, что и Марк, бестактно сказать в присутствии моей гостыи:

— Чего это вы закрываете двери? Разве в вашей стенгазете есть какие-то тайны?.. А если вы готовите сюрпризы, так здесь же нет ваших будущих читателей, зачем же прятаться?!

Я должен был каждый день видеть Броню, и удивлялся, как это я раньше не замечал ее, ведь она была в том же отряде, что и я, в звене у Фени. По ночам я вскакивал с постели, таратился в темное окно и пытался сочинять пылкие любовные стихи. Очень злился, что не получались ни стихи, ни бессонница, необходимая для влюбленного. Невозможно было устоять перед могучим притяжением подушки, сон мгновенно обволакивал и заглатывал.

Но Броне я, разумеется, рассказывал, что не спал до зари и читал ей косноязычные вирши, в которых клялся в двойной любви одновременно — и к великой грозной революции и к маленькой нежной Белочке. Ей стихи нравились. Мы с каждым днем все меньше разговаривали, все дольше и жарче целовались. Она ласково слабела, не сопротивлялась уже никаким прикосновениям. Вероятно, мы могли бы и совсем отдаться друг другу, если бы хоть один из нас умел, решился. Но я во всяком случае трусил, и, когда несколько раз бывало, что уже вот-вот... я начинал говорить, плетя многозначительные пустые слова, — мол, дальше заходить нельзя, ведь я ее слишком уважаю, а это все же решающий перелом в жизни девушки и что, если потом нам придется расстаться — ведь мои родители собираются совсем переезжать в Харьков, — лучше мы сперва проверим нашу любовь... Белочка задумчиво слушала, соглашалась, отвечала благодарно и ласково. Но когда потом, через годы, я с досадой вспоминал об этой и о других подобных упущенных возможностях, мне уже казалось, что она тогда была скорее разочарована.

Учился я кое-как. В школе — нудная возня с Дальтонпланом и прочими «бригадно-лабораторными» методами. Учиться бы-

ло и нетрудно, и неинтересно. В конце года много времени отняла долгая ссора с преподавателем украинского. Мы прозвали его «товарищ Хорошэ», так как он вместо «добре» или «гарно» говорил «хорошэ». Некоторые из ребят, ссылаясь на это, уверяли, будто он плохо знает настоящий украинский язык. По какому-то поводу его обвинили в петлюровщине. На учкоме и форпосте шли жаркие споры. В конце концов главным предметом этих споров оказался уже не сам злополучный учитель, а вопрос о том, имеют ли право учком и форпост обсуждать работу преподавателей и требовать их отстранения. И, так же, как в спорах об оппозиции, я оказался «между фронтами». Нападки на «Хорошэ» я считал несправедливыми. Главные обвинители просто злились на него за то, что он ставил им «неуд», не прощал безграмотности и невыполненных уроков даже записным активистам-общественникам. Но в то же время я настаивал, что и учком и форпост, конечно же, вправе критиковать учителей, и, если нужно, требовать их отстранения; а отрицать это право может лишь тот, кто хочет восстановить в школе старый «прижим», буржуазные порядки. Но со мной соглашались, кажется, только Белочка и Коля: остальные друзья говорили, что весь этот спор — дурацкая буза.

На очередных выборах в учком я получил значительно меньше голосов, чем мой соперник Яша, один из поборников настоящей дисциплины. Он спорил со мной невраждебно, терпеливо, но явно свысока, убежденный в своем превосходстве, объяснял, что «теперь не девятнадцатый год... нам нужно учиться, а не митинговать».

Июль-август 1967

Глава пятая ЭСПЕРАНТО

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу
Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

...Чтобы в мире
без России,
без Латвий
Жить единым
человечьим общежитьем.

В. Маяковский

Когда новый учитель русской словесности Дмитрий Викторович в первый раз пришел в класс, я решил, что он похож на древнего римлянина. Голова гордо запрокинута. Бледно оливковое лицо, большой тонкий нос половинкой трапеции; высокий бледный лоб — редкие, темнорусые волосы небрежно отброшены назад; темные глаза щурились близоруко и, казалось, презрительно.

Он величественно толковал о том, что Онегин и Печорин — лишние люди, что Пушкин не стал декабристом потому, что его не

приняли в организацию как легкомысленного поэта и к тому же друзья жалели его, не хотели рисковать его судьбой.

Он произносил привычные слова с привычными интонациями. Выразительно повышал голос, говоря «великий», «гениальный», «благородный», «страдания народа»... И опуская углы губ, будто отплевываясь, произносил «светская чернь», «царские приспешники»...

Его уроков я не любил. Но именно Дмитрий Викторович посвятил меня и еще нескольких ребят в прекрасное таинство. Он научил нас международному языку «эсперанто».

После уроков, когда в опустевшем классе собирался кружок эсперантистов — нас было десятка полтора ребят, он становился другим. Оживлялся; уже не декламировал заученно и гладко о «великих певцах народных страданий, гонимых черными силами самодержавия», а, запинаясь, подыскивая слова, и неподдельно увлекаясь, говорил о международном братстве, не зная границ, о том, что люди всего мира, всех наций и рас, должны объединиться во имя добра, справедливости, просвещения. И тогда не раздражали ни вдохновенно запрокинутая голова, ни плавные жесты, когда он поглаживал лоб узкой, длинной рукой. Все это уже не казалось нарочитым, актерским.

— Грамматика эсперанто гениально проста, легка, доступна любой памяти. Всего шестнадцать правил, — умещаются на одной промокашке. Все существительные заканчиваются на «О», все прилагательные на «А», все глаголы — на «И». Спряжение только одно. Никаких исключений. Четкие окончания... Пароли — говорить, пароляс — говорю, паролис — говорил, паролу — буду говорить. Простейшие правила словообразования: лернеи — учиться; лернейо — школа; лернеульо — учебник; лернеано — ученик.

...Это была великолепная игра — за несколько дней изучить язык, на котором говорят и пишут люди, живущие во всех странах мира. Язык простой и благозвучный, прекрасный уже тем, что содействует благородной цели. И сама эта цель непосредственно воплотилась в языке эсперанто; он братски сочетал разноплемен-

ные слова и обороты. В основе — латынь, мать многих европейских языков, но еще и германские, и славянские слова, и даже китайские и японские. Местоимения «ви» и «они» это русские «вы» и «они». Ударение всегда на предпоследнем слоге, как в польском. Вопросительное словечко «чу» — «Чу ви пароляс эсперанто?» — из украинского «чи», — «чи ви говорите на эсперанто?»

Этот язык изучали несколько миллионов человек. Лучшие из них объединились в особый союз «Сеннациеца Ассоцио Тутмонда» — САТ — «Всемирный Безнациональный Союз».

Дмитрий Викторович принял и нас в это великое содружество: мы получили членские билеты — зеленые книжечки; имя и фамилия написаны латинскими литерами — и значки: зеленая пятиконечная звезда в красном кружке.

Отныне на вопрос о национальности мы должны были гордо отвечать: «без национальности», — «сеннациуло» и «сатано», — то есть, член САТ.

Игра была тем более прекрасна, что представлялась не игрой, а началом новой жизни.

Тот, для кого уже с детства повседневны телевизоры и киножурналы, кто постоянно слышит о знакомых, уезжающих за границу, — в экскурсию, в командировку, — кто встречает разномастных иностранцев на улицах, в музеях, на фестивалях, на спортивных состязаниях, — вероятно никогда не поймет и уж конечно не почувствует всего, что мог думать и ощущать киевский школьник в 1926 г. Ребенком я видел немецких и польских солдат на улицах своего города. Но то было давно и ушло навсегда. В газетах скучно стандартные строки телеграмм из-за границы, в журналах — темно-серые фотоснимки лишь тускло отражали далекую чужую жизнь, едва ли реальней, чем встрепанные страницы Жюль Верна, Майн-Рида, Станюковича или скачки ковбоев на зябко дрожащем экране.

У меня было некоторое преимущество перед другими ребятами, я читал иногда еще и немецкие газеты и журналы. Но все они блекли перед личными письмами из дальних краев, прибывшими совсем недавно, обращенными вот к этому человеку, нашему учи-

телю. Он доставал из старого портфеля яркие, будто лакированные открытки и конверты с диковинными марками. Можно было взять их в руки, понюхать вдохнуть дыхание Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Токио...

Дмитрий Викторович заметил, как ревностно я учил эсперанто: зубрил стихи, пытался непринужденно разговаривать, переводил.

После очередного занятия он пригласил нескольких наиболее прилежных кружковцев придти к нему вечером домой.

Окраинная улица. Маленький домик. Мы вошли сперва в грязную кухню, пахнувшую кисло и горько, оттуда, через небольшую, неприбранную комнату, уставленную шкафами, кроватями, сундуками, протиснулись в темный пыльный кабинет. На столе, на этажерке, в большом открытом шкафу, на стульях и просто на полу громоздились, лежали, валялись книги, тетради, газеты, гроссбухи, брошюры, папки, разрозненные листы, исписанные и чистые...

Жена Дмитрия Викторовича в грязнобелом платке, завязанном по-деревенски, и в грязном фартуке поверх халата, говорила на русско-украинском наречии полуграмотной горожанки. Дмитрий Викторович обращался к ней высокомерно, отрывисто, почти грубо, хотя и на «Вы».

— Не мешайте мне... Потом спросите... Закройте дверь, что там за чад у вас на кухне?

Он встретил нас в светлозеленом, засаленном старом халате с темнозеленым воротником и обшлагами, уже посекавшимися, бахромчатыми. Сидел он в кресле, покрытом пестрым рядном, из-под которого торчали витые ножки красного дерева и прохудившаяся атласная обивка.

В первое посещение он показался мне ученым барином, героем старой книги.

Он опять выкладывал открытки из Австралии, из Японии, Испании, Аргентины... Все они начинались обращением «Камарадо...» или «Самидеано» (единомышленник). Показывал журналы, газеты, книги и брошюры на разных языках. Должно быть Плюшкин так же бережно перекладывал бумажки на своем захламленном

столе. Я стал выпрашивать немецкие журналы. Он долго колебался; потом разрешил взять несколько и попросил перевести подписи к снимкам, изображавшим голодающих индийцев, каких-то прославленных бандитов, новые гидропланы Дорнье, казни в Шанхае, старт цеппелина и другие занятные события.

— Пожалуйста, только не потеряйте! И не изомните! Следите, чтобы углы не загибались. Когда будете класть, проверьте, чтобы не на грязное, не на жирное.

Еще несколько раз я бывал у него. Позднее уже не испытывал напряженности и неловкости; уверенно перебирал газеты, письма; выискивал по особым объявлениям в эсперантистских журналах адреса тех, кто хотел переписываться с эсперантистами из других стран, обмениваться иллюстрированными изданиями с подтекстовками, переведенными на эсперанто...

В школе действовал бригадно-лабораторный метод. Каждая группа была разделена на бригады, участники которых сами назначали друг друга ответственными за разные предметы. Такого ответственного преподаватель и вызывал отчитываться за всю бригаду. Всем ставилась общая оценка. Учителя только изредка, выборочно проверяли знания других ребят.

В нашей бригаде я числился ответственным за словесность. Но заниматься литературой я предпочитал не с Дмитрием Викторовичем, а ходил в лабораторию к Владимиру Александровичу, хотя тот и не жаловал моих увлечений.

— Вы и так уже три языка учите — русский, украинский, немецкий. И ни одного толком не знаете, на всех малограмотные. А тут еще какую-то эсперанту выдумали. Вроде той латыни, что в гимназиях зубрили, панычам на скуку. Не-е, брат, это несерьезное дело. Приходи-ка лучше, помоги в лаборатории выпустить бюллетени про Шевченко и Некрасова. И постарайся не делать орфографических ошибок.

С детства я жил в разноплеменной среде.

Мы с братом говорили между собой по-немецки. Но во дворе и на улице и в школе было известно, что мы из еврейской семьи.

Враждебные пацаны оралы нам: «Немец — перец, колбаса, сел на лошадь без хвоста, сел задом наперед и поехал в огород!» или «Жид пархатый, номер пятый, на гнилом дрючке распятый... Жид, жид, по веревочке бежит!»

Задирая иноплеменных, мальчишки горланили: «Хохол-мазница, давай дразниться!..» На это отвечали: «Кацап-кацапуца, залил на дуба, а з дуба на граба, роздерся як жаба!» Или: «Лях, лях, съел жабу в камышах!..»

Китайцам, которые на уличных перекрестках продавали веера, бумажные шары, ленты и пестрые фонари, и тем, которые на пыльных ковриках показывали фокусы, кричали: «Ходя, ходя китайца, черепаши яйца». Татарам, скупщикам старых вещей с безопасного расстояния предлагали: «Князь-халат, купи поросят, купи свинку, порадуй княгиньку».

Такие потехи мне всегда были гадки. В Киеве — городе недавних погромов, после всего, что навсегда впечаталось в память, я уже мальчишкой твердо знал, верил, чувствовал — все национальности, все языки и религии равны.

Когда меня обзывали жидом или «колбасником», либо начинали дразниться, коверкая слова на еврейский лад, — я лез драться. Если обидчик был сильнее, хватался за камень, за палку. Это стало безотказным рефлексом. Иногда приходилось отступать и удирать с окровавленным носом, с подбитым глазом. Но никогда — ни в детстве, ни в юности — я ни на миг не испытал побуждения унижить, обругать иную национальность, иную религию, передразнить чужую речь.

О самых близких друзьях я, разумеется, знал, кто они — русские, украинцы, евреи, поляки, армяне, грузины или немцы. Но о многих ребятах и девочках из моего класса, из моего отряда я и сейчас, вспоминая, не могу сказать, «какой они нации». Тогда это нас не интересовало.

Миазмы первобытно «группового», варварски обобщающего мышления настигли меня позднее и в другом виде. Когда я поверил, что следует опасаться и ненавидеть *всех* буржуев, *всех* помещиков,

всех белогвардейцев, кулаков, меньшевиков и т. п. И, напротив, полагал обязательным любить, как родных, всех пролетариев, коммунистов, комсомольцев, красных командиров, ветеранов гражданской войны...

Добрые идеалы эсперантского братства не устояли перед классово-партийной воинственной предвзятостью. Возможно еще и потому, что со временем становились очевидными некоторые существенные слабости этих идеалов.

В 20-е да еще и в 30-е годы были такие энтузиасты, которые своих детей с младенчества обучали говорить прежде всего на эсперанто; сказки Пушкина и басни Крылова читали им в эсперантистских переводах. Впрочем, тогда уже было довольно много и оригинальных литературных произведений на эсперанто в стихах и в прозе. В 1936 году серьезная интеллигентная москвичка уверяла меня, что скоро появятся великие *безнациональные* писатели — эсперантистские соперники Данте, Шекспира, Толстого. И национальные черты в тематике или стилистике их творчества будут значить не больше, чем приметы флорентийского наречия в «Божественной комедии» или московские интонации в «Войне и мире».

Возражая на это, я доказывал, что *интернационализм* реален именно потому, что он «*интер*» — между, — т. е. означает связь между реально существующими нациями, объединяет их, но не отрицает, не поглощает. А *безнационализм* ирреален, как жареное мороженое. Эсперанто может и должно быть лишь удобным вспомогательным средством международного общения, вроде азбуки Морзе. Тогда я уже понимал, что искусственный язык, как бы рационально он ни был построен, из каких бы прекрасных благородных замыслов ни возникал, все же остается неживым бумажным растением. А живые языки растут естественно, т. е. и свободно, и закономерно, однако по законам не подвластным никаким рассудочным планам; растут, как ветвистые деревья, чьи корни скрыты в глубинах национальной почвы и подпочвы.

Вопрос о национальной принадлежности впервые возник передо мною — двадцатилетним комсомольцем, когда я получал свой

первый паспорт. С тех пор я неоднократно задавал его себе по разным поводам. И каждый раз явственно чувствовал и сознавал, что должен отвечать «еврей». Потому что евреем считает меня большинство окружающих. Если бы я назвал себя русским, это было бы одними воспринято, как беспочвенная навязчивость, другими как трусливое отступничество; и теми и другими — как своекорыстное стремление приспособиться к господствующей нации.

В анкете, в графе «родной язык», я писал «русский» и «украинский», а в графе «национальность» — «еврей». Различия между этими определениями я не считал противоречием. Не видел в таком различии ничего неестественного.

После войны вопрос о национальной принадлежности стал приобретать все большее значение и часто недобрую напряженность. Сегодня решение этого вопроса и всех связанных с ним проблем, определяет своеобразный «треугольник сил»: во-первых, анкетно-паспортный рационализм административной генеалогии. Во-вторых — иррациональные силы древних, стадных инстинктов и неприязни ко всему чужому, инородному. И в-третьих — новейшие расистские мифы, уснащенные наукообразными рассуждениями об этническом генофонде и т. п.

С тех пор, как возникло и стало нарастать движение новой эмиграции, вопрос о национальности советских граждан с еврейскими паспортами или даже таких, у кого есть еврейские родственники, вместо них самих решают другие. С одной стороны «почвенники» (они же «руситы»), с другой — сионисты. И со всех сторон чиновники отделов кадров и те несметные обыватели, которые в расистской, шовинистической мифологии находят ближайшее убежище для своих обид, недовольств и комплекса неполноценности.

Я никогда не слышал голоса крови. Но мне внятен голос памяти. И в памяти сердца живут дедушка, бабушка и тетя, которых 29 октября 1941 года расстреляли в Киеве, в Бабьем Яру, за то, что они были евреями. В памяти сердца живут мать, отец, родственники, которые считали себя евреями до последней минуты жизни.

Отречься от них — значило бы осквернить могилы. Юлиан Тувим писал о братстве по крови «не той, что в жилах, а той, что из жил».

Поэтому во всех анкетах, всем казенным вопрошателям и просто любопытствующим я отвечал, отвечаю и буду отвечать: «еврей».

Но себе самому, близким друзьям, я говорю по другому. И сейчас, решившись исповедаться перед вовсе незнакомыми читателями, пытаюсь изложить, объяснить, как возникало и развивалось мое действительное национальное самосознание. Это развитие не было ни однозначным, ни прямолинейным.

Много лет прошло с тех пор, как я покинул Украину. Еще больше с того времени, как отшумело детство. Но и сегодня, даже самые любимые симфонии и концерты не имеют надо мной такой власти, как старые песни «Стоит гора высокая, а пид горою гай», «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю...», «Запрягайте кони, кони вороные...». Ребенком я слушал и плакал. Да и теперь иногда перехватывает гортань.

Зимой 41–42 гг. на Северо-Западном фронте в заснеженных замерзших лесах на Валдайских высотах мой друг Юрий Маслов получил письмо от отца из Уфы. Туда эвакуировали украинских ученых. Профессор-филолог Сергей Иванович Маслов вложил в письмо сыну новое стихотворение Владимира Сосюры.

Колы до дому я прыду
В годину радисну, побидну,
Я на колина упаду
И поцилую зэмлю ридну.
...Снигы, Башкирия, Блакыть.
Мов слёзы падають годыны,
А у лице мое шумыть,
Рыдае витэр з Украины.

Мы сразу же запомнили наизусть. Эти стихи я повторял вслух и про себя на фронте, и в тюрьме, и в лагере.

За годы войны я не раз испытывал жестокое горе, неутолимую боль, узнавая о гибели близких — кровных и друзей. Знал и страх.

И отчаяние. Но только два раза не удержала слез. Двадцать пятого сентября 1941 года, когда услышал по радио сводку «оберкоммандо Вермахта» — ликующий голос врага: «Флаг со свастикой реет над Киевом...». И в апреле 1944 года, когда впервые снова пришел на Крещатик; брел между холмами пепелищ и закопченными кирпичными скелетами. Узнавал и не узнавал. И плакал, не замечая встречных.

Киев. Нет на земле места для меня милее и краше. Хотя сейчас он и стал чужим. Я знаю: там властно хозяйничают чужие недобрые силы. Не хочу жить там. И понимаю Виктора Некрасова, который так любил наш Киев, так дивно писал о нем, а в 1974 году покидал его с горечью неприязненного отчуждения.

Но при всем том, нет на всей планете уголка роднее, чем батько Киев.

Днипро. И Лавра. И мосты.
Вэсэлый гомин, дзвин трамваю.
По бруку ридному иты
Я щастя вищого нэ знаю.
Украина — страна моего детства и юности.

По-украински разговаривала со мной няня Хима; рассказывала сказки — байки. Пела. Это она и мама пели те песни, которые навсегда останутся во мне. По-украински говорили ребята, с которыми я дружил, играл и дрался в селах, где работал отец. И он со своими друзьями и товарищами — агрономами — говорили по-украински. В школе и в университете я изучал украинский язык и литературу. Навсегда полюбил могучую поэзию Шевченко, поэзию и прозу Франко, Леси Украинки, книги Панаса Кулиша, Коцюбинского. И в новейшей украинской литературе я чувствовал себя на родине. Близки и необходимы были мне мудрые печальные драмы Микола Кулиша, стихи Тычины, Зерова, Рыльского, Сосюры, поэтическая проза Хвильового, Яновского. До 1935 года я не пропустил ни одной новой постановки Леся Курбаса в театре «Березиль», радовался каждому фильму Довженко.

Первую постоянную работу я получил осенью 1929 года. «Биржа труда подростков» направила меня в вечернюю рабочую школу для малограмотных. Там я преподавал украинский и русский языки, арифметику, основы политграмоты и основы естествознания — объяснял, что земля крутится вокруг солнца, а не наоборот, и что люди произошли от обезьян. Часть моих учеников говорили по-украински, но было и несколько приезжих из России, а большинство изъяснялись на том смешанном русско-украинском наречии пригородов, которое можно по желанию отнести к любому из двух языков.

Когда на паровозном заводе я был сотрудником заводской газеты и редактором цеховой многотиражки, то статьи и заметки писал только по-украински. Я был твердо убежден в необходимости украинизации — социалистическая культура должна быть «национальной по форме».

В ту пору я и стихи сочинял только по-украински. Писал о далеком Севере, куда наш завод отправлял тяжелые тракторы.

Тхнэ смолоу и мохом тайга,
Стыгнэ тыша, ялынна, соснова;
И зэлэного витру солэна туга
Тыхо дыхае в хвойных дибровах.
В гору й з горы,
В гору й з горы,
Дэ сосэн вэрхив'я розчисають хмары,
Радянський лис везуть тракторы,
Цэ наши хопзэвську «Коммунары».

Украинские стихи я писал и позднее. В последний раз на фронте, в госпитале, для кареглазой полтавчанки — сестры Тани.

Чужэе мисто. Сири ночи.
На двори: жовтэнь, дощ, вийна.
Алэ ж твои, кохана, очи —
И голубыный смих дивочий,
Як нэсподивана вэсна.

(Мои украинские вирши были еще хуже, чем русские. Хотя и лучше, чем те немецкие, которые я сочинял для листовок и звукопередач, чтобы агитировать немецких солдат.)

По-русски я говорил дома, с родителями, с большинством друзей-ровесников, с любимой девушкой, которая стала моей женой, едва нам исполнилось по восемнадцать лет. Русских книг у меня всегда было больше, чем украинских. И в памяти осело неизмеримо больше русских стихов и русской прозы.

Мои чувства, мое восприятие мира воспитывали, развивали прежде всего русское слово, русские наставники и русские переводы Шекспира, Гюго, Диккенса, Твэна, Лондона. Немцев я читал на их языке.

Как свое убежденье, повторял я слова Маяковского:

Да будь я и негром преклонных годов,
И то без унынья и лени
Я русский бы
выучил только за то,
Что им разговаривал
Ленин.

На паровозном заводе большинство рабочих считали себя русскими. Были среди них и члены заводских «пролетарских династий», с явно украинскими фамилиями — Шевченко, Редька, Криворучко, Задорожный. Однако новые рабочие, прибывшие главным образом из деревни, говорили только по-украински.

В Россию, в Москву, я приехал впервые двадцатилетним. До того лишь несколько раз бывал в русских деревнях на Харьковщине, там я смотрел на тоскливо серые, рубленые избы, крытые щепой, так непохожие на привычные беленые хаты с высокими соломенными крышами. Слушал непривычный говор. Все это воспринималось, как ожившие страницы знакомых любимых книг.

Но я был уверен, что знаю Россию, далекую, огромную, непривычную, и все-таки мою — не меньше, чем Украину. Потому что

Россия жила со мной рядом, на книжных полках и во мне самом. Думал-то я всегда по-русски.

...Профессорский сын Рома Самарин язвительно посмеивался:

— Никакой украинской нации нет. Ее выдумали невежественные хуторяне, потомки приднепровских разбойников-запорожцев. Те были разноплеменным сбродом и набивали себе цену в постоянных войнах России с Польшей и Турцией. Запорожцы предавали то тех, то других. А потом их внуки придумали себе Украину. Объявили нацией жителей российской окраины. Ведь «Украина» и означает просто «окраина». Украинский язык — это миф. Есть несколько малороссийских диалектов. Лучшие люди Малороссии всегда сознавали себя русскими, — Разумовский, Гоголь, Щепкин, ваш любимый Короленко. А нынешняя возня с украинизацией долго не продлится. Все самостийники будущие предатели. Когда начнется война с Польшей или Румынией, их придется расстреливать. Сегодня в русском государстве у власти русские коммунисты. Пусть это государство называется Эсэсэр. Но его столица Москва; основа его державной мощи — русский народ, русская армия. И нечего ссылаться на разных нацменов. Российская империя, российская армия всегда были разноплеменны, вспомните: Миних, Барклай де Толли, Дибич, Нессельроде, Тотлебен... Сотни, тысячи инородцев были офицерами, чиновниками. Башкиры и калмыки в Париж входили...

Такого рода рассуждения приводили меня в ярость. Особенно, когда их уснащали пошлым зубоскальством: «А как Ленский должен теперь петь: — «Чи я впаду дрючком пропертый?»

Однако возмущали и прямо противоположные взгляды.

Студент Литфака пытался доказывать:

— Тилькы Украина насправди наслидув спадщину Кыивской Руси, в усьому: в мови, в национальним характэри, в поэзии. Московщина це видобуток татарщины, а Пэтэрбург будувалы голландци и нимци. Взагали Россия николы нэ була словяньскою краиною. Вона — мишанына з финьских, туранських, кавказьских, балтийских та гэрманьских плэмэн. Правдывых словян новгородських Москва або зныщила, або погвалтувала. А писля Пэтра й Катэрыны

почалась немецька «европэизация». Пэтэрбурзьки цари й Украину закрипачили... Украинська литэратура бльжче до народу ниж російска. Шевченко — народный поэт, мученык за народ, а Пушкин камер-юнкер. Вин стилькы же француз, скількы россиянын. А всэ що тэпэр робытсья, — це нова фаза русификаторского натыску. Нэ потрібни нам вси ци заводы, электровни, эмтээсы. Воны ж тилькы забруднюють и зэмлю и нэбо.

Маленькая Галочка-галичаночка, тоже студентка литфака, в которую я был влюблен целый семестр, старалась убедить меня в преимуществах украинского языка перед русским.

— Я тэбэ клычу хлоню, а ты мэнэ клыч котэчко... Пам'ятаешь у Мицкевича: «Веселютка, як млодэ котэчко»?.. А Пушкин пэрэклав: «Весела, как котенок у печки»... Как котенок! Ка-ка-ка!. Ни, всэ ж таки наша мова и польцизна мылзвучниши од московской... Навить найпростиши слова... Шо липше: «Як ся маета, друже?» чи «Как поживаете, товарищ?» А писни?! Российски писни таки сумни, таки довги, довги и бэзбарвни, наче то осинни витры, чи снижни завирюхи их там спиваты навчають... А слова. Ось тилькы послухай, що тоби милише: «грустить» чи «сумоваты»? «Тосковать» чи «журытысь»? А мы з тобой хто? «Влюбльонные»? Ни! Мы закохани. Ты мий хлопец, мий хлоню, а нэ «мой парень». Там в России однэ тилькы слово е «любить». Гарнэ слово, алэ однэ. А у нас и любыты и кохаты, и мылуваты, и любытысь, и кохатысь, и мылуватысь. Або у них «у-ха-жы-вать», бррр... яке мищаньскэ брыдкэ слово! А у нас «залицятысь». Ты ж нэ «ухаживал», ты залыщявся до мэнэ.

Пытаюсь объяснить другим и себе свою раздвоенность между Россией и Украиной, я говорил:

— Да ведь я родился в Киеве, когда он был еще только русским городом. Теперь он украинский, и это справедливо, это законно. Однако, он же не перестал быть матерью городов русских.

В страшную голодную весну 1933 года мне пришлось на протяжении одной недели побывать в нескольких украинских и русских деревнях Волчанского района. Расстояния между ними были короткие: 8–10 километров. Соседействовали они уже больше ста лет

со времен Аракчеевских военных поселений. И среди многих тягостных, горестных впечатлений тех дней застряли в памяти такие разговоры.

Немолодая крестьянка, — даже по отечному бледному лицу заметно, что была когда-то очень пригожа, — говорила, что не позволит сыну жениться на девушке из соседнего, украинского, села.

— Не пуцу я в свою избу хохлушку — непряху, неткаху, неряху. Это ж у них одна видимость, что хаты мелом белят и в праздники выряжаются. Ну, как цыганки. А под теми лентами-бусами у них что? Вши да гниды. Там на все село ни единой баньки. Хорошо, если такая красавица хоть глаза утром помывает. Они ж только влетку, если жарко невтерпеж, когда-никогда пополощутся. Да и то, пока еще девки. А бабы ихние. как косу расплела, очипок свой повязала, так до самой смерти головы не промоет. Нет, не пуцу хохлушку.

Она говорила убежденно, уверенная в своей правоте.

А на другой день в украинском селе я слушал таких же пожилых, здравомыслящих крестьянских жен и матерей. Ни истощение, ни горе — в каждой семье были опухшие, умершие от голода, — не ослабили в них пристрастного недоверия, недоброжелательности к соседям.

— Якщо мий сын визьмэ кацапку, то хай идэ в прыймакы (то есть, живет в доме тестя). А я з нэю пид одниєю стрихою нэ жытыму. Воны ж ти кацапы як свини: хаты ни билэни, нэ мэтэни, скризь тараканы, клопы... Та ще й куры и тэлята и порося тут же, разом з людямы и жруть и серють... Одна слава, що в баню бигають кожну суботу. Парються, як скажени, а потим знову у бруді сплять.

— Я свою доню за кацапа нэ виддам. Щоб вин пьянычка був, щоб вона биля свинэй спала. Ихни жинки бидолаги цилый рик в постолах и в онучах ходять. Воны й на свята чобит нэ мають.

Чем было преодолеть эту вековую неприязнь? Какое эсперанто могло тут помочь?

Всегда я любил Украину. И не могу разлюбить. Уже до конца.

Но не было такого дня и часа, когда бы я чувствовал или называл себя украинцем.

К началу тридцатых годов я уже понимал, что эсперантистские мечты о безнациональном человечестве — бесплодная утопия.

Однако на вопрос о национальности я тогда отвечал не колеблясь: «советский». И верил, что это объективная историческая истина и вместе с тем — моя личная правда. Потому что всерьез полагал, будто я-то и есть один из *новых советских людей*.

Ведь любя и Россию, и Украину, я вместе с тем был интернационалистом. Немецкий язык и немецкая словесность были мне с детства родственно близки. Этому нисколько не мешало ощущение неразрывной связи с еврейской родней. Знакома и мила стала мне Польша — страна Мицкевича и Сенкевича, страна моих соболевских друзей. Но также и Франция — страна Гюго и Дюма, якобинцев и коммунаров; Англия Диккенса, Вальтера Скотта, Уэлса; Америка Марк Твена, Джека Лондона, О. Генри; Чехословакия Гашека и Чапека; Китай, где сражались красные армии; Индия Киплинга и Рабиндраната Тагора; Япония, в которой жили такие пылкие эсперантисты, что они даже создали свою особую религию...

Не довольствуясь эсперанто, я еще в школе стал учить английский по самоучителю, а позднее и по книжкам на «бэйзик инглиш». В 1931 году, в пору напряженной работы на заводе, когда мы по несколько суток не возвращались домой, мы с Ваней Каляником поступили в вечерний техникум восточных языков на отделение фарси. Ваню привлекала великая персидская поэзия, а меня соблазнили его рассказы о том, что на фарси говорят не только таджики и персы — тогда еще так называли иранцев, но и часть афганцев и многие жители Индии. К тому же я хотел усвоить арабскую письменность. Все это в предвидении грядущих классовых битв на Востоке...

Когда ввели паспорта, вопрос о национальности впервые был задан мне официально, моим государством.

Секретарь комсомольского комитета удивился, узнав, что я «записался» евреем.

— Ты что, сдурел?! Ты ж ни говорить, ни читать по-еврейски не умеешь! Ты должен писаться украинец: ты ж украинскую школу кончил, вирши по-украински пишешь. Я вот написался русский,

хотя батьки —украинцы. Но я русскую школу кончал, по-русски лучше умею и говорить и писать. Ну, и ты можешь в крайности писаться русский, ты ж одинаково умеешь...

Я возразил, что до тех пор, пока я знаю, что могу услышать упрек: «Ага, стесняешься, скрываешь...», я буду числиться евреем.

Он сердито пожал плечами:

— Ну, это у тебя какой-то мелкобуржуазный интеллигентский уклон получается... Кто может сказать такое? Только гад-белогвардеец, петлюровец. Гадов надо искоренять, а не думать, что они скажут. Не по-комсомольски это у тебя получается.

Он не мог понять моего решения и должно быть даже сомневался, насколько оно искренне. Незадолго до этого комитет рассматривал мое первое «персональное дело».

...В редакцию пришел разбитной парень и заявил, что он организует еврейскую секцию завкома, хочет издавать в нашей газете еженедельную страницу на идиш, а также выпускать несколько еврейских стенгазет. Он требовал, чтобы ему оказали содействие и помощь, и доказывал настоятельную необходимость своих проектов. На заводе имеются минимум полторы тысячи евреев — рабочих, ИТР и служащих.

Мне это показалось неубедительным. Предполагаемые избиратели новой секции завкома были разбросаны по разным цехам и отделам, многие, должно быть, вовсе не знали идиш. Зачем их искусственно объединять и отделять от других товарищей? Только по национальному признаку? Нелепо!

Возражал я тем более резко, что автор проекта, едва познакомившись, заговорил так, будто само собой разумелось, что я должен его поддержать.

— Оч-чень жаль, что ты не понимаешь идиш. Или, может, все-таки а бисл понимаешь? Нет?! Но все-таки должен же иметь еврейское сердце.

Я пытался ему объяснить, почему именно считаю несостоятельными его представления о национальном вопросе. Предложил для начала провести анкету, сколько именно из тех рабочих

и служащих, которых он взял на учет, владеют еврейским языком. И сколько таких, кто хочет иметь свою особую стенгазету. О странице в многотиражке не могло быть и речи, мы и так не умещали всех материалов, и никто не думал заводить русскую страницу, хотя русских рабочих на заводе было действительно много.

Он сперва даже не поверил в серьезность моих возражений. Потом стал злиться, заговорил свысока, с угрожающими интонациями. Ведь я-то без году неделя в комсомоле, выходец из мелкобуржуазной интеллигенции, а он — потомственный пролетарий, кожевник, ставший металлистом; имел уже сколько-то лет стажа, и не какого-нибудь, а боевого, активистского, в сплошной классовой борьбе. Ему просто противно было разговаривать с такими сопляками и маминными сыночками, которые отрекаются от своей породы, лезут не то в украинцы, не то в кацапы, подхалимничают...

Тут уж я не выдержал и наорал так, что на очередном собрании комсомольской ячейки сталелитейного цеха получил выговор «за допущение высказываний антисемитского характера».

Могло быть и хуже, если б не секретарь ячейки, белокурая разметчица Аня, в которую я был безмолвно влюблен, и только ради нее прикрепился именно к ячейке сталелитейного. Аня спокойно и умно отстранила самые злобные нападки обвинителей. Главного противника поддерживали еще двое, молодые формовщики, тоже парни из черты оседлости. Но их удалось переубедить.

Этот случай остался в памяти мутным осадком. В том же слое воспоминаний, где застрял учитель-сионист, лупивший меня за строптивость, местечковые ребята, швырявшие комьями грязи, и обида дедушки из-за несостоявшегося тринадцатилетия.

Никогда я не находил в своем сознании ничего, что бы связывало меня с национальными идеалами, с религиозными преданиями еврейства.

Однако, в подсознании, в условно-рефлекторных корнях мироощущения, жили и живут иррациональные, но прочные связи с бабушкой, дедушкой, прадедом, с родственниками и свойственниками, с их страхами и надеждами, страданиями и радостями. Должно

быть именно поэтому я так обозлился на крикуна, который пытался устраивать на ХПЗ «еврейский национальный очаг». Именно поэтому мне и донныне особенно мерзки негодяи еврейского происхождения — Мехлис, Каганович, Заславский и т.п. «идеологи» и чекисты, сановные хамы и мелкие подхалимы. Именно поэтому такой жестокой болью ранит новейшая черносотенная ложь: «евреи не воевали, а благоденствовали в Ташкенте», «все они торгаши, проныры, друг за дружку цепляются... ловчат, умеют устраиваться, наживаться...» И еще больше уязвляют мифы образованных и полуобразованных расистов, рассуждающих о «вечных, миродержавных претензиях иудаизма», об отсутствии у евреев «чувства родины», «связи с почвой», о «еврейских источниках русской революции», «еврейских корнях американского империализма» и т. п.

Каждый раз я снова и снова пытаюсь, — чаще всего бесплодно, — спорить; говорю о брате, погибшем в бою в 41-м году, обо всех двоюродных и троюродных, похороненных в русских солдатских могилах, о знакомых и товарищах с еврейскими паспортами, которые честно воевали, честно работают. никогда не ловчили, неразрывно связаны с душою и почвой России, Украины, Белоруссии... Однако, при этом я отчетливо сознаю, что хочу защитить не столько еврейскую нацию, сколько правду о русской укорененности таких «граждан еврейского происхождения».

Один из недавних эмигрантов написал другу: «Всю жизнь я считал себя евреем. Уже в школе мне тыкали: «ваша нация». Дважды меня проваливали в университет, не приняли в аспирантуру. Везде почти совершенно откровенно «по 5-му пункту». Я стал учить иврит, до хрипоты спорил с ассимиляторами, готов был их ненавидеть. Но теперь, прожив уже больше года в Израиле, где мне в общем хорошо — работаю по призванию, материально благополучен — я чувствую себя русским и только русским. И все вокруг считают меня именно русским. Пожалуй, уже ради этого стоило сюда ехать».

Надеюсь, что большинству моих соотечественников, отягощенных еврейскими паспортами или даже только еврейскими ге-

нами (в некоторых советских учреждениях исследуют кадры уже по нацистскому образцу, выделяя и «метисов», и даже «квартиронцев») — не придется уезжать за рубеж, чтобы чувствовать и сознавать себя русскими.

Первые годы моей комсомольской молодости совпали с порою воинственного антинационального нигилизма, которым ознаменовалось воцарение сталинщины.

В 1930 году началось то, чего мы еще тогда не понимали, *уничтожение крестьянства*, — т. е. выкорчевывание живых корней национального исторического бытия. Одновременно идеологи-коновалы старались выхолостить, выскрести «пережитки» и живые корни национальной культуры. Взрывали московский храм Христа Спасителя, ретиво разрушали церкви в Кремле, в сотнях городов и тысячах деревень, жгли иконы и старопечатные книги, запрещали издавать Достоевского, изымали книги русских философов XX века, очищая библиотеки от «идеологически чуждой» литературы.

В 1931 году Сталин говорил: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все за отсталость: За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно».

Именно в ту пору я, полагавший себя образцовым интернационалистом, советским патриотом, представителем новоявленного и разноплеменного советского народа, начал все острее ощущать обиду, а временами даже боль за Россию, за русскую историю и русское слово.

...Политэмигрант из Австрии Антон Д., ставший секретарем райкома неподалеку от Николаева, за обедом в кругу друзей доказывал, что русские, мол, всегда были отсталыми. Русская революция — следствие благоприятных исторических условий, но рабочих

у вас мало, бывший пролетариат весь пошел на партийную работу. А нынешние русские рабочие неспособны производить сложные машины. Самолеты вам делает ЦАГИ¹¹ — это итальянская фирма. Если не будут помогать иностранные рабочие и инженеры, то и пятитетка провалится...

Старого коммуниста, самоуверенного добряка Антона Д. я мгновенно возненавидел, так же как ненавидел инженера-берлинца, работавшего у нас на ХПЗ, который высокомерно посмеивался над грязью в цехах, над обилием брака, нерасторопностью новых рабочих, вчерашних сельских парней; брезгливо фыркал: «Азия!.. русише шлямперай!»

Возражая таким наглым иноземцам, я обличал их невежество; в спорах с ними главными доводами были великие события и великие люди русской истории: демократия Новгорода, Ярослав Мудрый и его дочери, московские размышлы, |воздвигавшие храмы и крепости, Петр Великий, Ломоносов, Менделеев, русские революционеры и ученые. Спорил я обычно так увлеченно и пристрастно, что мой друг и постоянный союзник в этих перепалках берлинец-коммунист Вилли Гуземанн, жестоко поносивший своих реакционных соотечественников, иногда укорял и меня:

— А ты, все-таки, забываешь о классовой точке зрения. Тоже заражаешься национализмом, только русским.

Такие упреки я слышал и от тех приятелей в литкружке и в университете, кто, отстаивая достоинство Украины — исторические традиции и самобытность украинской культуры, враждебно отстранялись от «московщины».

Но все явственнее сознавал я, что истоки нашего, моего бытия не только в новейшей революционной истории России. Размышляя, споря о событиях и людях даже самых давних эпох, я радовался или злился, гордился или пытался увильнуть от «больных» вопросов, так же, как от иных недобрых, стыдных мыслей о родителях, о самом себе.

¹¹ Центральный Аэрогидродинамический институт.

В пору наиболее азартного комсомольского радикализма я перечитывал стихи и драмы А.К. Толстого и те книги по истории, которые никогда не переставал любить. А. Толстой и В. Ключевский, которому я неизменно продолжал верить, несмотря на искреннее почтение к Покровскому, убедили меня в преимуществах «старого русского вече» и здравого смысла Потока-Богатыря; в том, что главными источниками и творческими силами русской национальной культуры были Киев, Новгород Великий, Псков и те вольные области Северо-Запада и Севера, где, в отличие от Москвы и коренных московских владений, почти не сказались ни византийские, ни таттаро-монгольские влияния.

В моем представлении добрыми силами России были не московские цари, не петербургские императоры, но прежде всего, потомки вольных новгородцев и псковичей и те мужики и слобожане, дворяне и монахи, вологодские, вятские, заволжские кержаки, старообрядцы, олонечские поморы, казаки и все непокорные «бегуны», которые уходили от крепостного права, от казенных владений в разбой, в неведомые дальние края...

Благодаря великим русским писателям, историкам и революционерам, а также благодаря украинским друзьям и работам украинских историков, мое русское национальное самосознание никогда не снижалось до великодержавного шовинизма.

Напротив, оно естественно сочеталось с идеалами всемирной революции и с марксистскими понятиями классовой борьбы. А любые противоречия помогала одолевать всеспасительная *диалектика*. Маркс и Энгельс ведь любили свою Германию, были именно немцами, в молодости даже почти националистами, несправедливо, зло писали о славянских народах. Ленин прямо одобрял национальную гордость великороссов, говорил о «двух нациях внутри каждой нации». Горький писал о Ленине как о русском национальном характере.

В 1934 году Сталин самолично начал травлю Покровского и Демьяна Бедного, обличенных в недостаток патриотизма. Тогда же был принят закон «об измене родине». Впервые это понятие ста-

ло официальным. Новый школьный учебник истории (Шестакова) восторженно описывал даже тех царей и князей, которых осуждали и Соловьев, и Ключевский.

Этому повороту и в пропаганде, и в исторических исследованиях, решительному отказу от антинационального нигилизма я сперва только обрадовался. Партия подтверждала и утверждала то, что я чувствовал с детства и начал сознавать в юности.

Восстанавливались понятия *родина*, *патриотизм*, *народ*, *народный*. Именно восстанавливались: раньше они были опрокинуты, низвергнуты. Всего лишь за несколько лет до этого их затаптывали особенно решительно и заменяли понятиями «социалистическое отечество всех трудящихся мира», «советский патриотизм», требуя ко всему классового, партийного «подхода». И одновременно восстанавливались и обновлялись понятия *гуманизм* и *демократия*.

Еще недавно это были бранные слова. А в середине 30-х годов их стали применять даже и одобрительно. Это связывали с поворотом в политике Коминтерна и с тем, что мы «завершили построение бесклассового общества». Во Франции и в Испании развивался широкий *народный* фронт. СССР вступил в Лигу Наций. Всенародно обсуждался проект «самой демократической в мире сталинской конституции».

Но это были дымовые завесы, за которыми начинался крутой поворот в государственной политике, в идеологии.

Уже шли массовые аресты «врагов народа»; тюрьмы всех городов были переполнены. Огромные пространства тайги и тундры были владениями тайной империи ГУЛАГ — втрое, вчетверо более обширной, чем вся Европа.

Голод, избиения, пытки, расстрелы по решениям заочных судов стали повседневным бытом. Так же, как толпы скорбных, заплаканных женщин у тюремных ворот, у справочных отделов НКВД...

И ежедневно в газетах, на собраниях, на митингах поносили разоблаченных врагов и всех их пособников, и каждый раз кто-то униженно каялся в том, что «не распознал», «проглядел». И все надрывнее, все назойливее раздавались призывы к бдительности...

До 1935 года любой иностранец, если он был «трудящимся», вступив на землю СССР, автоматически становился советским гражданином.

Осенью 1934 года в Харьковский горсовет были избраны несколько политэмигрантов — австрийские коммунисты и социалисты, бежавшие после поражения февральского восстания «щуцбунда».

Но уже год спустя приобретение советского гражданства стало очень сложным делом, требовавшим усилий, времени и особых правительственных постановлений в каждом отдельном случае. Иностранцев коммунистов перестали допускать на наши закрытые собрания. Им приходилось подолгу оформлять через Коминтерн перевод из своей партии в ВКП, либо оставаться в особых эмигрантских парторганизациях.

Напряженное ожидание войны, все новые тревожные вести с дальневосточных границ вызывали — и оправдывали в наших глазах — нараставшее недоверие к иностранцам вообще и к тем соотечественникам, у которых были «связи с границей».

В 1929 году после боев на манчжурской границе мы распевали: «У китайцев генералы — все вояки смелые; на рабочие кварталы прут как очумелые». Врагами были именно «генералы».

В 1936–1938 гг., когда у озера Хасан шли тяжелые бои с артиллерией, танками, авианалетами, мы знали: «наши бьют японцев». Правда, обычно говорили и писали «самураев», но для всех это были именно японцы, не различаемые уже по классам и званиям.

Эммануил Казакевич, приехавший в 1937 году из Биробиджана, рассказывал о том, как оттуда за два дня вывезли в Среднюю Азию всех корейцев, в том числе и членов партии и комсомольцев, и работников НКВД; и тех, у кого были русские жены или мужья.

Он рассказывал об этом без гнева и осуждения; и я слушал так же. Обидно, что пострадали многие ни в чем не повинные люди; большинство из них, конечно же, были «свои», братья по классу. Но ведь японские шпионы и диверсанты укрывались, выдавая себя за корейцев или китайцев, либо забрасывали к нам агентов из зару-

бежных китайцев. Это угрожало всей стране, сотням миллионов. Значит, приходилось утеснять сотни тысяч. В те же годы из западных областей выселяли поляков, эстонцев, финнов. И это тоже представлялось печально суровой, но необходимой «расчисткой тылов будущего фронта». На Украине всех галичан, всех, кто приехал из областей, принадлежавших Польше, стали полагать подозрительными, ведь их могла направить польская разведка «дефензива». Коминтерн распустил три партии — польскую, западно-украинскую и западно-белорусскую специальным решением, утверждавшим, что они «засорены шпионскими и провокаторскими элементами». В разных городах союза были арестованы многие немецкие, польские, венгерские, австрийские и другие политэмигранты, главным образом, коммунисты. Были расстреляны Бела Кун — вождь венгерских советов 1919 года и Гайнц Нойманн — заместитель Тельмана; погиб в тюрьме Фриц Платтен — швейцарец, который приехал в апреле 1917 года вместе с Лениным, а зимой 1918 спас ему жизнь, прикрыл его от обстрела и сам был ранен. Их всех называли «вражескими агентами».

Классовые и идеологические мерилы оказывались несостоятельными. Миллионы рабочих шли за Гитлером и Муссолини. Ни английские, ни французские, ни американские коммунисты, хотя их партии были вполне легальны, даже в годы жесточайшего всемирного кризиса не повели за собой ни рабочих, ни крестьян, и в то же время нас уверяли, что почти все зарубежные партии кишели шпионами. Любой иностранец, приезжавший к нам, мог оказаться агентом Гестапо, Интеллидженс Сервис, дефензивы, сигуранцы, японской разведки...

Нам доказывали наши вожди и наставники, пылкие ораторы, талантливые писатели и официальные судебные отчеты (они у меня еще не вызывали сомнений), что старые большевики, бывшие друзья самого Ленина, из-за властолюбия или из корысти стали предателями, вдохновителями и участниками гнусных злодеяний. А ведь они когда-то были революционерами, создавали советское государство...

Что мы могли этому противопоставить? Чем подкрепить пошатнувшиеся вчерашние идеалы?

Нам предложили позавчерашние — *Родина и народ*.

И мы благодарно воспринимали обновленные идеалы патриотизма. Но вместе с ними принимали и старых, и новейших идолов великодержавия, исповедывали изуверский культ непогрешимого вождя — (взамен «помазанника») — со всеми его варварскими, византийскими и азиатскими ритуалами, и слепо доверяли его опричникам.

Идеология зрелой сталинщины позволяла одобрять любые политические маневры: дружбу с Гитлером, новый раздел Польши, нападение на Финляндию, захват Прибалтики, Восточной Пруссии, Курил, претензии на иранские и турецкие области...

Не избежал и я тлетворного влияния великодержавных амбиций в годы войны и позднее. К счастью, воспринимал их все же безоговорочно — за что и попал в тюрьму. И проникали они в душу не слишком глубоко, не укоренялись, а позднее легко отпадали мертвой шелухой. Им противодействовали неизбытые юношеские представления о равенстве всех народов — представления столько же обдуманые, осознанные, сколь и непосредственные, укорененные в подсознании, в мироощущении.

Поэтому, даже став искренним приверженцем Сталина, я все-таки не превратился в последовательного сталинца, — то есть в холопа, уже вовсе беспринципного, бессовестного, готового на любые злодеяния. И никогда не мог ни душой, ни рассудком поверить, что у нас больше врагов, чем друзей, что идейных противников надо не убеждать, а убивать. Такой спасительной незавершенностью и непоследовательностью моего духовного и нравственного вырождения я обязан хорошим людям, хорошим книгам — многим добрым силам, в том числе и ребяческому увлечению эсперанто.

Мечта о *безнациональном* содружестве людей утопична. Отказ от нации так же ирреален, как отрыв от земного притяжения. Невесомость космонавта — недолгая, искусственная «свобода» от земли.

Тем радостнее потом возвращение к естественной весомости, к земному притяжению, к земным тяготам.

Создатель международного языка доктор Людвиг Заменгоф (1857–1917) родился в еврейской семье и вырос в Польше, разделенной между тремя государствами-завоевателями. Он получил польское и немецко-австрийское образование, испытал значительное влияние русской и украинской литературы (Льва Толстого, Ивана Франко), жил в среде разноязычной интеллигенции.

Он видел, как в Российской, Австро-Венгерской и Турецкой империях нарастали жестокие противоречия между народностями, как развивались национально-освободительные движения в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, в славянских владениях Габсбургов и турецких султанов.

Тогда же возникали и ширились новые мифы: панславизм, пангерманизм, антисемитизм — (уже не религиозный, а расистский), — сионизм, воинственно-шовинистические движения в Германии, Италии, Франции, Японии и других странах.

Эти мифы превращали естественные привязанности к родному языку и словесности в спесивое самолюбование, злое высокомерие; боль оскорбленных национальных чувств перерождалась в ненависть к иноплеменникам, ко всем, кто говорил на языке угнетателей или был сродни «наследственным врагам-соседям».

Желание противоборствовать реальному злу рождало мечты о нереальном добре — мечты пацифистов, мечты создателя эсперанто и его последователей.

Но были у их замыслов и другие источники.

Почти полтора тысячелетия *латынь* оставалась международным языком католической церкви и всех образованных европейцев.

Больше двух веков *французский* язык был уже не только в Европе общим языком дипломатов, аристократов и многих интеллигентов разных стран.

С развитием всеобщего образования и разнородных международных связей, по мере того, как теснее становилась наша планета, потребность в непосредственном общении с иноземцами возника-

ла у все большего числа людей разных сословий. Эсперанто, идо, волапюк и др. возникали как своеобразные демократические, общедоступные заменители элитарных межнациональных языков — латыни и французского.

Когда школьником я впервые узнал о языке, призванном связать между собой все народы мира, будущее представилось мне простым и ясным. Люди разных стран научатся понимать друг друга, и сами собой исчезнут недоверие, вражда, шовинистические мифы, — причины войн. Ведь к этому же призывали Христос и Кампанелла, Маркс и Короленко, Ленин и моя старая учительница... Пушкин и Мицкевич мечтали о времени, «когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся».

Нам выпало счастье приблизить это время.

Эсперо — надежда. Мы надеялись, что скоро на всей земле победят силы, борющиеся за всечеловеческое братство — за коммунизм. И мы верили, что в нашей стране торжествуют именно эти добрые силы, что у нас уже осуществляется родственное слияние разных племен и народов. Именно поэтому наша родина стала *отечеством трудящихся всего мира*.

Союз Эсперантистов — САТ — объединял сторонников разных партий. В него входили коммунисты, социал-демократы, христианские социалисты, анархисты, беспартийные либералы, верующие разных религий и атеисты... Такое широкое единство представлялось мне как бы прообразом и залогом будущего.

Испанская республика 1936–1939 гг. и ее Интернациональные бригады стали нам так необычайно близки еще и потому, что они объединили людей разных наций и разных партий. Казалось, что в Мадриде и в Каталонии пролетарии всех стран действительно соединились в общей борьбе против фашизма, в общем стремлении к справедливости и свободе.

В Испании оживали наши старые идеалы, наши мечты о международном братстве, оживали именно в ту пору, когда вокруг уже лютовали бесстыдная ложь и безудержный террор.

Вместе с двумя сокурсниками я ревностно учил испанский язык; мы несколько раз тщетно писали Сталину, Ворошилову и Михаилу Кольцову, умоляя отправить нас на фронт в Испанию.

Конечно, и тогда уже некоторые люди понимали действительную сущность того строя, который рос и креп наследником, преемником многовекового самодержавия, вопреки революционным потрясениям 1917–1921 годов, вопреки революционным утопиям Ленина, Троцкого, Бухарина.

Наш крепостнический, каторжный и парадный «социализм» преодолевал все мятежи и смутные времена так же, как его предшественники преодолевали Новгородские вольности, казачьи мятежи, цивилизаторские преобразования Петра, просветительские иллюзии Александра I и либеральные реформы Александра II.

Но я убеждал себя и других, что главное неизменно, что все беды, злодейства, ложь суть неизбежные временные заболевания нашего в целом здорового общества. Освобождаясь от варварства, мы вынуждены прибегать к варварским средствам и, отражая жестоких коварных врагов, не можем обойтись без жестокости и коварства...

С удовольствием смотрел я фильмы о Петре Великом, Александре Невском, Суворове, мне нравились патриотические стихи Симонова, книги Е. Тарле и «советского графа» Игнатъева; я смирился с возрождением офицерских званий и погон.

По-взрослому оживала детская привязанность к былям отечественной истории. И с новой силой звучали никогда не умолкавшие в памяти голоса «Полтавы» и «Бородина».

Тогда я уже только посмеивался, вспоминая пацанские увлечения эсперанто.

Но десятилетия спустя, когда позади остались войны, тюрьмы, реабилитации, «оттепели» и новые заморозки, когда уже писались эти воспоминания, я начал постепенно сознавать, что, пожалуй, именно «детские болезни» эсперантистского и пионерско-комсомольского интернационализма предохранили меня от заражения воинственной полонофобией и финофобией в 1939–1940, от ослеп-

ляющей ненависти ко *всем* немцам, от наиболее тлетворных миазмов казенного шовинизма.

И в то же самое время ведь именно эти упрямые мечты побуждали не за страх, а за совесть отождествлять себя с режимом сталинского великодержавия. В тюрьме я сочинял стихи, чтобы укреплять память и сохранять душевные силы. В плохоньких стихах бесправный «зэк» высказывал свою неколебимую веру. «...Покуда движется земля, Свят будет мрамор Мавзолея и звезды старого Кремля».

И позднее — реабилитированный, восстановленный в партии, я продолжал, вопреки жестоким разочарованиям, отстраняя неумолимую правду Берлина 1953 года, Венгрии 1956 года, снова и снова цепляться за спасательные круги тех давних утопий и надежд. Убеждая себя, старался убедить других: ведь же сбываются наши стремления и предвидения, — сбываются вопреки всем ошибкам, просчетам и преступлениям «культы личности», — их подтверждают события на всех континентах от Эльбы и Адриатики до Индокитая; уход колонизаторов из «Индии, Индонезии, из Африки».

Прозрение наступило позднее, развивалось медленно и непосредственно.

Пражская весна 1968 года пробудила старые и рождала новые надежды, старые и новые сомнения.

И сегодня, я думаю, что ребячьи эсперантистские мечты — добрые стремления к международному братству и те иллюзорные представления о мире, которые делали нас приверженцами зла, в то же самое время помогали мне и таким, как я, сохранять остатки совести, сберечь в душе зерна добрых надежд.

Потому что бессмертна надежда, возвещенная впервые на заре нашей эры — «несть эллина, несть иудея».

В юности я верил, что эта надежда перевоплотилась в призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Позднее убедился, что она живет и во многих других воплощениях. И всего явственнее для меня сегодня в пушкинской речи Достоевского: — «Быть по-настоящему — русским это значит быть всечеловеком».

Глава шестая В ШКОЛЕ

...готовились бои.
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Борис Слуцкий

Поздней осенью 1926 года мы переехали в Харьков. Отца назначили агрономом в республиканский Сахаротрест.

В новой школе и в новом пионеротряде я чувствовал себя чужаком. Сбор отряда показался уныло формальным. Вожатый спешил; ребята шушукались о посторонних делах. Стенгазета была двухмесячной давности, скучная, безлика, с картинками, вырезанными из журналов. На меня — новичка — никто не обратил внимания. Даже вопросов не задавали, просто зачислили в звено к однокласснице. Та спросила:

Ты где хочешь активничать? В стенгазете? Ну, давай. А звено мы собираем, когда что нужно. Особого расписания нет. Можно и на переменке договориться.

Приняли меня в 7-ю группу. Школа была семилетней, шел последний учебный год. Мальчишки «брашки» сложились давно и преимущественно из одноклассников. С параллельными поддерживались неустойчиво мирные отношения. В том же здании находилась вечерняя химико-товароведческая профшкола, в которой учились главным образом наши выпускники. Среди них была и Надя, моя

будущая жена. Тогда она и ее подружки презирали нашу брашку, как невежественных и наглых бездельников.

Мы находились в состоянии постоянной войны с противниками из других школ и смежных улиц; однако, дрались не слишком жестоко; разбитый в кровь нос или «фонарь» под глазом уже считались тяжелыми увечьями. Зато хвастались воинскими подвигами очень подробно и красноречиво, обзаводились кастетами, свинчатками и даже финками; обучали друг друга приемам джиу-джитсу.

Зоря Б. утверждал, что уже в прошлом году, независимо от Маркса «открыл закон прибавочной стоимости». Он курил. Меня это поразило, как грубое нарушение пионерского устава. Однако его мать, врачиха, усталая, нервная, но очень добрая и разговаривавшая с нами как с равными, — позволяла. «Если уж курите, так открыто, при мне. Ничего нет хуже лицемерия, брехни»».

Зоря был истовым физкультурником, играл в футбол и в гандбол, хорошо «работал» на турнике, бегал и прыгал. Читал он меньше, чем я, зато почти все конспектировал, не только политические брошюры и газетные статьи, но даже художественные произведения. Он говорил, что обязательно будет «партгосработником» и рассчитывает лет через двадцать, — то есть годам к 35–36 стать Председателем ЦИКа. Будет последовательно выдвигаться, сперва председателем горсовета, потом Окрисполкома, потом в Президиум ВУЦИКа, когда Григорий Иванович Петровский умрет — на его место. А когда умрет Калинин он будет уже достаточно опытен, чтобы заменить и его.

Даня Жаботинский, сводный брат Зори, никогда не участвовал в боевых действиях нашей брашки, не интересовался ни политикой, ни литературой, но к моему величайшему, завистливому удивлению пользовался необычайным успехом у девочек. Он первым из нас по-настоящему переспал с одноклассницей, просто убедив ее, что надо же когда-нибудь попробовать.

Наиболее многоопытным был самый старший из нас, второгодник Иван Горяшко, сын владельца колбасной фабрики на Холодной горе. Дощатые фургоны, запряженные тяжелыми битюгами

и украшенные надписями «Колбаса Горяшко» тогда еще можно было увидеть на улицах. Ваня был богаче всех нас, у него постоянно водились деньги, и не пятаки или гривенники, как у большинства, а рубли, и даже трешки. Он рассказывал, что помогает отцу, покупает у «дядьков» мясо или отвозит готовый товар в ларьки и при этом имеет «навар для себя» Иногда он бывал необычайно щедр, водил всю брашку в пивную, угощал всех водкой, дорогими папиросами; именно он однажды повел меня и Зорю в настоящий притон — подвальчик «Замок Тамары» — и познакомил с настоящими проститутками. Но обычно он сквалыжничал: одолжив пятак, неукоснительно напоминал должнику; играя в очко, мог подраться из-за копейки, недоданной проигравшим; уходя из пивной, допивал все бутылки, доедал весь горох, совал в карман кусок хлеба — «Чего им оставлять, раз заплачено».

К изящным искусствам, к науке и политике он был презрительно равнодушен. «Это все трепня. Пижоны хвасон давят». Мечтал уехать в Одессу, в Америку или еще куда-нибудь за границу.

— Плохо только, що языков не знаю, не лезет в меня этот васистдас. Но там, в загранице торговых людей не прижимают, как здесь, не лают нэпачами, куркулями... Да иди ты в жопу с твоей мировой революцией. Это ж тоже пижонский хвасон. А я хочю жить, как хочю. Чтоб дело какое делать. Ну, зачем колбасу. Это пусть батько колбасник, а я чего другого научусь, — и чтоб гроши, были сколько схочешь, и бабы хорошие... Зачем бляди, — это так, иногда побаловаться, а я хочю, чтоб была хорошая женщина: красивая, здоровая и деловая; чтоб свой дом, сад, огород, ну и дети. А тогда можно еще и на стороне заиметь другую бабу, чтоб еще красивше и конечно моложе. Ну, эту уж только для удовольствия. А должности ваши мне и даром не нужны. Все наркомы, совнаркомы, цики, вуцики... Это, хай тем, кто любит языком трепать, хвасон давить... А ты не лайся «мещанин», «куркуль». Тоже мне идейность показывает, пионер — всем пример. Хочешь стукнемся, я тебе на ребрах побарабаню, будешь знать, кто мещанин... Ну, ладно, ладно, чего ты в бутылку лезешь, уже пошутить нельзя! Иди, лбом в холодную

стенку стучайся, если такой горячий... На, закури «Нашу марку», ростовская, высший сорт. Да не чепурься ты, как целка... Ну, поругались и замирились... Жорка, а ну давай сюда, пойдём сейчас до Зори, у меня грошеньята есть, возьмем пиво и пару мерзавчиков (так назывались стограммовые бутылочки водки).

Жора Л. был пригож, мечтателен и неистово азартен во всем — «драках, в спорте, в карточной игре.

Бориса З. — самого высокого в группе и говорившего густым басом, прозвали «бронтозавром». Он считался профессиональным спортсменом, так как состоял в «Обществе спасения на водах», дежурил на лодочной станции и участвовал в состязаниях по гребле. В декабре 1927 года он уехал в Канаду к тетке, с тем, чтобы там «выучиться на авиатора». Провожали мы его три дня подряд; это была первая в моей жизни настоящая долгая пьянка. Даже опытный Ваня признал: «добре погуляли».

Зоря три года спустя ушел добровольцем на флот; в 1934 году вернулся в Харьков, кончил электротехнический, потом работал инженером в Подмосковье. Я провожал его на фронт 23-го июня 41 года — он уезжал первым из нас «по моблистку». Оказался в морской пехоте, был ранен, потом служил на берегу в Севастополе; в 1945 году женился. В 1947 году его исключили из партии и демобилизовали за то, что «скрыл репрессированных родственников». (Родители жены были арестованы в 37-м году.) Он уехал в Новосибирск, работал инженером на электростанции.

В 1967 году в Новосибирском театре я читал лекцию о Брехте. Зоря пришел послушать и остался недоволен.

— Почему ты не даешь четкого определения классовой, партийной позиции Брехта? Непонятно, почему он, все-таки, не вступил в компартию. И вообще ты явно примиренчески относишься к формализму и декадансу. Я тоже против культа личности, но это уже слишком.

Даня погиб на фронте.

Борис вернулся из Канады в 1934 году. Выучился он там только на шофера. В Харькове, а потом в Москве закончил Автодорожный

институт. Вернувшись с фронта, работал инженером, стал писать рассказы и воспоминания о Канаде. Все, что он публиковал, и по сути, и по тону было прямо противоположным тому, что он же говорил приятелям («В Канаде безработный живет лучше, чем у нас иной инженер»).

О своих заморских похождениях он начал рассказывать сразу же после приезда, однако ни тогда, ни в последующие сорок лет я так и не дослушал до конца ни одного из разнообразных повествований. Не хватало ни терпения, ни времени.

— Вот, знаешь, самое интересное было, когда я работал шофером ночного такси в Монреале. Столько, знаешь, приключений, на дюжину романов хватит. Когда меня дядя выгнал из дому... — Он отвлекался и начинал излагать жизнеописания дяди, тети, их детей, и подробно характеризовать каждого...

— Нет, ты подожди, подожди, это, знаешь, я должен коротенько разъяснить.

И отвлекаемый все новыми побочными сюжетами, он рассказывал о своих сложных взаимоотношениях с канадскими родственниками. Ругаясь или насмешничая, я пытался вернуть его к основной теме. — Да, так вот, приехал я в Монреаль. Это, знаешь ли, очень замечательный город... — И он принимался описывать город, рассказывая о событиях, модах, учреждениях, рассуждая то о сравнительных достоинствах ирландок или шведок, то об особенностях канадского виски и т. д. Добравшись, наконец, до парка ночных такси, он опять застревал и буксовал, вспоминая имена, клички, внешность, характерные свойства шоферов, подолгу объяснял различия между видами автомобилей... Еще в Харькове он начал рассказывать о том, как возил в бордель какого-то католического епископа, но и через десять лет в Москве не добрался до главных событий, так и не выбрался из привходящих и попутных описаний и отступлений.

Когда в 1947 году я на два месяца вышел из тюрьмы, Борис несколько раз пытался рассказать, что делал на фронте, как вступил в партию. Но и в этой новой повести не продвинулся дальше начала.

Узнав, что меня опять арестовали, он пришел к маме, посочувствовал, а потом спросил, во что я был одет.

— Послушайте, Софья Борисовна, вот что — у Левы есть хорошие бриджи, синие, диагоналевые... Ему они теперь ни к чему. Дайте их мне, а то я после фронта, видите, совсем обносился. Меня ведь демобилизовали просто возмутительно.

Он попытался рассказать, кто и как навредил ему при демобилизации, но мама вскипела:

— Ты что с ума сошел! Он скоро вернется. Он сам будет носить эти бриджи. Все друзья верят, что он невиновен, а ты пришел делить его вещи. Чтоб твоей ноги здесь не было!

— Что вы нервничаете! Я тоже верю, конечно же, он невиновен. Только, знаете, ведь это пока докажешь... Вы, что думаете, только виновные сидят. Он же сам рассказывал... А за бриджи, знаете, если так не хотите, я вам заплачу. Хорошую цену дам, больше, чем в комиссионном.

Мама очень картинно рассказывала мне на свидании об этом дуэте.

— Тут я просто показала ему на дверь: «Вон!» Я уверена, что он провокатор.

Ваню Горяшко я встретил на улице летом 1934 года. Он был в засаленной черной робе, вонявшей керосином и машинным маслом. Черная кепка козырьком назад сдвинута до бровей. Отощавший, серо загорелый. Но как было не узнать его нос, сверху плоский, тонкий, а внизу неожиданно закруглявший» крупной «кирпой», и выпуклую нижнюю губу. Задумавшись он выпячивал ее почти до ноздрей.

— А, здоров, здоров. Только ты не галди «Иван, Иван!» Я теперь зовусь не Иван, а Василий. И фамилие у меня другое. Чему почему? Ты шо не понимаешь? Я новую жизнь начал еще пять лет тому. Трудовую. Пролетарскую. Ну, ударную жизнь. Где был? Там, где уже нет. И в Одессе, и в России, и на Кавказе. Везде побывал. Работал. Ну, а батка давно нет. Где, где? Может, в Нарыме, а может, в Крыме. Не знаю. Ну, я с ним порвал все отношения. Как он был нетрудовой, буржуазный... Сам знаешь, какой. Ну и фамилие сменил. Без понта,

законно. Как? Ну, женился и взял ее фамилию. И, между прочим, стал зваться Вася. Ну, а какое фамилие, не важно. Я тебя в гости не зову. Я тут временно. Проездом. Схотел узнать, как мама, чи живые еще; ну и сестры. Родня все-таки. А пока работаю мотористом. Ты, слушай, ты на меня не накапай... Ну, да я знаю, не знаю. Были корешки, а стали, кто корешок, а кто вершок. Ты ж сильно идейный. В партии уже? Ну и комсомол — та же брашка... Так не будешь капать? Ну, ладно, ладно... А как ты признал меня? Це погано; значит, и кто другой признать может. На той неделе я Жорку встретил на Петинке, днем. Он прошел вот так от меня, но не признал. А может не схотел показывать... Кого с наших выдаешь? Да, всех пораскидало. Ну, так значит, будешь молчать? Добре, добре, не сердись. Бывай здоров и не кашляй... Разговаривая, он все время оглядывался, — напряженно, затравленно и, уходя, несколько раз оглянулся. Было и жалко, и противно. Конечно, он классово чуждый. Но ведь я твердо знал: Ваня не может быть врагом, вредителем. И к тому же теперь он стал рабочим, значит, перевоспитывается. Больше я его никогда не встречал и ничего о нем не слышал.

Жора стал инженером. Был мастером на Электрозаводе. Работал и во время оккупации Харькова при немцах. Из-за этого у него потом были серьезные неприятности. Зоря встречал его уже в начале шестидесятых.

— Обывателем стал Жоржик. Ничем не интересуется. Всего боится. Ничему и никому не верит. Залез в семейный быт, как в скорлупу. Обыватель и все.

Обществоведение нам преподавал Владимир Соломонович Г. Он был и постоянным докладчиком на всех торжественных собраниях, ораторствовал на заседаниях старостата и на пионерских сборах.

Во время уроков он расхаживал по классу или стоял, впившись в спинку стула, раскачивал его, а в особо патетические моменты встряхивал и даже стучал об пол.

— Смертельно усталые. Р-разутые. Оборванные. Голодные красноармейцы. С одними винтовками. У многих — не больше

обоймы. Понимаете? Только пять-шесть патронов. Главная сила — штык. Но штурррмовали неприступную тверррдью. Перрекоп. Тур-рецкий вал. Укрепления по последнему слову. Тяжелая арттиллерия. Колючая проволока. Железобетонные блиндажи. Пулеметы. Огнеметы. Грранаты. Пристрелян каждый ар-ршин. Отбор-рные офицер-рские части. У них даже команды подавались по особому: «га-спада, смир-рно! га-аспада р-равняйся!» Все оружие, все обмундирование загр-раничное. Английское (обязательно ударение на «а»), французское, американское. Консер-рвы. Шоколад. Шампанское реками. И полнейшая уверенность: «Мы этих краснопузых босяков шапками закидаем!»... И вдруг накануне тр-рехлетия Октября — штурм! На одном фланге — латышские стрелки, не знающие ни колебаний, ни страха. Все в полный рост. Грозное молчание. На др-ругом фланге — кремлевские курсанты в новых богатырских шлемах. Потом их стали называть буденновками. С пением Интернационала. А в обход, — дивизии товарища Фрунзе. Через Сиваши. По грудь в ледяной воде. Почти без ар-ртиллерии. Несколько трехдюймовок, на каждую не больше полдюжины снарядов. Но главное: Внезапно! Бесстрашно! Стр-ремительно! Сокр-рушая все на пути! И... прорррыв! Паника. А мы: «Дашь Крым!! Вррангеля в Черное море!»

Он говорил вдохновенно, распаяясь; закидывал голову с тщательно зачесанной лысиной, уже достаточно большой для двадцатипятилетнего. Высокий, складчатый лоб лоснился от пота; широкий нос — картошкой — краснел. И тогда его суконная толстовка со значком МОПРа казалась комиссарским френчем. Распахивая большезубый, толстогубый рот, он под конец уже кричал. Все громче и все раскатистее звучало гортанное «р-р-р», — он преодолевал картавость.

— Пройдут столетия. Века. И наши правнуки будут р-рассказывать об этом. С гор-рдостью и с завистью будут р-рассказывать. Будут песни петь о великой победе под Перекопом.

Мы прозвали его «Володька Горлохват». Но даже насмешничая, считали его непререкаемым авторитетом. Ведь он и сам участвовал

в гражданской войне. Шестнадцатилетним ушел в Красную Армию, был ранен.

Занятия он вел хаотично. Постоянно отвлекался, перескакивал с темы на тему. На уроке о крепостном праве начинал рассказывать, как в одной деревне встретил 80-летнего дядьку, который был крепостным у «тех самых» Волконских, или крикливо оспаривал только что прочитанную книгу, автор которой что-то переоценил, а что-то недооценил.

О декабристах он отзывался презрительно:

— Дворянские либералисты. Задумали обыкновений дворцовый переворот, вроде тех, что устраивали их дедушки и папаши, когда свергли Бирона, Петра III, возводили Елизавету, Екатерину, когда придушили Павла и посадили Александра... Конечно, исторически все это имело значение толчков. Но не больше, чем убийство Гришки Распутина. Тоже дворянские заговорщики старались.

О Кавеньяке и Тьере, о Трепове и Столыпине он говорил с ненавистью глубоко личной. Даже слюна пузырилась и пенилась на толстых губах.

— Гнусный палач... Крвоожадный каррлик... Жестокий хам со светскими барскими манерами.

И так же страстно, упиваясь красноречием, он ораторствовал на собраниях, призывая укреплять порядок и дисциплину в школе, в пионеротряде.

— Ведь вы уже проработали «Войну и мир». А вы обратили внимание на возраст офицеров? Там некоторые в 15–16 лет командовали взводами, даже ротами. И в труднейших походах. Товарищ Якир семнадцати лет командовал полком. Семнадцати лет! Только на год, на два старше любого из вас. А в 20 лет стал командармом.

Его любимыми героями были Якир, Щорс, Котовский, Дубовой. О них он вспоминал по самым разным поводам, рассказывая о Французской революции, о наполеоновских войнах, или обличая «волынщиков» из 6-й группы, которые разбили окна, швыряя друг в друга чернильницами-непроливайками.

И столь же пылко, но еще и в тоне ученых рассуждений, толковал он о *вождях*. Это понятие было для него очень емким. И не только историческим, но и психологическим.

— Пестель был вождем. Он, конечно, имел дворянские предрассудки. Но он был вождь. А Трубецкой, Волконский, Рылеев — болтуны, мечтатели... Герцен был вождем. И Чернышевский. А Парижской Коммуне недоставало именно вождей. Делеклюс, Вайян были искренние, честные революционеры, но не вожди. Бланки мог стать вождем, но в это время сидел в тюрьме. Версальцы отказались его обменять. Мерзавец Тьер был достаточно умен: «Дать им Бланки, это больше, чем две дивизии». Домбровский был вождем, но его недооценили... Плеханов был только теоретиком. А Бакунин, Желябов — настоящие вожди, хотя имели теоретические ошибки, не понимали марксизма и роли пролетариата. В руководстве нашей партии могут быть только вожди. Товарищи Бухарин, Калинин, Рыков, Сталин, Петровский, Якир, Скрыпник, Коссиор, Чубарь — все это настоящие вожди.

Однажды после уроков и группового собрания он задержался, разговорился с нами. Речь зашла о бывшем председателе школьного старостата, который и в профшколе уже руководил учкомом.

— Да, вот Юля Свербилов будет вождем. Не сомневаюсь. Волевой, собранный, умеет добиваться авторитета, умеет руководить. Настоящий характер вождя. А тебе, Зоря, еще надо поработать над собой. У тебя еще не хватает самодисциплины, целеустремленности...

Он заметил мой взгляд, видимо, очень напряженно заинтересованный.

— А вот ты никогда вождем не будешь. Не из того теста. Ты, конечно, развитой, начитанный, и шарики вроде работают. Но разбросанный. Разболтанный. Не отличаешь главного от второстепенного. Ты, конечно, еще можешь осознать свои недостатки, и тогда, со временем, станешь хорошим спецом, даже ученым. Но если не осознаешь, будешь, как раньше говорили, «вечным студентом», а то и лишним человеком, вроде Печорина или Рудина.

Мне было очень обидно. Правда, я пытался утешить себя тем, что его неприязнь — следствие наших политических разногласий. После одной из его бурнопламенных речей о героях гражданской войны я с невинным видом задал какой-то вопрос о Троцком, которого он ни разу не упомянул. Шла зима 26–27 года, Троцкий еще не был исключен из партии, его книги еще оставались в библиотеках и даже кое-где продавались, правда, главным образом у букинистов. Владимир Соломонович отвечал без обычной увлеченности, подавляя раздражение.

— Конечно, товарищ Троцкий был тогда Наркомвоенмор... Хороший организатор... Можно сказать, тоже вождь... Неплохо руководил военспецами. Обеспечил успехи некоторых операций. Проявлял даже личную храбрость. Но мы не имеем права забывать о его меньшевистском прошлом, о его ошибках. К тому же его роль сильно преувеличена некоторыми поклонниками. Надеюсь, что среди вас таких не будет. А с другой стороны, за счет Троцкого преуменьшалась роль выдающихся вождей и героев — товарищей Фрунзе, Буденного, Ворошилова, Щорса, Якирра, Дубового...

И пошел сыпать именами, а потом, ухватившись за стул, рассказывал, как Красная конница атаковала Новочеркасск лавой, по льду едва замершего Дона.

Отметки он ставил мне высокие. Тогда еще не восстановили «цифровой системы», он писал «отлично» или «очень хорошо», но каждый раз приговаривал:

— Ты материал, конечно, знаешь. И вообще соображаешь... Но есть у тебя легкость в мыслях необыкновенная... Откуда эти слова? Правильно! Ну, я конечно не хочу сказать, что ты похож на Хлестакова. Но легкость в мыслях есть. Не хватает большевистской твердости, ясности, точности... Так меньшевики рассуждали и даже кадеты. Да, да, именно так. Не перебивай. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я ведь тебе поставил «отлично». Но я хочу, чтобы ты понял, какие у тебя слабости и какие у них корни и тенденции. Какие возможны последствия. Я хочу, чтобы ты осознал свои недостатки, чтобы ты их устранил, исправил.

Я злился на обличителя, испытывал злорадное удовольствие, когда Жорка его передразнивал и, грохоча стульями, закидывая голову, орал: Товарищи вожди, вперед на Перрекоп, даешь Парриж!»

Но про себя я чувствовал, что он все же кое в чем прав. Я действительно непутевый, непостоянный, не умею сосредоточиться. Не целеустремленный. Влюбился было в соседку «золотые косы, золотые сети». Но вежливо отвергнутый ею, стал бегать за звеньевой Таней, а когда ее легко отбил у меня губошлеп Данька, переключился на Риту из параллельной группы — некрасивую, зато и не строгую толстушку.

И так же непостоянны были мои духовные интересы. То принимался читать книги по мировой истории и истории партии. Владимир Соломонович похвалил меня, увидев на парте толстый том хрестоматии международного рабочего движения, «Историю РКПб» Ярославского и еще какую-то брошюру. То я внезапно прерывал это полезное скучное чтение и набрасывался на Конан-Дойля или Аверченко: его повесть «Подходцев и двое других» мы с Зорей и Жорой знали почти наизусть и долго называли друг друга именами его героев.

Предстояло окончание школы. А я еще не знал, что буду делать дальше, хотя прожил уже целых пятнадцать лет. Выпячивая верхнюю губу, видел все более густую черную поросль и на подбородке ощутимо прорастала щетина. Сердитая «природоведка» отчитывала меня: «Тебе давно бриться пора, а ведешь себя, как мальчишка...» Но я все еще не решил, куда идти после школы, — в электротехническую профшколу или на рабфак, чтоб потом на исторический или экономический, — ведь настоящий марксист должен владеть экономической наукой... А может быть, на завод, и стать пролетарием?

Однако так нерешителен я был только в размышлениях о ближайшем будущем, о планах на год — на два. Когда же думал о том, что будет через десять лет, то, вопреки оскорбительным отзывам Владимира Соломоновича, — он все-таки не понял меня, не распознал именно вождем — политическим. Государственным, военным деятелем.

Полагая себя трезво мыслящим и скромным — большевика должна отличать скромность, — я не собирался, как наивный

Зоря, претендовать на место Калинина. Более того, я понимал, что у нас в партии и в комсомоле есть много таких выдающихся деятелей, как Юля Свербилов, которые с бóльшим основанием, чем я, могут становиться председателями учкомов, старостатов, советов, исполкомов, наркомками, первыми секретарями и командармами. И к тому же у нас необходимо прежде всего выдвигать рабочих и крестьян.

Но в тех странах, где еще предстоят революции и гражданские войны, там пока не хватает настоящих большевиков, там, в постоянных опасностях подполья, на баррикадах, в боях можно и независимо от социального происхождения стать одним из вождей пролетариата. Как раньше в России ими становились дворяне, дети капиталистов и купцов.

Я обладал одним несомненным преимуществом перед моими товарищами и всеми иными известными поблизости кандидатами в вожди: я хорошо знал немецкий язык, кое-как эсперанто, немного польский, немного французский и уже учил английский. Я был уверен, что в будущем стану профессиональным революционером где-то на Западе и, владея тщательно изученным опытом русской революции, гражданской войны, советского строительства, в конце концов dorасту до вождя.

Лучше всего я знал немецкий, но компартия Германии была и самой многочисленной, самой мощной в Европе. Там и без меня должно хватить руководителей. Но вот англичане отставали, а колониальные страны тем более. И я принялся зубрить, старательно выламывая язык: «Тиз а файнал конфликт, лет ич стэнд он хиз плейс. Дзы Интернейшенел Совет юнайт дзы хьюман рейс». И сочинял стихи, в которых на всякий случай воспевал свою героическую гибель в будущих революционных боях:

Меня где-нибудь в тропиках поведут на расстрел
Солдаты в пыльных и потных мундирах,
И тщетно солнце миллионами стрел
Станет отбивать мою жизнь у мира.

В самых дерзких мечтах я по-прежнему видел себя наркомвоенмором Английской советской республики, приходил на помощь немецким товарищам, сражался также и в африканских джунглях и саваннах. Театры моих военных действий перемещались обычно в зависимости от очередной книги или газетного сообщения. Пришлось провести несколько трудных, но победоносных походов в Китае, в Индии, в Канаде, где я назначал Борю З. на высокие административно-военные посты... А оттуда уже было рукой подать до США, — тогда мы еще писали САСШ, — где я успешно формировал красную ковбойскую конармию, а рабочих парней, таких, как Джимми Хиггинс¹², собирал в красногвардейские полки имени Джека Лондона и Джона Рида.

Такие мысли нельзя было удержать про себя. Иногда я доверял их Жоре и Зоре, и насмешливый Жорка требовал, чтобы я дополнял широковещательные военно-политические проекты конкретными бытовыми подробностями.

— А баба у тебя какая будет? Или, уж конечно, не одна. Ведь у них там везде шикарные бардаки. Заведешь себе негротяночек. Они, наверное, здорово дают. А, может быть, ты с принцессами спать хочешь?

Самое обидное в этих кощунственных, циничных шутках была дьявольская пронизательность Жорки; ведь, мечтая про себя в постели перед сном или неторопливо бредя домой после школы, я неизменно дополнял великолепные панорамы боев, победных парадов и торжественных чествований картинками, в которых красавицы разных мастей и сословий успешно соблазняли вождя-победителя своими ласками. От этого-то по всему телу жаркая дрожь, а потом сны о женщинах и сладостно расслабляющая судорога.

Зоря иногда присоединялся и к таким подначкам, но чаще заводил полусерьезные споры.

— Ты, надеюсь, не забудешь, кому ты должен подчиняться? Нехай там Англия, Германия, Африка, но центр мировой революции

¹² Герой одноименного романа Э. Синклера.

был, есть и будет в Москве. И если я, как председатель Всесоюзного ЦИКа, прикажу тебе: «А ну, кончай волынку в своей Африке, давай со всеми частями сюда. Нам Бессарабию надо обратно...»

— Ну и дурак, ведь когда Англия станет советская, так Бессарабия уже давно будет наша. А если нет, так с Румынией один Киевский военный округ за неделю управится: — Даешь Кишинев! Раз, два и в дамках!

— Ну, не Бессарабия, так Болгария, или, например, Персия, — она там возле Баку — очень важный район. Я только хочу, чтобы ты помнил, кто кому подчиняться должен. ЦИК СССР — главная власть во всемирных масштабах. И я тебе буду приказывать, а ты должен отвечать: «Есть, товарищ всесоюзный староста», — и выполнять как из пушки.

Жорка вмешивался примирительно:

— Не тушуйся, ты ему вместо всего пошлешь негрятяночку, губатенькую с пудовыми титьками. Или, наоборот, рыжую англичаночку, знаешь, как рысистая кобылка, все жилочки играют... Так он и сам забудет про все приказы.

Дубулты, март 1975

Однако и наиболее грандиозные военно-политические замыслы не ослабляли моего влечения к словесности и особенно к стихам.

Моим поэтическим идеалом долго оставался Есенин. Так же, как несметное множество современников и ровесников, я писал слащаво печальные стишки, в которых именовал его Сережей, на разные лады поминал «ржаные», «льняные» кудри и «стихов голубой перезвон» и, конечно, попрекал его за то, что он ослабил себя, укрылся в личных страстях, ушел из боев и т. д.

Потом всех стал оттеснять Маяковский.

Он приезжал в Харьков и мы с галерки оперного театра или с балкона «Делового клуба» слушали могучее рокотание его голоса, видели, как он уверенно, деловито ходит по сцене, восхищались

грубовато остроумными ответами на записки и мгновенными, как удары шпаги, возражениями на выкрики с мест.

Но безоговорочного поклонения не было.

Иногда мы даже сердились.

Услышав «Письмо Горькому», я возмутился: что же это он призывает Горького умирать?! «Сердце отдать временам на разрыв». Это жестоко.

Осенью 1929 года он в последний раз приехал в Харьков; вечер был озаглавлен «Левее ЛЕФа». После его вступительного: слова, набравшись храбрости, я крикнул с галерки:

— Куда же вы ушли из ЛЕФа?

— Куда? Да вот сюда к вам в Харьков, на эту сцену.

И снова, шалея от собственной дерзости, надсадным, не своим голосом, я спросил укоризненно:

— А разве не в «Комсомольскую правду»? Он посмотрел устало и раздраженно:

— Чем вам не угодила «Комсомольская правда»? Именно вам, кажется, еще довольно молодому человеку? А мне ежедневная газета с миллионами читателей куда интереснее, чем ежемесячный журнал с несколькими тысячами подписчиков. Это вам понятно?

Несколько человек захопали. Я — тоже. Он переубедил.

Мои литературные вкусы, увлечения, пристрастия в первые харьковские годы развивались под самыми разными влияниями, иногда и противоположными. В школе и еще долго после школы главным было влияние Николая Михайловича Баженова; он преподавал русскую литературу и руководил театрально-литературным кружком «Слово». В этом кружке он с ближайшим помощником Витей Довбищенко (который впоследствии стал режиссером), инсценировал поэмы: «Лейтенант Шмидт» Пастернака, «Степан Разин» В. Каменского, «Дума про Опанаса» Багрицкого, «Хорошо» Маяковского, «Пугачев» Есенина.

Николай Михайлович и на уроках настаивал, чтобы мы учили наизусть как можно больше стихов, — Пушкина, Лермонтова, Не-

красова. В отличие от моих первых словесников, — Лидии Лазаревны и Владимира Александровича, он был не восторженным проповедником, а мягко настойчивым просветителем. Русобородый, с густыми длинными волосами, как у священников или на очень старых снимках — сутулый, близорукий, он казался нам образцом русского интеллигента 19 века. Его речь, правильная, великорусская, необычно и даже несколько театрально звучала на фоне наших киевско-харьковских хэкающих и экающих полуграмотных говоров. Ведь мы произносили «һазета», «һений», «һоворить», «зэркало», «сэрце», с трудом избавляясь от южных «уличных» ударений «пóртфель», «мóлодежь», «доку́менты», «автобóс». Завзятые говоруны щеголяли еще и особым трибунным жаргоном с уже вовсе несусветными ударениями: «по-товарúщески», «навернóе», «óтцы» и «матеря»...

Ни разу я не слышал, чтобы Николай Михайлович кричал, бранил кого-то и вообще высказывал громкие чувства. Не запомнил никаких его поучений или наставлений. Но многие стихи Пушкина, Пастернака, Асеева, Багрицкого и доньше, полвека спустя, звучат во мне его голосом. Он читал очень просто, без нажимов, без аффектации, не стараясь ничего выделять, или интонационно подчеркивать. Но каждое слово было отчетливо слышно и само по себе, и в живой неразрывной связи с другими словами. Он только иногда останавливался, оглядывал нас:

— Прекрасно, не правда ли?

И снова повторял строку или несколько строк. Так же просто, отчетливо, только, может быть, несколько медленней, словно вслушиваясь.

На репетициях «Слова» шумно нервничал Витя Довбищенко, сердился, восхищался, передразнивал, поправлял, показывал.

Николай Михайлович только изредка спокойно прерывал неудачливого чтеца.

— Погоди! А не кажется ли тебе, что лучше произнести примерно так... Да-да, вот так, пожалуй, лучше. Попробуй-ка еще разок. А как вы все думаете, так лучше? Ведь здесь важно передать чувство тихой печали. Попробуй еще раз сначала...

Глава седьмая У ДВЕРЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Чи не покинуть нам, небого,
...Вірші нікчемні віршувать?

Тарас Шевченко

...Наши стихи часто лишь более или менее старательно зарифмованные статьи или фельетоны, либо сочетания половинчатых чувств, которые еще не стали мыслями.

Бертольт Брехт

Зима 1927–1928 гг. Клуб литераторов — дом Блакитного¹³ — в начале короткой Каплуновской улицы. Там можно было увидеть настоящих писателей, чьи имена украшали книжные обложки, мелькали в газетах и журналах. В буфете ужинал Остап Вишня — юморист и сатирик, «король украинского тиража», как его называли завистники. В бильярдной прохаживался с кием поэт Владимир Сосюра, старательно целился и по-ребячьи огорчался, когда мазал.

В большом зале наверху заседали пролетарские писатели. Председательствовали обычно драматург Микитенко или критик Коряк.

¹³ Василий Блакитный (1894–1925). Украинский поэт, писатель, публицист, редактор, участник революции.

В залах поменьше собирались другие литературные объединения «Молодняк», «Плуг», «Новая генерация», «Авангард».

К пролетарским ходить мы не стали. Они подозрительно смотрели на всех новичков. Кто-нибудь мог сурово сказать: «У нас сегодня закрытое заседание. Посторонних просимо выйти».

«Новогенеранцы» чаще собирались у себя в редакции и тоже не жаловали незваных гостей. Зато «Авангард» — украинская и русская секции — широко открывали двери всем.

В украинской секции верховодили Михайль Семенко и Валеріан Полищук. Семенко — чубатый, коренастый, на вид простодушный, «свойский», шутил с необычайно серьезной миной, поражал дерзкими парадоксами и немислимо закрученными стихами. В его сборнике «Кобзарь» — уже само название было вызовом, — одно стихотворение было построено из перетасованных слогов его имени и фамилии.

Хайль семе, нкоми
Ихайль кохайль альсе комих
Ихай месен михсе охай
...О Семенко Михайль!
О Михайль Семенко!

Литературные противники иногда вспоминали его старые стихи, когда он в юности, «работая под Северянина», возглашал: «я полон смелого экстаза, смерти и Бога не боюсь», — и дюжинами писал «поэзы... безумно знойны эротезы».

Семенко только отмахивался от напоминаний, а в новых стихах («Бумеранг») утверждал новую эстетику «революционного динамизма», этакое футуристическое западничество:

Товарищ, запиши:
Говорю серьезно —
Без Европы нам,
Как попам
Без души!

Полищук был внешне полностью ему противоположен: томный красавец, с «артистической» шевелюрой, внимательно слушавший самого себя. Но и он был «крайне левым» в речах, в статьях и брошюрах требовал новых «революционно индустриальных» форм поэзии, страстно проповедывал верлибр. «...В строительстве верлибра Украина значительно опередила Россию. Основные силы поэзии в России из-за ее индустриальной и бытовой отсталости опираются на точные или только слегка расшатанные точные размеры (Маяковский, Клюев, Безыменский)¹⁴.

Нам интереснее были его стихи, часто откровенно эротические.

Некоторые деятели «Новой генерации» тоже выступали глашатаями безоговорочного «западничества», а в иных случаях даже «безнационального космополитизма». Гео Шкурупий упрекал Маяковского, что он «макает перо в чернила из красок национальных лохмотий». А о себе писал: «Если спросят меня, какой я нации, я скажу: я плевал на все нации!»¹⁵

В «Футур-эпопее» Мечислава Гаско действие развивалось на земле сennaиистичной» (эсперантистское понятие)... «через три тысячелетия после того, как исчез полулегендарный партикулярный хутор, который назывался Украина»¹⁶.

Но в то же время в романе Шкурупия, жестоко изруганном критиками всех направлений, героиня скорбела: «Украина — самая несчастная из всех колоний; ее захватили те варвары, которых она когда-то обучала азбуке»¹⁷.

Мы слушали споры и перебранки, читали дискуссионные статьи, рьябившие ироническими кавычками, спаренными вопросительными-восклицательными знаками, обличительными скобками «курсив мой!» и оснащенные грозными идеологическими проклятиями...

Слушали, читали и терялись. Недавно только с трибун и в газетах обличали Миколу Хвильового за «буржуазный национализм». Иные

¹⁴ «Литературный авангард», Харьков, 1926, С. 87.

¹⁵ «Новая генерация», № 1, 1927.

¹⁶ «Новая генерация», № 6, 1928.

¹⁷ Цит. по «Политфронт», № 6, 1930, С. 259.

пролетарские критики обзывали его просто фашистом. А я любил его поэтическую прозу о революции и гражданской войне, особенно повесть «Кот в сапогах». Он писал о красноармейцах, о восставших крестьянах с неподдельной силой привязанности, с нежностью... Правда, его полемический призыв «как можно скорее и подальше удирать от русской литературы» и мне представлялся безрассудным заблуждением. Но ведь это вырвалось в горячке спора с великодержавниками. Зачем же сразу поносить его как смертельного врага и призывать всех на борьбу с «мелкобуржуазным антисоветским хвильовизмом»?.. Но не прошло и двух-трех лет и уже сам Хвильовой, обличая «Новую генерацию», обвинял ее авторов в... «хвильовизме», в «мазепинстве» и в «чистом нигилизме, который оборачивается национализмом»¹⁸.

Все эти дискуссии были, конечно, любопытны. Однако порой раздражали и сердили: сегодня кажется, что прав этот, а завтра убеждает его противник, да и сам обруганный убедительно кается, разъясняет свои ошибки...

Меня злило, иногда приводило в отчаяние собственное неумение, неспособность разобраться в таких спорах, самому понять или хоть почуять, где правда, где кривда.

Зато всех нас, вчерашних школьников, бесспорно занимала поэтесса «Авангарда» Раиса Т. Маленькая, тоненькая, очень густо накрашенная, она читала стихи, в которых рассказывала, как впервые отдавалась:

Ты так просыв мэнэ, будь моею,
И сталося. Вэлык закон буття.
В трави забулы мы томик Гейне.
На витри лыстя його шелестять...

В другой строфе поминались даже «червоны плямы в лентах матинэ». Мы спорили, следует ли это полагать небывалой поэтической смелостью, либо зарифмованным эрзацем древнего обычая — вывешивать на воротах окрававленную простыню новобрачной.

¹⁸ «Пролітфронт», № 3, 1930, С. 223.

В русской секции жожаками были Меттер, Корецкий и Санович. Обычно председательствовал Меттер, иногда он читал свои рассказы. В одном из них действовали несколько стандартных персонажей тогдашней советской беллетристики; автор прятал их в кладовке, вызывая по мере надобности, а они жаловались, бунтовали.

Маяковский, приезжая в Харьков, бывал в доме родителей Юры Корецкого, хвалил его стихи.

Мне очень понравилась баллада о хитром персидском рыбаке, которого не смутил коварный вопрос шаха, какого пола выловленная им диковинная рыба:

Эта рыбка говорит:
Гер-ма-фро-дит...

Широколицый, широкоплечий Юра читал чуть нараспев, скандируя:

Благо-ухает
фарсидская весна,
В карманах туманы звенят.
Раздайся народ
во все стороны,
Эх, и кутит рыбак
здорово!

Тосик Санович, тихий, задумчивый интеллигент, считался наиболее радикальным из всех новаторов:

Устерзанные ветра над Украиной каркали,
Ддела сии зимовитая остынь,
Являя застуженному Харькову
Доцельную приверженность Осту

Его любовные стихи казались нам вразумительнее:

И губы. И ты. И квартира один.
И звонок, который единственен и вечен.

На собраниях «Авангарда» каждый, договорившись заранее, мог прочесть свои стихи или рассказ, и каждый присутствовавший мог участвовать в обсуждении прочитанного. Я не решался. Когда тебе еще нет шестнадцати лет и ты ни разу не видел своего имени, изображенным печатными буквами, то и 18–19-летний автор произведения, опубликованного в журнале или в газете, представляется бывалым литератором.

Самым привлекательным из молодых, но уже известных, был Саша Марьямов. Высокий, светлорусый, плечистый — таким я представлял себе Джека Лондона и его героев. И он действительно был им сродни. Семнадцатилетним он «ходил» на корабле из Одессы во Владивосток; потом издал книгу путевых очерков «Шляхи пид сонцем» (1927 г.). Писатель и моряк. Что могло быть прекраснее, завиднее такой судьбы? Но он не важничал, не задавался и перед нами, вчерашними школьниками. Когда мы спорили о книгах, о стихах, было явственно, что он много знает, много читал. Но даже самых невежественных собеседников он выслушивал терпеливо; возражал горячо, но не злился, не ругал, не выказывал презрения.

В большой проходной комнате, которая служила читальней, посередине стоял стол с газетами и журналами, а по стенам — диваны или кресла. Там обычно сидели или слонялись те, кто ожидали собрания, отдыхали после прений, назначали встречу приятелям...

«Взрослые» писатели не замечали нас. А мы были не настолько развязны, чтобы набиваться. Тем более охотно и доверчиво знакомились мы с теми, кто с нами заговаривал.

Невысокий человек в сером френче, галифе и зашнурованных сапогах, пристально глядя, спросил:

— Вы, т-товарищи, какой части? Я имею в-виду, какого герба? Не понимаете? Значит, еще нек-крещенные. А ведь здесь все куда-то приписаны. Есть чистые пролетарии, есть селяне-плужане или новые дегенераты или стрикулисты-авангардисты... А вот я — одинокий рыцарь пера.

Он говорил, издавая странный запах — смесь трубочного табака, цветочного одеколona и сладковатого дыхания эфира.

— Читали записки адъютанта Май-Маевского?¹⁹ Это и есть я. Опубликовал, разумеется, под псевдонимом. А в литературе известен как Арген. Т-тоже псевдоним. В девичестве я Аркадий Генкин. Честь имею.

Он щелкнул каблуками, слегка пошатнулся и каждому из нас пожал руку.

Арген писал фельетоны для «Вечернего радио» и «Червоного перца», куплеты, частушки и скетчи для «живых газет», юморески для разных ведомственных журналов. Везде обязательно выпрашивал авансы и ежедневно пил.

— Так уж привык. Пью все, кроме воды и керосина. Великой жаждою томим... Друг Марса, Вакха и Венеры... Однако Марс нынче на покое. Оттремели трубы боевые. А с Венерой надо поосторожнее. Которая милка дорогая, то уж такая дорогая, что никаких авансов не хватит. А на выпить и понюхать и вовсе не останется. А которая подешевле, та весьма опасна. «Я пою в стихах лирических о страданиях венерических». И опять-таки расходы. Лекаривенерологи дерут как живодеры, не меньше трешки за визит. А за курс давай червончики. Я дал ему злата и проклял его. Нет, господатоварищи, Вакх и дешевле, и здоровей. Кому чару пить, кому здраву быть? Веселие Руси есть пити. И Украины тоже!..

Арген стремительно заводил дружбу с каждым, кто готов был его слушать, и тем более с тем, кто пил с ним и мог угостить понюшкой марафета (кокаина).

Он жил в полупустой комнате в большой захлавленной коммунальной квартире вблизи старого базара. Ответственную съемщицу, толстую и крикливую бабу, он в глаза величал «ма шармант мадам», а за глаза называл «моя бандерша». Она была продавщицей ларька и подкармливала его в дни полного «декохта» (безденежья). Однажды она прибежала в редакцию «Вечернего радио» с воплем:

¹⁹ Опубликованные в 1927 году воспоминания советского разведчика, который был офицером деникинской армии.

— Ой, люди, идите скорше, Аркашенька повесился! Комната запертая, но я сквозь дырочку увидела: висит в угле.

Дверь без труда взломали. В углу Арген, понунив голову и далеко высунув язык, стоял, подогнув колени, на своей койке. К френчу был приколот лист бумаги с красной карандашной надписью: «Жертва новой инструкции об авансах».

Когда ворвалась толпа, созванная голосистой мадам, он выпрямился и сказал:

— Вот именно так я повешусь клянусь и присягаю, если сегодня же не получу хотя бы три червонца аванса!

Он играл на рулетке в казино, — их было несколько в нэповском Харькове, в железку («шмен де фер») и в очко с любимыми партнерами. Картежники собирались обычно в частных квартирах, хозяева которых получали процент с каждого банка. Мои приятели приводили меня несколько раз в «хазу» Кульгавого на Артемовской улице. Там хозяйничал одноногий (потому и прозвище «Кульгавый») паренек, сын дворника. В полуподвальной комнате, где в пасмурную погоду и днем горела тусклая лампочка, стоял большой старинный стол, койка, никогда не застилавшаяся, на которой восседал хозяин, и множество стульев, табуреток, скамеек. Кульгавый вел игру с невозмутимым, злым спокойствием. Если кто-либо из участников «мухлевал», что случалось редко, или играл «на шермака», то есть не мог выплатить проигрыша, что бывало чаще, Кульгавый так же безмолвно бил его костью. Бил расчетливо, чтобы побольней, но чтобы не покалечить, не окровавить. Его мать, тощая молчаливая старуха, приносила гостям пиво и папиросы, зарабатывая за каждую услугу копейку–две.

Арген играл азартно, но и проигрывая и выигрывая, неизменно пошучивал. Тасуя или сдавая карты, частил скороговоркой:

— Игра — война, карты — бумага. Каждый играет на свое счастье и на свои деньги. Рупь поставил — два возьмешь; два поставишь — х...хуже будет. Со стороны — молчок, старичок! Военные не играют.

Нам это казалось очень остроумным, как, впрочем, все его подначки и розыгрыши. Чаще других ему служил мишенью один из сотрудников «Вечернего радио» и тоже завсегда у дома Блакитного. Грузный старосветский франт, в «чеховском» пенсне и с бородкой «Анри-катр», носил пестрый галстук бабочкой, кургузый пиджак, — из верхнего кармашка торчал цветной платочек, — и замшевые гетры на пуговках со штрипками поверх лакированных штиблет. Он был чистосердечно глуп, самодовольно невежествен и гордо ухмылялся, когда Арген величал его «король репортажа». Однажды собутельники Аргена по секрету сообщили «королю», что на Холодной горе лопнул меридиан, и репортеры «Вестей» уже там. Тот, на последний рубль, нанял извозчика, помчался на Холодную гору и там долго колесил, возмущаясь неосведомленностью милиционеров. А потом Арген заставлял его снова и снова рассказывать об этих злоключениях и комментировал с невозмутимой серьезностью, что меридиан, вероятно, лопнул в другом месте, но милиция скрывает, а вот в Америке на такой сенсации богатейшее дело устроили бы.

Высокий незнакомец лет 25–30, круглолицый, скуластый, с темными усиками и короткой раздвоенной «татарской» бородкой, сердито рассуждал о бюрократизме, волоките и кумовстве в редакциях и издательствах. Разговор возник все в той же читальной-гостиной. Приятель оратора, очень хмельной и очень кудрявый, угощал нас дорогими папиросами и твердил:

— Хлопцы, перед вами великий человек!

— Коля, не болтай чепухи, ты перебрал.

— Миша, я действительно перебрал, я этого не скрываю. Ты меня правильно предус-предос-предостерегал, чтоб я не мешал водку с пивом. Ты друг! Ты великий и в-в-великодушный друг. А я не послушался и перебрал ершей. Но я не пьян, а только навеселе. Немного под шафе. А вообще, как говорили в старину? Кто пьян, да умен, два угодника в нем.

— Не угодника, а угодья!

— Почему? Не понимаю! Миша, ты прекрасный писатель и геройский революционер, но почему угодья, а не угодника? А по-мое-

му, так лучше. Гораздо понятней. Н-нет, Мишенька, Михайлик, мой Мишель, тут я не соглашусь. Хоть ты и великий человек... Хлопцы, это Михаил Туган-Барановский, международный революционер, герой-подпольщик. Он скрывает это, он конспе-конспиратор. А я под шафе, но два угодника во мне... Как, ничего стишок? Вот что значит поэт. Он всегда поэт. Он — это значит я. И во хмелю я вас люблю... Вас — это значит тебя, Миша... Хлопцы, Михаил приговорен к смерти в трех, нет, в четырех иностранных государствах. Мишенька, где тебя хотят повесить? — в Чехословакии, в Румынии и в этой, как ее, Югославии?... Ведь правда же... Ну, не скромничай, признай. Это же свои хлопцы, комсомольцы. Я по глазам вижу.

— Ладно, ладно, Коля, разболтался. Пошли, пошли, здесь не место. Давайте, товарищи, поможем Николаю, он устал, душно... Пойдем, погуляем по свежему воздуху.

Он заговорщически подмигнул нам и мы, польщенные доверием, подхватили Колю под руки и бережно поволокли.

На улице он вскоре согласился уехать домой на извозчике.

— Ванько! Сколько до Екатеринославской? Полтинник?! Грабеж! Мишенька, я же пустой... Вот гривенничек есть и пятак и все... Ванько, за пятнадцать поедем? Не хотишь? Рвач! Бюрократ! Угар нэ-па! Мишель, дай-ка мне двадцать копеек и ни копейки больше...

Туган-Барановский небрежно протянул ему рубль.

— Не упирайся, Коля, езжай, проспись. Приходи завтра читать поэму.

— Приду, приду, Мишенька, ты, как всегда, великодушен. Дай я тебя поцелую. Хлопцы, запомните сегодняшний день. Это замечательный день в ваших молодых жизнях. Вы узнали великого русского писателя и международного революционера. Он — новый Горький, новый Куприн, новый Пантелеймон Романов...

Общими усилиями мы усадили Колю на извозчика, который, увидев рублевку, сноровисто помогал и приятельски кивнул нам всем.

— Можете быть спокойными. Довезем, как родную деточку.

А Зоря, Жора и я пошли провожать Туган-Барановского. Мы шли медленно по вечерним улицам.

— Давайте прогуляемся. Надо хмель расходить. Жена не любит. Он стал рассказывать. Мы слушали, не смея прерывать, только охали изредка, восторженно переглядывались и переталкивались.

Он был сыном того самого Туган-Барановского, легального марксиста, с которым спорил Ленин. Отец умер в Париже, где находился как посол гетмана. А сын стал эсером-максималистом.

— По молодости. Мальчишкой был, шестнадцать, семнадцать. О Советской власти никакого представления, вернее — самое превратное. Но белогвардейскую сволочь ненавидел. Сперва увлекли эсеры. Непосредственные действия. Револьвер. Динамит. Первое задание — казнь корнета Яблочкина. Был такой зверь — лютовал в деникинской контрразведке; а в эмиграции создал свою тайную полицию. Они шантажировали или убивали тех, кто хотел вернуться в Россию. Мне и еще двоим товарищам поручили его ликвидировать. Наша штаб-квартира была в Румынии, а Яблочкин со своей шайкой пристроился в Болгарии, в порту Варна. Поехали туда с липовыми документами втроем. В том числе одна девица. Ей удалось его замарьяжить вечером в ресторане. Сели в таксомотор. А шофером — один из нас. Привез на условленное место. Тихое, на окраине. Там ждал я. Два браунинга в упор. Труп оставили в машине. Прикололи записку: «Казнен по решению боевой организации социалистов-революционеров». Следующая операция — генерал Покровский. Тоже был осужден нашей организацией. За чудовищные злодейства во время Гражданской войны и за темные дела в эмиграции. Его выследили, когда он переходил границу из Болгарии в Югославию, шел с двумя адъютантами. И нас трое. В горах, зимней ночью. Завязалась перестрелка...

Один из товарищей Туган-Барановского был убит, он сам ранен в плечо. Покровского и одного адъютанта прикончили, а другого ранили.

За эти «акции» Туган был заочно приговорен к смерти в Болгарии и Югославии.

— Там полиция проведала. Нашли убитого товарища, опознали. А в Румынии один сопляк струсил, предал. Его, разумеется

ликвидировали, но с опозданием — многих успел выдать. Там тоже заочный смертный приговор. Но с Чехословакией это Коля спьяну перепутал. Из Чехословакии меня просто выслали по приказу правительства. Во-первых, за то, что я в Праге выступил на съезде эсеров против правых, против Чернова. Мы, молодые, развивались, читали советские газеты, установили связи с чешскими и польскими коммунистами. Мне поручили объявить на съезде нашу новую линию. Был скандал, драки, вмешалась полиция. А тут еще запросы из Румынии, Болгарии, Югославии, требуют выдать! Ну, чехи — либералы, выдавать на смерть им не пристойно. Выслали в Польшу, там у нас друзья — коммунисты. Но, прихожу во Львове на квартиру, а там, как на грех — засада. Бежал на чердак, оттуда по крышам, по задним дворам, трущобами. Пробрался в Германию. Просидел три месяца в тюрьме. Потом уехал во Францию. В Париже у меня родственники. Стал жить по эмигрантскому паспорту, так называемый нансеновский. Женился на французенке, вот придете — познакомлю. Она — коммунистка. Да и я во Франции стал членом компартии. Но работал нелегально. Иностранцам запрещено заниматься политикой. Все же в конце концов накрыли. И выслали. Вот и вернулся на родину. Недавно выпустил книгу «В тени Эйфелевой башни». Рассказы из жизни. Только о том, что сам испытал.

Иногда он себя прерывал:

— Что это я разболтался? Видимо, тоже перебрал. Мы с Колей вдвоем бутылку «Белой головки» осилили, потом шампанское распечатали. Да еще и кофе с ликером. Стареею. Раньше куда больше мог выпить и ни в одном глазу...

Мы подошли к небольшому особняку в тихом переулке.

— Ну, вот и моя хата. Спасибо, товарищи. Сейчас не приглашаю, уже поздно. И жена не подготовлена. Милости прошу завтра, часов в семь. Приходите, поговорим серьезно. Есть у меня один проектец, уверен, что вас заинтересует.

На следующий вечер я наваксил ботинки и, после некоторых колебаний, надел толстовку отцовскую белую рубашку с крахмальным воротничком. Благо, отец был, как всегда, в отъезде. Наце-

пил галстук-бабочку. Жорка тоже пришел при галстук «гаврилке», в рубашке навыпуск, подпоясанный блестящим, явно не его, ремнем. Зоря ограничился чистой, свежепоглаженной апашкой и протюженными штанами. Но ботинки тоже почистил.

Туган встретил нас в тёмно-красной домашней куртке, с гусарскими жгутами на груди и в парчевых туфлях с позолотой, с острыми, загнутыми вверх носками. Он ввел нас в полутемную комнату. Горела только настольная лампа и какие-то канделябры с абажурами. Толпились книжные шкафы, огромный письменный стол, кресла. На стенах висели большие, плохо различимые картины в тяжелых рамах, гравюры, снимки. У низкого круглого стола низкий диван и пуфик.

— Моя супружница — француженка, но выросла в Алжире. Вот и мне прививает восточные обычаи. Сейчас попробуете настоящий турецкий кофе.

И она вошла. Длинная, тонкая, извивающаяся. Острое, бледное лицо стиснуто темными волосами, закрывавшими уши. Зеленое платье, блестящее, шелестящее, текучее. Светлые блестящие чулки. А ноги тонкие, почти совсем без икр. Но даже этот, по нашим понятиям весьма существенный, недостаток не умалял очарования.

Она прокартавила что-то приветственное. Неожиданно для себя я шаркнул ногой, как учили в детстве.

— Бон суар, мадам. Она хихикнула.

— Бон суар, камарад-товахич! Зорька демонстративно пробасил:

— Здравствуйте, товарищ.

Жорка чуть не упал, вставая с низкого пуфа:

— Добрый вечер.

Она всем улыбалась: «бон суар, бон суар!»

Мы пили очень сладкий, очень душистый кофе из маленьких чашечек. Запивали холодной водой из высокого узорного кувшина. Пили тягучий зеленый ликер из тонехоньких рюмочек. А еды всего — ничего: корзиночка соленых сухариков и корзинка печенья.

Зато разговор был захватывающий. Туган без долгих околичностей сказал, что собирается создавать новое литературное объ-

единение, главным образом из молодежи. Молодых поэтов не пускают в печать, не пускают в литературу, и они должны действовать.

Жена в разговоре не участвовала. Она подливала нам кофе, воду, ликер. Я исправно говорил «мерси». Она хихикала: «Пажальс». Жорка расхрабрился настолько, что сказал с ухмылочкой, внятно: «Мерси, товарищ». Она долго смеялась этой «замечательной шутке и повторяла: «Мехси, товахич... пажалъс, камахад!»

Речи Тугана возбудили меня так, что я почти забыл об его экзотической подруге. Он стал расспрашивать нас. Выяснил, что я пишу стихи, главным образом по-русски, но пробую и по-украински, что Зоря по призванию критик, но может и прозу. Жора сказал, что пишет прозу и стихи. Это было для нас неожиданно. За ним числилась только одна строфа одной песни на мотив «Кирпичиков»: «Спирт разбавленный, спирт отравленный, и матросы, оставшись без мест, выпить в новую шли столовую, по дороге зайдя в «Спиртотрест»... Песня нам нравилась, но некоторые критиканы утверждали, что слышали ее раньше, в других городах, куда еще не могло проникнуть литературное влияние Жоры.

Туган, глядя на свет через рюмочку, неторопливо говорил, что необходимо дружное товарищество, один за всех, все за одного, что они с Колей Шустовым приглядели еще несколько толковых хлопцев. Мы все должны перезнакомиться. И тогда соберемся, организуемся. Он заставит правление дома Блакитного выделить нам комнату и один день в неделю для регулярных заседаний. Есть уже «связи» в редакциях.

— Проявим себя и получим в «Харьковском пролетарии» страничку раз, а то и два в месяц. Через год можно будет и о коллективном сборнике подумать, даже о журнале. Название для организации мы с Николаем предлагаем: «Союз молодых» или «Союз Юности». Это и по-украински звучит неплохо: «Спілка молоді».

В эти часы я внятно ощутил: вот он, вождь, за которым можно идти в литературу, в подполье, на баррикады...

Больше Туган не приглашал нас к себе. Мы встречались в доме Блакитного. Его неизменно сопровождал Коля Шустов. Либо весело

говорливый «под шафе», либо унылый, с похмелья. Они познакомили нас еще с несколькими парнями, профшкольцами, безработными и молодыми рабочими. Представляли их: «поэт... прозаик... критик». Туган при каждой встрече говорил, что в следующий раз состоится наше «учредительное собрание». Необходимо только, чтобы нас было не меньше 20 человек.

Однажды он небрежно, между прочим, сказал: «Новая Генерация» наконец-то решилась напечатать мои стихи, можете поглядеть во втором номере».

Мне очень хотелось, чтобы стихи понравились. Они были напечатаны «лесенкой». Точь в точь, как у Маяковского, и у наших футуристов — Шурупия, Семенко.

...Знаю
неминучі
картини:
Треба
танки
ковать.
Хочу
нітрогліцерином
Набита
свої
слова.
Побачуть в кар'єрі скаженному
Шабель
червоный туман.
Усмішки коней Буденного,
Чекіста
чорний наган...
Крикнув крізь
Нью-Йорк,
Відень,
Париж,

Стамбул,
Кельн
Слово
лівому рідне,
Косоокий монгол Ленін...

Шустов говорил, что таких стихов на Украине еще не слыхали. «Маяковский позавидует. Тычина спрятаться может». Мне было неловко, но я никак не мог восхититься. И почему Ленин — монгол?

Прочитал я и книгу «В тени Эйфелевой башни». Рассказы оказались тусклыми. В них действовали отважнейшие коммунисты-подпольщики, ловко дурачившие полицейских и шпииков. Но все разговаривали одинаковыми газетными словами.

Вскоре я услышал презрительные отзывы о моем вожде: «Халтурщик. Трепач. Шарлатан. И он, и его адъютант Шустов — бесстыдные брехуны». Я пытался было возражать.

— Пусть он не художник, не мастер слова, но ведь он участник революционного подполья, в книжке факты...

— Написать все можно. Там же обозначено «рассказы», значит, вполне позволяется выдумывать, что захочешь.

Оставался последний аргумент: Туган недавно приехал из-за границы и сразу получил особняк, такой, в каких у нас жили даже не все вожди, а только Петровский, Скрыпник, Косиор...

Хулители пожимали плечами.

— Ну что ж, может, имеет какие-то заслуги. Но зачем он лезет в литературу? Буденный — герой побольше, про него песни поют. Но он же в писатели не набивается.

Туган говорил о Коле Шустове:

— Пьет негодяй, но талантлив чертовски. Он, как Есенин: поэт с головы до пят. И душой и телом. Вот и пьет, как Есенин. Не дают ему ходу литературные держиморды. Союз молодых должен его поддержать; один за всех, все за одного.

Сам Коля доверительно рассказывал, что пишет поэму «Весь мир», которая должна превзойти все, что есть в русской и мировой

поэзии. Ибо он намерен изложить стихами историю земли «с самого-рассамого начала» и до наших дней. Историю всей природы и всех народов. Написано уже сотни, нет, тысячи строк. Но пишется трудно. Творческие муки — это с одной стороны. А с другой — нужно еще и все время подбирать материалы, подчитывать, — то энциклопедии, то разные научные книги. «Это тебе не стихи в «Авангарде», как рыбак шаха дурил, или поэт поэтессе целку ломал».

Мы упрасивали его почитать. Он отнекивался. Но однажды в буфете удостоил.

— Вот как начинается —
Была земля и груды вод,
И груды гор и глыб,
Различных множество пород
Животных, птиц и рыб...

Дальше шли еще несколько строф в таком же стиле. Я с трудом выдавливал какие-то похвальные слова.

Туган все не собирал нас. Каждый раз он куда-то спешил, на прямые вопросы отвечал невразумительно: «Еще не время. Созвездия пока молчат. Еду-еду, не свищу...» И говорил, что мы должны ходить на собрания «Авангарда», чтобы «взорвать изнутри эту шайку пижонов, мещанских интеллигентиков».

При этом он ссылался на опыт немецких и французских коммунистов, которые действуют внутри «желтых» профсоюзов.

Но мы все чаще сомневались в его справедливости и мудрости. Зоря перестал ходить, уверял, что очень занят в электротехнической профшколе. Жора говорил прямо:

— Не светит мне что-то этот пан Туган. Не светит. И чего он там хочет взрывать в «Авангарде»? И как именно? Ему просто слабо писать, как они. Ему до того «Авангарда» еще сорок верст плыть. Ты все радовался: «герой!» А может, и геройство его такое, как его Коля — Есенин?

И мне становилось неприятно слушать рассуждения Тугана. О ком бы из литераторов ни зашла речь, он говорил, презрительно оттягивая книзу углы рта, что-нибудь вроде: «Графоман. Пижон. Мещанин. Петлюровец. Отца родного за копейку продаст. Воображает, что Лев Толстой, а жена ему орфографические ошибки исправляет».

Зато он чрезвычайно расхваливал неведомых нам гениев и самородков — его московских друзей, либо открытых им совсем неподалеку, но еще пребывающих в неизвестности новых Блоков и Есениных.

...Шло собрание «Авангарда». Туган и Коля сидели на столе, придвинутом к стенке. Коля был пьян и комментировал чтение стихов и речи критиков бранными репликами или назойливо спрашивал: «А ч-что автор хотел сказать этим образом? Эт-то же ж образ, или как... метафора?»

Председательствующий Меттер призывал к порядку. Туган «удерживал» приятеля, тот куражился. Кто-то заметил: «Это они взрывают изнутри».

Меттер, заключая обсуждение чьих-то стихов, сказал, как бы вскользь, что «Авангард» не боится никаких противников, никаких проходимцев, вроде Туган-Барановского.

Тот, побледнев, спрыгнул со стола, молча бросился к Меттеру. Его перехватили. Юра Корецкий почти донес его к дверям, а он только беспомощно размахивал руками. Глаза сузились в щёлки. Вытеснили и Колю.

Никто за ними не пошел, хотя в тот вечер он привел с собой несколько предполагаемых членов «Союза молодых».

После заседания я спросил у Меггера:

— Почему вы назвали его проходимцем? Какие у вас основания?

— Да это за версту видно. Почитайте, что он пишет, послушайте, что он рассказывает.

После этого вечера я Тугана Барановского в Харькове уже не встречал. Одни говорили, что он арестован как шпион. Другие, со

слов Коли Шустова, утверждали, что его вызвали в Москву и опять направили за границу.

Одиннадцать лет спустя, в 1939 году, в Москве на троллейбусной остановке он меня окликнул и заговорил так, словно мы расстались неделю тому назад. Сказал, что опять пришлось побывать в чужих землях. Услыхав, что я в аспирантуре, женат, есть дочка, ждем второго ребенка, предложил деловито:

— Ну, значит, тебе деньги нужны. Это мы обеспечим. Я работаю на сельскохозяйственной выставке. Веду всем оформлением: ну там — плакаты, афиши, лозунги, транспаранты, фотомонтажи и т. д. и т. п. Без моей санкции на всей территории не поставят ни одного киоска, не повесят ни одной бумажки. Записывай телефоны. Это служебный, это домашний. На работе меня поймашь пораньше, с утра. Будешь сочинять подтекстовки к плакатам, к таблицам, к портретам знатных колхозников, рекламы и прочее. Плачу по-ловно, понимаешь? А за стихотворный текст — каждое слово в 5–7 раз дороже. Например, «наши доярки доят без запарки» — пять слов двадцатку потянут. Гарантирую без натуги две тысячи в месяц. Будет детишкам на молочишко.

Ему явно хотелось еще поговорить, но я спешил на занятия. Звонить ему я не стал.

Прошло еще семь лет. В Бутырской камере номер 106 старостой был Буда-Жемчужников, правнук известного писателя, «соавтора» Козьмы Пруtkова. Бывший юнкер, бывший деникинец и врангелевец, потом эмигрант. Арестовали его в 1946 году в Западном Берлине. Он рассказывал, что его дело вел майор СМЕРШа Туган-Барановский.

— Хи-ит-ая bestия, доложу вам. Нет, никаких пыток, никаких т-этых степеней! Очень ко-эктен. Вполне воспитан. Однако, хит-ая bestия. Сам был эмиг-антом. Все наши дела и делишки знает досконально. Обещал мне за отк-овенность, за иск-енность всяческие льготы и п-ивилегии. И, доложу вам, некото-ым об-азом выполнил свои обещания. Вот и п-ивезли меня сюда в Белокаменную, минуя су-овый Военно-полевой т-ибунал. Нап-авили дело в так называе-

мое ОСО. Майо— Туган-Ба-ановский мне это и обещал. А тут уж я надеюсь — моя специальность поможет.

(Буда уверял, что владеет секретом безупречной мумификации любых органических тел, растений, животных, рыб. Он был совладельцем фирмы, изготавливающей парафиновые мумии для школ и естественно-научных музеев. По его словам, метод их фирмы был прост и дешев.)

— Вот у вас мумифици-овали тело Ленина. Это очень до-ого стоило. И все еще постоянно т-эбует дополнительных -асходов. Жестокий конт-оль темпе-ату-ы. Ну, и подновляют, конечно. А наш метод — абсолютная га-антия. На сотни лет, неизменно, п-и п-остой комнатной темпе-ату-е. Опасны только — жа-а, огонь. А любой холод, любой мо-оз даже на пользу. Майо-Туган очень заинтересовался моим сек-этом. Ведь будут же еще уми-ать великие люди. А мне только лестно, вместо тиг-ят, обезьянок, птичек, об-аботать тело великого человека.

Недолго я в ту зиму восхищался Туган-Барановским. Но это короткое знакомство все же оставило след, вероятно, не только в моей жизни.

Скоропрошедший вождь заронил мечту об особой молодежной литературной организации. И вскоре после того, как мы окончательно разуверились в Тугане, у меня дома собралось несколько учредителей нового литературного объединения: Валентин Бычко, Иван Нехода, Иван Калянник, третий Иван — Ваня Шутов (он стал писателем под псевдонимом Михайло Ужвий) и Тодик Робсман. Он при знакомстве представлялся: «Теодор Робсман. Поэт. Гениальный!» Пожатие широкой твердой руки, натренированной в многочисленных драках, было таким крепким, что новые знакомые предпочитали не высказывать сомнений. Тодик — единственный из этой компании излечился от литературной кори. Но в ту пору он казался едва ли не самым активным из нас. Он дружил с Колькой-Американцем, вожакom большой шайки, в которую входили не только обычные «раклы», но и профессиональные воры — ширмачи, хазушники, уркаганы и т.п. Ответы героического мифа Кольки

и собственные кулаки весьма укрепляли репутацию Тодика. Впрочем и его стихи казались нам тогда вполне приемлемыми, не хуже тех, что печатались.

Сегодня и мысли и чувства в ударе,
Сыграй мне, любимая, вальс на гитаре,
Я сердцем расстегнут, натянуты струны,
Любимая, сердце — хороший инструмент.

Он был так неколебимо уверен в своей гениальности, что не сердился на самую злую критику товарищей. А когда его пытались убеждать, что он неправильно ставит ударение в слове «инструмент», он безмятежно-упрямо возражал:

— И ничего подобного. Во-первых, у нас ведь народ говорит «инструмент», это только интеллигенция хочет, чтоб было «мент». А я — народный поэт и на всех «ментов»²⁰ кладу с прибором. И еще Пушкин писал «музыка». Так что ж, ему можно, а мне нельзя?

В дирекции дома Блакитного нам объяснили, что комнату и часы для заседаний представляют лишь организациям, зарегистрированным в Наркомпросе.

Первое собрание мы провели на квартире у одного из «учредителей». Был избран секретариат — Бычко, Нехода и я; меня наименовали «генеральным секретарем» и поручили идти в Наркомпрос.

В школьную арифметическую тетрадку — по клеткам легче разграфлять, — я вписал всех наличных и предполагаемых членов молодежного литературного объединения «Юнь». Графы были: фамилия, имя, год рождения (себе я записал 1910, на два года старше), «творческое призвание», «на каком языке пишет» и «где публиковался».

В то время только Валентин Бычко и Иван Нехода напечатали несколько стихотворений в украинской пионерской газете. Всем остальным я пометил: «неоднократно публиковался в стенной печати».

В Наркомпрос я направился пораньше утром, прямо в кабинет наркома Миколы Олеговича Скрыпника.

²⁰ Милиционер (жаргон).

В небольшой приемной уже сидело несколько человек. И потом приходили все новые посетители. Набралось десятка два, последние стояли в коридоре.

Секретарша спрашивала каждого: «В якій справі?» Некоторых отсылала в отделы, решительно говорила, что нарком этим вопросом заниматься не будет. Я изложил суть нашей просьбы, показал протокол первого собрания, аккуратно переписанный на листах, вырванных из бухгалтерского гроссбуха и тетрадь со списком.

Она едва поглядела.

— Ждите. В порядке живой очереди. Микола Олесович придет к десяти.

Ровно в десять послышалось разноголосо:

— Дравствуйте, Микола Олесович... Драсть... Здравуйте...

Скряпник в шубе торопливо прошел в свой кабинет, через несколько минут вышел, сел к маленькому столику у окна и оглядел всех нас: мне показалось, досадливо — сколько набилось!

— Ну, давайте. Кто тут перший?

Он был вовсе не похож на портреты, которые тогда можно было видеть во многих витринах, в школах и клубах. Он казался меньше, старше, суше. Усталые глаза, седая «кремлевская» бородка. Разговаривал вполголоса. Иногда нетерпеливо, но всегда деловито.

— Прошу конкретніше. Так, так, вже розумію... А далі шо?.. Ваши высновки, будь ласка... Так чого ж вы все-таки хотите? Прошу навпростець: в чому суть ваших претензій?

Прощался кивком. От многословных благодарностей отмахивался. Велеречивых посетителей прерывал, показывая на ожидающих.

— Товарищу, вы ж бачите, тут ще товарищи чекають.

Дошла очередь до меня. Секретарша кивнула и я сел на стул, вплотную напротив него, почти что колени в колени. Он дописывал что-то на пачке бумаг, оставленных предшествующим собеседником. Взглянул на меня выжидательно. Я постарался быстро изложить наши планы.

— А навіщо потрібна ще одна організація? Чому ви не підете до «Молодняка»?

Мы предусмотрели этот вопрос.

— «Молодняк» — это республиканский союз, у них по всей Украине отделы, и они принимают лишь тех, кто уже не раз печатался, у них все старше двадцати лет. И все уже с опытом. Такие, как мы, начинающие, должны месяцами, а то и годами ждать, пока хоть послушают, покритикуют. И мало кто пока дождался.

— Так, так. Значить, це ті, хто з піонерів уже вирісли, а до комсомолу еще не доросли.

— До комсомолу може й доросли, а до «Молодняка» — ні.

Он посмотрел словно бы чуть оживленной. Взял тетрадку, полистал.

— «Юнь» назвали? Гарно. А якою мовою пишуть ваші юнаки — українською? Чи російською?

— Приблизно половина — українською.

Я соврал, но так решительно, и по-украински изъяснялся настолько свободно, что это прозвучало достоверно.

Он быстро написал красным карандашом на обложке тетрадки «В буд. Блакитного. Треба допомогти хлопцям».

Протянул мне тетрадку, едва кивнул на мое «щиро дякую, Микола Олесович», и обернулся к следующему...

В коридоре бывалый ходок объяснял:

— Он хитрый мужик, Николай Алексеевич; нашего брата, рядового, принимает в приемной, чтобы поскорей: раз-раз и готово. Сам видишь: другие ждут. А если кто надоедать будет, встанет и уйдет к себе в кабинет, пускай все остальные того выпихивают. Тогда вернется. А для начальства у него другие часы. И уже пожалуйста в кабинет... Еще и чаю поднесут.

Благословение Скрыпника было для нас очень важно. Не только потому, что его Наркомат ведал домом Блакитного. Мы знали, что он — старый большевик, член президиума Коминтерна, ученый марксист — очень серьезно интересовался литературой.

В феврале 1928 года он произнес большую речь на собрании харьковских писателей. Текст ее был издан брошюрой «Наша литературная действительность».

«...Большая часть наших писателей крестятся по-советски, заявляют, что стоят на советской платформе, хотя бы пролетарскими... А где та лакмусовая бумажка, чтобы определить кто есть кто? ...Объединяются большею частью не по художественным, не по литературным признакам, а на каких-то полуполитических платформах, на которых соединяются прямо противоположные художественные течения... ЦК ВКП/б/ признал необходимость свободной борьбы, свободного соперничества... Мы не можем никому выдавать диплом на пролетарскость... Наша украинская литература еще не вышла из фазы примитивного, полупровинциального существования. Все кошки серы; все писатели — украинцы; все — представители пролетарской литературы...

...Я не сторонник левого фронта искусств, но для меня «Новая Генерация», именно потому, что ее основа — общие художественно-литературные черты, имеет большее значение, чем многие другие. ...Тут многие, очень многие отказывают этой группе и «Авангарду» в самом праве на существование, заявляют, что таких течений нет. Но, уважаемые товарищи, так ведь было и со всем украинским народом: и ему отказывали в праве на существование.

...Я также не сторонник конструктивизма, динамизма художественных направлений, на основе которых объединилась группа «Авангард»... Но я считаю, что на просторах советской земли, под нашим пролетарским солнцем найдется такое место, где и эта группа сможет художественно самовыразиться и самим своим существованием побуждать самовыражаться другие группы... ВАПП объединяет под одной крышей по меньшей мере три противоположных течения. По-моему, это неуважение к самим себе, к своим художественно-эстетическим взглядам...»

В той же речи Скрыпник громил идеологических противников — Хвильового, Маланюка — и не стеснялся в выражениях; говорил, что они примкнули к лагерю «воинственного украинского

фашизма». Ссылки на художественные достоинства их произведений он отстранял: «Пуришкевич тоже иногда писал стихи. Но пуришкевичей мы расстреливаем, а не занимаемся художественными оценками». И сразу же после этих зловещих слов призывал: «...остро выступать против литературного комчванства... Это тайная хвороба, о которой привыкли говорить лишь шепотом... Нужно думать над тем, как поймать напостовца, как поймать и поставить огненное клеймо на лбу представителя пролеткультовщины. Это задание трудное, иногда почти невыполнимое, так же, как поймать русского великодержавника...»

(Пять лет спустя, когда несколько миллионов украинских крестьян вымерли от голода, Скрыпник расстрелял себя. И тогда же застрелился Хвильовой. Должно быть, им нестерпимо стало сознание ответственности за все, что происходило на Украине, сознание своей причастности к тем силам, которые сулили все новые гибельные бедствия. Их посмертно проклинали как «буржуазных националистов» и «врагов народа».

Но в 1928 году оба они, — талантливые, мужественные, искусные в политических и литературных спорах, конечно же, не предвидели и не предчувствовали, куда сами идут, к чему ведут своих товарищей-друзей и товарищей-противников... А мне и таким, как я, утверждения, вроде «пуришкевичей надо расстреливать», казались вполне естественными полемическими оборотами.)

Мы уважали Скрыпника. Однако его призывы объединяться «на основе художественных, эстетических программ» казались мне уступкой «формализму». Нет, главным для нас была идейная общность; ну, а уж в ее пределах — терпимость к любым формальным, эстетическим поискам. Именно таким объединением должна была стать наша «Юнь».

Мы стали собираться раз в неделю вечером, в большой комнате-читальне дома Блакитного. Три-четыре поэта читали стихи. Не больше двух прозаиков — рассказы или отрывки из более крупных произведений.

Бывало, что впечатлительные авторы зло переругивались с критиками. На собраниях обычно председательствовал я. Перебранки удавалось кое-как унимать. Но в нескольких случаях спор возобновлялся потом на улице и переходил в драку.

Подошла моя очередь, и я прочитал длинную поэму «НЭП».

То была длинная вереница зарифмованных рассуждений о больших и малых событиях, происходивших в мире, в стране, в Харькове...

1927-ой год. Многим казалось, что десятилетие Октябрьской революции должно стать кануном новых революционных перемен. Мы считали неизбежной новую войну и с нею тот «последний решительный бой», который принесет счастье всему людскому роду. И в газетных сообщениях нередко слышали сигналы боевых тревог.

...После переворота Чан Кай-ши в Шанхае и в Кантоне убивали коммунистов, подавляли рабочие восстания. В Англии полиция напала на советское торгпредство, нашла какое-то «письмо Зиновьева», из-за которого Чемберлен обвинил наше правительство в разжигании мировой революции и порвал дипломатические отношения с СССР.

В Варшаве убили нашего полпреда Войкова.

...По харьковским улицам шли шумные демонстрации протеста к польскому консульству. Двухэтажный дом в глубине тупика, упиравшегося в ограду парка Технологического института, был оцеплен милицией, демонстрантов не подпускали. Мы с Зорей пробрались с тыла, через ограду, успели швырнуть по камню в окна. Не добросили. Нас перехватили милиционеры, рослые парни в яйцевидных шлемах, таких, как у английских полисменов, — эту новую форму ввели весной 27-го года. Я предъявил свой единственный документ — зеленую книжечку эсперантиста. Молодой милиционер уважительно глядел на иностранные буквы, а я пылко лопотал, что весь мир протестует, паны-пилсудчики помогали убийце, надо им показать, как следует, что и мы протестуем.

— Та вже добре! Тільки протест — то державна справа. А викина бити — це вже фулюганство, а не протест. Давайте, проходите.

Борис и я ходили по улицам собирать деньги на эскадрилью «Наш ответ Чемберлену». Нам выдали копилки, запечатанные сургучем, коробки, полные мелких латунных значков, самолетик с кулаком вместо пропеллера, и ленты с лозунгами, которые мы носили через плечо. Каждому, кто бросал в копилку хоть копейку, мы накалывали значок.

Все это снаряжение нам по протекции Бориса выдали в городском комитете Осоавиахима, а также справки с печатями «поручается сбор пожертвований», что давало право бесплатно ездить на трамваях и автобусах. Нам сказали: «Кто наберет больше двадцати пяти рублей, будет премирован: покатают на аэроплане. Полчаса летать над городом».

И мы старались.

— Гражданин, гражданочка, пожертвуйте на эскадрилью «Ответ Чемберлену»... Не пожалейте трудовой копейки на защиту Советской страны. Нашей копейкой лордам по мордам! Жертвуйте на Красную авиацию!

Мы лихо вскакивали на ходу в трамваи и так же на ходу спрыгивали. Самые строгие милиционеры делали вид, что не замечают.

Как я презирал тех, кто отворачивался от копилки молча или отнекиваясь: «Я уже жертвовал... Нет денег... Ладно, ладно, потом... Каким там лордам — себе на конфеты собираешь, или на папиросы... Мало, что налоги дерут, так еще на улице жертвуй... Откуда известно, что ты маешь право торговать теми бляшками? А ну, покажи патент!.. Так Чемберлен и злякается от наших копеек... Делать нечего пацанам, как нищие просят! Гуляй, гуляй, Бог подаст...»

И как по-братски, по-дружески, по-сыновнему любил я всех, кто останавливался, весело или серьезно отвечал нам, доставал монету, прикалывал значок. Седой, в гимнастерке, с портфелем, спросил: «Много насобирал? А ну, тряхни!» Прислушался к полновесному бряцанию, удовлетворенно хмыкнул и сунул в щель копилки бумажный рубль, протолкнул карандашом. «Дай-ка несколько аэропланчиков для моих пацанов». Я не сомневался в том, что он старый большевик.

Мы твердо знали: необходимо укреплять Красную армию, необходима мощная военная промышленность. И как назло оппозиционеры мешают, заводят дискуссии, отвлекают силы. Осенью прошел XV съезд ВКП/б/. Троцкого, Преображенского, Смилгу, Раковского исключили из партии. Зиновьев и Каменев покаялись. В газетах писали, что троцкисты создают антипартийное подполье. Троцкого выслали в Казахстан.

Однако именно оппозиционеры предостерегали от Чан Кай-ши, ратовали за мировую революцию и против империалистов, против нэпманов и кулаков.

Причиной всех наших бед и зол я считал НЭП.

НЭП — это частные магазины и лавки, куда более изобильные и нарядные, чем тусклые Церабкоопы; расфранченные мужчины и женщины в ресторанах, где по вечерам наяривали оркестры, и казино, где вертелись рулетки и крупье покрикивали «игра сделана!»; ярко накрашенные девки в коротких платьях, медленно разгуливавшие по вечерним улицам, задирая одиноких мужчин, или визгливо хохотавшие в фаэтонах «ваньков».

НЭП — это базары, кишевшие сутолокой грязно пестрых толп, куркульские возы, запряженные раскормленными конями, горластые бабы-торговки, вкрадчивые перекупщики, оборванные, грязные до черноты беспризорники.

НЭП — это газетные сообщения о селькорах, убитых кулаками, о судах над растратчиками, взяточниками, шарлатанами, фельетоны о разложении, обрастании, о том, как некогда честные рабочие парни-коммунисты становились бюрократами, рвачами, «сползали» в мещанское болото.

Юмористические журналы и живые газеты высмеивали нэпачей. Но Маяковский не шутил, взывая: «Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит».

Это из-за НЭПа перессорились между собой вожди партии.

Это НЭП довел до самоубийства Есенина, Андрея Соболя и товарища моего отца Семена Халабарда. Крестьянский сын, красавец-богатырь, он в гражданскую войну командовал полком, потом стал

директором треста, влюбился в красивую бездельницу-франтиху, растратил государственные деньги и принял яд.

Асеев писал:

Как мне быть твоим поэтом,
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,
А не красным время?
Его ужасала «пивная рядом с наркомвнуделом».
Владимир Сосюра читал нараспев, ласково, печально:
Я не знаю, кто кого морочить,
Але знов би я нагана взяв
І стріляв би в кожні жирні очі,
В кожну шляпку и манто стріляв.

После того, как я прочитал рифмованные проклятья злокозненным, тлетворным силам НЭПа, кое-кто из приятелей хвалил: «Есть яркие образы... есть сильные строки... Искренне выражено отношение к общественным язвам...»

Но критики говорили куда красноречивее. Они уличили меня в пессимизме, в упадочнических настроениях, в подражании Есенину, Маяковскому, Сосюре и еще кому-то, в «переоценке» опасностей НЭПа и в «недооценке» и «недопоказе» здоровых сил нашего общества: мою поэму признали идейно ошибочной, требовали, чтобы я «продумал», «осознал» и «перестроился»... Я пытался возражать. Ведь заключительные строки звучали довольно бодро.

Пускай в Харькове, у бледного ВУЦИКа
Мчат рысаки и визжат проститутки,
Ведь есть еще люди в кожанках куцых,
В работе запойной, за сутками сутки.

Но втайне был очень доволен. Все происходило как у настоящих взрослых литераторов: «прорабатывали» за идеи, но признавали удачу формы. Кто-то даже сказал о таланте.

...Прошла неделя, пока я обсуждал с приятелями, что делать, — каяться или упираться? Колебался, сомневался. Но про себя гордился — это были серьезные «идейно-творческие» колебания и сомнения. Как у настоящего поэта.

В конце концов, я все же признал, что «допустил», и с мужественной, суровой печалью говорил, что многое передумал, осознал и теперь понимаю, что переоценивал то и недооценивал это. Обещал «еще глубже продумать» и возможно скорее «перестроиться».

«Юнь» просуществовала недолго. Числившийся у нас критиком Роман Кацман²¹ опубликовал в газете «Вечернее радио» фельетон и зло, но довольно правдиво описал наши сборища. Назвал он, впрочем, лишь одного Тодика Робсмана, вывернув наизнанку его фамилию — «Намсбор» — ,другок хулиганов, именующий себя гениальным поэтом». Но многозначительно помянул и нездоровые, упадочнические стихи некоторых юношей, растерявшихся перед НЭПом. Меня вызвали в правление дома Блакитного и предложили подготовить подробный отчет о творческой деятельности нашей организации, а также обсудить с товарищами «сигналы печати» и дать обоснованный ответ.

На следующем собрании мы провели «чистку» и одним из первых вычистили предателя Кацмана за то, что он, ни разу не выступив у нас, побежал ябедничать в газету. Тодик обещал, что еще и зубы ему «почистит». Но осторожный зоил избегал встреч с нами.

Ответ написать не удалось. Возражать по существу было трудно. Началось лето, время каникул, отпусков и подготовки к экзаменам. «Юнь» распалась, и о нас просто забыли.

Осенью возникло новое литературное содружество «Порыв». Заводилилами в нем были Иван Калянный²² и Сергей Борзенко».

²¹ Впоследствии он стал кинорежиссером Романом Григорьевым, сталинским лауреатом и директором киностудии.

²² Иван Калянный (1912–1937). Из Харькова уехал в Киев. Издал несколько сборников стихов. В 1937 г. был арестован. Погиб.

Иван, самый талантливый, да, пожалуй, и самый умный из нас, любил прикидываться этаким простачком-Иванушкой, наивным увальнем.

В начале он писал несколько «есенистые» стихи.

Ты прошла и плитки тротуара
Расцвели, как в поле васильки.

Потом он стал писать по-украински. Он работал в сталелитейном цеху разметчиком. На огромной плите размечал еще горячие отливки для первичной «черновой» обработки, о своей работе он рассказывал в стихах.

День починается так.
Трамвай.
Цех.
Плита!

Сергей Борзенко был очень красив. Лицо и стать, как с цветной открытки «в русском стиле». Кудрявый чуб цвета свежей соломы; большие синие глаза. Говорили, что он похож на Есенина, только выше ростом и шире в плечах. Сережа добавлял: «А также класово, идейно здоровее». В отличие от всех нас, он был настоящим пролетарием — сыном и внуком рабочего, закончил ФЗУ и некоторое время работал молотобойцем. Есенину он подражал и в стихах, и в одежде; иногда щеголял в голубой косоворотке, подпоясанной шнуром с кистями. И стихи он читал с тем надрывным распевом, который тогда называли есенинским.

И в тебя был влюблен я не очень,
Этот шепот навеял ковыль.
Я люблю очень синие очи,
А в твоих только серая пыль.

Он нравился многим девушкам, всем друзьям и самому себе. Непоколебимо убежденный в том, что станет знаменитым поэтом,

он высоко ценил и таланты своих друзей, восхищался не только Ванинными, но даже моими стихами.

Однако, и самое осторожное критическое замечание о неудачной рифме, о слишком уж замысловатом обороте вызывало у него печаль и ребячески откровенную обиду, либо драчливый гнев.

Однажды молодой критик из «Авангарда» назвал сомнительными две строчки его стихотворения:

Зимней ночью волнуется липа,

Как твоя обнаженная грудь.

— Зимой липы без листьев. И ночная, зимняя липа — это черное, угловатое переплетение веток и сучков. А в стихах, как я понимаю, речь идет не о скелете, не о мертвой женщине. Как же можно сравнивать обнаженную грудь живой возлюбленной с черным, холдным остовом?

Сережа вскочил, густо покрасневший.

— Это подлость! Сволочь!

Его едва удержали. Он был самым сильным из нас.

— Что значит «не зажимай критику»? Какой он критик? Ни черта не понимает ни в женщинах, ни в стихах, а лезет! Он клоп вонючий! Таких давить надо!²³

С первых же дней среди нас резко выделялись два неразлучных друга: Андрей Белецкий²⁴ и Роман Самарин²⁵.

²³ Сергей Борзенко (1917–1974). Во время войны стал фронтовым журналистом, участвовал в десанте на Крымском побережье; заменил убитого командира и с горстью бойцов удерживал «пяточок» пустынного берега от непрерывных немецких атак. За это его наградили звездой Героя Советского Союза. Последние 20 лет работал в «Правде». Мы иногда встречались в Доме литераторов, в театрах. И каждый раз он, улыбаясь и подмигивая, начинал декламировать мои старые стихи, которые я давно забыл. Осенью 1968 г. он был в Праге, писал лживые, казенно-патриотические корреспонденции. С тех пор мы не встречались. Когда я услышал, что он умер, полоснуло тоскливой болью. Вспоминал его улыбку: постаревший, потускневший, он улыбался как в юности застенчиво и широко.

²⁴ Андрей Белецкий живет в Киеве. Профессор, автор многих работ по языкознанию и классической филологии.

²⁵ Роман Самарин (1911–1973). После войны переехал в Москву; в университете заведовал кафедрой зарубежной литературы, был деканом филологического факультета, заведовал сектором ИМЛИ. Его выдвигали в Академию Наук. В феврале 1947 года

Андрей — сын известного филолога, будущего академика Александра Ивановича Белецкого, был молчалив, застенчиво улыбался одним углом рта, читал и говорил по-французски, немецки, английски, итальянски, знал древнегреческий и латынь, изучал санскрит. В его стихах звучали книжные, иностранные слова, античные и средневековые понятия. Он перевел на латынь «Интернационал», чем потряс всех нас, кроме Сергея.

— А кому это нужно? Язык ведь мертвый. Кто ж будет петь? На каком кладбище?

Мы воспринимали стихи Андрея почтительно; многое в них было непонятным или чужим. Критики пообразованнее говорили, что в них сказываются влияния парнасцев, Эредиа, Андрея Белого, Хлебникова... Я с завистью слушал такие речи, потом иногда разыскивал упомянутые книги, пытался сравнивать. Очень хотелось найти собственное мнение. Но благие порывы скоро иссякали, и, презирая себя, я снова откладывал на будущее серьезные занятия литературным самообразованием. А в очередном споре либо молчал «с ученым видом знатока», либо разглагольствовал многозначительно, впусую.

— Мне кажется, что все-таки это не подражание, а родственность традиций. Ведь и символисты (акмеисты, имажинисты, супрематисты, кого назвал предыдущий оратор) не на пустом месте выросли. Я догадываюсь, почему товарищу могли послышаться в этих стихах отголоски раннего Тычины (Блока, Маяковского, Пастернака, позднего Есенина, Зерова и т. д.), но мне кажется, что это по сути все же стихи другого порядка. Иные не только по содержанию, но по тону, по конструкции...

(когда меня на два месяца выпустили из тюрьмы), мы встретились на улице случайно. Он был дружелюбно приветлив. В 1956 г., после реабилитации, я имел право получить работу в МГУ, так как уходил на фронт из ИФЛИ, который стал факультетом университета. Он декан встретил меня вежливо-отчужденно. «Да, да, конечно, мы обязаны зачислить вас. Но все штатные места заняты. Вот, пожалуйста, список наших преподавателей. Укажите сами, кого уволить, чтобы предоставить вам место. Понимаю, что вы не согласны. Обещаю первую же вакансию в ИМЛИ». После этого мы уже почти не встречались.

Однажды Андрей сказал, что прочитает новые стихи, и вынул из портфеля несколько аккуратно исписанных листов.

— «Персей и Андромеда».

И заскандировал негромко, гундосо, но внятно.

Потом начали обсуждать.

— Грамотная поэмка, вполне грамотная, даже сильная. Но уж такое явное влияние футуристов! Прямо как «Пощечина обществу» или «Садок судей». И слишком навязчивы аллитерации. «Частая сеча меча, сильна разяща плеча...» Да это же чистейшая хлебниковщина, вроде «Смейтесь смехачи». На сегодняшний день — устаревшие фокусы...

— Тут говорили про Хлебникова, но я не согласен: считаю, что это скорее подражание раннему Маяковскому. Помните: «Прожженный квартал... рыжий парик... непрожеванный крик».

— По-моему товарищи явно перехваляют. Стишки беспомощные: ...«чуть движа по земле свой труп» — чепуха совершенная! Никакие здесь не футуристические влияния, — а самая вульгарная есенинщина, только с классическими узорами. Персей, видите ли, и Андромаха... Ну, и пусть Андромеда — какая разница?! А все откуда? «Черный человек, черный, черный... Черная книга» и тэдэ и тэпэ.

Я хотел вступить за Андрея. Стихи мне в общем понравились. Сравнения с Хлебниковым казались убедительными. Сердили разносные отзывы: «упадочный... чуждый... кабинетное рифмоплетство... дешевый модернизм... северянщина...» Но только защищать значило бы лицемерить. Стихотворение и впрямь было очень далеко от нашей жизни, стилизовано под старину.

Пока я собирался, председательствующий Сергей объявил:

— Товарищ Белецкий просит слова в порядке ведения.

— Большинство критических высказываний, так сказать, о подражательности. Ссылаются на футуризм, имажинизм... Тут Называли Белого, Хлебникова, Маяковского, Есенина и даже, кажется, Северянина. Это весьма интересно. Некоторые суждения, так сказать, несомненно оригинальны. Но я вынужден принести извине-

ния; должен повиниться. Дело в том, что я позволил себе некоторую, так сказать, мистификацию. Хотел экспериментально проверить степень, так сказать, объективности и компетентности в нашей критике. Я прочитал отрывки из поэмы, которую сочинил другой автор, который весьма, так сказать, далек от футуристов, от символистов, от Северянина...

Он достал из портфеля большой красный с позолотой том дореволюционного издания.

— Вот видите — Гаврила Романович Державин. Написано в 1807-м году...

Хохотали все, особенно зычно те, кто, как я, не участвовали в обсуждении. Но звучали и гневные возгласы.

— Это издевательство! Хулиганство! Зазнайство интеллигентское! Он себе мозоли насидел над книгами и насмехается с тех, кто не такие образованные.

Сереза стучал по столу карандашом, потом кулаком.

— Довольно! Тише! Хватит! С этим вопросом покончили. Переходим к следующему пункту. О поведении товарища Белецкого поговорим отдельно другим разом.

Роман Самарин, сыровато-пухлый, блинницый очкарик, сын профессора литературы, был менее образован, чем Андрей, но более общителен. Говорил он пришепетывая, подхихикивая, изысканно, даже витиевато, но любил подпускать и простецкие, народные словечки. Еще в школе, — он и Андрей учились в той же, что и я, — они оба даже внешне отличались ото всех. Носили береты, короткие брюки до колен и длинные чулки, ходили с тросточками и ровесникам, и даже младшим, говорили «вы».

Роман тоже сочинял стихи. В них энергично, уверенно двигались такие слова, которые были мне знакомы, но непривычны, — ученые, книжные, иностранные. Но у него они звучали естественно, само собой разумеющимся. И от этого стихи казались зрелыми. Его любимыми поэтами были Эредиа и Гумилев. Из современников он одобрял Ахматову, Вячеслава Иванова, Ходасевича, Тихонова, Багрицкого...

Когда мы поближе познакомились, он прочитал мне «по секрету» свою балладу «Ночная беседа».

...Возвращаясь вечером домой, поэт видит в передней на вешалке старую офицерскую фуражку и кожаный плащ. В полутьме комнаты его встречает некто «невысокий, бледный, сухощавый». Это Гумилев. Он говорит автору, что России предстоят грозные испытания, «везде оружие везут по земле и воде»... Но обещает, что в конечном счете восторжествует русская держава.

Роман писал баллады о Бертран де Борне, о рыцарях, менестрелях, о крестоносцах. Он поведал мне семейную тайну: его мать, милая круглолицая Юлия Ивановна, происходила по прямой линии от Готфрида Бульонского.

Однажды Роман написал стихи, в которых обо мне говорилось:

Мой смуглый друг, играя черной тростью,
Мне говорил о девушках не строгих...

Поводом для этих строк послужил мой рассказ о знакомстве с настоящей проституткой. Это было именно только знакомство с чтением стихов Есенина и длиннейшими беседами о смысле жизни. А трость я завел, подражая Роману и Андрею. И тщетно пытался подражать им в учености, не успевая раздобывать те книги, о которых они говорили, как о давно знакомых.

Роман прочитал в «Порыве» большую поэму «Емельян Пугачев». Она понравилась многим. Мы с Ваней хвалили. Но Сергей оставался неизменен в своей классовой неприязни. И когда я восхищался — Да ты послушай, как здорово звучит: «уздой наборной жеребца тираня», — он презрительно фыркал:

— Игрушки, побрякушки. Нарядные стишки. Пугачев был народный вождь. Герой. Революционер. А тут какой-то ухарь-казак из оперетты. «Емельян кудряв и пьян». Ты сравни с Есениным. У того, правда, идеологически не все как следует. Но сам образ Пугача — могучий. Размах есть.

Ближе всех к Андрею и Роману держалась Лида Некрасова²⁶. Тоненькая, белорозовая, благовоспитанная. Она писала сонеты, казалось, похожие на нее, мелодичные, грустные, очень складные. Я пылко влюбился в нее не меньше, чем на два месяца. И, разумеется, доложил об этом в стихах. Она приняла их с благосклонной, но снисходительно отстраняющей улыбкой.

— Благодарю вас, Левушка, это очень мило.

18 ноября 1928 года я впервые «вышел в печать».

Отделом литературы ежедневной газеты «Харьковский пролетарий» заведовал Романовский, чахоточный добряк, притворявшийся злым насмешником. Он опубликовал стихи Ивана, Сергея, Лиды и одно мое «На смерть Роальда Амундсена».

В газете, которую прочтут тысячи людей, — и знакомые, и совсем незнакомые, далекие, — маленький — огромный! — столбец: мои стихи. Мое имя.

Радость была. Давно об этом мечтал. Долго ждал, надеялся. Отчаивался, опять ждал. Но обрадовался меньше, чем ожидалось. Напечатанными стихи оказались куда хуже, бледнее, нескладнее... Все же на какое-то время померещилось, что открывается, приоткрылась заветная дверь.

Амундсена я любил с детства. Летом 1928 года итальянский генерал Нобиле полетел на дирижабле через полюс. Этот перелет задумал Амундсен и раньше пытался его осуществить. Нобиле был одно время его партнером, потом рассорился и отправился без него. Дирижабль потерпел крушение.

На помощь вышли наши ледоколы «Красин» и «Седов», с ними полярные летчики Бабушкин и Чухновский.

²⁶ Лидия Некрасова (1911–1977). После войны жила в Москве. Стала профессиональным переводчиком и литературоведом-африканистом. Переводила главным образом стихи поэтов Мозамбика, Анголы. Писала о них статьи, очерки.

Л. Некрасова, Р. Самарин и А. Белецкий в начале 1929 г. были исключены из «Порыва». По нашему уставу каждый член бюро становился на две недели очередным неограниченным диктатором и Сережа Борзенко использовал свою «диктатуру» для того, чтобы исключить их как «антисоветские элементы». Протестуя против этого, я ушел с собрания. И он вынес мне строгий выговор за «примиренчество и гнилой либерализм».

Амундсен, едва услышав о бедствии, забыв о старости, болезнях и обидах, немедленно вылетел на маленьком гидроплане помогать, спасать. И погиб.

Об этом и написано стихотворение. Получилось оно высокопарным, сентиментальным. Но есть одна строка:

Человек спасает человека

В 1972 году, когда я начал собирать материалы для получения литературской пенсии, обнаружилась эта самая первая публикация. Читать было неловко, смешно. Однако эта строка побудила задуматься.

Многое с тех пор во мне изменилось — взгляды, убеждения, идеалы. Но

Человек спасает человека

В этих трех словах можно менять порядок, времена, наклонения, падежи: «Спасал. Будет спасать. Спасай!..»

(Некогда Сын Человеческий был назван Спасителем).

Человек спасает человека

Во все времена. Вопреки всем изменениям, заменам, изменам.

Раньше я подолгу забывал об этом. Так же, как забывал об Амундсене, о ребяческих мечтах. Теперь хочу помнить. Уже до конца.

Глава восьмая

РАСПУТЬЯ, ПЕРЕПУТЬЯ, БЕЗДОРОЖЬЯ...

Истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней.

Митрополит Филарет
(А.Ф. Кони «На жизненном пути»)

...Наш долг рассказать о том, что с нами происходило. Нам не удастся объяснить, почему произошло так, а не иначе, но это не должно отпугивать от работы, по меньшей мере подготовительной для будущих объяснений.

Криста Вольф («Kindheitsmuster»)

В феврале 1929 года меня потрясло сообщение о высылке Троцкого за границу... Пусть он ошибался, пусть затевал внутрипартийные споры, даже самые ожесточенные. Но ведь все-таки в Октябре 1917 года он был главным помощником Ленина; он создавал Красную армию. И высылать его за рубеж, как белогвардейца, — это было уж слишком.

Листовки и брошюры, подписанные «большевики-ленинцы (оппозиция)», доказывали, что именно Троцкий, Пятаков, Смилга, Пре-

ображенский зовут партию на правильный путь. А Сталин и Рыков потекают кулакам, нэпачам и бюрократам.

О Бухарине я знал, что он самый симпатичный и самый свойский из всех вождей. Но прежде всего — теоретик, добрый мечтатель. Его книгу «Исторический материализм» я читал и перечитывал, видел в ней образец марксистской мудрости. Когда-то Бухарин был куда левее Троцкого. Но должно быть и его испортил НЭП. Он стал призывать крестьян «обогащайтесь», поверил, что кулаки могут «вращаться в социализм». И в китайских делах напутал, прошляпил измену Чан Кай-ши. Из листовок оппозиции я узнал, что Бухарин, Рыков и Томский всерьез рассорились со Сталиным, хотели даже мириться с оппозицией. Бухарин приходил к Каменеву договариваться. Может быть, опять начнется дискуссия, как в 27-м году, но более широкая, более честная. И тогда станет ясно, кто прав.

Как именно представлял я себе тогда будущее? С легкой руки Маяковского, писавшего стихи о встречах с Пушкиным, Лермонтовым и Лениным, разговоры с великими покойниками стали модой. Светлов беседовал с Гейне, а Рома Самарин с Гумилевым. Такие стихотворные спиритические сеансы подвигнули и меня написать о встрече с Гракхом Бабефом. Он очень одобрил деятельность ленинской оппозиции, предостерегал от термидора, сравнивал Троцкого с Робеспьером, а Сталина с Дантоном и предсказывал победу революционных сил.

А ваш Дантон уйдет далеко, —
Ну хоть в тифлисский ВСНХ.
И взреет самолетов клетот.
И вновь поднимет ввысь Москва
Над миром боевые стяги
Пробьет великий час
У стен Варшавы, Риги, Праги,
Ликуя, братья встретят нас.

(Кто мог бы тогда взглянуть в будущее и догадаться, куда вели дороги, вымощенные такими стремлениями и мечтаниями?)

И так, в дни наибольшей близости с оппозиционерами, я видел в Сталине только новый вариант Дантона, — то есть честного, но «ошибающегося» революционера. Считал его «настоящим большевиком». Однако листовки оппозиции, такие, как «Завещание Ленина», которое раньше почему-то скрывали от партии, запись беседы Бухарина с Каменевым, брошюры «Платформа объединенной оппозиции», «Критика программы Коминтерна» и др., а также Марк и его друзья убеждали меня что Сталин — ограниченный, властолюбивый бюрократ. Он вообразил себя лучшим учеником Ленина, хотя в теории смыслит меньше, чем все другие вожди. Но он опытный и бессовестный аппаратчик и, действуя хитростью, демагогией, сначала вместе с Зиновьевым и Каменевым осилил Троцкого, потом вместе с Бухариным и Рыковым перехитрил Зиновьева и ленинградцев, а теперь выпихивает Бухарина и Рыкова, чтобы стать единоличным диктатором. Но я думал, что, если его снять с высокого поста и «перебросить» на низовую работу, он еще исправится.

В отличие от Марка, который считал последовательными ленинцами только ленинградцев, меня привлекали героические мифы Троцкого и его приверженцев, таких, как Иван Смирнов — «совесть партии», Кристо Раковский — международный революционер, Григорий Пятаков, Смилга, Федор Раскольников и другие бывшие командиры и комиссары гражданской войны.

Однако, едва ли не сильнее всех теоретических рассуждений и новообретенной веры в программу оппозиции, действовал еще соблазн *подполья*, революционной конспирации. По существу, тот же азарт, с которым немного раньше мы придумывали пионерские военные игры, играли в «казаков и разбойников».

Марка и нескольких его приятелей из «городского центра» арестовали в начале марта. Я продолжал распространять листовки, ходил на «явки». 29 марта пришли и за мной. Как положено — среди ночи. Мама плакала, отец был растерян, бледен. Саня тарачился спросонья, ничего не понимал. Во время обыска я просто сел на свой портфель, в котором среди книг и тетрадей лежало несколько листовок. Портфеля не заметили. Забрали у меня только старые изда-

ния книг Троцкого, Пятакова, Преображенского, брошюру Сталина «Вопросы ленинизма» издания 1924-го года, в которой говорилось, что «построение социализма в одной стране — антимарксистская утопия». Увели меня двое парней в длинных шинелях и буденновках. Один с портфелем, другой с винтовкой. Шли пешком несколько кварталов по тротуару предрассветной Чернышевской улицы. Я волок нескладный узел — мама заставила взять одеяло, подушку, уйму еды и доказывал спутникам, что Сталин обманывает партию, что кулаки и нэпманы богатеют, а бюрократическое государство эксплуатирует рабочий класс.

Старший возражал:

— В государстве должен быть порядок... А что говорит вся партия?.. Дисциплина есть дисциплина...

В здании ГПУ на углу Чернышевской и Совнаркомовской меня обыскали поверхностно. Листовку, оставшуюся у меня в кармане, я успел свернуть трубочкой и сунуть за подкладку в прорешку брюк.

В камере яркий свет. Четыре двухэтажные койки. Когда меня ввели, я спросил тоном бывалого деятеля: «Большевики-ленинцы есть?» Кто-то откликнулся сверху: «Я децист²⁷ с «Серпа и молота». Остальные вроде ваши, но уже спят. Сегодня большая выемка, слышишь, все время ведут».

Через час нас — человек двадцать — увезли в «черном вороне» в ДОПР № 1 на Холодную гору. Только начинало рассветать. Внутри железной машины было холодно и темно. Трясло на булыжной мостовой. Вокруг меня переговаривались, перешептывались, узнавали друг друга, перечисляли общих знакомых: кого когда взяли, кто «отошел» то есть подписал заявление, осуждающее программу оппозиции. Я спросил о Маре. О нем кто-то слышал; «Это из городского центра, теоретик». Двое парней запели на популярный в то время мотив:

²⁷ Оппозиционная группа «ДЦ» демократического централизма, впервые выступила в 1923 году.

Добрый вечер, дядя Сталин,
Аи, ая-ай,
Очень груб ты, не лойялен,
Аи, ая-ай,
Ленинское завещанье,
Аи, ая-ай,
Держишь в боковом кармане,
Аи, ая-ай.

В камере нас оказалось трое — рабфаковец Миша К. и член «Порыва» Боря Ш.

Допрашивали меня всего два раза. Я спорил с лысоватым скучающим следователем о перманентной революции. Гордо вытащил спрятанную листовку — «вот как мы умеем?» Отказался назвать товарищей. Следователь пугал меня лениво, глядел презрительно.

— Что вы понимаете? Набрались из листовок и книжек всякой муры, а мы кровь проливали за Советскую власть. Вы с жиру беситесь, мелкобуржуазное кисляйство разводите. Ваш Троцкий никакой не ленинец и никогда им не был. Наполеона из себя строил. А теперь вот в буржуазной печати выступает. Что вы мне тычете «Сталин! Ленинское завещание...»? Вся партия Троцкого осудила и Сталину доверие оказала. А вы под ногами путаетесь. Ладно, идите, подумайте. Если дадите подписку, что отходите от оппозиции, что осуждаете выступления Троцкого за границей, сразу же отпустим.

— Ничего я не буду писать.

— Тогда поедете в ссылку, не меньше пяти лет. А будете нахальничать и скандалничать, отправим в политизолятор.

— Это вы называете убеждать, бороться за генеральную линию партии? Вы угрожаете, давите... Неужели вы можете поверить в искренность отхода под угрозой?..

— Не будет искренности, опять посадим.

Протокол был составлен по моему дневнику, который писался моим «собственным шифром», аккуратно переписали: такого-то числа Х сказал, такого-то числа передал У большой привет.

Семнадцать лет спустя в тюрьмах Бреста, Орла, Горького и в самой благоустроенной из всех — Бутырках, странно было вспоминать эту первую мою тюрьму. Четырехэтажное кирпичное здание. Внутри узкие железные галереи. Вдоль них камеры; на переходных мостках площадки с постами дежурных. Крутые железные лестницы. И все пространства между галереями затянуты частыми проволочными сетками. А крыша стеклянная, как в больших магазинах.

В квадратной чистой камере стены зеленые снизу и белые сверху; три койки «покоем». Окно высоко, но без щитка. Напротив, через стену, виден корпус блатных, оттуда весь день, а то и по ночам раздавались песни: «Ты помнишь ли, детка, те темные ночи...», «Позабыт, позаброшен...» Время от времени блатные били стекла. Надзиратели жаловались — каждый день вставлять приходится. Парашей мы не пользовались, требовали, чтобы дежурный водил в уборную. Кормили невкусно, но сытно. Обед был всегда мясной: борщ и лапша или каша с котлетой. Через день я получал передачу, кроме того — каждое утро приносили «ларек», можно было купить колбасу, французские булки, конфеты, папиросы. С собой в камере разрешалось иметь не больше трех или пяти рублей, в ту пору немалые деньги. Каждый день приходил библиотекарь: «книжки менять будете?» Он же продавал газеты и журналы.

Прогулки длились по двадцать минут. Мы перестукивались с соседями. Время от времени надзиратель громко кричал: «Кто там стучит, в карцер захотел?»

На третий день в тюрьме началась «обструкция» или «волынка». Сверху раздался крик: «Товарищи, требуйте прокурора, требуйте открытых камер, требуйте выбора старосты». И сразу же со всех сторон начали стучать в дверь табуретками, кружками. Из камеры в камеру перекрикивались: «Володя... Сема... Майя... Аня... Где ты сидишь? Кто с тобой? Где Андрей?» А вперемежку орали: «Жандармы! Фашисты! Требуем прокурора! Требуем старост! Откройте камеры!»

Зычный голос прервал галдеж: «Говорит дежурный по тюрьме. Товарищи! (Так и говорил «товарищи»). Успокойтесь! К концу дня

будет прокурор». И снова командный глуховатый голос из верхней камеры: «Товарищи! Даем срок до шести вечера. В шесть часов вечера начинаем снова обструкцию. Сверим часы».

(Несколько лет спустя заключенным уже нельзя было иметь часы в камере.)

...Ровно в шесть галдеж начался еще сильнее. Но скоро его стали прерывать надрывные крики, уже не из камер, а с галерей: «Товарищи, меня уведят... не смейте бить! Руки прочь!.. Сталинские жандармы! Фашисты!». Орала и мы.

Щелкнул замок. В камеру вбежали не надзиратели, а бойцы в синих буденновках и зеленых гимнастерках. Меня схватили за обе руки — «Марш в карцер!» И сразу же вытащили из камеры.

Вдоль галерея гуськом, цепочками бежали парни в буденновках. А двери камер грохотали. Сверху, снизу, с разных сторон крики: «Требуем старосту!.. Открывайте камеры!.. Да здравствует товарищ Троцкий, вождь мировой революции!.. Позор сталинским жандармам!»

Меня столкнули вниз по крутой железной лестнице. Бойцы, стоявшие на ступеньках, перебрасывали меня, как грузчики мешок. Не злобно и торопливо.

Карцер был в подвале. Узкая каморка, полутемная, холодная. Маленькое оконце под самым потолком. Вместо койки остов из железных полос на коротких столбиках, вбитых в асфальтовый пол. Лежать и больно и холодно. Всю ночь курил. Покончив со своими папиросами, подбирал с полу мокрые окурки. Раньше сидел кто-то нервный, не докуривал. Утром отказался взять хлеб — объявил голодовку. Мучительно хотелось есть, несмотря на смрад параша и мерзостный вкус окурков. Через сутки вернулся в камеру.

В тюрьме я пробыл десять дней. Освободили меня как раз в семнадцатый день рождения, взяв «подписку о невыезде»²⁸.

²⁸ О том, что происходило со мной в последующие месяцы, рассказано в книге «Хранить вечно», Анн Арбор. 1975 г.; глава 17, С. 263–279. Отрывок из этой глава приведен в Приложении 1. — *Прим. Ред.*

Осенью и зимой 1929/1930 гг. я работал на станции Основа вблизи Харькова заведующим и преподавателем вечерней школы для малограмотных, в которой учились рабочие депо и работницы столовой. Самый младший из учеников был на десять лет старше меня.

Занятия бывали только четыре дня в неделю, у меня оставалось много свободного времени, и я продолжал сочинять стихи, писал заметки, статьи, частушки для местной многотиражки и для городских газет. Писал и по-русски, и по-украински; прославлял лучших учеников моей школы, обличал пьянчуг, прогульщиков, бюрократов...

Не веря уж, что могу быть поэтом, я хотел стать журналистом, литератором «на все руки». Это только помогло бы в будущей революционной деятельности. И очень хотелось печататься.

Магнитная сила печатной строки, волшебный «эффект Гутенберга», возникает, должно быть, из древнейшей тоски по бессмертию. Из той же потребности оставить *свой след* в мире, которая возводит надгробные монументы, побуждает запечатлеть имя хотя бы в инициалах на партах, на камнях примечательных сооружений, на крутых скалах, на стенках тюремных камер...

Из основянского депо в подшефные села выезжали комсомольские агитбригады. Я еще не был комсомольцем, однако считался «профсоюзным ликбез-активистом», и несколько раз меня включали в такие бригады.

Шла коллективизация. Готовилась «первая большевистская посевная». Приезжие агитаторы носили по хатам газеты и брошюры; неграмотным читали вслух и сами рассказывали о международном положении, о великолепных благах, которые сулит новая колхозная жизнь.

В феврале и марте в некоторых деревнях были волнения — «волынки».

Наезжала конная милиция и воинские части НКВД. В тех местах, где бывал я, обошлось без выстрелов, без кровопролития. Но эшелоны раскулаченных и «подкулачников» — так называли тех, кто сопротивлялся коллективизации — все гнали и гнали на Север.

Длинные составы теплушек. В дверных проемах стояли красноармейцы с винтовками. За ними в полутьме копошились едва различимые люди в темном. Плач детей прорывался сквозь рокотание колес.

В деревне Охочая новосозданным колхозом командовал двадцатипятипятитысячник Чередниченко — «кривой комиссар». На месте правого глаза у него розовел бугорчатый продолговатый шрам, захватывавший часть лба и скулы.

— Это пан-улан рубанул. Я пулеметчиком был; первый номер. Под Варшавой на лесной дороге они нас дуриком устерегли. Выскочили с двух просек. «Виват!» — и давай рубать, как капусту. Мой ездовой растерялся; кони рванули; тачанка завалилась боком в канаву. Максим торчит в небо, хоть ангелов стреляй. Мы за карабины, за наганы... Тут он меня и вдарил, чуть башку надвое не развалил. Я и не вспомню, какой он был, тот пан-улан. Очунял аж только через две недели в лазарете. Никто и не мечтал, что живой буду. Все лекаря и сестры говорили: «Мы с тобой, хлопец, чудо сделали!» Так что я вроде чудотворная икона.

Он работал на заводе «Серп и молот» бригадиром слесарей-лекальщиков, постоянно избирался в партком, в завком, был членом горкома партии. Но из цеха не уходил; гордился репутацией лучшего мастера.

— Я своим одним рабочим оком лучше вижу, чем другой четырехглазый спец-очкарик.

Когда его вызвали в партком и сказали, что направляют в село, Чередниченко сперва упирался:

— Не люблю я дядьков-гречкосеев. Не верю им. Каждый только за себя, за свою хату с краю да за свое майно и гроши. А я пролетарий с деда-прадеда и в ихнем навозном хозяйстве ни бум-бум. И мовы ихней толком не знаю, хотя фамилие мое и на «енко».

Ему объяснили, что такие разговорчики пахнут уклоном в троцкизм, что он не смеет отпихиваться от высокого доверия партии. И ему не просто честь оказывают. Как бывший конармеец он обязан понимать — это боевое задание. На селе теперь фронт,

вроде как опять гражданская война. Классовый враг поднял голову и клыки показывает.

Направили его в русскую деревню Охочую, где жили потомки аракчеевских военных поселенцев. С первых же дней Чередниченко стал полновластным диктатором и через неделю завершил сплошную коллективизацию.

— У меня главное — решительность. И внезапность. Чтоб никто не поспевал бузы тереть. Дашь колхоз безо всяких-яких. Коней и коров собрали в четырех дворах. Три — бывших кулацких, один — совхозный. «Сов» — значит советский. Ну, так и помогай по-советски. Плуги, сеялки, весь реманент — тоже до кучи. Кузнеца назначил главным механиком. Он — свой парень, был в партизанах. Бригадиры и десятники — все с бывших красноармейцев должны понимать дисциплинку. Приказал, чтобы за конюхами и бабами, которые коло коров, следили строго. Чтоб там кормили, доили, мыли-чистили. Все как положено. Без опоздания, без халтуры! И еще чтоб не допускать никого до тех лошадей, до тех коров, которые раньше ихними были. Потому надо сознательность воспитывать. Раз все общее — отвыкай от частной собственности. Вот только для свиней, овец, гусей, курей пока еще нет таких мест, чтоб всех собрать. Мелкая худоба у нас пока еще по-старому врозь. Но зато наладили учет, — сколько чего есть, — все на карандаш, до цыпленочка. А то ведь по другим деревням резать стали. Нехай лучше пропадает, но чтоб колхозу не досталось. Вот ведь вражины, куркульские души.

В Охочей была церковь, куда приходили и жители нескольких ближайших деревень. Настоятель — молодой благочинный — часто разъезжал по округе, навещал больных прихожан и других священников. Чередниченко говорил о нем сердито, но с уважением.

— Хитрый поп, ох, и хитрый. Можно сказать, даже шибко умный. Политик, сучий сын. Он свою линию так ведет, что вроде и притянуть его нельзя. Даже проповеди говорит за колхозы. Доказывает, что они, значит, евангельскому завету соответствуют. Чтоб не было ни богатых, ни бедных; чтоб все вместе, как братья, как сестры. А тишком, гадюка, пускает агитацию. И на исповедях, и так,

в разговорчиках, и через свои кадры. У него такие бабки-старухи в боевом строю — нашему агитпропу только завидовать. И агитация получается хитрая: в колхозы нехай идут все, кто зажиточные, не то их раскулачат и на Сибирь пошлют. А кто бедняки-батраки, могут и совсем не ходить; их власть и так не тронет. Они ж вроде как советские дворяне. Вот ведь сволочь, что придумал!

Вечером Чередниченко и несколько активистов отправились к священнику домой. Вошли кучей, не вытирая ног, не снимая шапок. Протопали прямо в столовую. Хозяин встретил их спокойно, даже приветливо.

— Пожалуйте, гости неожиданные, но весьма почтенные. Прошу садиться. Не побрезгуйте стаканчиком чая с домашним вареньем.

— Мы пришли к тебе не чаи гонять.

Чередниченко отвернул полу шинели, вытащил из кармана га-лифе пистолет и подбросил на ладони.

— Что это такое, знаешь?

Матушка, застывшая у самовара, тихо ойкнула. Священник смотрел невозмутимо.

— Я в оружии несведущ. Но это, кажется, браунинг.

— Угадал. А в нем семь зарядов. Так вот, все семеро в твоём брюхе будут, если завтра до света не уберешься из села. И если потом узнаю, что где-то поблизко ошиваешься. У меня одно око, но вижу далеко. Так вот, чтоб и духом твоим в районе не пахло.

— Почему? За что? Ваши угрозы противозаконны. Церковь отделена от государства, но советские законы охраняют права...

— А ну, заткнись, гад... твою господа-бога мать, приснодеву и всех архангелов, апостолов и сорок святителей в кровавые глазки! Ты это видишь? Так это и есть и закон и права. И юстиция и полиция. Шлепну, как поганую собаку, а там уж нехай меня судят. По закону.

— Я буду жаловаться. Это насилие.

— Вот и тикай жаловаться. Давай, паняй на Харьков в ВУЦИК, а еще лучше на Москву в ЦИК. Нехай Петровский и Калинин тебя законно жалеют, а я жалеть не буду. Завтра, до света, шестеро кон-

ных проводят тебя на станцию. Запрягай свои сани, грузи свое бахла, все, что схочешь. Наши хлопцы помогут и багаж сдать. А все, что останется, — и коняка, и скотина, и дом — пойдет в колхоз. Ты ж сам доказывал, что так по Евангелию положено: раздай свое имущество, «блаженны алчущие и жаждущие»...

— Блаженны изгнанные за веру...

— Кончай трепаться. Ты еще нас агитировать будешь?! Я вашу поповскую науку уже пацаном ненавидел. В ремесленном поп хуже всех городских был. «Возлюбите врагов ваших, дети мои!» А доносил, гад, и директору и жандармам. Нас, пацанов, секли, как Сидоровых коз, а отцов с завода выгоняли...

— Значит худой был пастырь и худой человек.

— Не худой, а потолще тебя, трепача бородатого. Хватит, кончили разговорчики. Точка. Приказ ясный: чтоб завтра до свету... Повторять не буду.

— Вынужден подчиниться насилию. Но буду жаловаться непременно.

Это говорилось уже в спины уходящим. Они зычно пересмеивались, грузно топали и смаху грохнули дверью.

Утром священник уехал. Его почти до станции провожала стайка плачущих женщин.

После статьи Сталина «Головокружение от успехов» в соседних селах сразу же начали возвращать обобщественных коров. Кое-где и целые семьи выписывались вовсе из колхозов — Москва позволяет! — и требовали обратно своих лошадей, свои плуги, бороны, посевное зерно.

Чередниченко разрешил вернуть коров тем, кто «сильно хочет, кто еще несознательный». Но даже не допускал мысли о выходе из колхоза.

— Перегибы?! Перекручения?! Ну, может, и были какие перегибы. Там, с Москвы, виднее. Что ж мы теперь, недогибы закручивать будем? Может, куркулей обратно повезем?

В Охочей тоже началась «волынка». Толпа женщин осадила колхозные конюшни и амбары. Они плакали, кричали, вопили, тре-

буя вернуть коров и посевное зерно. Мужики стояли поодаль, кучками, угрюмо безмолвные. Некоторые парни были с вилами, кольями, виднелись и топоры за кушаками. Перепуганный кладовщик убежал: бабы сорвали замки и уже вместе с мужиками стали вытаскивать мешки зерна.

Председатель сельсовета, секретарь ячейки, колхозные бригадиры и активисты заперлись в школе. Их не трогали. Женщины и матери беспрепятственно носили им харчи. Чередниченко и двое уполномоченных райисполкома запрягли колхозную пролетку «гитару» и укатили из деревни. По густой грязи, перемешанной с талым снегом, ехать было трудно. За ними побежали несколько парней с кольями. Чередниченко выстрелил в воздух. Парни остановились. Один крикнул:

— Давай, давай, тикай, кривой черт! И больше не вертайся! А то и другой глаз вышибем. Бандит... твою мать!

В районном центре паниковали. Прибыл конный дивизион НКВД с пулеметными тачанками. Вечером в райкоме раздался телефонный звонок. Звонил из Охочей уполномоченный ГПУ.

— Говорю из сельсовета. Слышите, какой галас? Это они тут списки шукуют. Все шкафы поразбивали. А на улице костер. Жгут все бумаги, какие нашли. Нет, меня никто не трогает. Так и хожу при форме с маузером. Они говорят, что не против Советской власти, а только против комиссаров-перегибщиков. Где там Чередниченко? На него очень злые. Ему лучше не приезжать. Все руководство в школе сидит. Нет, никто не пострадал. Я тоже там ночую. Но выхожу только один. Местные опасаются. А тут уже старосту выбрали, старичка-бедняка. Даже старая цепь нашлась с орлом на бляхе. Правда, корону сургучом залепили...

Через три дня в Охочую вступила полусотня конных милиционеров с пулеметной тачанкой. Старичка-старосту, кладовщика и еще нескольких заводил арестовали и увезли.

Созвали всех колхозников на площадь перед церковью и школой и выбрали нового председателя колхоза. О Чередниченко уже

и не вспоминали. Райком направил его в другую деревню. Новый председатель, местный активист, бывший красноармеец, говорил:

— Так что, граждане-товарищи, считайте, волынка кончилась. Вот соседи наши, в Терновой, кричали: «Терновая не сдается! Мы и без Советов проживем!» Даже городских товарищей побили. Кого, может и за дело, а кого и так, совсем ни за что. И теперь у них сколько мужиков на Сибирь погонют. А мы, граждане-товарищи, должны понимать. Советская власть, она все-таки за мужика. Были, конечно, ошибки, эти самые кружения головы и вообще перегибы. Но артель у нас теперь навсегда. Никуда от нее не денешься. Значит, надо, как у нас в Охочей с дедов-прадедов заведено: «коль пить, так пить, коль бить, так бить, а коль работать, так работать». Так что, значит, давайте работать.

О Чередниченко я больше не слышал. Если он и пережил 33-й год, то вряд ли пережил 37-й.

...Харьковское представительство «Комсомольской правды» поручило мне раздобывать поздравления к пятилетию газеты.

Я получил удостоверение на бланке редакции, действительное от... до... в течение 20 дней. И с этим единственным документом ходил в Окружком партии и в ЦК. Тогда еще и в самые высокие партийные учреждения можно было войти без пропусков.

Секретарем Харьковского горкома и окружкома был Постышев.

В приемной толпилось много посетителей. Но ждать долго не пришлось. В кабинет входили сразу по несколько человек. И никто не задерживался. Я вошел с двумя представителями какого-то завода, тащившими пухлые папки. Постышев сидел за обыкновенным канцелярским письменным столом. Худощавый, скуластый. Сероватые волосы ежиком над бледным лбом. Живые серые глаза. Вышитая украинская рубашка. Говорил сильно «окая».

— Откуда тОварищи? Так, так... Ну, тОгда давай ты. У тебя, ви-дять, делО пОкОрОче. Юбилей, гОвОришь. Уже пять лет! СкОрО гОды бегут. КОгда этО приветствие-тО нужнО? ДО завтра пОтер-пишь? Ну и хОрОшо. ПрихОди утрОм.

На следующее утро секретарь Постышева, парень в гимнастерке, дал мне большой не заклеенный конверт.

— Вот, бери, читай. Павел Петрович велел, чтоб тут же сказал, какие нужны поправки или дополнения. Я внесу и дам перепечатать. Он сегодня пораньше на заводы поехал. Скоро вернется и тогда подпишет.

Прочитав короткий текст, в котором были все положенные похвалы и пожелания, я вполне удовлетворился и не стал придумывать никаких поправок.

На лестнице я встретил Постышева, который поднимался, разговаривая с двумя спутниками. Он заметил меня:

— Ну что, прочитал? Поправляли там чего-нибудь? Значит, уже забрал? Выходит, все хорошо? Ты, может, стесняешься или боишься: проволочка будет? Не бойся! Мы все, что надо, быстро сделаем, не задержим. Считаешь, все хорошо? И в смысле размера, масштаба достаточно? Ну, тогда лады. Привет комсомолу!..

В приемной Коссиора дежурный секретарь мне не понравился. Франт в кургузом пиджачке с галстуком и в остроносых, надраенных полуботинках. Явственно «переродившийся аппаратчик».

Он сухо сказал:

— Товарищ Коссиор сейчас занят. Оставьте письменное заявление и зайдите или позвоните вечером.

Я сел к столу и написал пространное заявление. Секретарь несколько раз выходил и возвращался через боковую дверь. Закончив писать, я заметил, что его нет, вошел в ту же дверь и оказался в кабинете Коссиора. Там шло заседание. За большим письменным столом лоснилась круглая лысая голова Коссиора, вдоль длинного суконно-зеленого стола и на диване у стены сидело человек двадцать.

Бородку Скрыпника я узнал сразу. И рядом с ним густо кудрявую шевелюру и пенсне Затонского. Были и еще портретно знакомые лица. Коссиор заметил меня и спросил раздраженно:

— Это еще что такое? Что вам нужно, товарищ?

— Я от «Комсомольской правды»...

— Вы что же, не видите? Заседает Политбюро. Сейчас же выйдите. Товарищ Килерог, что там у вас — приемная или проходной двор?

Дежурный секретарь, покрасневший, зло шипя, теснил меня.

— Как вам не стыдно? Я ж вам сказал — оставьте заявление. Это недопустимо — врваться на заседание Политбюро. Никакой дисциплины.

— Так я же не знал... Я понес заявление вслед за вами.

Мне очень хотелось сказать, что я думаю о пижонах-бюрократах, перерожденцах, аппаратчиках. Прошел всего год с тех пор, как я перестал сочувствовать «левой» оппозиции. Но главной задачей было получить приветствие. И я оправдывался не только вежливо, а еще и симулируя растерянность, испуг наивного паренька-юнкора.

Он взял мое заявление, продолжая сердито распекать:

— Вы что, не понимаете, что здесь не ячейка, не пионеротряд. Здесь Центральный Комитет! Политбюро! Штаб партии! Это ж надо соображать. Ладно, ладно. Идите! Будет вам приветствие. Я доложу членам Политбюро... Позвоните завтра... Срочно, срочно? Если так срочно, приходили бы раньше. Ладно, я постараюсь выяснить сегодня... Это ж должен быть партийный документ, а не филькина грамота, раз-два и готово. Если хотите ждать, сидите там на площадке. В приемной нельзя. Вы меня уже и так подвели...

Он казался мне достойным только презрения. Его неприязненная вежливость, — он говорил мне «вы», как беспартийному, — была отвратительна. В ответ я, разумеется, тоже «выкал». И не верил никаким обещаниям: раз бюрократ — значит, волокитчик. Сказав, что буду ждать за дверью, пока не дождусь точного ответа, я вышел в большой зал, где стояли диваны, кресла, несколько столиков. Уселся поудобнее, вытащил книжку из портфеля, который таскал для солидности, и стал читать.

Вскоре я заметил девушку в белом переднике, которая несла поднос с батареей стаканов чая, горками бутербродов и пирожных. Она прошла в приемную Коссиора. Дождавшись, когда она выйдет обратно, я спросил, пойдет ли она туда еще раз.

— Так они ж все время пить хотят. Заседают. Говорят, говорят, — глотки сохнут. Ну, и поесть охота. Я за 15–20 минут еще понесу.

Она согласилась передать записку Затонскому. На листке с грифом «Комсомольской правды» я написал вдохновенный призыв к дорогову Владимиру Петровичу откликнуться на юбилей «Комсомолки», которая ведь немало помогает делу народного просвещения.

Выяснилось, что девушка в переднике, — звали ее Клава, моя ровесница, что она иногда читает «Комсомольскую правду», собирается учиться на инженера фабрики-кухни, живет с мамой; отец умер; братьев-сестер нет; она любит кино, трубочки с кремом, не любит танцевать...

Она поставила мне стакан чая с лимоном, дала бутерброд с колбасой и кремовую трубочку.

— Ничего не плати. Здесь все бесплатно едят. Только домой забирать нельзя. А тут ешь, сколько хочешь. Я еще принесу.

Через несколько минут вышел Затонский, громоздкий, рассеянный:

— Какая тут «Комсомолка» мне писала? Ах, это ты! Это ты сейчас на заседание влез? Ну и комсомольцы пошли настырные, на ходу подметки режут! Так что ж тебе нужно? Приветствие к юбилею? Добре, почекай полчасака... Ну, может, немного больше. Тут сейчас мои вопросы на повестке. Потом напишу.

Моя благодетельница принесла еще чаю, еще бутербродов. Выяснилось наше полное единодушие по ряду существенных жизненных проблем: что в кино стоит ходить только на хорошие картины, что заграничные фильмы, в общем, буза, хотя есть смешные, а у нас пока мало хороших, однако, такой великолепный фильм, как «Закройщик из Торжка», стоит дюжины макс линдеров, что народные и революционные песни лучше романсов, а танцы — пустое времяпровождение.

Она призналась, что хотела бы стать киноартисткой, но учительница в школе объяснила, что для этого нужно иметь очень большой талант, и для девушек это вообще опасно. К артисткам все

пристают, особенно начальство. И для здоровья вредно все время ходить перемазанной, перепудренной и пускать в глаза какие-то капли, чтобы зрачки побольше.

Затонский вынес мне два листка из блокнота с грифом «Народный комиссар просвещения», густо исписанные карандашом. Это было дружеское приветствие боевой газете комсомола, пожелание еще активнее, еще интереснее, еще живее бороться, освещать, мобилизовать и т.д. и т.п.

Он стоял надо мной, пока я читал.

— Нукак? Добре? Дачего там «спасибо, спасибо». Я «Комсомолку» читаю. Хорошая газета. Так и написал... Ну, бывай здоров.

Выходил и фронт-секретарь по своим делам.

— А, вы все еще сидите? Так вам срочно приспичило?

Но потом он вышел уже прямо ко мне.

— Приветствие вам есть от Политбюро. Завтра с утра я дам на машинку перепечатать и на подпись. Приходите часам к одиннадцати.

О встрече с Постышевым, о том, как выгодно отличалась вся обстановка в его приемной и в кабинете от «нарядного бюрократизма» ЦК, я потом часто рассказывал друзьям и приятелям.

Летом 1930 года меня назначили редактором радиогазеты на Харьковском паровозном заводе им. Коминтерна — там недавно был создан радиоузел. Начальником и одновременно инженером, техником и мастером был Сергей Иванович, пожилой радиолюбитель. Он самоучкой освоил радиотехнику и с помощью двух молодых учеников, таких же энтузиастов, оборудовал радиостанцию в небольшом флигеле у завкома, установил радиоточки во всех цехах, в столовой, во дворах и в некоторых жилых домах заводского поселка.

Сергей Иванович жил на радиостанции. А домой ходил только иногда пообедать и переночевать.

— Моя старуха не обижается. Привычная уже. Знает ведь, что не с девками прохлаждаюсь. А тут, на узле, нужен постоянный хозяйский глаз. Тут и украсть и испортить легче легкого. Радио —

тонкое дело. И техническое, и политическое. Умная баба к технике не ревнует. А с дурой я бы жить не стал.

Радиовещательной студией служила тесная каморка, плотно завешанная холстами и мешковиной. Сначала я просто читал заметки из многотиражки «Харьковский паровозник». Но вскоре обзавелся собственными рабкорами, ходил по цехам, узнавал, кто лучшие производственники, кто прогульщики и бракоделы, как выполняются дневные и недельные планы.

Моими наставниками и помощниками были старые приятели «Порывцы» — Ваня Калянник и Ваня Шутов, которые стали штатными сотрудниками заводской газеты. Именно они и перетянули меня из депо на завод.

Сергей Иванович очень благосклонно относился к «своей» газете. Она явственно подтверждала полезность, важность его любимой радиотехники. К тому же все мы помогали ему выцыганивать в дирекции, в завкоме деньги на новые детали, новое оборудование и специальную литературу. Раньше он вкладывал в это немалую часть своей зарплаты. Впрочем, и позднее не скупился.

— Моя старуха не обижается. Говорю же вам, что умная баба. Понимает, что это лучше, чем на водку тратиться. И для здоровья полезнее.

В первые дни я исправно показывал в завкоме все, что собирался передавать. Я приходил в узенький кабинет культсектора, который осаждали цеховые культработники, представители подшефных школ, пионеротрядов, красных уголков, библиотек, гости из вышестоящих профсоюзных организаций, агенты по распространению газет и журналов, энтузиасты-затейники из клубов, театров, живых газет, организаторы культпоходов и просто жалобщики, врывающиеся в каждую дверь завкома, взывая о помощи, требуя управы на мастера, нормировщика, бухгалтера, коменданта общежития.

Стараясь перекричать всех, я проталкивался к столу завкульта.

— Товарищи, пропустите! Срочно! Через полчаса радиогазета выйдет в эфир. Радио вне всякой очереди! Аллюр — три креста. Товарищи, будьте сознательны.

Завкультсектором, замороженный, рассеянный, перелистывал папку, которую я клал перед ним. Сергей Иванович научил меня печатать каждую заметку на отдельном листе, чтобы не путать при передаче. И папка очередного выпуска радиогазеты была толстой. Завкульт поначалу спрашивал, давал «руководящие указания»:

— Мало у тебя про сборку... Нужно больше фамилий называть лучших ударников.

Но недели через две он сказал:

— Хватит тебе бегать согласовывать. Не маленький: уже сам с усам. Освоился? Справляешься? Ну и принимай ответственность, как положено ответственному редактору. И отчитываться приходи раз в неделю или раз в декаду.

Так моя газета стала выходить без всякой предварительной проверки.

Наш «Радиопаровозник» хвалили в парткоме; даже несколько раз поставили в пример заводской газете, которую редактировал писатель Иван Кулик. Его назначил горком партии то ли после взыскания за идеологические промахи, то ли потому, что он начал писать роман из рабочей жизни. Кулик был интеллигентен, серьезен и деликатен. Он тщательно правил статьи и рабкоровские заметки, заботился о языке и стиле. Делал он это по-моему слишком литературно, с поэтично-романтическими узорами. Таким, как я, полуграмотным, напористым газетчиком, истово увлеченным именно сегодняшним, сейчасным, даже сиюминутным «боевым» делом, он казался кабинетным писателем, далеким от масс, от завода.

Когда в парткоме его упрекали, что «Радиопаровозник» оперативнее печатного, он спокойно возражал, что так и должно быть. По радио вещают три раза в день, а газета выходит только три раза в неделю. Кулик неизменно покровительствовал мне, охотно давал советы; ему нравилось, что я серьезно заботился о стилистике и фонетике украинской речи в наших передачах.

Секретарь редакции Юлий Митус тоже помогал, даже отдавал излишки своего «портфеля», но при этом не забывал строго поучать:

— Ты, дорогой радиовещатель, кажется начинаешь думать, что твоя газета есть главная газета на заводе. Пожалуйста, не забывай: радио должен быть вспомогательный сила для партийная печать. А то может получиться ненужный параллелизм. Даже вредная партизанщина...

Митус, бывший латышский стрелок, долго работал в армейских газетах. Он еще донашивал старую гимнастерку и сапоги. И навсегда сохранил военные нравы: был пунктуален, педантично опрятен, непоколебимо убежден: «дисциплинка прежде всего, нужна везде», и ревниво заботился о чести своего подразделения. Он никогда не старался выделиться, командовать напоказ, никогда не кричал, не суетился. Но именно он руководил газетой, был всегда на месте — Кулик часто отлучался по литературным делам, — Митус «собирал» каждый номер, составлял макет, отвозил в городскую типографию, был хорошим метранпажем. Он же «проталкивал» газету в машину, оттесняя соперников с других заводов. И часто сам привозил тираж и следил, чтобы газеты не залеживались у почтовиков.

Мы ничего не знали о его семье, о личной жизни. Он приходил в редакцию раньше всех; когда мы там ночевали, он будил нас на рассвете. После двух-трех бессонных суток, как бывало в пору штурмов, он, в отличие от всех, был опрятен, чисто брит, ни пылинки на сапогах, ни морщинки на гимнастерке. Только веки припухали и розовели под редкими светло-русыми ресничками.

Он, в отличие от Кулика, ревновал к успехам «Радиопаровозника», но все же относился ко мне хорошо и только хотел подчинить своей главной редакции.

— Как сказал Владимир Ильич — газета должна быть коллективный организатор. У нас один завод, одна партийная организация, одна профсоюзная, одна комсомольская... Зачем две газеты, два коллективных организатора? Незачем. Ты хороший массовик. Хорошо организуешь рабкоров. Значит, ты должен работать с нашей редакцией. А не отдельно. Это в буржуазных странах, где разные партии, там разные газеты. Но ты же — не другой партии.

Даже в самых сокровенных мыслях я отождествлял себя с той партией, в которой формально еще не состоял. И готов был подчиниться самой суровой дисциплине, самой взыскательной цензуре. Хотя без этого, вероятно, работал бы много лучше и с большей пользой для той же партии.

Слепая готовность к самоотречению, к безоговорочному послушанию, отказ от всех искушений свободы впоследствии привел меня к мучительным схваткам с совестью, к трудным борениям с самим собой.

Покорность всеохватному партийнодержавию не только оскопляла мысли и души верноподданных партийцев, но, в конечном счете, вела к исчезновению самой партии. Остатки ее живых сил были разгромлены уже к 1938–1939 гг. Основы ее идеологии разрушались на протяжении всех последующих лет.

Когда в годы войны вступали в партию мои друзья, товарищи и я, для нас это было эмоциональным, патриотическим порывом. И менее всего *партийным*, идейным выбором. Почти никто не думал уже о программе, об идеалах, о принципах марксизма. И нас не потрясло, не огорчало, что вместо «Интернационала» зазвучал новый державный гимн — бездарное подражание церковным хоралям, а девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был заменен заклинанием «Смерть немецким оккупантам!» Коминтерн, КИМ, МОПР распустили так же легко и просто, как до этого ликвидировали общество бывших политкаторжан, Союз эсперантистов, республику немцев Поволжья...

Пропась между названиями и сущностью, между словами и делами становилась все шире и глубже.

Сегодняшняя КПСС в отличие от РСДРП/б/ и РКП/б/ уже не партия и даже не идеологическая в обычном смысле этого понятия организация, а мощное административное учреждение, так сказать церковнообразное и полицейское. Оно становится все более массовым, громоздким, иногда почти аморфным, но остается достаточно централизованным и мобильным. Через него действуют главные силы, управляющие всей страной. Но в нем уже почти не найти

и следа тех наивных, революционных мечтаний, тех самозабвенных, искренних — часто убийственных и нередко самоубийственных — порывов, которые будоражили нашу молодость.

Митус убедил меня, что радиогазета должна слиться с главной редакцией. Это требовалось еще и потому, что я не был даже кандидатом комсомола и не мог оставаться ответственным редактором.

Я подал заявление в комсомол. Но заводской комитет ВЛКСМ сослался на то, что не прошло и года с тех пор, как мною «были допущены грубые политические ошибки, вплоть до участия в троцкистском подполье», и постановил, что я должен идти к станку, «повариться в рабочем котле» и вступать в комсомол через цеховую ячейку. Направили меня в ремонтный цех. Работал я сначала слесарем, потом токарем. В те дни, когда работал в первую смену, вечер был посвящен редакции, когда переходил во вторую смену, то ночевал в редакции, а потом с утра и до начала смены занимался газетными делами.

Мне поручили заведывать массовым отделом — я должен был вербовать рабкоров, помогать редакциям цеховых стенных газет, устраивать «рабкоровские рейды» для проверки «узких мест», т. е. участков производства, которые не выполняли плана.

Наш паровозный завод производил не только паровозы, но и тяжелые гусеничные тракторы «Коммунар», дизели и быстроходные танки БТ. Часть тракторов поставляли в армию для артиллерии, а часть дизелей — во флот для подводных лодок. Все это считалось тайной: некоторые детали даже в стенных газетах нельзя было называть собственными именами, а только нумеровать.

Мы верили, что наш «БТ» лучший в мире танк. Мы радостно слушали рассказы о том, как на параде в Москве три первых стремительных БТ восхитили вождей на мавзолее и напугали иностранных военных атташе. «Коммунар» был наилучшим из всех тракторов планеты. Он таскал штабеля экспортного леса в далекой северной тайге и самые тяжелые пушки. И наш дизель, который производили по немецкой лицензии, был непревзойденным.

В начале тридцатого года на ХПЗ числилось восемь тысяч рабочих, а три года спустя — уже 35 тысяч. Большинство пришло из деревень. Многие еще продолжали жить в пригородных селах. Их называли «поездники».

Баку, апрель 1977

Лучшим нашим рабкором был слесарь из паровозосборочного Илья Фрид. Тридцатипятилетний, он нам, девятнадцатилетним, казался пожилым. Говорил негромко, часто насмешливо, иронично, но добродушно, и держался просто, не «давил на авторитет», хотя в партию он вступил еще гимназистом в 1918 году в подполье в Полтаве при немцах. Был красноармейцем, политработником. В двадцатые годы работал в Одессе председателем завкома табачной фабрики. В 1928 году его исключили из партии за то, что он в 1927 году голосовал за оппозиционную платформу. Он сохранил резолюцию партийного собрания фабрики. В ней перечислялись боевые и производственные заслуги, а в конце говорилось, что тов. Фрид «честный, принципиальный коммунист, отзывчивый товарищ, отличается искренностью, правдивостью, однако собрание считает нужным исключить его из рядов КП/б/У, поскольку он отказался достаточно решительно осудить допущенную им ранее грубую политическую ошибку. Хоть он и не вел оппозиционной деятельности и выполнял решения XV-го партийного съезда, но, отказавшись правильно оценить антипартийный, антисоветский характер оппозиции, не может находиться в рядах партии».

Из Одессы он уехал в Сибирь, стал рабочим. Ежегодно по несколько раз писал в ЦК, прося восстановить, так как безоговорочно поддерживает решения всех партийных съездов и пленумов ЦК и осуждает все виды оппозиций. Но каждый раз местная партийная организация, которой ЦК поручал рассмотреть его дело, отказывалась вернуть ему партийный билет, так как он «недостаточно разоружился», «недостаточно искренен».

Фрид был убежден, что напоминать о значении Троцкого в революции и гражданской войне, напоминать, что Ленин называл Бухарина «любимцем партии», — политически бестактно. Об этом следует молчать. Но утверждать, что они всегда были врагами Ленина и врагами Октября, — значит лгать, исказить историю.

Из-за этой упрямой правдивости его и не восстанавливали в партии, а он не хотел, не мог уступить.

Жена разошлась с ним сразу же после того, как его исключили, и запрещала детям с ним переписываться.

— Ну что ж, она права. Я сам ее такой воспитывал. Была тихая гимназисточка, дочь врача. Словом, буржуазная интеллигенция. А я ее в комсомол вовлек. При немцах она была связной подпольного ревкома. В Одессе стала инструктором по женработе, а теперь в Полтаве в райкоме партии отделом заворачивает. Мы с ней с самого начала так привыкли, чтоб никакой брехни — ни столечки, ни полстолечки. Ни в личных делах, ни в неличных. Она сказала партии, что порвала со мной, значит, так и должно быть. А про их житуху я узнаю от моего брата. Старшая дочка уже в третью группу перешла. Когда восстановлюсь, напишу им.

В Сибири Илья выполнял задания ГПУ, наблюдал за высланными членами группы Сырцова-Ломинадзе; но он к ним никогда не подделывался, не притворялся ни единомышленником, ни сочувствующим; напротив, спорил, защищал «генеральную линию».

— Они ведь все-таки товарищи. А большевик товарищам лгать не может. Про контакты с чекистами я им, разумеется, не докладывал, задание было конспиративное. Но провоцировать, придуриваться, притворяться можно только с врагом. Когда меня немцы и «серожупанные» гетмановские жандармы поймали, так я как в театре старался: дурак дурачком, гимназистик, читатель Майн-Рида.

Фрид познакомил меня с начальником заводского ГПУ Александровым, который постоянно бывал на заседаниях парткома, на цеховых собраниях, заходил и в редакцию. Он, как и большинство ответработников, носил защитную гимнастерку без петлиц и знаков различия, хотя все говорили, что у него два ромба — заслужен-

ный чекист. На собраниях он сидел молча, изредка что-то записывал. А в редакции или у себя в кабинете, куда иногда приглашал нас и поодиночке и группами, расспрашивал или советовал деловито, без командирского тона.

— Вот твоя заметка «Головотяпство или вредительство» чересчур, брат, зубастая. Не разобрались вы, ребята. Мастер там еще и месяца нет, как назначен. А вы сразу — шарах! «Головотяп-вредитель»! Надо бы теперь подбодрить как-то. А вот насчет брака в литейном — дело посерьезнее. Тут приглядеться нужно. Кто там рабкоры? Надежные? Раковины в хромоникелевом литье могут быть и не случайные. Может там кто-то что-то колдует в составе или в формовке или в режиме литья. Но только вы не спешите пока писать и горланить. Тут нужно по-умному, по-хитрому. Чтоб узнать все подробности. Нужно с кем следует поговорить запросто, по душам. С ИТР у вас связи есть?.. Жаль. А кто из ваших активистов в сварочном в прошлую смену работал? В ту ночь очень уж много браку наварили. Надо бы пошуровать. Вот видите, я вам сигнализирую, как настоящий рабкор. Так уж и вы старайтесь мне помогать. Каждый коммунист, каждый комсомолец должен быть чекистом. Тем более тут, у нас. Не булки печем, даже не сеялки-веялки мастерим.

Однажды Александров вызвал нас с Фридом вдвоем для секретного разговора. Предстояли выборы в горсовет. Мы должны были изучить подрывную деятельность идеологических противников в цехах, нет ли где троцкистской пропаганды, а главное — продумать, как можно провалить на выборах самого опасного заводского бузотера Федю Терентьева.

Он был бригадиром слесарей на сборке дизелей. Сам Федя — мастер сверхвысшего класса — и все его бригадники работали безупречно, с ювелирной точностью. Но он не принимал в бригаду ни членов партии, ни комсомольцев.

— У себя в пролете я сам хочу быть хозяином. Спрашиваете план — я даю план. Не менее ста двадцати процентов. А браку — ноль и хрен десятых. Ну, а те, которые партийные и боевая комсо-

молия, не дадут мне хозяйничать по-моему. Пусть они там командуют, где тары-бары-растбары: за высокую идейность, за соцсоревнование. Пускай со мной соревнуются. Я секретов не держу. Ходи, кто хочешь, смотри, как работаем. Только не мешай разговорами.

В Фединой бригаде были и пожилые кадровые паровозники, и молодые парни. Но все слушались его беспрекословно. На цеховых собраниях терентьевцы всегда сидели кучкой. Во время голосований, если Федя гребенкой расчесывал правый ус, вся бригада голосовала «за», если левый, то против: если же не вынимал расчески — воздерживалась. Когда он не считал нужным идти на собрание, то бригадники после столовой возвращались на рабочие места. Курили. Играли в «козла».

В 1930–1931 гг. на заводе часто бывали Петровский, Скрыпник, Коссиор, Якир, Любченко. После работы и в обеденные перерывы созывались митинги. Знатный гость, случалось, спрашивал: «А Федя Терентьев здесь?» И тогда из толпы на заводской площади или из задних рядов в большой заводской столовой звучал уверенный голос: «Здесь, здесь, Григорий Иванович, и вопросы у меня к тебе есть...»

Пробегал веселый шумок.

Федя и внешне был приметен. Тогда ему было, должно быть, около сорока лет. Он уже начал лысеть по темени и со лба, но держался молодцевато: густые черные усы с подкрученными кончиками четко выделялись на бледно-смуглом, нервном лице. До 1917 года он был матросом и сохранял моряцкие повадки: летом и зимой ходил с открытой нараспашку грудью. В холода только накидывал поверх темной засаленной блузы тоже темный засаленный бушлат. И всегда носил черную шляпу — усеченный конус с короткими полями, засаленную до блеска. «Когда совсем жрать нечего будет, я с этой шляпы суп варить стану, она у меня с 1910 года, еще старорежимные жиры держит».

Федю называли «всесоюзным бузотером». Рассказывали, что в 1924-м или 1925-м году он, будучи делегатом Всесоюзного съезда Советов, произнес такую речь, что иностранные газеты писали

о ней, как о «стихийной рабочей оппозиции», а Калинин назвал его демагогом.

С тех пор он больше не попадал ни на всесоюзные, ни на всеукраинские съезды, но в Харьковский городской совет его неизменно выбирали. Голосовали тогда открыто. И за него поднималось множество рук. Голосовали и те, кто раньше спорили с ним.

— Пусть он когда и переберет, но зато правду режет, не глядя... Лучше тех, кто молчит в тряпочку, слова сказать не умеет или хитрит, бережется — «моя хата с краю»...

Федя приходил на самые разные собрания открытые партийные и комсомольские, на все производственные совещания и на лекции о международном положении. Иногда являлся уж под конец, но сразу же поднимал руку:

— А ну-ка, дай мне сказать...

Случалось, неопытный председатель возражал — «список выступающих уже закрыт» или «запишитесь, предоставим в порядке очередности». Тотчас же поднимался гомон: «Дай Феде слово... Пусть говорит в порядке ведения... Не затирай нашего Федю... Слово Терентьеву... Дай сказать рабочему человеку...»

И он говорил с трибуны или прямо из рядов, с места. Говорил звонким, сильным голосом, уверенно, без запинок.

— Вот тут, значит, докладчик лекцию давил. Я слышу, народ говорит — содержательный был доклад за международное положение и мировой кризис... Очень хорошо. Борьба с борьбой борьбуется. Пролетариат гибнет. Капитализм наступает... Повышай процент выполнения, понижай процент брака! Мы наш, мы новый мир построим... Только, дорогие товарищи, я вам скажу еще кое-чего. Вот сегодня моя баба встала в четыре утра, чтоб поспеть в очередь за селедкой и за крупой. Мне на работу, а баба в очереди. Я пустой кипяток похлебал, цыбулю сгрыз, побоялся хлеба много отрезать — ведь и пацанам есть надо. У меня их трое. И они ж еще несознательные, еще несогласные голодать за промфинплан и мировую революцию... А в обед пошел я к нам в столовую. Не знаю, что дорогой товарищ директор и дорогой товарищ секретарь парткома сегодня

в обед кушали — я их в нашей столовке-харчевне чтой-то давно не видал. У них там столовая ИТР — бульоны, борщи, бифштексы и компот на сахаре. А у нас борщ такой, что не поймешь, чи он с котла, чи с помойного ведра насыпанный. А на второе каша на таком жиру, что я бы лучше от хорошего станка смазку принес. Биточки называются мясные. Но, кто еще не забыл, какое мясо бывает, не поверит! А те биточки и не разберешь-поймешь — чи то кролик, чи то кошка, чи, может, шорник старый ремень уварил... А с нас требуют: «встречный план... ударное выполнение... повышай нормы... снижай расценки...» Так где ж тут диктатура пролетариата и защита рабочего класса?

Речи Феде сопровождалась хохотом, одобрительными возгласами: «Так их, Федя! Правильно! Крой, Федя, начальство, бога нет, попы тикают!.. Во дает, моряцкая душа!» Раздавались и враждебные реплики: «Бузотер!.. Демагог... Ты чего провокацию наводишь?»

Изучать его «подрывную» идеологию было нечего. Да и сам Александров знал о нем достаточно. Он расспрашивал больше о том, как относятся к Терентьеву рабочие, кто с ним дружит, кто враждует. И очень обрадовался, когда Илья придумал способ провалить Федю на выборах. Мы подучили наиболее опытных активистов-рабкоров предложить его кандидатуру в общезаводскую избирательную комиссию. На цеховом собрании за него проголосовали все, а в комиссии выбрали заместителем председателя. Но когда стали выдвигать кандидатов в горсовет и Федю назвали в числе первых, то в заводской газете появился фельетон «Бузотер сам себя избирает» и карикатура — усатый, носатый Федя подтягивает себя на блоке с надписью «Избирательная комиссия» к вышке «Горсовет».

Уходить из комиссии ему было поздно и на выборных собраниях ему давали обоснованный, «законный» отвод... Так в 1931 году, впервые после 1920 года, Федя перестал быть членом Горсовета.

В тот день он пришел к нам в редакцию хмурый; но казался не столько сердитым, сколько удивленным, и говорил даже с известным оттенком уважения:

— Так это, значит, вы, рабкоры-писаря, меня облапошили? Здорово вы, сукины коты, провалили Федю в горсовет... Все теперь! Не могу уже, значит, помочь рабочему человеку переехать в квартиру из барака или подвала. Не могу спасти от мильтонов наших паровозников, если кто выпьет лишнего. И сам не могу уже больше бесплатно в трамваях ездить. Выперли из горсовета последнего настоящего представителя рабочего класса. Теперь останутся одни товарищи начальники и товарищи молчалники. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Поднимай все руки сразу. Принято единогласно...

В июне 1935 года, незадолго до отъезда из Харькова, я встретил Федю на улице. И не сразу узнал. Он был в старом, но опрятном кургузом пиджачке; осунулся, поседел, смотрел тоскливо, сумрачно.

— Выперли меня. Совсем выперли. Из цеха и с завода. В порядке бдительности. Все! Накрылась лучшая бригада завода. Почти все мои разбежались: не хотят с новым бригадиром. И теперь план горит ясным огнем. Флоту нужны дизеля. А тут нужна бдительность. От кого, спрашивается, бдительность? От Терентьевых. Моего брата Гришку тоже поперли. Помнишь его, он в сварочном мастером был. И сестру из табельщиц наладили. Теперь даже ейного мужа тягают. Он в медницкой; партийный. Хорошо, наш батька не дожил. Гордый старик был. Всегда хвалился: мы, Терентьевы, — династия. Паровозная династия Дед начинал, когда еще не завод, а заводик был, паровозным» мастерскими назывался. А теперь против нас бдительность, как против шпионов. Я сейчас в обком ходил. Там ведь главная власть. В профсоюзе, в совете все напуганы, под себя серут. А в обкоме какой-то чин в хромовых сапожках объясняет: «Ехай в Сибирь на новые заводы, показывать, доказывать, оправдываться...» Я спрашиваю: «Что доказывать? Я с четырнадцати годов, с тысяча девятьсот шестого слесарю, я в пятом год пацаном баррикады строил. Я еще с рогаткой в классовой борьбе боролся. И всю жизнь на одном заводе. Отлучался, когда призывали в германскую. Морячил в Севастополе, ну и в гражданскую, конечно, воевал. В нашей же Петинской Красной гвардии, в роте у Саши Гувеского. Сколько

меня людей знают, любого спросите. И на заводе, и в районе. Чего ж мне надо в Сибирь доказывать?..» Слышь, что это получается? Может, где вредители землю роют? Тебя, говоришь, тоже выперли? А теперь восстанавливают? Значит, и здесь можно доказать?..

Федин быстрый говорок, Федины задиристые интонации. Федины прославленные усы, хоть и с проседью. Он и не он. Поникший, растерянный. И во взгляде темная безнадежность.

Годы спустя в Москву доходили противоречивые слухи: Феде дали десять лет без права переписки. Федя уехал в Челябинск и там процветает. Федя в лагере, начальником мастерской. Федя спился и повесился...

Мы провалили Федю и нас похвалили в парткоме завода. Секретарь сказал, что редакция «Харьковский паровозник» хорошо организовала рабкоров на борьбу против последователей троцкизма и троцкистской контрабанды.

Это понятие стало расхожим после открытого письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция».

Мы тогда не поняли, что именно это письмо было сигналом нового решительного поворота во всей нашей жизни. Не сразу это ощутили. Сталин ведь и раньше, бывало, резко высказывался по разным поводам — о правом уклоне, о хозрасчете, о единоначалии.

В 1930 году пьесу Безыменского «Выстрел» в газетах ругали за идеологические ошибки. В этой пьесе раздавался призыв: «Власть у нас, власть у нас, на борьбу не жди мандатов, поднимайте ярость масс на проклятых бюрократов!» И кто-то уже успел обозвать ее троцкистской. Но Сталин ее похвалил. И мы с Фридом толковали: значит, Сталин тоже против бюрократизма, и нечего было децистам и троцкистам изображать его вождем бюрократов. И знаменательно, что одобрил он именно Безыменского, который раньше был открытым приверженцем Троцкого, посвятил ему свою поэму «Комсомолия», назвал сына Львом. Значит, Сталин справедлив, объективен, а все разговоры о его подозрительности, злопамятности — брехня, сплетни врагов.

Однако в письме 1931 года он призывал бороться уже не только против откровенного троцкизма, но прежде всего против «контрабанды». Нам объясняли: теперь уже ни троцкисты и никакие другие раскольники не решаются выступать открыто против победоносной генеральной линии, против ЦК. Они стали действовать «тихой сапой», потаенно распространяют слухи, шепотом возбуждают сомнения. Они кричат о своей преданности партии и Советской власти, притворяются энтузиастами, но при этом стараются дискредитировать вождей, подорвать доверие к промфинпланам, к партийным установкам...

И мы убеждались, что необходимо стать бдительнее, необходимо приглядываться, прислушиваться, приноживаться к любому, кто может быть заподозрен в подобных намерениях, и особенно взыскательно проверять публичные выступления, каждое печатное слово.

Так, едва приметно для самих себя, мы ускоренно готовились — идеологически, психологически и морально готовились к новому режиму цензуры, все более жесткой и придирчивой. И становились добровольными цензорами для своих товарищей, для самих себя.

Одни были послушны без размышлений.

— Раз дана такая установка, наше дело «руки по швам», «есть», выполняй! Там, наверху, товарищи поумней нас. Думали не шутя. Значит, даешь революционную бдительность! А эту вот статейку (книжку, пьеску, картинку, стишок) мы лучше похерим. Что-то тут не того, вроде как чуждым духом, контрабандой пахнет...

Другие расчетливо старались быть самыми ревностными, заботились о своей карьере, о благосклонности начальства.

— Сказано — бдительность? Так это всех касается. За меня никто другой бдить не будет. А тут что же получается? Под видом критики-самокритики тень на ясный день наводят. Партия дает установку на достижения, на боевой энтузиазм. А у тебя что? Сплошные неполадки, паникерство, маловерие! Это и есть оппортунизм... Ну и пускай факты. Пускай правда. Но это не наша правда, если от нее только подрыв главного звена. Это уже злостная контрабанда. Еще

надо проверить, кто тебе эту правду нашептал. Ну и пусть даже открыто говорил, это тоже способ маскировки, самая хитроумная тихая сапа... А эти исторические воспоминания еще зачем? Маевки, забастовки, баррикады? Чего вдруг надумали привлекать внимание на такие моменты? Конечно, юбилеи там, героическое прошлое, старые кадровки — это все хорошо. Но только в меру. А то ведь знаешь, в годы проклятого прошлого и эсеры, и меньшевики, и бухаринцы, и троцкисты — ох, как активничали. Ловили рыбку в мутной воде. Чего ж это вдруг так приспичило вспоминать за 1905 год, за февральскую революцию? Если нужно будет, так найдутся где надо авторитетные товарищи, которые вспомнят, что надо и как надо...

Но были среди нас и неподдельно убежденные, бескорыстные ревнители «чистой» идеологии. И они тоже пристрастно вслушивались, вчитывались, а не кроется ли в словах этого краснобая или того скромно-смирненного автора какая-то вредная тлетворная мышишка, дурной намек, провокационная недомолвка...

Таким был Илья Фрид, таким и я старался быть...

Все это я записывал, пробираясь сквозь чащу давних и недавних воспоминаний, часто тягостных, иногда постыдных. Нелегко, мучительно смотреть сквозь них на былых друзей и наставников, на самого себя — тогдашнего. Нелегко восстанавливать и еще труднее объяснять сколько-нибудь беспристрастно (возможно менее пристрастно) наши тогдашние мысли, чувства, восприятие людей и событий.

Но я не могу согласиться с теми историками и беллетристами, для которых наше тогдашнее общество — это жалкое человеческое крошево, бездуховное, «богооставленное», а все тогдашние комсомольцы, партийцы и вообще деятельные участники развития страны — трусливые, своекорыстные обыватели, тупые или фанатизированные глупцы-невежды, либо циничные, бессовестные негодяи, карьеристы, властолюбивые изуверы, злокозненные инородцы, ненавидевшие Россию, и просто «слуги антихриста».

Рассказывая сегодня о том, *что* и *как* помню, я убежден, что новый исторический и нравственный опыт не должен задним чис-

лом видоизменять ни события, ни людей, ни мое тогдашнее к ним отношение. Не хочу никого и ничего оправдывать, но не хочу и обвинять безапелляционно.

Нет, мои современники-соотечественники были и разнообразнее и сложнее, чем их представляют любые идеологические схемы и «правые», и «левые», и «усредненные».

А я только свидетельствую. Насколько могу нелицеприятно и правдиво.

Илья долго не хотел идти на штатную работу в редакцию. Его уговаривали в парткоме, он упирался, доказывая, что должен оставаться в цеху рядовым станочником, пока не восстановится в партии. Наконец, секретарь парткома вызвал его на бюро и там предложил уже официально, «под протокол».

— Ты это брось, дорогой товарищ. Ты в партии сколько был? С 18-го по 28-й. Значит, не маленький, сам должен понимать, где тебя можно лучше проверить. Нет, брат, не у станка, будь ты хоть разударник пятилетки. Мы все уважаем ударный труд. Но ведь тебя из партии за что исключили? Не за брак на производстве, не за прогулы. А за идейные, политические ошибки. Значит, оправдать себя ты можешь только на идеологической политической работе... Что значит — одно другому не мешает? Мы уже знаем твою работу как рабкора. Хорошо работаешь. И на выборах показал себя по-боевому. Вот тебе и доверяем ответственный участок. Твои партийные документы на восстановление направлены в Москву, в ЦКК. А мы пока тебя принимаем на общих основаниях в кандидаты... Но, учитывая все, что мы о тебе знаем, партком направляет тебя на укрепление, понимаешь, партийное укрепление, — заводской ежедневной газеты. Это ты учитываешь? Уже не многотиражка, а ежедневная боевая газета, по своему политическому значению крупнее любой районной. Для тебя это и боевое, почетное партийное задание и проверка... Ты ведь сам говорил: быть честным перед партией, чтоб ни на единое слово, ни на полслова не сбрехать, не умолчать. Так вот и скажи честно, по-партийному, где от тебя пользы больше, где тебя

лучше проверить можно, идейную твою позицию и политическую линию, — в цеху или в газете?

На это возражать было нечего. Илья стал заведывать партийным и производственным отделами редакции. Он был и старше всех нас, и опытнее, и умнее.

Тогдашний редактор Сева Менахин, один из первых украинских комсомольцев, ЧОНовец, потом партийный работник, одно время был членом ЦК ЛКСМУ, за что-то схлопотал выговор, и его направили к нам на завод «исправляться». Он был энергичен, хитер, честолюбив и напорист.

— У меня еще комсомольская задорность не выветрилась. Но добавилось партийной хватки.

При нем наша четырехполосная, малоформатная многотиражка, выходившая три раза в неделю в 1000–1200 экземплярах, превратилась в ежедневную шестиполосную газету. А тираж за один год вырос до десяти тысяч. Он доставал бумагу сверх всяких фондов, и, наконец, через ЦК добился того, что на заводе была создана своя типография. Там вначале печатали только цеховые газеты-листовки, различные бланки, ведомости, а позднее стали печатать и заводскую газету.

Производство танков считалось особо секретным. И для рабочих танкового отдела Т2 стали издавать газету-листовку «Удар». Она выходила иногда больше десяти раз в день. Каждый выпуск предназначался для отдельного цеха или пролета (чтобы описываемые в нем события не стали известны в других местах). Так соблюдалась секретность. И в то же время наши сообщения не отставали от событий больше, чем на два–три часа.

Редактором «Удара» с начала 32-го года назначили меня. Заодно поручили редактировать еще и многотиражку «Будивнык ХПЗ», которую мы выпускали трижды в неделю для рабочих, строивших новые секретные цеха.

Почти треть строителей составляли заключенные, жившие в бараках за дощатым забором позади завода. Одним из прорабов был инженер, осужденный на 10 лет за убийство жены, другим —

троцкист, осужденный на 3 года. Среди рабочих и техников были воры, убийцы, растратчики. Охраняли их вахтеры в таких же темных формах, какие я видел в ДОПРе и самоохранники — тоже заключенные, обычно бывшие красноармейцы или милиционеры. Со всеми заключенными редакция общалась беспрепятственно. И в газете-листочке мы славили поименно ударников-строителей, которые «самоотверженным трудом искупают свои вины». Несколько осторожнее писали мы о строителях «трудармейцах». В «трудовых батальонах» отбывали воинскую повинность сыновья лишенцев, то есть кулаков, нэпманов, «служителей религиозных культов», а также толстовцы и сектанты. У них тоже были свои культуполномоченные, красный уголок, ударники и несколько наших рабкоров. Но все же они считались «классово чуждыми». Прежде чем похвалить кого-нибудь из них за хорошую работу, я обязательно «запрашивал» замполита батальона.

...Как мы могли верить в справедливость тогдашних судебных процессов, в то, что существовали вредители?

В 1928 году я был влюблен в Женю М., дочь инженера-«шахтинца», одного из главных подсудимых. Женя и ее мать говорили, что он не совершал тех преступлений, которые ему приписывали другие обвиняемые — его коллеги. Правда, он был против Советской власти, однако работал всегда лойяльно и только не хотел доносить на тех, кто действительно устроили заговор и пытались его втянуть. Но после ареста он рассказал правду, и за это настоящие вредители стали его оговаривать. Отцу Жени расстрел заменили десятью годами. Он писал домой длинные, поэтичные письма о природе и книгах, уверял, что здоров и занят интересной работой по специальности. Самый старший из «шахтинцев», инженер Рабинович, в последнем слове сказал: «Я всегда был вашим врагом и останусь им, даже если вы меня пощадите». А его приговорили к восьми годам. Бухарин в той беседе с Каменевым, запись которой опубликовали оппозиционеры (сентябрь 1928 года), говорил, что Политбюро только благодаря ему, Томскому и Рыкову постановило расстрелять главных шахтинцев, а Сталин «не хотел расстрелов». Это сообще-

ние Бухарина мы восприняли как свидетельство «примиренческого» отношения Сталина к вредителям. Но через год-два оно уже служило доказательством его великодушия. Значительно позднее я стал понимать, что этой игрой он просто хотел связать всех членов Политбюро кровавой поручкой соучастия в новом терроре.

Когда весной 1930 года шел процесс СВУ («Спилка Вызволения Украины») ²⁹ то билеты-пропуска рассылали по заводам и учреждениям, раздавали активу и просто желающим. Суд заседал утром и днем в Оперном театре. (Вечером там ставились оперы и балеты.) Билеты для комсомольцев распределял мой друг Коля Мельников, конструктор и член заводского комитета комсомола ХПЗ, вдумчивый, безоговорочно строгий правдолюбец.

— Кто хоть раз соврет — для меня конченный человек. Доверие, как девичья невинность, — теряют раз и навсегда.

Потомственный инженер, он считал, что непролетарское происхождение и непролетарская трудовая деятельность обязывают его работать особенно много, с полной отдачей, особенно внимательно изучать все, что составляет «настоящую пролетарскую идеологию». Он стремился к полному безраздельному «слиянию с пролетарским коллективом».

Коля был очень пригож. Многие девчата называли его самым красивым хлопцем ХПЗ. Но, женившись восемнадцатилетним, он не позволял себе даже пошутить ни с одной из девушек, льнувших к нему.

— Комсомольская семья должна быть образцовой. Мещане про нас черт-те какие гадости распускают: «без черемухи», «собачьи свадьбы». Комсомолец, который корчит из себя дон-жуана, помогает мещанской антисоветской агитации. И вообще — кто нечистоплотен в быту, будет грязен и в общественной жизни. Кто врёт жене, соврет и товарищам, и комсомолу.

Но Коля не был ни унылым аскетом, ни оглядчивым ханжой. Он мог и выпить с приятелями.

²⁹ См. о нем: Г. Снегирев «Мама, моя мама» (Континент, №№ 11–15)

— Ну, что ж, по-артельному, стопку-другую... Только без перебора, без хамства. В меру. Чтоб согреться телом и душой. Не признаю выпивку как самоцель. А питье до одурения, до блевотины — гнуснейшая пакость. За это — гнать из комсомола!

На собраниях, на демонстрациях, на субботниках он был главным запевалой. Пел сильным, красивым баритоном и знал множество русских и украинских песен, старинных, народных, революционных, шуточных; пел и романсы, частушки, куплеты «Синей блузы». Лихо плясал гопака, камаринского, чечетку-«яблочко», снисходил к вальсам, полькам, мазурке. Но презрительно отвергал фокстроты и танго.

— Это не веселые пляски, а буржуазное половое разложение. Трение. Два пола трутся об третий и друг об дружку.

Наша дружба началась еще до того, как я попал на завод. Позналились мы в случайной компании и сразу сблизились, обнаружив совпадение литературных вкусов. Он тоже с детства был привязан к Пушкину, Некрасову, Шевченко, Толстому, Короленко, Горькому и тоже с почтительной неприязнью читал Достоевского и Тургенева.

— Они, конечно, великие писатели, описатели, психологи... Начнешь читать, не оторвешься. Но один — барин и все больше по заграницам, а другой — почти черносотенец и какой-то припадочный, во всяческих гадостях копать любит.

Коля был одним из бригадиров заводской «легкой кавалерии»³⁰ и я обычно назначал его командиром рабкоровских «рейдовых бригад», когда нужно было проверять цеховые конструкторские бюро, отделы технического контроля и вообще руководящих ИТР.

С ним вдвоем я побывал несколько раз на заседаниях суда по делу о СВУ. Сидели мы в ложе, недалеко от сцены. Видели подсудимых: профессора истории и литературы, один епископ, экономисты, служащие, студенты... Их внешний облик и повадки не возбуждали

³⁰ Так называли добровольцев-общественников, которые участвовали в обследованиях, проводимых контрольно-инспекционными учреждениями ЦКК и РКИ.

у меня сострадания и не вызывали сомнения в том, что они здоровы и сыты. Казалось даже, что никто из них не взволнован, а только несколько озабочен ходом суда. Они рассказывали о том, как устанавливали связи с зарубежными петлюровцами, как печатали антисоветские листовки и книги, составляли антисоветские учебные программы, признавались, что хотели свергнуть Советскую власть, отделить Украину от СССР... Они говорили спокойно, деловито, иные несколько смущенно запинаясь, они отстаивали какие-то свои формулировки, обвиняли друг друга в преувеличениях или неправде. Прокурор Михайлик обращался к ним вежливо, но иронично. Он спросил у главного обвиняемого профессора Ефремова:

— Вот тут в вашем дневнике вы формулируете вашу политическую программу очень выразительно: «Мы хотим, чтобы на Украине все были украинцами, от премьера до последнего арестанта...» А вы знаете, кто у нас премьер?

— Влас Яковлевич Чубарь.

— Украинец чистых кровей! А кто последние арестанты?

Он, прищурившись, поглядел на скамью подсудимых. Ефремов пожал плечами и понурился. В зале засмеялись, захлопали. Но засмеялись и несколько человек на скамье подсудимых и тоже зааплодировали прокурорскому остроумию.

Всем, кого на этом процессе приговорили к «высшей мере», заменили расстрел десятью годами заключения. Мы с Колей и другие ребята, обсуждая ход суда и приговор, были совершенно убеждены в преступности этих недобитых петлюровцев, в справедливости и великодушии советского правосудия.

Прошло почти сорок лет, прежде, чем я додумался до понимания того, что процесс СБУ, вспоминаемый как «справедливый и законный», в действительности был подобно шахтинскому и всем другим «вредительским» процессам, одной из тех судебных инсценировок, посредством которых готовился и осуществлялся массовый террор.

Нас юридически, пропагандистски и психологически готовили к тому, чтобы считать преступлением любое несогласие с политикой

властей. Записанные в личном дневнике, либо высказанные в разговоре «идеологически вредные» суждения, религиозные взгляды, мечты о национальной независимости, о свободе слова и т. п. и уж, конечно, любые связи с живущими за границей родственниками, друзьями, коллегами означали прямые угрозы государству и веские доказательства причастности к еще более страшным злодеяниям — к вредительству, шпионажу, террору...

На ХПЗ я не помню дел о вредительстве. Хотя мы очень старались — явно и потаенно — выискивать, как тогда говорили, «конкретных носителей зла», виновников неполадок, прорыва, брака и т. п., но ни разу не обнаружили злонамеренных саботажников.

В 1931 году мы все же увидели «настоящих вредителей». Их привезли из Николаева — шесть осужденных инженеров — членов «Промпартии». В одном из новых домов заводского поселка к нескольким окнам приварили решетки. Там их поселили. Каждое утро они приходили на завод, сопровождаемые рослыми парнями в синих буденновках, с маузерами в большие деревянных кобурах. Так, с конвоирами, они и ходили по цехам. А недели через две заводской партком созвал внеочередное заседание актива. Докладывал директор завода Владимиров. Он был членом ЦК КП/б/У, имел орден Красного Знамени с гражданской войны. (Тогда он был едва ли не единственным орденоносцем на заводе.) О нем говорили: «Твердый мужик. Характер железный, чистого литья — большевистский. Он и с наркомом и с чернорабочим одинаковый». Все знали, кто бы из вождей ни приехал на завод, — Орджоникидзе, Коссиор, Постышев, Якир, даже сам Калинин, наш директор никогда не выходил к воротам, как секретарь парткома или предзавкома, почтительно выбегавшие к правительственным машинам. Он встречал знатных гостей у себя в кабинете и разговаривал с ними так же, как с инженерами или рабочими. С Орджоникидзе иногда спорил. Зато во время ночных «штурмов» в танковом отделе он несколько раз вместе с нами, активистами, сам таскал ящики кефира и соевых булок из заводской столовой на сборку, чтобы угощать энтузиастов, работавших бессменно. На том заседании парткома Владимиров

сказал: — Все видели этих николаевских спецов, которые с конвоем ходили? Так вот, с завтрашнего дня они получают твердые назначения. Такой-то будет начальником механического цеха Т2, такой-то старшим конструктором, такой-то главным механиком и т. д. Конвой отменяется. Решетки с окон снимут. К семейным приедут жены. Они пока остаются осужденными, в выборах участвовать не могут. Как там насчет профсоюза узнаете в горкоме металлистов. Но они будут занимать руководящие инженерные посты. И единоначалие должно соблюдаться беспрекословно. А в данном случае, более, чем всегда. Требуется еще особая чуткость. Это касается, прежде всего, вас, товарищи-газетчики, товарищи рабкоры. И всех любителей митинговать. Чтоб никаких там хитрых намеков, вопросов: «головотяпство или вредительство?» Наблюдение будут за ними вести те, кому специально поручено. Есть все основания верить, что работать они будут честно, добросовестно. Советская власть им дает возможность искупить прежнюю вину. И мы не позволим никому разводить демагогию, мешать такому важному делу. Понятно?

Года через полтора-два у всех наших шестерых «вредителей» была снята судимость. Был слух, что некоторых в 35–36 годах даже орденами наградили. Владимиров позднее стал директором Челябинского тракторного завода. В 1937 году его арестовали.

В редакции «Удара» нас было сперва трое, потом даже пять штатных работников. Нам помогали не менее дюжины постоянных рабкоров. И мы всегда были подробно осведомлены о том, что происходило в цехах нашего отдела; знали, где «узкие» места, когда сборка танков простаивала из-за того, что не прислали деталей из кузнечного, из литейного, а когда и из-за того, что в механическом «зашивались» с инструментами и приспособлениями.

Листовки мы делали бойкие. Но это не было самоцелью. Мы действительно хотели помогать цехам, хотели, чтобы наш отдел выпускал возможно больше танков и чтобы они становились все лучше — мощные, стремительные, безотказные.

Дни и ночи мы торчали в цехах. Не довольствуясь описанием, повторяя как заклинание слова Ленина «газета должна быть ... орга-

низатором», мы то и дело превращались в настырных «толкачей» — звонили «подсобникам» и поставщикам, звонили в дирекцию, сами ходили в другие цеха разыскивать опаздывающие детали. Иногда пробивались и в кабинеты высокого заводского начальства — жаловались, убеждали, упрасивали. Листовки особо важные и тревожные мы заканчивали так: «Требуем немедленно ответить по телефону 1-72!» Это был наш редакционный номер. У телефона я установил круглосуточное дежурство, которое часто сам же и отбывал.

В парткоме нас хвалили, и все похвалы с достоинством принимал Менахин. Хотя в горячую пору мы его по неделям не видели. Но он рассуждал так откровенно, что я даже не мог всерьез рассердиться.

— Ты что думаешь, что я на вашу славу покушаюсь? За ваш счет политический капитал наживаю? Признайся: правда ведь? Что значит: «не знаю, что сказать»? Ты же не кисейная барышня: «Ах, ах, нет слов, чтоб чувства передать!» А я по глазам вижу, что так думаешь. Но теперь послушай, что я тебе скажу. Дело мы все делаем одно. Политический капитал у нас тоже не частный. Нужно только уметь его и наживать и пускать в оборот. Конечно, «Удар» это прежде всего твоя заслуга. Но ведь начало положил я. Разве нет? Это я вас нашел и сейчас воспитываю и по-партийному направляю, когда нужно — ругаю, когда нужно — хвалю. И я добиваюсь, чтоб вас и тебя ценили. Вчера я поставил вопрос в дирекции. С будущей недели приказом по заводу тебе присваивается должность и права, — поимей в виду, права! внештатного помнач ПРБ отдела Т2. Понимаешь: помощник начальника планово-распределительного бюро танкового отдела. Это значит, что ты теперь можешь по праву распоряжаться движением деталей, можешь требовать отчета с любого мастера, давать задания пролетам. И этого добился я. Понимаешь? Ты ж в редакции самый молодой комсомолец. Только-только переведен из кандидатов. Ведь я правду говорю? И Фрида я вытянул в редакцию, а теперь помогу ему восстановиться в партии. Так что мой политический капитал многим товарищам на пользу. А мне он нужен не на сегодня. В редакторах я не задержусь. Мое призва-

ние — партийная работа. Писать не люблю и не шибко умею. Сами ведь знаете, по-украински я и вовсе неписьменный. Хочу передать газету Пете Грубнику. Он свой парень, коренной паровозник, хороший коммунист, хороший писатель и душа-человек.

Менахина вскоре избрали заместителем секретаря парткома. Год спустя он был уже в горкоме, потом в ЦК. Петр Грубник, один из первых электросварщиков завода, несколько лет был ревностным рабкором. Писал по-русски и по-украински стихи, очерки и рассказы — чувствительные, «густо-психологические» повествования из рабочей жизни. После тяжелой болезни глаз ему запретили работать в цехе и направили в редакцию. Он же руководил и заводским литературным кружком, в котором участвовали некоторые бывшие члены «Юни» и «Порыва» — Иван Каляник, Сергей Борзенко, Николай Нагнибеда, Иван Шутов (Ужвий). На первых порах мы примыкали к Пролитфронту, нашим постоянным руководителем был Григорий Эпик, приходили на собрания Микола Кулиш и Юрий Яновский. В конце 1931 г. все вступили в ВУСПП (Всеукраинский союз пролетарских писателей). Нас называли «ударниками, призванными в литературу».

За полчаса до конца первой смены в партком завода срочно созвали работников цеховых ячеек и профсоюзных комитетов, сотрудников редакции. Секретарь торжественно сказал:

— Товарищи! Получено секретное сообщение. Японские войска перешли нашу границу в районе Хабаровска, а на Западе румыны форсируют Днестр. Началось, товарищи! Пока еще война официально не объявлена. Пограничники и части Красной армии отражают провокации. Но есть уже приказ: мобилизовать десять возрастов. Пока секретно. Завтра утром должны уйти на призыв не меньше двух тысяч наших рабочих и ИТР. Значит, надо немедленно заполнить опустевшие рабочие места. Чтоб никаких прорывов. Наоборот: теперь надо работать вдвое лучше. И темп, и качество. Наши БТ, возможно, пойдут прямо со сборки на фронты. Понятно, какая ответственность? Сейчас всем разойтись по своим участкам.

И чтоб полная боевая готовность. И высшая бдительность. Возможны диверсии и уж конечно шпионаж.

Еще до полуночи нам объявили, что это — «пробная мобилизация», сообщение о японцах и румынах было только испытанием, военной игрой. Однако, многие продолжали верить, что, напротив, успокоительное опровержение — только для дезинформации шпионов.

На рассвете огромная колонна рабочих ХПЗ прямо с заводского двора двинулась к сборному призывному пункту на другом конце города. Призывников провожали жены, подружки, родители и товарищи, работавшие в ночную смену. В колонне ехали грузовые машины, в которых везли чемоданы, вещмешки и походные «буфеты», которые на ходу продавали ситро, папиросы, соевые пирожные и конфеты.

На одном из грузовиков мы установили наборные кассы и печатную машину-«американку» с ножным приводом, и выпускали импровизированные листовки. Главным образом, о тех призывниках, которые в этот день и час прямо в строю подавали заявления в партию. Особая комиссия парткома заседала здесь же, на грузовике с типографией.

Шли мы несколько часов, останавливаясь по пути; на большом пустыре перед призывным пунктом сбивались в компании, пели, плясали, скандировали лозунги. Были и хмельные, но мало. В этой шумной, суматошной игре взрослых виднелись и суровые, печальные лица и плачущие женщины. Многие продолжали верить, что война все-таки началась. Наш редактор говорил:

— Конечно, это маневры. Военные и политические маневры. Однако, на Амуре действительно беспокойно. Очень беспокойно. Там каждый день стреляют. И на Днестре и на Збруче тоже. Капиталистов кризис жмет все сильнее. А выход из кризиса они могут искать только военный. Это закон природы. Той, которая природа империализма.

В те часы я испытывал лихорадочно тревожное и, вместе с тем, радостное возбуждение, примерно такое же, как девять лет спустя 22 июня 1941 года. Наконец-то война. Та неизбежная война, кото-

рую мы ждали давно. Будет страшно, будут несчастья, беды. Но зато все ясно: за что бороться, ради чего жить и умирать, кто враг и кто свой... И конечно же, мы победим! Подмывающее радостное любопытство было сильнее всех страхов.

Через четыре дня пробная мобилизация закончилась. Призывники вернулись в цеха. Но война, тем не менее, казалась неотвратимой, все более реально близкой. Хотя не менее близкой представлялась и революция, раньше всего — в Германии.

У нас на заводе работали немецкие инженеры и мастера. Мне, как члену МОПРа, предложили вести культпропработу с иностранцами. Моим главным помощником и другом стал молодой берлинец Вилли Гуземанн, лекальщик высокого класса и конструктор-самоучка, член компартии и сын старого коммуниста. Вилли был свирепым радикалом; ненавидел буржуазных спецов и «социал-фашистов». Ссорился и с земляками-коммунистами, обличал их в оппортунизме. Все, что ему не нравилось у нас, — беспорядок и грязь в цехах, высокий процент брака, плохая работа столовой, недостаточное внимание инженеров к его многочисленным рационализаторским предложениям, — Вилли объяснял просто:

— Он есть вхедитель! Саботёх. Он помогать фашистам!

Отец Вилли, тоже Вильгельм, в 32-м году проезжал через Харьков в отпуск в Крым. Он работал в Берлине техническим сотрудником немецко-советской фирмы «Дерунафта». И тогда мы втроем составили план моей поездки в Берлин для участия в неизбежно предстоявшей революции. Вильгельм старший должен был переснять на немецкую фотобумагу снимок и прислать нам, чтобы заменить снимок на паспорте Вилли. (Приметы, записанные там же не вызвали бы сомнения: Вилли был приблизительно моего роста, тоже темноглаз и черноволос). Я должен был приехать в Германию и потом отправить паспорт обратно в Харьков. В крайнем случае Вилли мог просто заявить об утере, но уже после того, что узнает о моем благополучном прибытии.

Об этом прекрасном плане я, разумеется, доложил секретарю комитета комсомола. Он выслушал, не прерывая, но смотрел сердито.

— Ну и штуку вы надумали! Штуки-трюки, чистое кино «Мессенд»! Ты вот что, погоди, поостынь. Раз ты еще в мировую революцию не включился, то, значит, подчиняешься не Исполкому Коминтерна, а пока что нам, заводскому комитету Ленинского комсомола. Ну, а мы городскому комитету и центральному... Это тебе ясно? Так вот я запрошу по всем инстанциям. А ты занимайся своими делами и не рыпайся. Ваш отдел уже сколько месяцев из прорыва не вылезит. Ты уж лучше своим «Ударом» покрепче ударяй, чем в международные дела лезть.

Через несколько дней он пришел в наш редакционный барак. Недолго посидел, полистал подшивки листовок.

— Пойдем, проводи меня малость. Есть серьезный разговор... Вот что, дорогой товарищ, про эти твои личные планы германской революции забудь! И чтоб никто — понимаешь? — никто о них не слышал! Понятно? Товарищи в ЦК велели серьезно разъяснить тебе насчет этих трюков-фокусов с паспортом. Чтоб даже думать не смел. Это не просто политическая ошибка, — да-да, грубая ошибка, партизанщина. Это пахнет международной провокацией. Ты подумай: забирает тебя, например, ихняя полиция. Ты, конечно, герой, все терпишь, с тебя жилы тянут, кости хрупают, а ты поешь «Интернационал» и, конечно, по-немецки. Но только там же еще кто-то про тебя знать будет, какой ты немец и откуда взялся. И знать будут еще раньше, чем приедешь. И тогда хай на весь мир: Советский Союз посылает агентов с фальшивыми паспортами. Какой дурак поверит, что это ты с Вилли и с его папашей втроем все придумали и обтяпали. Ты ж должен понимать, как такие моменты могут использовать наши враги, буржуазная печать и всякая фашистская сволочь. Это — номер раз. А еще тебе надо знать, что такой ваш план есть уголовное преступление по советским законам. Понятно? Подделка документа и нарушение границы. Тяжелое государственно-политическое преступление! И тут клянись-божись, что ты за мировую революцию, но факт будет налицо и преступников жалеть нельзя. А то ведь и другой кто может захотеть такие трюки строить. Любой контрик, вредитель нэпман-валютчик, воруя,

растратчик... И скажет: «Я, видите ли, не просто за границу тикаю, а хочу бороться за мировой пролетариат». Понимаешь, куда тебя занести может? Хотя ты и шибко грамотный, и редактор вроде ничего, мы ведь тебя в кандидаты партии рекомендовали. Но только ты еще пацан. Хочешь, как в кино или в книжке: «Даешь Варшаву! Даешь Берлин! Урр-а-а! Навались, братишки!»... Ты погоди, не обижайся, я вижу, как ты скривился на «пацана». Но я тебе правду говорю. У меня опыт — ого-го! На комсомольской работе десять лет. Первый раз секретарем ячейки выбрали, когда еще Ленин жил. И я знаю — пацанство у многих долго держится. Есть такие, кто до старости, до гроба с пацанским характером живет. Один от физкультуры отстать не может. Ну, там футбол или городки. Уж сам не играет, так ходит смотреть и с азарта чуть не бесится. Другой, как что не так, драться лезет. А третий, как выпьет — плачет, маму зовет... Наверное, у каждого человека есть такие пацанские отрывки. Только один сознает, а другой нет. И у меня тоже есть. Я мог бы про себя всякое рассказать. Но я свое пацанство давно осознал и далеко-далеко заховал. А ты своего пацанства не хочешь сознавать. Пример — эта ваша выдумка. Про нее — все! Забудь! Партия знает кого, когда и куда посылать. Твое дело сейчас выполнять боевые задачи здесь, на заводе. А может, и в село тебя пошлем. Там сейчас получается сложная обстановка. Но не лезь вперед батьки, — ни в пекло, ни в Берлин...

Вскоре после этого разговора меня действительно направили в село.

... Два месяца спустя, когда я вернулся из деревни и надолго слег в постель, ничего не ел, кроме тошнотного рисового отвара и тонехоньких сухарей, и не мог заснуть без грелки, я читал в газетах о поджоге рейхстага, о массовых арестах в Германии, об убийствах при попытке к бегству, о пыточных застенках в казармах штурмовых отрядов.

Заводские друзья и приятели, приходившие меня проведывать, говорили больше всего о голоде, о голоде и снова о голоде. Рассказывали, что Илья Фрид вместе с Дусом Рабижановичем илевой Ра-

евым — молодыми рабкорами, которые тоже стали сотрудниками редакции, вернулся из деревни и ни о чем другом не думает и не говорит, кроме голода.

— Он теперь вроде чокнутый. Ходит, подбирает по улицам, по вокзалам сельских пацанов. Таких, у кого родители померли или с голодухи сказались и детей позабывали. И Дуса и Леву гоняет, чтобы таких искали. Фрид их кормит, ведет в приемники. Весь свой паек тратит. Некоторые у него по два-три дня живут, пока он их в детдом устроит. Сам похудел еще хуже, чем был, и с лица — как старая кожа...

О событиях в Германии говорили меньше:

— Там ведь уже давно кризис и всякая мура. Гитлер — псих, дорвался до власти себе на беду. Теперь все увидят, что он такое. В «Известиях» здорово написали «Шуты на троне». Шутам недолго царствовать.

Но Вилли Гуземанн приходил бледный, то растерянный, то яростный. Он, кажется, даже и не замечал, что у нас голод. Не знал, что в нескольких кварталах от того дома, где он жил, под мостом через железную дорогу каждое утро находили трупы. Не знал, что в соседнем подъезде, в комнате чудака Фрида ночуют крестьянские дети, опухшие от истощения... Вилли боялся за отца и младшего брата Вальтера, который работал в редакции «Роте Фане».

Вальтер Гуземанн ушел в глубокое подполье. Он был арестован в 1942 году с группой «Красной Капеллы» и казнен в 1943-м. Их отец, старый Вильгельм Гуземанн, долго скрывался. До моего отъезда из Харькова летом 1935 года я еще получал от него письма и бандероли — подпольное издание «Роте Фане» на папиросной бумаге, заложенные в номера «Фелькишер Беобахтер» и «Ангриф» или журналов. Тогда еще можно было получать просто по почте даже фашистские газеты. Он отправлял их из разных городов Германии с различными адресами. Мать писала Вилли, что «отец не унывает и верит в скорое крушение нацистов». А Вилли ушел с ХПЗ еще в 34-м году, переругавшись со всем начальством. Он женился на харьковчанке-чертежнице, у них родился сын, и Вилли с семьей

перебрался в Луганск, тоже на паровозный завод. Оттуда я получил одно письмо. Он жаловался, что и там есть дураки и вредители, писал, что хочет переехать в Челябинск, где на новом заводе тяжелых тракторов работало много харьковчан. Это было последнее известие от него. А года три спустя, уже в Москве, я услышал, что Вилли в Челябинске арестовали.

Стефан Херmlin в книге о «Красной Капелле» опубликовал предсмертное письмо Вальтера Гуземанна отцу, в нем была такая строка: «Оба твои сына погибли».

Я впервые попал в Берлин в феврале 1964 года. Узнал, что старик Вильгельм Гуземанн жив. Долго был заключенным в концлагере; похоронил жену, работает швейцаром в здании ЦК СЕПГ. Я хотел было пойти к нему, но не решился. Что он знал о судьбе Вилли? Что я мог ему рассказать?

Глава девятая
ПОСЛЕДНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ (1933)

Горе мне в моем сокрушении, мучительна
рана моя, но я говорю *сам себе*: «подлинно
это моя скорбь и я буду нести ее».

(Иеремия 31, 29)

Був рік смертей, пекельних скрут,
Був тридцять третій рік.

Микола Руденко

Миргородский район в декабре 1932 года все еще не выполнил плана хлебозаготовок. Обком направил туда выездную редакцию двух газет «Социалистическая Харьковщина» и нашего «Паровозника», чтобы издавать газеты-листовки в отстающих селах. Нас было четверо: два миргородских паренька — наборщик и печатник, и два харьковчанина — мой заместитель Володя Ив. и я. Все наше имущество — несколько наборных касс, ручная печатная машина «Американка» и два-три мешка бумаги, уже нарезанной на листы, — умещалось вместе с нами в одних больших санях.

В селе Петривцы уполномоченный районного ГПУ рассказывал: — Тут во всех селах есть контрреволюционные элементы. В Петривцах на сегодняшний день живут человек двадцать таких, кто вернулся с Соловков, с Нарыма, с разных допров; кто по амнистии 1927 года, а кто и позже. И не какие-нибудь воры-конокрады. За

тех милиция заботится. А я вам говорю только за тех, кто с оружием на нас ходил, нашу кровь проливал. А в Поповке, можно сказать, целое бандитское гнездо. Село большое — тыща четыреста дворов, но с них в колхозе меньше пятисот. Самый малый процент во всем районе. Зато имеются данные, что в полутораэтажных дворах прячут оружие. И не только наганы, но и обрезы. У них там и гранаты есть и пулеметов штуки три где-то захованы. Это точно известно. По всему району полно таких, кого и не сажали никогда, но известно, что они воевали у Петлюры, у Махна, у Маруси, у Ангела... Тут в гражданку разных банд было, как блох на Шарике.

Мы верили ему безоговорочно; сам он был сыном забойщика, до армии работал на шахте. Когда призывался, взяли в войска НКВД; там учился и стал оперативным работником. Он улыбался широко, белыми рафинадными зубами, глядел прямо, приветливо. Русый чуб он тщательно расчесывал на две густых запятых по вискам, — такая прическа называлась почему-то «политика».

Поместили нас втроем — Володю, его и меня — в хате единоличника-середняка, не выполнившего хлебозаготовку. Колхоз выделял нам харчи и топливо. Хозяева перебрались к дочери. Хозяйка приходила топить печь и готовить. В первые недели у нас бывал изредка хлеб и даже мясо. Но потом обычно макуха (жмыхи подсолнечника), мелкий картофель, сладковатый от промерзлости и горьковатый от гнили, реже — пшено, горох и квашеная капуста.

Наш уполномоченный пытался нас воспитывать, приучать к «армейскому порядку». Напоминал, что нужно бриться и не надо оставлять грязную посуду на столе.

— Соберем, товарищи, кучкой и поставим на припечек... Ну, зачем ты бычка на пол бросаешь? Ну и пусть он глиняный, не загорится. Но зачем хозяйке за нами убирать? Она хоть и не выполнила хлебозаготовку, но трудовая крестьянка. Да и себя уважать нужно. Мы здесь живем, здесь питаемся, чего ж мусорить? Чистота — залог здоровья.

Он каждый день заботливо чистил щеткой синюю буденовку и длинную серую шинель, подолгу драил сапоги суконкой. И укорял нас:

— Вы бы, хлопцы, кожухи хоть потрясли. Вы ж ими на печи укрываетесь. Посмотрите, и солома, и крейдой (мелом) замазаны. А вы кто такие? Представители харьковского пролетариата! Товарищи из красной столицы. Значит, надо иметь вид как следует. Не фасон давить, нет, не комчванство напускать. Но чтоб порядочек, как в Красной армии: подтянутость. Дисциплина. И вся выходка боевая, аккуратная... Что значит, что вы не военные? Мы все тут красные бойцы хлебного фронта.

Он умел дать понять, что причастен к особым, государственным делам. Маузер в лакированной деревянной кобуре он ни разу не позволил никому из нас подержать, даже разглядеть вблизи эту заветную мечту моей юности.

— Нельзя, хлопцы, нельзя. Это не цяцька, а боевое оружие.

Хлебный фронт! Сталин сказал: борьба за хлеб — борьба за социализм. Я был убежден, что мы — бойцы невидимого фронта, воюем против кулацкого саботажа за хлеб, который необходим для страны, для пятилетки. Прежде всего — за хлеб, но еще и за души тех крестьян, которые закоснели в несознательности, в невежестве, поддаются вражеской агитации, не понимают великой правды коммунизма...

Мы не считали их противниками и не чувствовали себя среди них враждебными чужаками. Ведь в каждой деревне мы находили товарищей, единомышленников.

В Петривцах нашим наставником стал голова сельрады (председатель сельсовета) Ващенко. Он в германскую войну дослужился до унтера, имел двух Георгиев, а в гражданскую командовал ротой.

— Тогда лёгше было. От верьте, не верьте, а куда лёгше. Все было ясно-понятно. Туточки, значит, своя часть, своя позиция; а там, значит, враг — кадеты, петлюры или махны. Ну, значит, гады, контра! Ну и даешь им прикурить. С пулеметов и с винтарей залпами! А потом змейкой в обход или цепью в лоб — на ура. Штыком коли! Прикладом бей! Кто не поднял руки кверху — в моголевскую губернию! И давай дальше марш-марш! Даешь Крым! Даешь Варша-

ву!.. Все ясно-понятно. А теперь противник, может коло тебя сидит, может, с тобой за ручку здороваается. Наган у меня, правда, есть, но его в кармане держи. И выймай только в самой крайности: для отчаянной обороны или для виду. Для понта, чтоб пугануть какого самого-рассамого гада. Но и это часто нельзя. А фронт, между прочим, везде вокруг. Я так считаю, что одной пшеницы у нас в Петривцах должно быть тысячи две пудов закопаны-попрятаны. Затаились гады-индюки³¹. Сами одну макуху едят. Есть такие, что уже и дети пухнут. Но ям не открывают. Надеется такой надувальник, что пересидит хлебозаготовки, что мы отстанем, — он тогда выкопает, и жировать будет. Или уже только боится, что яму найдут, все до зерна заберут. И обратно семья голодная; а самого до белых медведей... Дядьки ведь у нас какие? Хитрые-хитрые, а дураки. Я их добре знаю. Сам ихнего корня. Тут родился, в десяти километрах. И уже с шести годов на куркулей работал. Мать наймичкой была, вдовая. Я у нее один. Еще до стола не дорос, а уже хозяйских гусей пас. А потом, как в школу пошел, один-два дня в неделю учился. А все другие и все утра, и все вечера — коло хозяйских коров, свиной, да овец старался. И пахал и косил... А ведь только в четырнадцать годов первые гроши получил. Два, потом три рубля в месяц положили. А то раньше все только за «натуроплату»: за харчи, за жилье. Летом в клуне, зимой в хатынке, что одним боком до печки, а другим до коровника. И за одежду — обноски хозяйские драные... Мама так в наймичках и померли. Застудились весной. Чоботы у них были только, чтоб в церкву ходить, на праздник погулять. А так, зимой носили постолы с онучами; а то — всегда босые. И по стерне, и по лесу, по всем колючкам... Мама говорили, что у них ноги задубелые, не хуже копыт. Но постолы промокают; мама и застудились. Горячка трясла. Как пьяные стали или как в тифу: говорили всякое, песни спивали. Так и померли в холодной клуне на соломе. Хозяин не пустил фершала позвать. Лошадь не дал за ним поехать...

³¹ Единоличников-индивидуальников дразнили «индюками», «индейцами», «надувальниками».

«Ничего, — сказал, — отлежится. Она баба здоровше всех. А лошади нужны сейчас навоз возить. Весна какая пошла — весь снег за неделю отмыла. Земля уже мягкая...» Навоз он вывез. А мама померли. И я еще к нему кланяться ходил, чтоб дал рубля два на попу и на гроб. Не подарил, нет, с нашего заработанного. У того куркуля прынцып был: платить наймитам только в осень, когда все уберут. Я тогда так разнервничался за маму и за ту куркульскую жадность, что схватил колун и на него... Если б не вцепились хлопцы, так бы и зарубал. И на каторгу пошел бы не жалеючи. Он тогда злякался — отдал все гроши и выгнал. «Иди, куды хотишь, но подальше от села. А то скажу старосте и стражникам, что ты гайдамака, убивец...» Я тогда всю Украину прошел насквозь. У куркулей работал и в панских хозяйствах. И в городе и на шахтах. Аж пока в солдаты не взяли...

Так вот, я куркулей с детства ненавижу. Хуже чем всех панов-помещиков, юнкеров, офицеров. Те хоть прямые враги. Панскую белую кость за версту видно, кто он есть. И с них даже хорошие люди бывают. Ленин с кого вышел? Еще и другие были. А эти, кто с грязи в князи повылезли, кто сами волам хвосты крутили, в навозе росли!.. У них ни науки, ни уважения. Они до наймита такие безжалостные, что хуже всех панов. Да хоть бы даже своя кровь, сродственник, они за копейку глотку перервут. Голодному корку пожалеют. Умирать будешь — воды не подадут. Потому — кто умирает, от него уже никакого интересу.

Он говорил, не повышая голоса. В глубоко посаженных, маленьких, чуть раскосых глазах — ни искры. Большая самокрутка — козья ножка, свернутая из четверти листа районной газеты, — дымилась равномерно. Только широкие руки сжимались в кулаки и косточки белели.

Так же негромко, ровно и внятно разговаривал он на собрании, которые каждый вечер собирались по «куткам». Большое село делилось на несколько кутков (то есть углов), охватывающих от 50 до 100 хозяйств. Сельские исполнители и колхозные активисты пригла-

шали–пригоняли в хату тех, кто не выполнил план хлебозаготовок, и потом следили, чтобы никто не ушел без особого разрешения.

Обычно начинал Ващенко. Он рассказывал о том, сколько по селу уже сдано хлеба, сколько еще нужно сдать. Называл зlostных нестатчиков и подробно докладывал, где и у кого нашли спрятанный хлеб.

— ...Он думал, он самый хитрый. Закопал на дальнем поле. Да только мышей не перехитрил. Нашли мыши его яму. А за ними и лиса. А там хлопцы, которые охоту любят, заметили, чего это лиса все на одном месте, на одном поле мышкует. Так и открыли ту хитрую яму. А зерно уже пополам с мышиным говном. Ну, хозяина, конечно, забрал НКВД. Поедет теперь туда, где зимой и солнца не видать. А семья без хлеба осталась. Выходит, он враг не только державе, он и своим детям самый злой враг.

Потом говорили приезжие: районные заготовители, мы с Володей, местные активисты-комсомольцы, колхозные бригадиры. Все выступавшие сидели за столом, под иконами. На белой стене темнели большие рамки, начиненные разнокалиберными фотоснимками. Николаевские солдаты в лихо заломленных бескозырках. Девчата в венках с лентами. Красноармейцы в буденовках. Остолбеневшие перед фотоаппаратом дядьки в жестких картузах или барашковых шапках, в расшитых рубахах и городских пиджаках. И тут же цветные картинки из старых журналов, открытки с усатыми запорожцами, пляшущими гопака.

На скамьях и просто на полу у печки тесно сидели насупленные бородачи, усачи в кожухах, в серяках, молодые парни, сонно равнодушные или презрительно угрюмые. Отдельными кучками грудились бабы и девки в темных платках, повязанных замысловато кончанами или накинутых шатрами поверх светлых косынок, в суконных полушубках, — там их почему-то называли «юпками», — обшитых по вороту и по груди светлыми овчинными полосками.

Густо клубился сине-сизый махорочный дым в зыбком полумраке. Еле-еле светились самодельные свечки или лучины, реже — керосинка. Села, не выполнившие план хлебосдачи, заносились на

«черную доску» и подлежали «товарному бойкоту». Лавки закрывали. Нельзя было достать ни керосину, ни гвоздей.

Каждый раз, начиная говорить, я хотел доказать этим людям, что они страшно ошибаются, утаивая хлеб, что они вредят и всей стране, и самим себе. Я старался поменьше повторяться, хотя ораторствовать приходилось на нескольких собраниях за день. Я рассказывал, как трудно живется рабочим в городах и на строительствах. Они работают по две, а то и по три смены, без выходных. Их жены стоят в очередях, потому что не хватает харчей, не хватает хлеба. И все потому, что нашей стране со всех сторон угрожают смертельные враги. И значит, надо напяречь силы, чтобы срочно выполнять планы. И необходим хлеб...

Я рассказывал о всемирном кризисе (тогда еще не знали, что он уже пошел на убыль). Говорил о немецких фашистах, о японских войсках в Маньчжурии, о коварстве польских панов. Все они готовились напасть на нас, хотели завоевывать, поработать, грабить.

Говорил я лишь то, в чем сам был убежден. И каждый раз увлекался, кричал, размахивал руками. Слушали, — мне казалось, — внимательно. Бабы переставали шептаться. Никто не выходил курить, не ругался за дверью с исполнителями, удерживавшими подозреваемых в намерении удрать... И, разумеется, я всячески поносил, проклинал кулаков и подкулачников. А всем, кто злонамеренно или по несознательности утаивал хлеб, грозил презрением народа и карающим мечом пролетариата.

Уполномоченный тоже ходил на такие собрания, несколько раз бывал на тех же, что и мы. Он никогда не сидел с нами за столом и не произносил речей, а пристраивался где-нибудь сзади.

Ващенко снова и снова призывал:

— Кто хочет выступить и добровольно объявить, что выполнит свой долг?

Иногда поднималась рука. Вставал парень или разбитная баба.

— Завтра я, може, достану. Родня обещала мешка два. Тогда отвезу.

Таких сознательных громогласно хвалили, отпускали домой спать. А на следующий день выходила наша газета-листочка: «Слава честному селянину, ставшему на путь выполнения долга перед народом. Следуйте его примеру!» Но обычно после нескольких тщетных призывов Ващенко начинал поименно выкликать к столу должников.

— Ну, гражданин Дубына Степан, в который раз мы с тобой тут балачки балакаем?.. Чего молчишь? Тебя спрашивает Советская власть — сколько раз мы тебя уже вызывали?

— Нэ пам'ятаю. Нэ рахував.

— Ах, ты еще смешки строишь! Шутки шутикуешь. Ну, я тебе серьезно говорю,

очень серьезно. Мы тебя уже четырнадцатый, чи нет, пятнадцатый раз вот так спрашиваем. Когда выполнишь?

— Немае у мэнэ ни фунта хлиба... Вже й диты макуху едять...

— Так, значит, хитруешь? Сколько ты сеял? Пять с половиной гектаров сеял.

Точно известно: было у тебя пшеницы два гектара и жита полтора. А еще и горох, и ячмень, и овес, и подсолнечник, и кукуруза на двух гектарах. Ты не бреши, я твои поля знаю. Черного пара у тебя не было. Так сколько ж ты собрал? Сколько копычек? Ты не хитруй, не бреши, сколько?.. Не помнишь уже? Такой ты, значит, хозяин лядащий, что своего урожая не помнишь! Ну, так я тебе напомним. На твое поле не другое какое солнце светило. И дождики тебя не обходили. Значит, собрал ты пшеницы двадцать четыре центнера. Ну, нехай двадцать два. А сколько ты сдал? Всего, и с кукурузой и с ячменем, только восемь центнеров! Еле-еле на сорок процентов задания. А задание у тебя твердое. Мы тебя, гражданин Дубына Степан, знаем, кто ты есть. Советская власть все знает. Я ж сюда не сдалека приехал, не с Харькова, не с Москвы. Я ж еще помню, как ты женился. В тот самый год, когда молонья сожгла панское сено. Ты ж даже новых чоботов не имел. У старшего брата, у Тараса, чоботы брал на свадьбу. Мы знаем: ты с бедняков. Но только своего классу цурался. Вот я тут при всех людях считаю: сколько тебе на семью хлеба нуж-

но. Кладем один пуд на душу в месяц. Считаем всех твоих, и старых и малых, и тех внуков, что титьку сосут. Вас всех — девять душ. Считаем по-царски — девять пудов в месяц. Полтора центнера. Значит, за зиму вы от силы шесть центнеров съели. У тебя ж ячмень есть и кукуруза. Так где ж они, все другие центнеры?

Не знаешь? Если ты их не сховал, значит, продал. Закон преступил! Задание хлебосдачи не выконал³², а спекулируешь. Наш план подрываешь и тайно загоняешь хлеб перекупщикам. Знаешь, какая кара за это?

— Рубайте мне голову!.. Не маю ни фунта! Ни зернинки.

Именно эти слова в таких ночных разговорах звучали чаще всего: «рубите мне голову!» Их произносили кто сумрачно, яростно, кто слезливо, надрывно, кто обреченно, устало, почти равнодушно.

— Рубайте мне голову. Нет ничего в хате. Ни фунтика.

Бабы часто плакали, кричали, отругивались.

— Та шоб я своих диток больше не видела! Та шоб очи мне по-вылазили!.. Не сойти с этого места, если брешу!.. Шоб меня паралик разбил, руки-ноги поотсыхали! Шоб мне до смерти добра не видать! Не брешу и не брехала сколько живу! Присягну, забожусь, нема ни зернинки, ни крыхточки! Рубайте мне голову от туточки на пороге!

Ващенко тяжело грохал кулаком по столу, но говорил так же спокойно и ровно:

— Годи! Хватит! Сидай и сиди, пока не надумаешь! Пока не обещаешь, что надо. Сиди и домой не просись, не пустим.

Так из ночи в ночь. Иные собрания продолжались непрерывно по двое-трое суток. Активисты у стола сменялись. Мы чередовались, уходили, или спали тут же, откинувшись к стенке, урывками, в чадной духоте. Спали и многие крестьяне, сидевшие и лежавшие на полу.

Ващенко был самым неутомимым. Снова и снова заседал, допрашивая очередного несдатчика. Ему вторили и другие, сидевшие рядом, просыпаясь или слясь не задремать. Задавали все те же

³² Выполнил (укр.).

вопросы, кто поспокойнее, а кто криком. Повторяли все те же призывы и угрозы.

И я тоже не раз приставал к понурому, сонному дядьке, осолевшему от надсадного галдения, от духоты и бессонницы.

— Неужели же вы не понимаете? Вы только подумайте: ведь рабочие — ваши братья, ваши сыны. Они ждут хлеба, просят хлеба, чтоб жить, чтоб работать. Ну, подумайте.

Женщину, утиравшую мокрые от пота и слез щеки концами бахромчатого платка, повязанного кочаном вокруг головы, я уговаривал:

— Вы же сами мать, вы ж своих детей любите. Ну, вот представьте себе, как матери в городах сейчас плачут; не знают, чем кормить своих малых. Вы их пожалейте и своих пожалейте. Ведь тот хлеб, что вы спрятали, вы и у своих детей забрали. А если вас накажут, что будет? Ваши дети без матери голодные останутся.

Не реже, чем через день, мы выпускали газету-листочку. Цифры хлебосдачи, упреки несознательным, проклятия разоблаченным саботажникам.

Единоличников, которые числились должниками по хлебопоставке, всячески утесняли. В их хатах проводили ночные собрания, к ним вселяли приезжих уполномоченных, заготовителей, ревизоров, шефов. Колхозники уже давно выполнили и перевыполнили план хлебосдачи и поэтому были освобождены от постоев и прочих повинностей. А единоличников заставляли ежедневно запрягать своих отощавших лошадей — возить дрова для сельсовета, для школы, перевозить командированных в соседние колхозы или в Миргород и просто часами дежурить у сельсовета, — авось, понадобится «транспорт».

Это были предварительные, предупредительные меры воздействия. Наиболее упорных или дерзких председатель сельсовета сажал в «холодную». В задней комнате сельсовета окно забили досками, а дверь прижимали большим колом.

Охрану несли дежурные «сельисполнители». Они были на побегушках у председателя, разносили казенную почту, созывали собрания, а в отсутствие членов сельсовета «слушали» телефон. И они же выводили арестантов на двор, передавали им харчи и одежду. У властей не было средств кормить заключенных. Родственники приносили им, что могли; а бобылям и задержанным бродягам приходилось выпрашивать еду у сокамерников. Содержались там вместе мужчины и женщины, все лежали вповалку на соломе. И комната действительно была холодной, так как единственная сельсоветская печка едва обогревала исполнителей, зябнувших в коридоре.

«Задерживать» при сельсовете в холодной полагалось не больше недели. После чего задержанных либо отпускали, либо препровождали в район.

Единственный в селе милиционер, Василь-мильтон, бывший армейский старшина, плечистый, красномордый, выпивоха и ерник, помахивал наганом. Двое исполнителей с палками выводили продрогших, темнолицых от грязи людей, кутавшихся в рваные кожухи и мешковину. У крыльца их усаживали в сани. Возчиками были иногда их родственники, такие же несдатчики. Василь зычно распорядился:

— Сидай, вшивая команда! Сидай теснее! Чтоб и вам теплее, и нам от ваших вшей подальше!

А Ващенко входил в холодную и говорил оставшимся:

— Давай, тикай до хат. И чтоб выполняли! А то в другой раз хуже будет. Тут, хоть холодно, да в своем селе. А из района поедете белых ведмедей пасти. Там похолодней будет.

Высшей мерой воздействия на злостных несдатчиков было «бесспорное изъятие». Бригада, состоявшая из нескольких молодых колхозников и членов сельсовета, руководимая, как правило, самим Ващенко, обыскивала хату, сарай, двор и забирала все запасы зерновых, уводила корову, лошадь, свиней.

В иных случаях милосердствовали, оставляли картофель, горох, кукурузу для пропитания семьи. Но более суровые очищали все, «под метелку». И тогда забирали также «все ценности и излиш-

ки одежды»: иконы с окладами, самовары, коврики с картинками, даже металлическую посуду — может, она серебро. И деньги, которые находили спрятанными. Особая инструкция предписывала изымать золото, серебро и валюту. В нескольких случаях находили золотые царские монеты — пятерки, десятирублевки. Но обычно сокровенные клады оказывались бумажными: старые купюры с Петром и Екатериной, неказистые линиялые керенки, гетманские и петлюровские «шаги», деникинские «колокольчики», а также советские «лимоны» (миллионы) и «лимонарды» (миллиарды). Попадались и советские серебряные рубли, полтинники и даже медные пятаки. «Те монеты, которые еще до колхоза чеканили, правильнее были».

Несколько раз мы с Володей присутствовали при таких грабительских налетах. Даже участвовали: нам поручали составлять опись изъятого.

— Нехай товарищи шефы из Харькова проверяют, чтоб все как следует было. Давай весы. Все твое пшено по фунту перевешаем. Мы себе и пшенички не возьмем.

Иступленно выли женщины, цепляясь за мешки:

— Ой, то ж последнее! То ж детям на кашу! Ей-Богу, дети голодные будут!

Вопили, падая на сундуки:

— Ой, то ж память от покойной мамы! Ратуйте, люди, тут мое приданое, ще ненадеванное!..

Я слышал, как, вторя им, кричат дети, заходятся, захлебываются криком. И видел взгляды мужчин: испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием или взблескивающие полубезумной, злою лихостью.

— Берите. Забирайте. Все берите. От еще в печи горшок борща. Хоть пустой, без мяса. А все ж таки: бураки, картопля, капуста. И посоленный! Забирайте, товарищи-граждане! Вот почекайте, я разуюсь... Чоботы, хоть и латанные-перелатанные, а, может, еще сгодятся для пролетариата, для дорогой Советской власти...

Было мучительно трудно все это видеть и слышать. И тем более, самому участвовать. Хотя нет, бездейтельно присутствовать

было еще труднее, чем, когда пытался кого-то уговаривать, что-то объяснять... И уговаривал себя, объяснял себе. Нельзя поддаваться расслабляющей жалости. Мы вершим историческую необходимость. Исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки.

Оставалось только заботиться, чтоб не было «излишних» жестокостей, чтоб чересчур азартный хлопец-активист не лез с кулаками на женщину, которая крестом легла на сундук: «Не отдам!» И чтоб изъятое добро было точно описано, в двух экземплярах. Ведь условием такого изъятия было: сдашь хлеб, вернем все, что забрали.

Мои сомнения, совесть и простые чувства сострадания, жалости и стыда подавлял, так сказать, рационалистический фанатизм, но питали его не только умозрительные газетные и книжные источники. Убедительнее были те люди, которые в моих глазах воплощали, олицетворяли нашу правду и нашу справедливость, те, кто своей жизнью подтверждали: необходимо, стиснув зубы и стиснув сердце, исполнять все, что велят партия и Советская власть.

Таковыми наставниками практического большевизма были для меня Чередниченко, Илья Фрид, Коля Мельников, директор ХПЗ Владимир, Ващенко и председатель Поповского сельсовета Бубырь.

Рано осиротевший батрацкий сын, он тоже с детства работал у кулаков. Шестнадцатилетним пошел в ЧОН³³ воевал с «зелеными». Был тяжело ранен. Потом стал одним из первых комсомольцев на Полтавщине, секретарствовал в сельских ячейках. Председателем сельсовета в Поповке его избрали накануне коллективизации.

Высокий, очень худой. Глаза бледной, иконной синевы; острый большой нос, впалые щеки с переменчивым лихорадочным румянцем, бледный тонкий рот. Лицо аскетического инока. Старый, темно-коричневый кожух, висевший на нем, как бурка был распахнут и в самые сильные морозы. Серая барашковая шапка, небрежно сдвинутая на затылок, открывала высокий бледный лоб.

— Меня моя чахотка греет лучше шубы.

³³ Части Особого Назначения — нерегулярные военные формирования в 1919–1921 гг.

Сбросив кожух, он оставался в застиранной армейской гимнастерке и потертых синих бриджах с леями. Сапоги казались непомерно большими, ноги торчали, как палки. Девчата дразнили его «крук» (журавль). Жил он попеременно то у одного, то у другого члена сельсовета.

— Не маю права жениться. Через мою работу и через мою чухотку. Работа моя такая, что может завтра, а может через месяц куркульская пуля достанет. Если свою хату заведу, обязательно спалят. Зачем же дивчину или бабу на такую скаженную жизнь уводить? Чтoб она день и ночь страхом жила, а потом вдовой бедовала? И чухотка не позволяет. Я ж бациллоноситель! Шо такое палочки Коха, знаете? У меня открытый процесс. Каверна! Значит, дырка в легком. Как раз там, где махновская пуля прошила. Доктор смотрел через этот... герент... чи рантгет... ну, такая машина хитрая, что все потроха насквозь видно. Сказал, что дырка уже с кулак.

Он говорил об этом едва ли не с гордостью и куда охотнее, чем о том, как в него стреляли на прошлой неделе. Бубырь просто не знал страха. Не умел бояться и презрительно удивлялся, замечая страх в других.

— Ты что, может, в селе Трусы родился? Может, и в черта веруешь и ведьмаков боишься? Нехай куркули нас бояться, а мы не будем. Нам нечего бояться. Все люди помрут. Еще никто не дожил до бессмертия. А тому, кто не боится, и умирать легче.

Он говорил высоким глуховатым голосом. И глядел, не мигая, пристально в глаза собеседнику.

За несколько километров от Поповки были «куркульские высылки». Мужей и отцов выслали на Север, а семьи выгнали из села, подальше. И они жили в землянках, в лесном овраге. По слухам там же скрывались также их родичи, бежавшие из ссылок и тюрем. Бубырь поехал туда напоминать о выплате налога. Ехал один, верхом. В лесу в него стреляли. Самодельная пуля пробила кожух, ранила лошадь. Но он не повернул обратно. В овражном поселке нашел, кого искал, достал смолы, замазал рану коню. Обратно повел его на

поводу. И взял несколько молодых «куркулят» заложниками, они должны были проводить его обратно.

— Под наганом их вел. И по дороге агитировал.

После этого случая секретарь партийной ячейки потребовал, чтобы с наступлением темноты и за пределами села Бубырь никогда не оставался один, чтобы его сопровождали не менее двух крепких хлопцев из колхозного актива. Бубырь посмеивался:

— Партийная дисциплина, як фронтовая. Нравится, не нравится — есть, товарищ командир.

Секретарем Поповской партячейки был пожилой харьковский рабочий-двадцатипятилетний. Медлительный, казавшийся флегматичным, он редко участвовал в больших собраниях — не умел говорить по-украински. Целые дни проводил в колхозных усадьбах, в МТС, на ветеринарном участке. Его тревожило, что медленно ремонтируются плуги, бороны, сеялки. Нередко он и сам становился к верстаку или к наковальне; ковал даже новые лемеха — тонкая работа для мастера. Весело позванивая молотком, работал споро и оживлялся, казалось, молодел.

К Бубырю он относился, как строгий отец к шалому сыну:

— Ты ж псих малохолный, а не председатель сельсовета. Голова сельрады! Тоже мне голова! Кровью харкает, а гоняет день и ночь, как заведенный. Не ест, не спит. Шурует за всех, и за комсомол, и за хлебозаготовителей, и за милицию, и за кооперацию. Ты ж сам весь хлеб не соберешь. А за месяц-другой свалишься, как загнанная кляча. Еще в прошлом году ему райком путевку достал. Через бюро обкома хлопотали. В Крым, в самый лучший туберкулезный санаторий. На три месяца. Там доктора высшей квалификации. Лекарства, приборы всякие. Получше, чем за границей. Так он, псих чахоточный, не поехал. Ему, видите ли, надо в Поповке всех куркулей и подкулачников извести. Партячейка постановила ему лечиться ехать, а он — ноль внимания.

Бубырь ухмылялся.

— Не-ет, тут твоя дисциплина кончается, товарищ секретарь. На фронте командуй, а чтоб с фронта выгонять — я не дамся. В Крым

я и сам хочу... Я там четыре года назад был. В Ливадии. В царском дворце жил. Без шуток, как раз там, где раньше цари квартировали, когда на дачу ездили. Ну и жизнь была! Постельки белые. Подушки, как у невесты. Простыньки чистенькие. Доктора, фельдшера, сестры кругом тебя ходят, как мамы родные. А харчи — точно: царские. Бульоны-консомоны, курочки, ячки. Масло только сливочное — не сметанное. Пирожные всякие... А природа — райская. Воздух — чистый мед. Если глубоко дышать, с непривычки захмелеешь, как с горилки. В тот Крым я хочу еще поехать, погреться. Может, и вправду каверна моя усохнет. Но только сначала хлеб сдадим. Выполним заготовку. Как снег сойдет и ямы видно будет. Они ж на полях закапывали. Это точно. Так и в прошлом году было. На дальних полях, чтоб и сосед не видел, где копали. Но как снег потает, пахоть будем и найдем. Потом посевную запустим. Тогда я в Крым и подамся.

— Да ты ж раньше загнешься. У тебя уже прошлой весной кровь с горла, как из кранта, шла.

— Ну, если загнусь, то поховеете. А ты на могиле хорошую речугу скажешь: «Погиб дорогой товарищ на боевом посту. Найкраший ему памятник — сто процентов хлебосдачи!»

И засмеялся коротким, злым хохотком, похожим на кашель.

В селе Бубыря многие боялись. Иные жалели. Некоторые ненавидели. От жалости он сердито отмахивался. Ненавистью гордился. И охотно повторял поговорку, которую сочинили остроязыкие поповские бабы: «Де побурят бубыри, там не станет и гузырив³⁴».

Наша редакция размещалась в Поповке, в одной большой комнате, в доме, раньше принадлежавшем лавочнику. Печатник Мишка-малый, курносый, смешливый пройдоха, и наборщик Миша-большой, длинный худой мечтатель, в каждом селе обзаводились подружками и приятелями. У нас постоянно собирались хлопцы и девчата — селькоры, колхозные активисты. Они рассказывали новости, смотрели, как набирается, правится и печатается очередная газета. Гости сиде-

³⁴ Гузыри — конические мешочки из углов старых мешков или наволочек, в которых хранили семена цветов, овощей, лекарственные травы и т. п.

ли на топчанах, служивших нам кроватями, на полу, лускали семечки; парни смолили едкий самосад, плели байки и небылицы.

— Бабуси говорят, что он черту душу променял. Его еще в гражданскую войну банда убила. А черт ему сказав: «Хочешь пожить — отдавай душу. Не хочешь так отдавать, бери на сменку чертову силу на двадцать годов». Вот его теперь ничто не берет, — ни чахотка, ни пуля, ни сокира. Куркули его уже, может, двадцать раз убивали, а он не умирает...

— Ну, это, конечно, старушечья брехня. Религиозные забобоны. Но Бубырь и вправду не такой, как другие люди... И глаз у него особенный, и вся выходка. Не курит, не пьет. До девчат и до баб — безо всякого внимания. Шо ест, когда спит — никому не известно.

— Говорят, он даже на двор не ходит. Только плюет кровью в хустку.

Чаще всего рассказывали, как Бубырь находил самые хитрые ямы.

— Пришел он до того Вдовиченко Грицька — по-уличному Нюхарь зовут — и каже: «Открывай сам свою яму, а то я открою — хуже будет». Тот божится: «Нема ямы, хоть режьте». А Бубырь взял железный щуп и пошел по двору. Потыкал, потыкал и каже: «А ну, отгребайте навоз». А там в углу большая куча навоза лежала. Нюхарь только смеется: «Под навозом земля, конечно, мягче, не мерзла. Тут вам и щупа не нужно. Сразу можете приказать копать». «И прикажу. Давай лопаты». Стали мы копать. Земля вроде ворошена. Выкопали большую яму. Уже с головой в ней стоим, а ничего нема. Нюхарь ходит, посмехается: «Вы, дорогие товарищи-граждане, просто як колодец выкопали. Може, еще трошки постараетесь, пока вода буде. А то моей бабе далеко с ведрами ходить». Мы уже и до твердой земли докопали. А Бубырь вроде так и ждал. «Твердо, кажете? А ну, пустите меня». Сам полез в яму и стал по бокам щупать. И все-таки нашел. Нюхарь там, как шахту, устроил: прокопал норы-пещеры крестом от главной ямы. Она пустая, а в норах — по пять крепких лантухов (пятипудовый мешок) пшеницы. Двадцать лантухов. Сто пудов! Нюхарь стал белый, как мертвяк. Ну, его и взяли в милицию. Полный обман, доказанный. Теперь на Сибирь погонят.

— А то еще у другого Вдовиченко — Семена, что Серяком зовут. Тот божился, что уже на Крещение без хлеба остался. Только горохом и макухой семья живет. У него и сын и зять в Красной армии. Так Серяк с Серячихой и с меньшей дочкой до другой дочки-солдатки перебрались. А свою хату замкнули: «Нам всей семьей вместе и теплее и печку одну топить легче». А Бубырь пришел и сказал, чтобы он отчинил свою хату. Походил там, постучал по стенам, по печке: «Холодно, як в поле зимой. Чего не топишь? Чего жмешься? Нема чем?.. А ну, хлопцы, разбирайте печку!» И как наскрозь углядел. Там в печи и под печью мешки замурованные. Отборная пшеничка, не меньше полсотни пудов. Но Серяка в районе пожалели, что у него сын и зять в Красной армии, и что сам он в гражданскую у Буденного воевал, тяжело раненый и всегда в бедняках ходил. Только-только в середняки вышел. Взяли с него штраф и в Миргороде в тюрьме продержали недели с три. Приехал весь вшивый и худой, как щепка.

В Поповке, как и в других селах, в ту зиму были заведены особые ящики, вроде почтовых, «для жалоб и заявлений». Их вывесили в школе, в сельсовете, на ссыпном пункте, в лавке, просто на улице. И призывали подавать письменные заявления, где ямы, где спрятанный хлеб. А подписывать — не обязательно. В этих ящиках нередко находили записки с угрозами, обращенными к Бубырю и вообще ко всем, кто отбирает хлеб. Нам сулили «скорую нещадную смерть», призывали: «Тикайте, гады, пока целы!»

Бубырь, усмехаясь, откладывал такие записки.

— Пошлем в район. Нехай понюхают, какая есть классовая борьба.

За те недели, что мы работали в Поповке, доносов было немного. Бубырь читал их внимательно.

— Это брехня! Видно, сосед на соседа злится. И похоже, какой-то старый писарчук работал: буквочки аккуратные... А вот это — може, и правда. Знаю я этого индюка. Его невестка с свекрами, как кошка с собаками. Наверно, то она и писала.

Или кто с ее родни... И вот тут — кто-то метко поцелял. Я давно уже понимаю, что этот хитрован много хлеба прячет. Только не

догадывался, где. И не хотелось шукать задаром, чтоб не срамиться. Я думал, где-то в поле. А он, видишь, какой хитрый — в стайне, под коровой. Там же земля всегда мягкая. Не побоялся, гад, что навозная юшка на зерно потечет. Укрыл, наверно, крепко. Ну, мы откроем.

После одного из таких достоверных заявлений Бубырь позвал и нас участвовать в беспорном изъятии у середняка Охрима Глушенко, по-уличному — Пивня. Тот не был твердозаданцем и сдал больше половины хлебопоставок по контракту. Но его сын, который стал зятем-приймаком в кулацкой семье, был сослан вместе с тестем. Невестка с матерью и родственниками жила в куркульских выселках. Неизвестный доносчик писал, что Пивень «имеет связь с куркулями», прячет куркульский хлеб и барахло.

Бригаду вел сам Бубырь. Он размашисто вышагивал, откинув полы кожуха. Мы с Володей старались не отставать.

Вход в большую хату был со двора. Едва мы вошли в полутемную прихожую-хатынку, Бубырь метнулся в сторону.

— Стой! Кто тут?!. Чего ховаешься? А ну, вылазь, красуня!

Он крепко держал за обе руки молодую женщину в сбившемся платке и распахнутом полушубке. Она упиралась, тяжело дышала. Темные глаза блестели испуганно и сердито.

— Отцепись! Пусти! Мне до ветру надо!

— А ты потерпи немножко. Ты еще с нами побалакай. Смотрите, какая знатная гостья в нашем селе. Это ж Маруся, Пивнева невестка, куркульская красавица. Давно я тебя не видал. Говорили, совсем уехала в Харьков чи в Москву, на профессора учиться.

Он втянул Марусю в хату. Мы всей кучей ввалились вслед за ними. Хозяин, невысокий, плешивый старик с жиденькими усами, и его жена, моложавая баба, стояли, растерянные, у стола. Девушка лет шестнадцати, их младшая дочь, и две ее подружки жались на лавке за печью. Бубырь посадил Марусю рядом с ними. Она откинула на спину темный шерстяной платок. Под низко повязанной светлой косынкой чернели густые брови. Смуглая, раздумывавшаяся, с маленьким ярким ртом, она и впрямь была очень хороша.

Бубырь начал официальным тоном:

— Гражданин Глущенко Охрим, заявляю вам от имени...

И вдруг порывисто бросился к Марусе, схватил ее за горло:

— А ну, открой рот, стерва! Выплюнь! Открой! Не дам глотать!..

Эй, хлопцы, помогайте. Эта сука что-то в роте сховала!

Маруся отбивалась, тяжело сопя. Прижали к стенке. Бубырь разжал ей зубы ложкой.

— Ага, вон оно что!

Он держал комок непрожеванной бумаги. Маруся громко плакала. Старик застыл молча. Его жена вполголоса причитала: «Ой, што ж это?! Ой, лышенько! Ой, люди добрые, за что?»

Бубырь разгладил на столе бумажку. Брезгливо отер руку о кожих. Прочитал. Хохотнул. Протянул мне.

— Погляди, какой документ секретный!

Справка Миргородской районной поликлиники, выданная гражданке Глущенко Марии в том, что она находилась с... по... января 1933 года на излечении по поводу аборта — прерывания трехмесячной беременности.

— Понял? Трехмесячная! А ее Петрусь уже два года белых медведей пасет... Вот где курва куркульская.

Бубырь посмеивался презрительно. Однако говорил вполголоса только со мной и с Володей. Был заметно смущен. Он небрежно сунул злополучную справку Марусе.

— Забирай свой документ, красуня. И на дальше завсегда запомни: от Бубыря ничего не сховашь.

— Будь ты проклят, сучий сын! Зараза! Холера! Чтоб ты сдох, как жаба на болоте! Чтоб тебе за каждую мою слезу болячки на морде! Чтоб тебя чахотка душила, как ты меня душил! Гадючье семя! Бандит! Чтоб тебе очи повылазили! Чтоб ты своей кровью захлебнулся!

Маруся ругалась и плакала, не утирая больших, злых слез. Стоявший рядом парень хлопнул ее рукавицей по рту.

— А ну заткнись, паскуда цыганьска!

— Да чтоб вы все добра не видели, злодияки, воры, босяки проклятые! Чтоб вы все посдыхали, чтоб ваши матери себе очи выплакали на ваших поганых могилах!..

Бубырь насупился. И сказал негромко:

— А ну замолчи, стерва! Сейчас же. А то свяжем и сунем в холодную клопов и вшей кормить. Заткнись, и чтоб я дыхания твоего не слышал.

Она мгновенно умолкла. Накрылась темным платком так, что и лица не стало видно. Я не заметил, как она потом ушла.

Обыск у Глущенко продолжался несколько часов. В клуне под большим ворохом плотно умятой соломы нашли бочки с пшеницей. Весь чердак был засыпан толстым слоем зерна, а сверху прикрыт сечкой и просто соломой. В клуне установили веялку, стали просеивать зерно, которое сгребали с чердака. Мы все работали. Кто вертел ручку веялки, кто таскал мешки. Хозяин ходил за нами бледный, молчаливый, безропотно услужливый. Хозяйка сидела на печи с дочкой, изредка постанывая и ойкая.

Бубырь под конец сказал нам:

— Глущенко мы карать не будем. Он сам не вредный, тихий дядько. То его жинка гетманит. Она ж и сыну ту Маруську присваивала, знала, что посаг (приданое) богатый. Маруська единственная дочка. Ее батько, — по-уличному его Раком звали, — две мельницы имел, паровую молотилку, бугая и жеребца чистых пород. А детей — только Маруська; неплодный был куркуль. В селе говорили, что мать нагуляла ее от цыгана. И сама она в девках здорово гуляла. С дачником женатым в Полтаву ездила.

Нелегко было ей жениха найти. Хотя давали за ней хорошего коня, корову с теленком и всякого барахла и грошей... А Петро взял ее, не глядячи, и в приймаки пошел; без отказа работал на тестя. Он тихий хлопец, вроде как его батько. Мы с ним еще в школе товарищевали. И в ЧОНе он со мной воевал. Я его агитировал, чтоб не лез в куркули, не брал Маруську. Не послушал ни меня, ни других. Мать слушал. Ну, и влюбленный был сильно. Через эту сучку и попал в ликвидацию класса... Но старого Глущенко не будем карать. Я ему нагрозил, наказал, чтоб еще пошукал у себя, где есть хлеб, а то пошлем в район в гепеу. И тогда уж значит Сибирь — Соловки. Он плакал, все обещал.

Бубырь в этот день говорил с нами больше, чем всегда. Ему было не по себе. Да и нам тоже. Ведь и я держал Марусю за руку, когда он, вцепившись ей в горло, выдавливал изо рта «документ». Тогда я думал: бандитская шпионка... тайное донесение...

А потом было стыдно до тошноты. И сейчас вспоминать стыдно.

В Поповке хлебосдача подвигалась туго. Правда, каждый день на ссыпной пункт привозили то один, то два воза. Но процент выполнения плана еле-еле доползал до шестидесяти.

Неожиданно приехал секретарь харьковского обкома Терехов. Мы с Володей в тот день были заняты в дальнем кутке. И не видели его. Бубырь собрал общее собрание-митинг на площади перед сельсоветом. Терехов сказал речь. Собрание единогласно приняло резолюцию: «В ответ на призыв любимого вождя товарища Терехова³⁵...»

Потом Терехов укатил в другое село ночевать. Велел доложить ему на следующий вечер, сколько хлеба привезут на ссыпной пункт. Но за весь день, как на зло, не привезли ни одного мешка.

Еще накануне пришла на пункт молодая баба и принесла «гузырь» — килограмма полтора пшеницы.

— У нас тут на кутку вчера товарищ с Харькова говорил... Чернявый такой, в синем кожухе, и усы, как у того начальника из Москвы, який три года тому назад нам коров отдал (она притворялась, что не помнит фамилии Сталина). Цей чернявый говорил, що рабочие очень голодуют, що у ихних детей уже хлеба немає. То я и принесла, сколько намела. Остатнюю пшеницу. Хай вже мои дети одну макуху едят...

Хлопцы, рассказывавшие мне об этом, восхищенно злились:

— Вот чертова баба. Никого не боится. И с нас, и с вас надсмехается. Принесла ту пару фунтов, как нищему на паперть. А вокруг дядьки стоят, молчат и радуются на то издевательство. Начальник

³⁵ До 1933–1934 гг. бывало еще, что руководителей областных и краевых организаций называли «вождями» и «любимыми вождями». Позднее это стало титулом одного только Сталина.

сыпного пункта взял гузырь. Жаль, не кинул ей в морду. Но сказал: «Вы, тетенька, если не принесете столько центнеров, сколько нужно, так потом долго плакать будете, этот фунтик вспоминаючи. Как поедете с детьми на Сибирь». А она зыркнула в него оченятами, как ножами. И вроде со слезой: «Ой, так значит, за мое жито и меня же бито. Я ж от сердца принесла, все, что мала... А вы мне еще угрожаете». И пошла, и пошла: «Я до самого Петровского дойду, до Калинина. Мы трудовые хлеборобы. Мы рабочим на помощь...» Вот видите, как ваша агитация действует!

Наша агитация вызвала насмешки этой бабы. Однако речи секретаря обкома Терехова вообще не произвели никакого впечатления. И тогда он распорядился отнять у двух поповских колхозов несколько тонн семенного зерна, приготовленного на весну, с тем, чтобы колхозники потом восполнили из «личных запасов».

Бубырь за эти сутки изменился, как после долгой болезни. Лицо потемнело, сохлось, глаза потускнели, и взгляд стал угрюмо тоскливым. Он чаще кашлял и плевал в грязную тряпку.

— Вот, значит, какой подарок от дорогого вождя. Сегодня с колхоза в бригады пришло только четверо активистов. Трое хлопцев и одна дивчина — самые завязые комсомольцы. Да и те сумные, как на похоронах. А ведь раньше приходили и двадцать, и тридцать, а бывало, и сорок активистов. Кто их теперь заманит?.. Секретарь наш сегодня, вроде утопленник, з воды вынутый. Поехал по бригадам. Сказал, надо завтра по хатам ходить. Объяснять-разъяснять... А что я объясню? Когда колхозники уже четыре встречных плана выполнили... Уже макуху едят. И не с понтом, как те индюки проклятые, что на ямах сидят и голодными представляются. У колхозников ям не было. А мы с них все шкуры дерем. И еще требуем ин-ту-зиаз-ма. Я уже совсем спать не могу. Хожу — думаю. Лежу — думаю. Што же це такое, дорогие товарищи? Снова ошибки, перегибы?.. Или, може, где шкодят какие-то гады, вредители? Ну как я людям вот эту газету покажу?..

Он вытащил из кармана экстренный выпуск районной газеты. «Шапки» были набраны большими, почти афишными литерами:

«Новая победа на хлебном фронте», «Наш ответ на призыв любимого вождя Харьковщины — потоки хлеба».

— Теперь и вы так напечатаете?.. Може, в республиканском масштабе или краевом это называется победа. Но у нас тут, в Поповке, — кто победил? Только не мы, не колхозы, не Советская власть...

Шли сумрачные дни. Как нарочно, и морозы припустили с туманами, жестокими секущими ветрами. Недаром январь по-украински — «сичень»... Победных реляций о поездке Терехова мы печатать не стали. Я не хотел и не мог. И не дал Володе. Из-за этого мы с ним даже поспорили.

После рассказа Бубыря, когда постоянные наши гости, колхозные комсомольцы, внезапно перестали к нам приходить, Володя растерялся так же, как я. Но он был членом партии, а я только комсомольцем. И, хотя ответственным редактором числился я, он считал себя как бы комиссаром. Дня два он просидел над подшивками харьковских и московских газет, которые бережно собирал и хранил. А потом сказал, что мы допустим политическую ошибку, если станем замалчивать такие факты, как участие секретаря обкома в хлебозаготовках.

— Ведь все-таки за один день сильно повысился процент хлебодачи и по селу и по району. Это же факт. И факт политический. А если местный актив недопонимает, так это от растерянности... У них тут, конечно, сильная классовая борьба. Мы ж видим. Но только у Бубыря из-за всего этого, да еще из-за его тяжелой болезни, ослабилась партийность. Это надо понимать. Он впадает в панику. А паника означает оппортунизм. Терехов не от себя лично выступает, а от партии. Он вождь коммунистов области. Не может быть такого, чтобы партия ошибалась, а вот мы с Бубырем были на правильных позициях.

Мы разругались. Моим главным доводом в споре были ссылки на Сталина, на его статьи весны 1930 г., обличавшие «головкружение от успехов» и «перегибы» местных властей.

Но листовку мы не выпустили. И поспешили уехать. Благо из Харькова нас уже несколько раз торопили.

На обратном пути мы провели день в Миргороде; прочли первое из доверительных писем Постышева, обращенных ко всем партийным и советским работникам на селе. Это была тоненькая брошюрка, которую рассылали по райкомам. То было именно письмо — не директива, не воззвание, а товарищеское письмо, рассказывавшее об ошибках, просчетах, убеждавшее, приглашавшее адресатов думать...

Мы восхищались. Володя признал, что Бубырь и я были правы. Когда два года спустя, в феврале 1935 года, меня исключили из комсомола и из университета, обвиняя в связях с троцкистами, Володя был среди тех, кто деятельно помогал мне восстановиться.

В Миргороде мы впервые за долгое время по-настоящему обедали. В столовой райкома нам дали мясной борщ, гуляш и хлеб — не кукурузный, не ячменный, а ржаной. Наши продовольственные карточки в деревнях были ни к чему. А в Миргороде нам сразу выдали по целой буханке хлеба. Сыроватый, с закальцем и с отстающей верхней коркой, но все же настоящий хлеб. Получили мы еще и по куску сала, несколько банок консервов — бычки в томате, — сахар и конфеты — липкие комья карамели. Без карточек мы купили полдюжины пива. И, погрузившись в поезд со всеми этими сокровищами, мы сразу же почувствовали, что несмотря на великолепный обед очень голодны. Поезд был почтовый, тащился долго и пировали мы блаженно.

Уже в день приезда, когда я в заводской редакции рассказывал, как мы работали, мне стало плохо. Рвота, жестокий понос, жар. То был первый приступ тяжелого колихолицистита, который с тех пор так и не удалось залечить. Но именно эта хворь помогла мне начать учиться. Осенью я поступил в университет и вскоре ушел с завода.

О зиме последних заготовок, о неделях великого голода я помнил всегда. И всегда рассказывал. Но записывать начал много лет спустя. И когда я писал, то всплывали все новые воспоминания. Внезапно проступали забытые лица, слышались давно умолкшие голоса. Строчки сплетались в диковинный невод и тащили из темных омутов памяти обломки затонувшей жизни. Одни люди сами

вызывали других. Оживали умершие боли и радости. И проклевывались вовсе новые мысли.

А когда я переписывал черновики и когда читал друзьям, возникали вопросы. Давние — казалось, уже навсегда припечатанные ответами, — поднимались со дна, как рогатые мины старой войны, ржавые, но еще опасные. И совсем новые выныривали неожиданно. Вопросы к истории, к современности, к самому себе.

Как все это могло произойти?

Кто повинен в голоде, погубившем миллионы жизней?

Как я мог в этом участвовать?

В книгах А. Платонова, А. Яшина, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можаяева, Ф. Абрамова изображены те люди и те силы, которые разорвали, разлагали и губили крестьянство.

В повести В. Гроссмана «Все течет...», в «Архипелаге Гулаг» А. Солженицына (глава «Мужицкая чума») запечатлены многие горестные гневные свидетельства и отголоски тех гибельных событий. За рубежом есть об этом научно-статистические, социологические, исторические работы. У нас в стране их не знают. Сама тема все еще запретна. Голод 1933 года продолжают скрывать и десятилетия спустя, как государственную тайну.

Но прав Гете:

И если истина вредна,
Она полезнее обмана.
И если ранит нас она,
Друзья, целебна эта рана

(перевод Б. Заходера)

Записав то, что помнил давно, и что вспомнилось недавно, я решил проверить, дополнить память. В читальном зале Ленинской библиотеки тишина лечебницы и деловитое, неравномерно непрерывное движение вокзала или фабрики.

День за днем я листал пожелтевшие, потускневшие страницы. Постановления, доклады, репортажи. Заметки селькоров. Речи пар-

тийных сановников. Статьи знакомых и незнакомых авторов. Такие же, как и я тогда писал или мог писать.

Голоса тех дней бредили память. Сквозь пыльные завесы казенной словесности пробивались, просвечивали недосказанные, невысказанные, а то и вовсе несказуемые ключья...

Нас воспитывали фанатическими адептами нового вероучения, единственной правильной религии научного социализма. Партия стала нашей воинствующей церковью, несущей всему человечеству вечное спасение, вечный мир и блаженство земного рая. Она победно одолевала все другие церкви, расколы и ереси. Сочинения Маркса, Энгельса и Ленина почитались, как священные писания, а Сталин, как непогрешимый первосвященник.

Заводы, шахты, домны, паровозы, трактора, станки, турбины превратились в предметы культа, сакральные, исполненные благодати («Техника решает все!»). Им поклонялись в стихах, в прозе, в живописи, в кино, в музыке...

518 и 1040!!! (518 новых промышленных строек и 1040 новых МТС) — эти цифры не сходили с газетных страниц, топорщились на миллионах плакатов, сияли и сверкали на стенах, на крышах, их пели и декламировали. Мы знали их наизусть — вот и сегодня помню, и они значили для нас уж никак не меньше, чем для наших внуков значат имена прославленных «звезд» кино, джаза, футбола, хоккея...

Ежедневно газеты печатали сводки выпуска тракторов, автомашин, молотилок. Бесстрастные величины статистики — цифры планов, отчетов, сводок — обретали для нас некую пифагорейски-каббалистическую, завораживающую силу. Когда Сталинградский тракторный стал производить по 120 тракторов в день, я испытал настоящую личную радость.

О борьбе за хлеб тоже вещали цифры, таблицы, сводки.

В 1926–1927 гг. на Украине было заготовлено 197 миллионов пудов.

В 1927–1928 гг. — значительно больше: 261 миллион.

Однако этого было уже недостаточно. Троцкисты и другие левые оппозиционеры призывали повышать налоги, нажимать на кулака. Правые настаивали на более целесообразной политике товарооборота: производить больше сельскохозяйственных орудий, тканей, обуви, предметов потребления, чтобы крестьяне сами хотели продавать больше хлеба.

В 1929 году заготовили 300 миллионов пудов.

В 1930 — уже 464 миллиона!

Эта цифра знаменовала победу коллективизации. Все оказывалось так ясно и просто! В 1929 году на Украине было 3 266 000 единоличных крестьянских хозяйств — океан мелкой собственности! — 200 000 «кулацких» хозяйств были к концу 1930 года «ликвидированы». А значительное большинство середняков и бедняков (73,2% всей посевной площади) объединены в 24 191 колхоз. Согласно этой общедоступной арифметике наша деревня становилась социалистической. «Борьба за хлеб увенчалась победой».

Тогда многое стали называть борьбой. В цеху боролись за план, за снижение брака, против прогулов. В школе боролись против лени, отсталости, недостаточной сознательности. Дворники боролись за чистоту тротуаров. Боролись врачи, литераторы, землекопы, счетоводы... Мы упоенно выкликали припев «Буденовского марша» — одной из самых популярных песен тех лет — «И вся-то наша жизнь есть борьба!...»

За что, против кого и как именно должно бороться в каждое данное мгновение решала партия и ее руководители. Сталин был самым проницательным, самым разумным (тогда его еще не начали называть «великим» и «гениальным»). Он сказал: «Борьба за хлеб — это борьба за социализм». И мы поверили безоговорочно. И позднее верили, что сплошная коллективизация была необходима, чтобы преодолеть своевольные стихии рынка и отсталость единоличного хозяйства, чтобы планомерно снабжать города хлебом, молоком, мясом. А также для того, чтобы перевоспитать миллионы крестьян, этих мелких собственников, а значит, потенциальных буржуев, кулаков, — превратить их в сознательных тружеников, освободить от

«идиотизма деревенской жизни», от невежества и предрассудков, приобщить к культуре, ко всем благам социализма...

Но в 1931 году на Украине заготовили только 434 миллиона тонн — на 30 миллионов меньше, чем в предыдущем году. Одни объясняли это засухой. Другие — плохой работой заготовителей. Третьи — плохой работой колхозов. И почти все говорили о вредительстве.

13 февраля 1932 года был создан Комитет заготовок при Совете труда и Оборона (СТО). Неделю спустя, 21 февраля, было издано постановление о «контрактации зерна нового урожая». Заготовителям предписывалось заключать с крестьянами договора, по которым единоличные хозяйства должны будут сдавать государству от 25 до 30 процентов всего собранного ими зерна, 50 процентов бобовых, 70 процентов подсолнечных. (За день до этого ЦИК постановил лишить советского гражданства 37 проживавших за границей меньшевиков, эсеров, а также Троцкого и членов его семьи. Пятью годами раньше его исключили из партии, в частности, и за «переоценку кулацкой опасности и недооценку середняка».)

Весной 1932 года газеты и докладчики ликовали: «зерновая проблема решена!» Ссылаясь на это, ЦК и Совнарком в постановлении «О плане хлебозаготовок и развитии колхозной торговли» 6 мая 1932 года возвестили «применение новых методов торговли хлебом». Всем колхозникам и единоличникам, которые выполняют план хлебозаготовок и заготовят посевные семена, предоставлялось право с 15 января 1933 года свободно торговать хлебом по рыночным ценам. Для Украины план хлебозаготовок был установлен в 356 миллионов тонн. На 78 миллионов тонн меньше, чем в 1930 г.

Всех этих цифр я потом уже, разумеется, не помнил. И лишь значительно позже сообразил, что «новые методы колхозной торговли» были обещанием возродить несколько видоизмененный НЭП. Государство пыталось восстановить «смычку» и поладить с деревней, еще не окончательно ограбленной.

25 июля 1932 года постановление ЦК и Совнаркома «Об укреплении революционной законности» строжайше запретило «принудительно обобществлять имущество крестьян... произвольно устанавливать твердые задания единоличникам... нарушать колхозную демократию (и в частности, «принцип выборности»). Запрещалось также «командовать..., администрировать..., мешать колхозной торговле».

А 7 августа был издан закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении социалистической собственности». Этот закон был придуман и написан лично Сталиным³⁶. В преамбуле сказано: «Покушающиеся на общественную собственность должны рассматриваться как враги народа». Впервые официально применялось то понятие, которое впоследствии стало обиходным в судах, в газетах, в публичных речах и в частном быту. В 1938 г. Вышинский на процессах требовал расстрела врагов народа Бухарина, Пятакова, Рыкова. Охранник на лагерной вышке рапортовал: «Пост по охране врагов народа сдал... принял».

22 августа новое постановление ЦК и СНК «О борьбе со спекуляцией» — крестьянин, продавший свой хлеб, не дожидаясь официального разрешения, рисковал быть зачисленным в спекулянты. В этом постановлении уже и речи не было о законности, о судах, оно обязывало «ОГПУ, органы прокуратуры и местные органы власти... применять заключение в концентрационном лагере сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии».

Так постановления не законодательных ведомств (ЦК партии) заменяли и «дополняли» законы, одновременно препоручая судебные функции ОГПУ! Так в ходе борьбы за хлеб вырабатывались и пропагандировались обоснования и мнимо-законные средства тех бессудных расправ, которые в последующие годы обрекли на гибель, на страдания миллионы людей.

Августовские указы стали смертоносно действенны. Они контрпунктно развивали те майско-июньские постановления, которые сулили свободную торговлю, но остались пустыми бумажками.

³⁶ И. Сталин, Собр. соч., т. 13, М., 1952, стр. 409.

Однако ни тогда, ни позднее я не ощущал этих противоречий.

За рубежами лютовал всемирный кризис. Каждый день газеты сообщали о голоде, о безработице, о разгоне демонстраций, о том, как в Америке сжигают хлеб, выливают в канавы молоко, как в Китае пытаются, казнят...

И в тех же газетах телеграммы, статьи, очерки рассказывали о наших новых заводах, домнах, МТС, о все новых и новых успехах, достижениях, все более грандиозных замыслах. Правда, немало было и тревожных корреспонденций, обличительных заметок... В отсталом колхозе плохо убрали урожай. Растяпы в тресте не углядели вредителей. Бесчестные хозяйственники воровали. Несознательные рабочие прогуливали или скрывали брак. Несознательные колхозники лодырничали.

Но дурные вести не могли обескуражить. На то и суровые будни. Борьба.

У нас на ХПЗ в 1932 г. строили новые цеха: термический, корпусной, моторный. Приезжал Орджоникидзе, ходил по заводу, разговаривал и с инженерами, и с рабочими. Сердито горячился, что все еще не выполняется план. Мне он сказал:

«Газетки выпускать умеете. Это немножко легче, чем танки... А скажи, редактор, почему опять недельное задание в прорыве? Ах, литье подкачало и корпуса? Смежники виноваты? Это все говорят — и директор, и партком, и начальники, и подчиненные. А рабкоры обязаны находить виновных на месте. Кто твой лучший рабкор? Пошли, покажи. Может, хоть он не боится критиковать свое начальство, если редактор боится!»

Лучший рабкор — наладчик Максим Приходько тоже говорил, — вернее, орал сквозь грохотание сборки — про смежников, поставляющих недоброкачественные корпуса, и про брак в сталелитейном. Орджоникидзе отмахнулся.

— Все вы тут одним миром мазаны. Нигде близко виноватых нет. Только далеко, только подальше.

Максим перекрикивал гудение моторов:

— Ни Гнат не виноват, ни Калина не винна, одна хата виновата, шо пустила на ночь Гната.

Все засмеялись. Описывая встречу наркома с рабкорами, я, к сожалению, не мог привести шутку Максима: по нашим тогдашним понятиям фривольный намек был недопустим в серьезной заводской газете.

Осенью я позволил себе, наконец, взять отпуск. Мы не знали отпусков и почти не пользовались выходными с начала пятилетки. Надя работала тогда в заводской лаборатории. Ей тоже дали отпуск. И в октябре мы оба впервые в жизни попали в Крым — получили путевки в дом отдыха в Ялте...

В Ялте мы подружились с Альфредом Павловским. Немецкий рабочий-коммунист, отпущенный из лейпцигской тюрьмы под залог на три месяца, чтобы подлечить туберкулез, он прожил в санатории только шесть недель. Предстояли внеочередные выборы в рейхстаг, и он не мог оставаться вдали, не хотел больше лечиться; писал в Коминтерн, в МОПР, требуя, чтобы его отпустили домой. МОПР не позволял, не давал ему денег. Тогда он решил ехать самовольно. В его санатории и в нашем Доме отдыха собрали «шапкой по кругу» больше 100 рублей. Проводы ему устроили в складчину в «Поплавке», приморском ресторанчике на сваях. Каждому из участников пиршества досталось по стопке водки, две кружки пива, полдюжины чебуреков, сочившихся бараньим жиром, и кофе с мороженым. Мы чувствовали себя кутилами, купающимися в роскоши. Пили за здоровье Альфреда, за победу пролетарской революции в Германии, распевали русские и немецкие песни и неизменную «Бандьера Росса». Альфред сказал, что всегда хорошо думал о русских геноссен, о Советском Союзе, который фатерлянд пролетариев всего мира. Но раньше только думал, а теперь чувствует. Всем сердцем чувствует, каждым клочком легких, которые здесь починили. Именно поэтому он должен ехать. Он должен все рассказать немецким рабочим, немецким избирателям. В его городе его хорошо знают и социал-демократы и нацисты. Среди них ведь много

обманутых рабочих парней. Противники называют его мечтателем, фанатиком. Но никто и никогда не называл его вруном. Ему поверят. Он докажет; вот у него снимки, открытки. И мы добудем тысячи новых голосов, мы вместе с вами, геноссен. МОПР, и Крым, и ты, и ты и вы все. Победит список номер три — КПД, Коммунистише Партай Дойчландс. И это будет наша общая победа. Рот фронт!

Зимой, когда я вернулся из деревни уже после того, как Гитлер стал рейхсканцлером, меня ждало письмо из Германии: брат Альфреда писал, что тот успел несколько раз великолепно выступить на собраниях перед выборами, пока полиция не узнала его и не водворила обратно в тюрьму. В их городе коммунисты получили на 20 процентов больше голосов, чем было подано за Тельмана весной³⁷.

В конце октября 1932 г. меня послали в Москву на совещание в редакции журнала «Рабселькор». Наде разрешили взять отпуск за свой счет.

И мы впервые увидели Москву. Мы шли в мавзолей и в Третьяковскую галерею, в музей Революции и в домик Толстого торжественно возбужденные, как паломники, добравшиеся до заповедных святынь.

В Москве у нас не было денег ни на рестораны, ни на театры. По вечерам, когда закрывались музеи и выставки, мы просто ходили по городу, искали те улицы, площади, здания, о которых когда-то читали, слышали на уроках истории. Еще целы были Китайгородская стена, Сухарева башня и Страстной монастырь. Вечером, сэкономив на ужине, мы пошли в кинотеатр «Ударник». И это был праздник. Огромное новое здание — строим уже не только заводы! — двухъярусный кинозал, невиданное величие. Мы смотрели фильм «Встречный» и восприняли его как прекрасное искусство, необычайно правдиво отразившее драматизм нашей жизни. Песню Шостаковича «Нас утро встречает прохладой...» мы оба запомнили сразу и навсегда.

³⁷ Альфред был в 1931 г. осужден по обвинению, в котором в числе других пунктов значилось участие в уличных схватках со штурмовиками, квалифицированное как «соучастие в убийстве». После 1933 г. гитлеровцы убивали всех осужденных такого рода.

Сегодня в мире все новых, все более разнообразных потребностей и взыскательных потребителей наши тогдашние радости могут показаться наивно-убогими. Но в моей памяти осенние дни 1932 года в Ялте и в Москве остались неостудимо, ликующе праздничными.

А между тем, именно в те дни, такие радостные для нас, двадцатилетних влюбленных, уверенных в том, что наша родина — лучшая страна в мире, а наша жизнь полна великого смысла, вокруг нас уже развертывалась новая жестокая битва.

Наша партия, наше государство воевали против крестьян.

В августе и в сентябре «Правда» писала, что на Украине плохо заготавливают хлеб, разбазаривают его, укрывают...

Еще в сентябре приезжали Молотов и Каганович. На митинге, собранном во дворе после окончания первой смены, они говорили об «ошибках, допущенных на Украине по линии заготовок». Тогда мне больше всего запомнилось, как бледный желтоватый Молотов не мог произнести звукосочетания «ст» и, часто называя Сталина, каждый раз натужно заикался. А развязный, жовиальный Каганович играл, видимо, давно привычную роль «пламенного агитатора» и «свойского парня». То, что они говорили об ошибках и недостатках, не встревожило. Тон не был угрожающим. И «конкретных носителей зла» они не называли...

Но сейчас по газетам и журналам тех лет я вижу, что уже в начале сентября можно было ощутить подземные толчки приближавшейся катастрофы.

В июньском номере «Большевика Украины» (№ 13–14) еще звучал бодрый мажор — «Постановление СНК и ЦК о хлебозаготовках означает, что отныне каждый колхоз становится полным хозяином-распорядителем над большей частью произведенного им зерна...» В том же номере приводилась речь Кагановича: «Для того мы боролись и революцию делали, чтобы и рабочий, и крестьянин жили лучше, чем раньше». Он высмеивал тех партийных и советских работников, которые «боятся приусадебных хозяйств... боятся собственной тени».

Еще и в августовском номере (№ 17–18) В.Затонский уверял, что партия ведет к «новому скорому расцвету и благоденствию деревни», предостерегал местные власти от перегибов и уклонов.

Но уже в сентябре тот же журнал (№ 19–20) писал тревожно, что планы хлебозаготовок не выполняются, и в этом повинны «руководители колхозов, коммунисты, руководители партийных ячеек, которые объединились с кулачеством и с петлюровцами, и стали не борцами за хлеб, а агентурой классового врага».

К началу октября на Украине было сдано всего 25,9 процента хлеба, предусмотренного планом хлебозаготовок. Это объясняли плохой работой низовых партийных организаций и колхозного руководства.

В октябре «Большевик Украины» (№ 21–22) гневно обличал колхозы, которые раздают хлеб «на авансы» и по трудодням, еще не сдав ничего государству... «до 30 процентов трудодней начислено руководящим работникам и вовсе посторонним односельчанам — учителям, милиционерам, врачам».

18 ноября секретарь Харьковского обкома Терехов в докладе на собрании городского партактива говорил уже об «угрожающем прорыве в хлебозаготовках, который означает подарок кулаку». Главной причиной неудач он называл «голую идеализацию колхозов». Партия и правительство, оказывается, «переоценили» колхозы, понадеялись, что они честно выполнят свой долг перед державой, сдадут хлеб и потом будут свободно торговать. А колхозы вместо этого «разбазаривают урожай на авансы, на общественное питание, на разные фонды». Он требовал немедленно отобрать хлеб, выданный «неправильно» на авансы колхозникам, а также «решительнее нажимать на единоличников».

19 ноября Совнарком и ЦК постановили обложить новым «единоназовым налогом» единоличные хозяйства. Сверх всех других поборов крестьяне должны были отдать государству еще от 100 до 170 процентов причитающегося с них сельскохозяйственного налога, а «кулацкие» хозяйства — 200 процентов. Местным властям давалось право повышать, даже удваивать ставки для тех, кто не сдал хлеб.

2 декабря СНК и ЦК разрешили «свободную торговлю хлебом в Московской области и в Татарской АССР», которые «выполнили планы хлебозаготовок». То был «пряник». Но кнуты хлестали все нещаднее. 3 декабря Совнарком распорядился «подвергать уголовному преследованию за расходование хлебных фондов»... и строго судить руководителей колхозов, которые из хлебных фондов, предусмотренных и разрешенных ранее, выдавали хлеб строителям, милиционерам, в больницы и т. д.

6 декабря Совнарком постановил «заносить на черную доску деревни и колхозы, не выполнившие плановые обязательства по сдаче хлеба». В таких деревнях надлежало «немедленно прекратить торговлю... вывезти все наличные товары из кооперативных и государственных лавок».

К этому правительственному распоряжению годился бы эпиграф: «Сарынь на кичку! Руки вверх! Хлеб или жизнь!»

7 декабря ЦИК СССР постановил изъять из ведения сельских судов все дела «О хищении общественного имущества». За сельскими судами осталось право судить только мелкие кражи (на сумму не свыше 50 рублей) и только личной собственности.

Это было несколько запоздалое дополнение к закону от 7 августа. Сельские суды не могли приговаривать к смерти и к длительным срокам заключения. А каждый посягнувший на государственную или колхозную собственность — на хлеб! — был потенциальным смертником.

10 декабря было опубликовано решение Политбюро ЦК ВКП(б) провести новую чистку партии и на это время прекратить прием в кандидаты.

27 декабря ЦИК издал постановление о паспортах, которые вводились для горожан, чтобы «лучше учитывать население», «разгрузить города» и «очистить их от кулацких уголовных элементов».

Мой отец и некоторые старики на заводе были недовольны, говорили, что паспорта — подражание царской, полицейской бюрократии; я спорил, возмущался, — как можно даже сравнивать?

А ведь то закладывалась одна из административно-правовых основ нового крепостничества и беспримерной тоталитарной государственности. «Кулацкими элементами», от которых надлежало очищать города, оказались *все* крестьяне, уезжавшие из деревни без особого разрешения местной власти. Паспортный режим снова «прикрепил» крестьян, как это было до 1861 года.

Система обязательных прописок и донныне означает административный надзор над всеми гражданами вообще. И многих, едва ли не всех советских людей, ограничивает в праве выбирать место жительства. Благодаря той сталинской паспортизации 1932–1933 годов и сегодня можно не пускать крымских татар в Крым, немцев Поволжья на Волгу, месхов и греков в Грузию, можно запрещать политзаключенным, отбывшим сроки, возвращаться в родные места. Борьба за хлеб в 1932 году начиналась отступательными примирительными маневрами. Так было в мае и в июне. Но уже в августе наметился крутой поворот. И государство перешло в нервически беспорядочное, яростное наступление. Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели — добывать хлеб.

Наша выездная редакция была одной из несметного множества наспех призванных войсковых частей — вернее, частичек — паникующего хлебного фронта.

В январе 1933 года заговорил сам Главнокомандующий.

Собрался пленум ЦК; Сталин докладывал. Он не сказал ни слова об угрозе голода. Зато много твердил, что обострится классовая борьба, а те, кто «склонны к контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления классовой борьбы... перерожденцы либо двурушники, которых надо гнать вон из партии». Едва ли не главным выводом из его доклада был призыв к «революционной бдительности».

В речи «О работе в деревне» он признал, что, хотя в 1932 году хлеба собрали больше, чем в 1931, но «хлебозаготовки прошли с большими затруднениями... объявление колхозной торговли оз-

начает легализацию рыночной цены на хлеб, более высокой, чем установленная государственная цена. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было вызвать у крестьян некоторую сдержанность в деле сдачи хлеба государству».

Уже Ленин писал о грубости Сталина. Злобно-грубыми бывали почти все его полемические выступления. Однако массовые расправы с крестьянами в 1930 году, ограбление миллионов и насильственную коллективизацию он снисходительно назвал «головокружением от успехов». О законе от 7 августа 1932 года, который грозил смертью сотням тысяч людей, сказал, что он «не страдает особой мягкостью». И столь же эфемически говорил он о неудачах хлебозаготовок.

«Деревенские работники не сумели учесть новой обстановки в деревне», не предусмотрели, не учли «сдержанности крестьян» и поэтому «не выполнили своего долга... всемерно усилить и подгонять хлебозаготовки». Он самокритично признавался: «ЦК и Совнарком несколько переоценили ленинскую закалку и прозорливость наших работников на местах». Тогда как в противоположность единоличникам, колхозники «требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства»(?!).

Он так и сказал без обиняков: «Партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами... должна входить во все детали (!!!) колхозной жизни» и т. д.

Сталин доказывал, что нельзя «переоценивать колхозы... превращать их в иконы». Хотя колхоз — это «новая, социалистическая форма организации хозяйства», но ведь главное — «не форма, а содержание» (словосочетание «форма организации» на четырех страницах повторено 17 раз).

Он утверждал, что колхозы *«не только не гарантированы от проникновения антисоветских элементов, но представляют даже на первое время некоторые удобства для использования их контрреволюционерами»*. И прямо сравнил колхозы с Советами в 1917 г.,

когда ими «руководили меньшевики и эсэры», напомнил о кронштадтском лозунге «Советы без коммунистов».

Тогда я воспринимал эти рассуждения как пример диалектической проницательности. А когда писал и переписывал эти страницы, внезапно стало понятно: да ведь Сталина испугали именно те новые силы, которые пробуждала, могла пробудить коллективизация. Новые объединения крестьян — пусть поначалу и насильственные, искусственные — кое-где становились, могли стать по настоящему самостоятельными.

Все оппозиции были подавлены, разогнаны по ссылкам и «политизоляторам» (так называли дальние тюрьмы). Кулаки выселены.

Однако в «сдержанности крестьян» он ощутил новую угрозу, тем более страшную, что ее носителями были уже не политические и не идеологические противники, не «классовые враги», а миллионы *по-новому организованных* бедняков и середняков.

Ими руководили такие люди, как Чередниченко, Ващенко, Бубырь, сотни тысяч «низовых» коммунистов, которые верили его словам, лозунгам, обещаниям, верили в программу, провозглашенную ЦК, безоговорочно ее поддерживали.

Но Сталин все больше опасался именно беззаветных, бескорыстных соратников, видел в них угрозу для режима, основанного на противоположности слова и дела. Торжественно возглашаемые идеологические принципы все явственней противоречили зигзагообразной «генеральной линии» государственной политики.

Первоначально планы кооперирования сельского хозяйства и уставы колхозов предусматривали такие возможности общественной жизни в деревне, которые в известной мере были связаны с традициями старой русской общины и украинской «громады». Эти возможности и традиции не противоречили и тем принципам Советов, которые провозглашались в 1917 году. Но были чужды сущности сталинского правления, которое становилось бюрократически-крепостническим самодержавием.

Борьба за хлеб и впрямь была борьбой политической. Независимо от того, насколько это сознавали ее рядовые и руководящие

участники. Действительная самодеятельность в «новых формах организации» крестьян испугала Сталина и его приспешников не меньше, чем их наследников четверть века спустя напугал чешский «социализм с человеческим лицом».

Инстинкт властолюбца придавал аналитическую остроту ограниченной, доктринерски примитивной мысли Сталина и подсказывал ему достаточно эффективные приемы истолкования и «перетолковывания» действительности.

В той речи он снова и снова повторял одни и те же обвинения против колхозников и «товарищей на местах».

А в заключение твердил экстатически-исповедально: «...виноваты во всем только *мы* (подчеркнуто в подлиннике. — Л. К.) коммунисты... *Мы* виноваты в том, что не разглядели... *Мы* виноваты в том, что оторвались от колхозов, почили на лаврах... *Мы* виноваты в том, что все еще переоценивают колхозы как форму организации... *Мы* виноваты в том, что... не уяснили новую тактику классового врага...» (Монарх, возвеличивая единственность своего «я» говорит о себе *мы*. В устах генсека «мы» заменяло «вы». Это было такое же привычное лицемерие, как обращение «товарищи», как рудиментарные ритуалы выборов, отчетных докладов и «коллективных договоров».)

Гипнотизирующе настойчивое повторение простых словосочетаний — постоянная особенность сталинских речей. Так же как отчетливое катехизисное построение: вопрос — ответ, причина — следствие, посылка — вывод и нумерация тезисов: во-первых, во-вторых...

Прилежного ученика семинарии выдают и другие характерные свойства: интонация начетчика, монотонность псаломщика, инквизиторский стиль обличений — нападки на еретиков, отступников, грешников; чередование показной «кротости» с фанатической истовостью; обязательные ссылки на «святых отцов» — Маркса, Энгельса, Ленина и на «козни дьявола» — зарубежных врагов, троцкистов, кулаков.

Однако его типично семинаристской риторике присуще и некое индивидуальное своеобразие. Начинал он, как правило, с простых истин: обещание свободной торговли должно было повлиять на крестьян... Колхозники работают менее ревностно, чем единоличники и т. д. Настойчиво повторяя очевидную правду или правдоподобную полуправду, он постепенно подводил слушателей и читателей к лживым заключениям: в колхозы пролезли враги; местные власти ослеплены, растеряны, развращены либо стали прямыми, сознательными пособниками врагов и т. п.

И выводы он тоже повторял упрямо, надсадно, монотонно, как шаманское камлание. Оснащаемые ленинскими цитатами и сталинскими шуточками заклинания возбуждали массовую паранойю, такую организованную эпидемическую манию — психоз преследователей и преследуемых. Вскоре такие мании стали неотъемлемой особенностью нашего общественного бытия и повседневного быта.

Пленум ЦК решил учредить политотделы МТС и совхозов. Значительно расширялась и усложнялась система централизованного управления сельским хозяйством.

Задачи новосоздаваемых учреждений определялись недвусмысленно: «Решительная борьба с расхищением колхозного добра, борьба с явлениями саботажа мероприятий партии и правительства в области хлебозаготовок и мясозаготовок в колхозах...».

Уже само название — *политотдел* — напоминало о войне. Политотделы были в дивизиях, в армиях. Политотделы МТС должны были не столько вести политическую, организационную и пропагандистскую работу на самих МТС, сколько наблюдать за колхозами («активно участвовать в подборе кадров МТС и правлений и служащих обслуживаемых МТС колхозов, имея в виду как руководящий состав, так и административно-хозяйственных работников»).

Политотделы подчинялись непосредственно «политсектору краевого или областного земуправления» или республиканского Наркомзема, а те в свою очередь — непосредственно политуправлению МТС Союзного Наркомзема. Таким образом, новые *военизированные*

партийно-полицейские ведомства, будучи независимыми от местных властей, создавали прямую «линию передачи» административной энергии, извергаемой центром. А колхозные ячейки и сами колхозы оказывались в двойном подчинении: райкомы и райисполкомы сохраняли полноту власти.

Централизованному иерархическому государству, казалось бы, необходимы послушные и действенные механизмы управления. Однако нашим партийным и государственным властям изначально были свойственны бесплодная суета и бюрократическая возня. При любом кризисе они многократно усиливались, причем безответственные «верхи» перелагали ответственность за свои же нелепые приказы на растерянные «низы», и прилежных исполнителей карали за просчеты распорядителей.

На Украине за 19 месяцев с 1 августа 1930 года до 1 марта 1932 года были заменены 942 руководящих работника райпарткомов. А за последующие 4 месяца еще 716³⁸.

С 1 февраля по 1 ноября 1933 года сменили 237 секретарей райпарткомов и 249 председателей райисполкомов. За то же время проходили чистку 120 000 членов и кандидатов партии: 27 000 были вычищены как «классово враждебные, неустойчивые, разложившиеся»³⁹.

Так борьба за хлеб, война власти против крестьянства оборачивалась еще и саморазрушительным побоищем. Партийные штабы жестоко расправлялись с подчиненными — и с недостаточно бдительными или недостаточно послушными, и со слишком властными, и просто с неудачниками, попадавшими под колеса на очередном крутом повороте «генеральной линии».

19 января 1933 г. был издан новый закон «О поставках зерна государству». Взамен хлебозаготовок вводился единый хлебный налог,

³⁸ «Більшовик України», № 21–22, XI, 1933, стр. 13

³⁹ П. Постышев, «Итоги 1933 сельскохозяйственного года и очередные задачи» — доклад на пленуме ЦК КП/6/У 19.XI.33 г.

который надлежало взимать уже не с урожая, не по договорам и не по твердым заданиям, а с «площади реально обрабатываемой земли».

18 февраля Совнарком СССР разрешил ввести торговлю хлебом в Киевской и Винницкой областях, в ЦЧО и в Грузии.

25 февраля Совнарком и ЦК постановили выделить «семенное пособие» колхозам и единоличникам, оставшимся без посевного зерна. Для Украины предназначалось 20 300 000 пудов. То были новые, но запоздалые пряники.

Уже голодали села Харьковщины, Днепропетровщины, Одещины. И новое тактическое отступление генерального фронта проводили над тысячами свежих могил.

Бедствия, вызванные хаотически непоследовательной «борьбой за хлеб», разрастались и ширились тоже хаотически и неравномерно. В иных местах рядом с голодающими районами были такие, в которых люди все же как-то перебивались, и местные власти даже рапортовали об успехах. В десяти-двадцати километрах от вымиравших, пустевших сел оставались деревни и колхозы, где лишь немногие семьи оказались без хлеба; опухших от недоедания лечили.

Эта чересполосица катастрофы поставляла доводы и бессовестно хитроумным и добросовестно наивным утешителям. Мол, вот на той же самой земле, при тех же объективных условиях, все по-разному. Потому что там партийное руководство не подкачало, не упустило врагов.

«...Хлеб есть, надо только сломить кулацкое сопротивление», — писал в январе журнал «Агитатор для села». А двухнедельник «Колхозный активист» поносил «жалких нытиков, которые доходят до того, что, имея хлеб, сознательно морят голодом себя и своих родных, лишь бы вызвать недовольство других колхозников». (№ 1, стр. 37).

ЦК ВКП/б/ отстранил секретаря Харьковского обкома Р. Терехова — того самого, который в ноябре требовал отнимать у колхозников полученный ими за работу хлеб, а в январе отнял посевное зерно в Поповке, привел в отчаяние Бубыря и наших селькоров.

Партия изгоняла зарвавшегося чинушу, «перегибщика», одного из тех, кто был непосредственно повинен в начинавшемся голоде. Это убеждало в правильности других решений и других расправ с теми, кого объявляли виновниками всех бед.

И мы продолжали верить нашим руководителям и нашим газетам. Верили, вопреки тому, что уже сами видели, узнали, испытали.

...Восемь лет спустя, в августе 1941 года, в мокрых окопах у Волхова, сразу после того, как мы ушли из горевшего Новгорода, я верил, что лишь здесь, на этом гиблом участке огромного фронта, немцы оказались так несоизмеримо, так сокрушительно сильнее нас. День за днем немецкие самолеты осыпали нас бомбами, секли пулеметным огнем. Двухмоторные штурмовики Мессершмиты-110 яростно гонялись за отдельными машинами, даже за пешеходами. Только изредка наш одинокий отчаянный «ястребок» бросался на строй вражеской эскадрильи сбивал одного-другого черно-желтого Юнкерса или Хейнкеля, а потом сам, густо дымя, скользил вниз. Когда телефонист сообщал, что летчик жив, только остался «безлошадным», мы ликующе победно орали «ура!»

Сравнивая показания пленных и все, что я сам видел с НП в стереотрубу, с тем, что было рядом, вокруг и позади до самого Валдая, нельзя было сомневаться, кто сильнее...

У нас в двух танковых дивизиях — 3-ей и 28-ой — оставалось от силы два-три основательно потрепанных танка, и главной заботой было доставать для спешенных танкистов автоматы, винтовки, ручные гранаты, пулеметы. Всего не хватало.

А там, по дороге на Чудово, на Ленинград, катили и катили колонны танков, тяжелых и средних, мчались грузовики с пехотой, тягачи волокли огромные пушки. И мы видели их, и нам нечем было помешать. Артиллеристы проклинали жесткие «лимиты расхода боеприпасов», снова и снова повторяли угрюмую шутку: «Давеча какой-то Ганс опять кричал: «Эй, рус, возьми полмины сдачи, лимит перерасходовал!»

Зато немецкие батареи щедро обкладывали нас всеми калибрами и прицельно, и по площадям в строго определенные часы. Лис-

товки, густо сыпавшиеся после бомбежек, сообщали о новых победах Вермахта по всему фронту от Белого до Черного моря. И каждую ночь уходили от нас к немцам перебежчики из недавно призванных запасников...

Но в один из самых мрачных дней в холодной сырой землянке мы заспорили о том, когда же наконец начнется наше контрнаступление и когда именно мы дойдем до Варшавы и Берлина. Я был среди немногих скептиков, полагавших, что для полного разгрома гитлеровской империи потребуется все же не менее года. Большинство, в том числе и кадровые солдаты и офицеры-танкисты и молодые политработники из новобранцев, отвергали наше «маловерие». И спорили уже о том, к Октябрьским праздникам или к Новому году мы начнем наступать и придем ли в Берлин ко дню Красной Армии или к Первому мая.

В морозно-туманное утро 7 ноября, сразу после жестокой бомбежки, еще струилась земля из потрясенного перекрытия землянки, зажужжал полевой телефон: «Давай, включай радиу, в Москве парад!» И я услышал знакомый голос с грузинским акцентом, интонации спокойной убежденности и слова о победе «через полгода-годик», и совсем необычные, благословляющие слова «пусть осенит вас великое знамя...»

В памяти не остывали боль и ужас 33-го и 37-го годов; я помнил, знал и даже в какой-то мере понимал, как он раньше хитрил, обманывал нас, лгал о прошлом и о настоящем, когда мы вместе с Гитлером громили и делили Польшу, когда постыдно воевали в Финляндии. И все же я опять поверил ему так же, как мои товарищи. И верил даже больше, чем когда-либо раньше. Потому что, пожалуй, именно тогда впервые испытал к нему сердечную, родственную привязанность. Раньше было только уважение, рассудочное, временами боязливое, — непроницаем, непредвидим, суров, жесток, — но именно только уважение к тому, кого я считал гениальным «хозяином», лучшим из возможных вождей моей страны и всех добрых сил мира.

Этой веры и даже этой сердечной приязни не могли разрушить и многие годы тюрем и лагерей, и все новые кошмары послевоен-

ного великодержавия, расправы с целыми народами, с бывшими военнопленными, с «пособниками клики Тито», с космополитами, с «повторниками»...

Понадобилось несколько лет уже после первых разоблачений «культы личности», когда я настойчиво передумывал собственные воспоминания, «выдавливая из себя по капле» мировоззрение и мироощущение, идеологию и психологию рабского доктринерского мифотворчества, чтобы я стал наконец понимать, какого уродливого пигмея вообразил пригожим великаном, как непоправимо губительны были тогдашние наши, — мои, — диалектические иллюзии и слепое доверие.

Сегодня я убежден, что никакие победы и завоевания, ни разгром гитлеровщины, ни полеты космонавтов не могут нас оправдать, не должны рассматриваться как «смягчающие обстоятельства».

И тем менее простительны все рассудочные и эмоциональные предпосылки моей виновности, моего соучастия в тех роковых хлебозаготовках, — при всей их объективной, т.е. общественно-исторической, — и субъективной, т.е. непосредственно-личной, — детерминированности, объяснимости...

Этого греха не отмолить. Ни у кого. И ничем не искупить. Остается только жить с ним возможно пристойней. Для меня это значит — не забывать, не скрывать и стараться рассказывать как можно больше правды, и возможно точнее.

В феврале я болел. Товарищи, приходившие меня навестить, рассказывали: вокзалы забиты толпами крестьян. Целые семьи со стариками и малышами пытаются уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие бродят по улицам, просят подаяния...

Каждую ночь грузовики, крытые брезентом, собирали трупы на вокзалах, под мостами, в подворотнях. Они ездили по городу в те часы, когда никто еще не выходил из домов. Другие такие же машины собирали на улицах бездомных. Совсем истощенных отвозили в больницы. Все лечебницы в городе были переполнены. Морги тоже.

Детей, оставшихся без родных, отправляли в приемники. Но всех, кто покрепче, просто увозили подальше от города и там оставляли.

Пришел отец, вернувшийся из поездки по районам, — проверял, как готовятся к севу сахарной свеклы. Он сидел, горбясь; воспаленные глаза, лицо темное, как после малярии. Но он не был истощен. На сахарных заводах не голодали.

— Да не болен я. Какие сейчас болезни? Ты что, не понимаешь? Душа болит. И мозг разрывается. Я такое видел, чего никогда видеть не приходилось. Не мог бы вообразить. Никому не поверил бы. Ты из района еще до голода уехал. Твое счастье. И то, что болеешь, — повезло.

Приходила мама. Жаловалась на отца.

— Каждый вечер приводит кого-нибудь из приезжих агрономов и пьют — пока не свалятся... Грищенко приехал с женой; та все время плачет; рассказывает такие ужасы. А твой папочка с утра уже натошак за бутылку. Видел, какие глаза у него красные? По ночам не спит, плачет. Это ж какое-то безумие. Люди умирают с голода, а они пьют, как сапожники.

...После болезни я пришел к родителям обедать. У них был гость — Кондрат Петрович, агроном, член партии, участник Гражданской войны. Неулыбчивый шутник и замечательный рассказчик.

Мама возилась на кухне. Кондрат Петрович подвинул мне граненую стопку.

— Ты, сынку, животом хворал? Ну, значит, с перцем. Отец был мрачен и сразу накинулся на меня.

— Все гибнет! Понимаешь? Нет хлеба на селе!... Не в Церабкоопе, не в городском ларьке, а на селе! Умирают от голода хлеборобы! Не босяки беспризорные, не американские безработные, а украинские хлеборобы умирают без хлеба! И это мой дорогой сынок помогал его отнимать. Головы надо было отнять у тех, кто приказывал. Сраной метлой гнать правителей, что Украину довели до голода.

— Не шуми, Зиновий, чего ты на сына кричишь? Он же не член Цека. Давай лучше выпьем за здоровье хлопца. От горилки мозги яснее. Тогда можно вести широкую дискуссию в узком кругу. Это правда: умирают от голода. Страшная правда, будь она проклята! Вот и мой двоюродный брат на Сумщине, и жинка его и теща, и двое детей малых. Один только сын остался, семнадцатилетний, приехал до нас, — отходили. Рассказал: за неделю все поумирали. И еще дядя умер. Выпьем на спомин.

Хай им земля легкая будет... На Украине никогда еще такого не было. В России голод случался. И в старое время, и в 1920 году на Волге. А мы всегда были с хлебом. Но только не спешит ты все хоронить, Зиновий. Мы, агрономы, должны думать не спешно, а медленно, повильно... Как зерно растет. Как солнце ходит. Нехай инженера, шофера быстро думают. Они коло быстрых машин работают. А мы коло земли. У нас другие темпы. У нас только кошки скоро желятятся, оттого слепые рождаются. А ты, сынку, ведь не инженер-шофер? Жаль, что не агроном. Но ты ж в ту газету не на всю жизнь запрягся? Философию хочешь учить? Хорошее дело. Был у нас Грицько Скворода, философ-странник. Светлая голова и великая душа. Жаль, забывают его теперь ради тех гегелей-шмегелей. Нет, я не против, хай и тех учат. Только надо, как батько Тарас завещал: «И чужому научайтесь, и своего не цурайтесь». А мы не только цураемся, а еще и жмем своих так, аж кости трещат. В гражданскую как почистили села... Правда, начали немцы, а там и жовтоблакитные, но потом и мы — червонные, и белые, и зеленые, и паны-поляки... Все приходили за хлебом. Все дядьков, как груши, трясли...

— Только червонные хуже всех. Ты что, не помнишь как пели в селах: «Був царь и царица, булы хлиб и паляница, а настали коммунисты, и не стало чого исты». Тогда эти подразверстки проклятые хлеб и жизнь отнимали. А потом еще хуже.

— Преувеличиваешь, Зиновий, йий-богу, преувеличиваешь и даже перекручуешь. Вспомни, когда война кончилась, когда НЭП дали — как поднялось село? Как жито молодое после дождя. Хоть и полегло, а солнышком пригрело, еще крепче встает, золотом игра-

ет. Помнишь, как мы с тобой тогда на Волыни, на Подолье за буряки старались? Как села богатели! Сколько мы с тобой тогда горилки выпили? Добрый ставок, не меньше. Да и вот под этот борщ выпить надо. Ваши борщи, Софья Борисовна, я б на всеукраинскую выставку посылал. Сколько раз моей бабе наказывал ваш рецепт изучить. Так давайте за хозяйку!

..Что теперь на селе делается, нелегко понять. Вот я селянин с деда-прадеда; я первый в роду учиться пошел, как с Красной Армии вернулся. И агрономическую науку вроде понимаю. Но классовую борьбу и мне бывает нелегко понять. Раньше установка была какая? Даешь культурных хозяев! Помнишь Зиновий? Были с них даже герои Червонной армии, такие, что и Перекоп брали, и Варшаву чуть-чуть не взяли. А потом на землю сели и сразу корни пустили, как дубы. Богатели! А кто за своей землей не дбал, тот был вечный незаможник. У него никакой чернозем не родил, только сорняком зарастал; никакая корова доиться не хотела. Зато он галдел, что его классовый враг зажимает, с его бедняцкого пота-крови жиреет... Да, про классовую борьбу много пишется. Но только не вся правда.

— Больше — брехня. Самая нахальная брехня. От ваших газет-брошюр стошнить может. Раньше троцкисты кричали: «Нажимай на кулака, закручивай гайки!» Как мы радовались, когда им по шапке дали! Когда везде объявили: «Лицом к деревне!»,

«Даешь смычку!». Но ведь это оказалось брехня! Бухарина и Рыкова — интеллигентных, понимающих вождей — выгнали, как мальчишек. А деревню грабить начали... Ты это понимаешь, редактор-философ? Три года уже грабите, хуже, чем все махновцы, чем все продотряды. «Раскулачили!» Тех самых культурных хозяев, на ком держалось село, в кулаки позаписывали и «ликвидировали как класс». Это ваш научный социализм?!

Одним декретом — целый класс. Раз-раз, и в Нарым. Ты, Кондрат, не разводи демагогию. Здесь не собрание ячейки. Чего ты не понимаешь, если все ясно? Завели новое крепостное право обратно через 70 лет! А теперь ты можешь каждый день речи говорить, все

стены плакатами оклеивать, но только на новой панщине никогда не будут селяне работать так, как на своей земле. Чем ты их заставишь? Наганом? Или агитацией: «Гните спины, не жалейте сил! Мировой пролетариат вам спасибо скажет!»? И это вы, материалисты, думаете, что люди могут ради завтрашнего «спасибо» сегодня жилы тянуть? Нет, колхозники никогда не будут настоящими хозяевами села. Но зато грабить колхозы — легче. Вот и выгребли весь хлеб. И вымирает село. Что ж тут недопонимать?

— Опять ты горячку порешь, Зиновий. По фактам правильно говоришь, но с выводами спешишь. «Крепостное право! Панщина! Грабеж!..» Надо ж отличать генеральную линию от перегибов. А ты, как пьяный пожарник, услышал тревогу с каланчи, вскочил на танчанку с насосом и погоняет, а куда — не смотрит. И скачет не в ту сторону, где горит.

— Сам ты пьяный, Кондрат. А горит уже везде. Все села горят. Только насосов нет. Ни у нас с тобой, ни у тех вождей, кто декреты пишет, лозунги кидает. Для них же это только эксперимент. Ты что, не понимаешь? Ученые на лягушках, на собаках опыты делают. А эти научные социалисты на людях экспериментируют. На всем народе. А такие молокососы, как мой сынок, рады стараться. Свое здоровье кладут и чужого не жалеют. А ведь он в селе вырос. Знает, что пшено от пшеницы отличается. Он должен был бы уважать хлебороба. Должен знать цену и крестьянскому поту, и рукам мозолистым, и разуму. Да, да, разуму, не книжному, не газетному умничанью, а здоровому селянскому разуму. Но он прочел десяток брошюр, сотню газеток и, пожалуйста, уже готов учить и своего батьку агронома и всех селян, кто с деда-прадеда хозяева. Он их нахально учит, как лучше вести хозяйство. А его дружки, наверно, еще хуже! Новые панычи с комсомольскими билетами. Да, да, панычи, хоть и не из кадетских корпусов, не из пансионеров.

Но зато нахальнее. Городские пацаны селом командуют... Ну, пусть не пацаны, пусть рабочие, старые партийцы. Пусть они умеют паровозы делать, речи говорить, из пулемета стрелять...

Но ведь не знают они, когда и как пахать, боронить, сеять, полоть, косить. Ни из каких книг им не научиться тому, что ты, Кондрат, и твой батька, и твой дед уже с детства понимали и чувствовали, чему нас с тобой всю жизнь учат. Как земля живет, дышит, что такое первые росточки весной и первый дождь после жары, и как пахнет первая жменя из-под молотилки... Эти новые паны и паньчи ничего такого не чувствуют, ничего не понимают. Но зато командуют, как никакой помещик, никакой исправник не посмел бы. Они-то все и натворили, все эти ячейки, райкомы, эмтээсы, комиссары, подкомиссары. Это же саранча! Хуже саранчи! Та нажрется и улетит или посдыхает...

— Опять спешешь, Зиновий, и опять не туда. Через главное перескакиваешь. Не одни городские товарищи виноваты. Не только центральная власть. В 1927 году, когда села разбогатели, окрепли и когда троцкистов шуганули, грамотные дядьки как рассуждали? — «Наша взяла! Теперь мы в державе первыми будем!» Они старались поменьше продать государству, потому — цены твердые. До весны берегли хлеб, чтоб на базаре дороже стал. А когда с налогом поджали, они и хлеб прятали, и скотину резали. «Наше добро, что хотим, то с ним и делаем. Вы, городские, можете лапу сосать с вашими планами». Тогда и пошла вся коллективизация и ликвидация. Но только мы по-казацки взялись, нахрапом. Шашки вон! Даешь в атаку! Ну, и побили горшки, черепков накрошили... Но кто поправлял? Партия поправляла. Сталин статьи писал про головокружение.

— Писал, писал! А раньше кто приказывал? «Сплошная коллективизация на базе ликвидации...» Они там наверху шкодили, а на вас, на низовых, сваливали. Ты что — не соображаешь?

— Не согласный. Никак не согласный. Шкодили мы все. Вот я — агроном и член бюро райкома. Я тоже старался. Рапорты писал, в барабаны бил, в сурьмы играл. Всех дядьков в колхозы загнали. Всех поросят обобществлять начали. А поправили с центра. И свою ошибку, и наши перегибы. И в прошлом году вышло тоже вроде этого. Колхозы поокрепли. Однако работали ни шатко, ни валко. До колхозной жизни дядькам еще долго привыкать надо. А тут как раз

декрет про хлебозаготовки, и планы снизили. Пообещали: кто выполнит, торгуй вольно. Кто подумал: будет обратно НЭП — тот стал хлеб прятать. А кто не поверил, тот только для себя сеял. Но хлеб-то ведь нужен. Вот с колхозов и потянули, сколько можно и сколько нельзя. У единоличников хлеб в земле гниет, а они сами пухнут, умирают... Страшно получилось. Но кто поправляет? Обратной же партия. Павел Петрович Постышев правильную линию взял. Да все мы умнее стали. Голод — всем урок. Ох, жестокий урок...

— Только мертвые с могил не встанут. Те хлебобобы, кто поумирал и сегодня умирает. И еще завтра умирать будет. Те, кого уже не спасет ни твой Постышев и никакой чудотворец. А мы вот выпьем за помин их души и будем радоваться, что на костях новые уроки учим.

— Не надо, Зиновий, не на-адо! Не растравляй сердце! Прощу тебя, не плюй в душу... Не на-адо. Я правду сказал: не понимаю!... Так что же мне теперь — вешаться или топиться?

Он рванул на груди гимнастерку. По крутым красным скулам побежали мелкие слезы. И голова стала клониться к столу, сероседая, густо-курчавая. Все ниже, ниже.

Мама испуганно всхлипнула.

— Боже мой, Боже мой, ну что вы все спорите? Ведь такое несчастье. Ну что ты пристал к Кондрату Петровичу? У него родные погибли. А ты лезешь с попреками, с политикой! Что, у тебя души нет? Сейчас же извинись. И перестаньте пить. Хоть бы сына пожалел. Левочка такую болезнь перенес. Он же еле ходит. А ты ему водки подливаешь. Кондрат Петрович, дорогой, пусть это будет ваше последнее горе. Вы должны жить для семьи, для детей. И пусть они вам будут здоровы. Станем надеяться на лучшее. Должно же когда-нибудь легче стать?

Отец обнял Кондрата. Они оба плакали пьяными слезами и клялись друг другу в братской любви...

Уже после двух стопок перцовки я ощутил во всем теле зыбкую, жаркую легкость. Кожа на голове запульсировала, будто под ней газированная вода. Стал есть масло прямо ложкой — «для смазки». Но все же разморился и от могучего мамино борща, и от водки.

Спор я слышал внятно, все понимал. Но говорить не решался. Сознал, что хмелею и могу понести неведомо что.

Кондрат Петрович был для меня героем. А с отцом я часто спорил. Считал его добросовестным спецом, но ограниченным, неустойчивым обывателем, отягощенным старыми, эсеровскими предрассудками. Он, как и большинство его друзей-агрономов, раньше сочувствовал эсерам и украинским «боротьбистам».

Однако с тех пор, как начался голод, когда во время болезни я все думал-передумывал виденное и слышанное, гнал непосильные мысли, слушал все новые страшные рассказы, — с тех пор я начал даже не сознавать, нет, а смутно чувствовать некую горькую правду в речах отца. Раньше они только раздражали.

Но вот Кондрат Петрович повторял то же, что и я всегда говорил. И отец повторял то же, что я не раз от него слышал. Но теперь все звучало по-другому. И росло удушающее едкое чувство жестокой вины и, вместе с тем, — бессилия.

Когда спор внезапно сорвался в хмельные слезы, мне стало легче. И я обнимался с ними и говорил Кондрату Петровичу, как с детства уважаю его и люблю.

Выпили по самой последней. Мама перестала плакать и принесла чаю. А мы втроем пели «Ой, на гори, тай женци жнуть» и «Реве тай стогне Днипр широкий».

В конце января 1933 года П.П. Постышев был назначен взамен Терехова секретарем Харьковского обкома и вторым секретарем ЦК КП/б/У. Первым остался Коссиор. Но уже очень скоро именно Постышев оказался главным человеком на Украине. Ему писали прошения, жалобы, деловые и победные отчеты. К нему зывали о помощи, о нем сочиняли песни.

Он часто приезжал на заводы, в деревни. На митингах перед тысячами слушателей и на совещаниях с немногими участниками он держался одинаково безыскусственно просто. О нем рассказывали гарун-аль-рашидовские были и небылицы: он становился в очередь в продовольственных магазинах, в столовых, в банях и вместе

с просителями сидел в приемных различных учреждений. Во время поездки по одному из районов он увидел отвратительные дороги. Секретарь райкома ехал с ним в машине. Постышев попросил секретаря выйти, что-то посмотреть, а затем сказал: «Прогуляйся-ка пешочком, научишься лучше заботиться о дорогах». И уехал.

В Харькове он созывал совещания домоуправов, садовников, дворников, продавцов и говорил то, чего раньше никто не говорил. Что необходимо улучшать быт. Мы привыкли презирать быт: важно лишь общественное бытие. А он доказывал, что нужно заботиться не только о промфинпланах, но еще и о людях, украшать их жизнь. Все это было непривычно и радовало.

По предложению Постышева на заводах во многих цехах устроили кафе-кондитерские. Соевый кофе и соевые пирожные на сахарине продавали без карточек. Эти сласти и нарядные светлые столики на фоне темных прокопченных цехов казались нам живыми приметами социализма. Так же, как баллоны с бесплатной газированной водой, установленные в литейном и кузнечном цехах. Всех дворников Харькова обрядили в новую форму — синяя роба, синие каскетки, белые фартуки, белые рукавицы. На городской конференции Постышева торжественно-шутливо назвали «старшим дворником и садовником» Харькова.

С весны по всему городу начали сажать цветы и кустарники на каждом свободном клочке земли. Вдоль некоторых улиц высаживали взрослые клены и липы. Это представлялось необычайным достижением социалистического научного градостроительства. Тогда же сняли ограды и заборы у парков и садов, даже у самых малых, тех, что при домах. Их заменили низкими, ниже колен, «постышевскими загородками» из бетона или кирпичей. Зелень деревьев и кустов выплеснулась на улицы...

Постышев стал не только для меня героем, вождем, образцом настоящего большевика.

Приступая к этим воспоминаниям, я хотел возможно точнее восстановить свое тогдашнее восприятие людей и событий. О Пос-

тышеве я всегда вспоминал добром. Когда потускнели ореолы книжных героев, когда уже стало ясно, что не придется подражать ни Петру Великому, ни д'Артаньяну, ни Суворову, ни Шерлок Холмсу, неизбывная потребность в олицетворенных идеалах обратилась к революционерам, к *настоящим* большевикам. Такими стали для меня Котовский, Дзержинский, Орджоникидзе, Киров, Блюхер, Якир и, конечно, Постышев.

Когда в 1938 году я услышал о его аресте, то сначала не верил, а потом думал, что он оказался жертвой провокаций, которые удалось осуществить хитроумным вражеским агентам, пролезшим в НКВД и повлиявшим на фанатика Ежова.

Летом и осенью 1941 года на фронте мы вслух говорили о том, что первое поражение Гитлер нанес нам в пору «ежовщины».

После 1953 года я думал, что Постышев погиб именно потому, что был одним из последних ленинцев, был противоположен Сталину, Молотову, Кагановичу, Берии и всем им подобным, беспринципным властолюбцам, своекорыстным и жестоким. Такое представление подтверждали мои воспоминания: я видел его, разговаривал с ним, слушал его речи, читал его открытые письма.

А ведь я помнил, как Постышев «прорабатывал» Скрыпника за национализм, и тот застрелился. Помнил, как жестоко поносил он Кулиша, Вишню, Курбаса, Эпика и других украинских писателей, художников, ученых, уверял, что они заговорщики, агенты фашизма.

Весной 1933 г. на областной конференции рабкоров, мы, делегаты ХПЗ, пришли в комнату за сценой, где отдыхали члены президиума, чтобы показать Постышеву проект резолюции по его докладу. Разговаривал он с нами приветливо, деловито; читал внимательно. И сказал:

— За ОснОву, мОжно, кОнечно. Однако, вОт этО уберите — насчет дОрОгОгО вОждя ПОстышева. Дурная этО манера в вОжди прОизвОдить. ТО ТерехОв был вОждь, а теперь и ПОстышев, и КОссиОр, и ПетрОвский... Всех величаете, в вОжди прОизвОдите. Не гОдится этО, тОварищи. Один тОлько вОждь есть у нас

в партии — тОварищ Сталин. И никаких других. ЭТО надО твь-ОрдО помнить.

Тогда я воспринял это поучение, как неподдельную скромность большевика. Но и много лет спустя, уже с отвращением и стыдом вспоминая годы сталинщины, Постышева я отделял от других сталинцев. Хотя знал, что на Украине «37-ой год начался в 33-ем», именно при Постышеве; знал, что прежде, чем самому погибнуть в застенке, он успел обречь на расправу тысячи людей и на Украине, и в Куйбышеве, куда его назначили секретарем обкома в конце 1937 года. За несколько дней до своего ареста, он громил «врагов народа»... Все это я знал. Помнил. И тем не менее, его приезд на Украину в 1933 году вспоминал как благотворное событие, а его речи, его письма — как беспримерно искренние, правдивые, разумные.

Но вот сорок лет спустя я читаю его «Письмо Харьковского обкома» 19 марта 1933 года. Брошюра в тридцать страниц. Что именно «требуется, чтобы покончить с позорным отставанием сельского хозяйства Харьковской области». Вопросы и выводы пронумерованы (в его прежних речах и статьях еще не было этой сталинской манеры — нумеровать). Однако язык еще нестандартный, непринужденно разговорный, лишь слегка орнаментированный митинговой риторикой. «Первый вопрос важнейший» — засыпка семян. Второй — вывоз семенной ссуды, предоставленной государством. Третий — подвоз горючего. Четвертый — ремонт тракторов. Пятый — как пополнять недостающие семенные фонды. «В селах есть еще спрятанный хлеб... Тому, кто помог открыть яму, давать определенный процент от обнаруженного хлеба». Шестой — о коне. «Самое опасное, что коня к севу не готовят». ...Восьмой — об использовании бросовых земель. «В сорока районах области по неполным данным 79 624 га бросовых земель». (Это огромное пространство, видимо, в значительной степени образовали земли умерших или бежавших от голода).

И, наконец, десятый — «весьма серьезный вопрос». «В отдельных колхозах есть отдельные дворы, которые голодают, а вы, дорогие товарищи, только скулите об этом, только просите помощи из области. Мы в области имеем небольшой резерв для того, чтобы

оказывать продовольственную помощь нуждающимся в период сева, в период прополки свеклы, т. е. в апреле и мае. К тому же, этот резерв крайне ограничен. Сейчас мы этот резерв разбазаривать не намерены и не имеем права.

Почему вы не организуете взаимопомощь в самих колхозах, не изыскиваете источников на месте? Я никак не допускаю, чтобы колхоз не мог предотвратить два-три случая голодухи... Достаньте деньги, купите овощи, корову на мясо, изыщите некоторое количество хлеба у колхозников и организуйте помощь. В первую очередь побеспокойтесь о бригадирах. Нет ли среди них голодающих? Обязательно помогите — это наши командные кадры. Посмотрите, нет ли голодающих среди колхозников с большим количеством трудодней. Помогите им — это лучшая, наиболее честная и добросовестная часть колхозников, это основа колхоза».

Итак — «в отдельных колхозах отдельные дворы»! Но в то же время прямо сказано, что голодают и бригадиры, и лучшие колхозники (о рядовых, «не лучших» — речи нет).

...В Геническом районе единоличник, отец двух красноармейцев, хлебозаготовку выполнил на 80 процентов, но у него отняли корову, самого арестовали, довели семью до голода. В том же районе колхозник, имевший 940 трудодней(!!!), «репрессиями доведен до голодухи», потому что весь колхоз оказался на «черной доске». «В некоторых местах единоличников и колхозников арестовывают все кому не лень. Сплошь и рядом враг подставляет под аресты и репрессии хороших, честных тружеников».

Именно это письмо я вспоминал на протяжении сорока лет как пример отважной искренности. Помнил, что в нем прямо, черным по белому — «голодуха», «арестовывают честных тружеников». А ведь Сталин говорил только о «недостатках работы в деревне... в новых условиях обострившейся классовой борьбы».

19 февраля 1933 года Сталин произнес длинную речь на всесоюзном съезде колхозников-ударников. Он говорил о голоде 1918–1919 годов, «когда рабочим Ленинграда и Москвы в лучшие дни

удавалось выдавать по восьмушке фунта черного хлеба и то наполовину со жмыхами⁴⁰. И это продолжалось не месяц и не полгода, а целых два года. Но рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена... Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьезно разговаривать».

В эти дни уже умирали сотни тысяч крестьян.

Умирали в пустеющих селах, на дорогах, на городских улицах. Уже голодали Украина, Кубань, Поволжье. Но он утверждал, что об этом не стоило *«серьезно разговаривать»*. И мы не разговаривали.

Не только потому, что уже опасно было сомневаться и, тем более, опасно критиковать речи Сталина. И не только потому, что одной из страшных примет массового голода было ощущение бессилия, обреченности. (Еще за два-три года до этого, в начальную пору коллективизации, в иных местах бунтовали. Но к весне 1933 года деревня была смертельно парализована).

Мы не возражали, убежденные, что бедствие произошло не столько по вине партии и государства, сколько из-за неизбежных «объективных» обстоятельств, что голод вызван сопротивлением самоубийственно-несознательных крестьян, вражескими происками и неопытностью, слабостью низовых работников. В той же речи Сталин торжественно обещал «сделать всех колхозников зажиточными».

После этого все докладчики, ораторы, газетчики, лекторы, пропагандисты на разные лады повторяли его обещания. Похвалы вождю и посулы грядущих колхозных благ звучали в те же дни, когда умирали сотни, тысячи голодающих. Эта уныло-монотонная разноголосица должна была заглушать стоны и плач, прорывать страшное безмолвие смерти...

А наш Павел Петрович говорил не так, как все, а по-своему, и, как нам казалось, говорил откровенно, правдиво.

⁴⁰ Восьмушка — т. е. 50 граммов! Этой абсурдной брехни никто не исправил в последующих изданиях в течение двадцати лет так же, как и «досрочное переименование» Петрограда.

Кем же он был в действительности? Когда произошел в нем тот роковой «переход количества в качество», который все нараставшее число обманов и жестоких беззаконий, творимых для торжества революции, для блага социалистического отечества, превращал в привычную лживость, в слепое изуверство?

Когда именно бескорыстное стремление поддерживать Сталина, чтобы сохранить единство партии, чтобы предотвратить опасность троцкистского бонапартизма, чтобы оттеснить честолюбивых сановников и косных партийных «стариков», переросло в безоговорочную холопскую покорность новому самодержцу, кровожадному параноику?

Ответить на эти вопросы по-настоящему я не могу.

В его речах и статьях за 1928–1929 годы, в которых он сурово честил оппозиционеров, ни разу не упоминается имя Сталина; в 1930 году он иногда его сочувственно цитировал. Но с 1932–1933 года нарастали число и накал восторженных эпитетов, а в 1937 году уже звучали ритуальные молитвословия.

Когда я выздоровел, то ездил в подшефные села уже только в короткие командировки, на несколько дней, на неделю.

...Кисло-серое туманное утро. Снег еще не сошел. На темных соломенных крышах белесые пятна и полосы. По обе стороны улицы, вдоль тынов, вдоль хат лежит снег, посеревший, в синеватых оспинах и подтеках. А посередине улицы он перемешан с буро-желтой глинистой грязью, то подтаивающей, то подмерзающей. Колеи и вовсе темные, хотя по селу мало кто ездит.

Тащатся двое саней. Их валко тянут понурые ребристые клячи. Бредут трое возчиков. Поверх шапок навязаны, как башлыки, не то куски дерюги, не то бабьи платки. Грязно-рыжие кафтаны туго перепоясаны тряпичными жгутами. Шагают, медленно переставляя ноги, завернутые в мешковину.

В одних санях лежат два продолговатых куля, накрытые мешком и рогожей. Другие — пусты.

Они минуют слепые хаты; окна забиты или заставлены досками. В других окна целы, но двери распахнуты и обвисли. Видно, что никто не живет.

Подваливают к хате с дымящей трубой. Старший возчик стучит в окно.

— У вас е?

— Ни, слава Богу, нема...

У следующей хаты тот же вопрос. Тот же ответ. И еще у одной.

Подъехали к хатенке с облезшей штукатуркой и бездымной трубой.

— Прыська же вчора живая була...

— Була. А сегодня, бачь, не топить. Молодой возчик, закутанный по-стариковски, идет в хату. Лошади тянутся к тыну. Грызут прутья. Парень возвращается.

— Ще дыхае. На печи лежит. Дал ей воды.

Минуют еще два двора.

Большая хата с чистыми, недавно белеными стенами. И солома на крыше светлая, едва начала темнеть. — У вас е? Из-за окна слабый, бесслезный женский голос.

— Е. Тато померлы цю ночь.

— То несить...

— Сил нема. Я ж одна с детьми.

Возчики переглядываются. Идут втроем. Выносят на мешке худое тело. Лицо закрыто полотенцем. Женщина прислонилась к косяку. Обвисло накинутый платок, угасший взгляд. Медленно крестится.

Тело кладут на вторые сани. Накрывают. Еще один продолговатый куль.

За селом кладбище. На краю у леса — длинный ров, наполовину засыпанный землей и снегом — братская могила. Без креста.

Председатель сельсовета в городском пальто и в старой буденовке вертит ручку телефона. У стола несколько активистов. И шифы из города. Курят. Молчат.

— Алле! Алле! Гражданочка, дайте райвыконком⁴¹. Та я уже целый час кручу. Тут динаму можно запустить от того телефона. Алле! Выконком? Примите сводку. Сегодня фуражной помощи роздано колхозникам... И еще индивидуальникам тоже... Давали муку и пшено. Печеного хлеба нема. По форме «Д» имеем сокращение. Сегодня вывезли пять. Еще двое есть такие, что, может, до завтра доживут... Что значит много? На той неделе куда больше было!.. Фельдшер приезжал, провел инструктаж актива, объяснил, как опухших кормить... Теперь ветеринара надо. Считай, все кони у нас висят. Из-под хвостов букеты — овод лезет. Мы с председателем колхоза и конюхи кто поздоровше, голыми руками коням в жопы лезем, выгребаем того овода. Ремонт начали. Тут шефы хорошо подмогнули. Еще и еще напоминаю: семян у нас не хватит. Что в поставку забрали, что поели. Нужно и пшеницы и жита подкинуть. Там наша точная заявка лежит.

Потом председатель разговаривает с приезжими шефами. Повеселел:

— Обещают за неделю семена прислать.

Закурил папиросу. После махорочных самокруток она тошнотно сладковата. Но из вежливости он одобрительно причмокивает.— Не повезло нашему селу! Можно сказать, не повезло. Хорошая у нас местность. И народ подходящий. Больше 90 процентов в колхозе. В прошлый год хорошо работали. И убрались хорошо. Пшеница 15 центнеров с гектара уродила. Хлебозаготовку выполнили и перевыполнили. Но по району — прорыв. И пошли нам встречные планы. Один, другой. На трудовень почти ничего не осталось. Полкило начислили, да и тех не выдали. И теперь каждый пацан видит, что это перегибы. А ведь еще месяц назад как было: вези хлеб или клади партбилет. Вот и получилась форма «Д». Кто поумирал, кто из села поутикал... Сколько всего, не скажу. Это, может, в районе знают. А нам не сосчитать, кто уехал и живой, а кто по дороге умер?

⁴¹ Райисполком.

Но, в общем, каждая третья хата пустая стоит. И в других тоже форма «Д» была...⁴²

Весной в сельских лавках и в колхозных кладовых раз-два в неделю выдавали пособие: мешочки муки, гороха, круп, консервы, иногда печеный хлеб.

В очередях стояли и сидели женщины, закутанные в платки поверх кожухов или плюшевых жакетов. Им все еще было холодно, даже в солнечные дни. Отечные лица, тусклые, будто незрячие глаза. Мужчин было меньше. Худые, сутулые они казались более истощенными рядом с опухшими закутанными женщинами.

Пугала тишина этих очередей. И старые и молодые бабы разговаривали мало, слабыми голосами. Даже самые сварливые переругивались тихо и как-то бесстрастно.

Председатель сельсовета, очень худой, бледно-желтый — ожившая мумия — старался бодриться, рассказывая шефам:

— На сегодняшний день имеем обратно улучшение. Ни вчера, ни завчера смертности не было. За всю ту неделю только четырех похоронили и то двое — от разных болезней. Застудились и вообще уже старые люди. А кто от недостатка питания — так уже совсем мало стали умирать. И даже можно сказать некоторые больше от несознательности. Как стали помощь получать, как вышла первая травка, первая зелень, начали очень сильно есть. А здоровье ж слабое. Надо помалу, бережно. Но есть такие, что они хоть дорослые дядьки, а хуже малых детей: как увидел борщ или кашу, хоть ма-

⁴² Исследователь, тщательно изучавший материалы советской статистики, утверждает, что в 1931–1934 годах погибли от голода и репрессий не менее шести миллионов человек. В 1932–1934 годах умерли два с половиной миллиона истощенных новорожденных. Население Украины с 1932 до 1938 года не увеличивалось, как за предшествующие годы, а сократилось на 1 миллион. По переписи 1927 года в СССР числилось 31 200 000 украинцев, а по переписи 1939 года (январь) только 28 100 000. (М. Максудов. Потери населения СССР в 1917–1959 гг. Журнал «XX век». Самиздат, 1976 г.).

Когда будут опубликованы те статистические данные, которые и поныне остаются секретными, это, вероятно, позволит точнее узнать, сколько именно людей погибло от голода в 1933 году.

Но и сегодня очевидно — их были миллионы!

китру, хоть ведро, пока все не съест — не отвалится. А потом у него кишки перевертываются не туда, куда надо. Ну вот как у коня, если клевера пережрет или холодной воды перепьет — живот горою и копыта откинул... Или, бывает, что батяк получил свежий хлеб на всю семью — буханки полторы или две, а пока домой нес, все и сжевал. Дети голодные плачут, а он за живот хватается, криком кричит. А потом уже и не дышит. Вот так и помирают, не с голода, а через глупость. Но это все больше мужики. Бабы — те, можно сказать, сознательнее насчет питания. Или терпеливее. И, конечно, они детей больше жалеют. Бабы не так умирают...

Не так, но все же умирали и бабы. Еще и в мае, когда началась прополка овощей. Самая женская работа.

...Жаркий майский полдень. Полольщицы бредут по черным бороздам между рядами ярко зеленых молодых листов. Тяжело ступают. Медленно нагибаются. Еще медленнее разгибаются. Некоторые уже только ползут на четвереньках. Тускло темные узлы среди свежей веселой зелени.

Одна остановилась. Не то прилегла, не то присела. Через час кто-то заметил.

— Ой, лышенько, тетка Одарка, сдается, померли! А я думала, они отдыхают.

...Тело с трудом тащат на растянутых платках. Такие же грязно серые. Такие же безмолвные. Одна потихоньку плачет.

Но весной хоронили уже в отдельных могилах. И в гробах.

Умирали все реже. Во второй половине мая целыми неделями не было похорон.

Июньский день. В колхозный полевой стан приехала районная агитбригада. Парни в расшитых сорочках, в синих шароварах; девчата в венках с лентами, в еще более пестро вышитых сорочках, в разноцветно-многослойных юбках, в нарядных сапожках.

Обеденный перерыв. За дощатыми столами бабы хлебают из глиняных мисок густой кулеш. На очаге под навесом котлы. Пахучий пар вареного пшена.

Бабам жарко: они в белых платках, в светлых кофточках или в холщевых нижних сорочках. Поэтому еще темнее лица и руки, закопченные загаром. Отечных не видно. Почти все очень худые, задубевшие, усохшие, как старая кора на поленьях. И уже не безмолвные. Хотя работали с восхода — «проверяли» свеклу, окучивали картошку, выпалывали сорняки на капустном поле. Молодые пересмеиваются, разглядывая нарядных гостей.

Те выстроились перед столом. Дирижер в пиджачке возглашает сипловатым тенором:

— В честь ударников социалистических полей наш хор исполнит народные песни.

...Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю...

Поют голосисто, дружно. И сразу слышно, что певцы не городские. Поют не округленно-мелодично, как на сценах, на эстрадах, а заводят высоко-высоко, протяжно и громко. Так поют в селах — на гулянках, на свадьбах. Бабы оставили миски, отложили ложки. И застыли. Иные прислонились друг к другу, жмутся кучками. И вдруг одна заплакала. И еще одна. Тихо плачут. Закрывают лица косынками.

В хоре заминка. Дирижер оглянулся. Шепнул. Тоненькая девушка в венке начала весело:

Ой, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким...

Хор подхватил торопливо, залихватски:

Там орала⁴³ дивчинонька
Вольком черненьким...

⁴³ Пахала.

А бабы плачут. Еще одна. И еще одна. Сперва те, кто постарше, а там и молодые. И плачут уже в голос, навзрыд.

Орала, орала,
Втомылась гукаты,
Тай наняла козаченька
На скрипочку граты...

Певцы начали сбиваться. Нарядные девчата-хористки утирают глаза и мокрые щеки. Дирижер оглядывается растерянно.

— Что ж это, товарищи-бабоньки? Что такое? Почему слезы? Кто ж это вас огорчил? Мы ж стараемся повеселее... Бабий плач прорвало криком.

— То не вы, то не вы! Ой, люди добрые! То мы сами. Мы ж больше никогда не спиваем... Ой, когда ж мы только спивали! Мы те песни и во сне уже не слышим... Мы ж все только хоронили... Мы ж сами уже мертвые... Ой, мамочка моя родная, где твои косточки?.. Ой, деточки мои коханные, голубятки мои, я ж над вашими могилками не плакала, я ж вас чужому дала без гробов хоронить...

Закричали, запричитали еще одна, и еще.

Хористы сбились кучей. И несколько девушек в венках заплакали в голос. Дирижер метнулся к бригадиру, который стоит в стороне, с возчиками, привезшими гостей. Мужчины дымят самокрутками, глядят в сторону. Повариха села на землю, закрыла лицо косынкой. Плечи дрожат. Бригадир, широкий, почти квадратный, красновато загорелый, с многодневной, рыжей щетиной до скул, досадливо отмахнулся от дирижера.

— Да заспокойтесь вы, товарищ дорогой... Нехай бабы наплачутся... Слезы-то у них накипели... Теперь за всех плачут. Не мешайте. Выплачутся — легче будет.

*Лето 1975 г.,
г. Пярну*

Глава десятая

КОНЕЦ ЮНОСТИ

Молодость моя, моя чужая молодость!
...Молодость моя, иди к другим.

Марина Цветаева

Философский, исторический и литературный факультеты Харьковского университета после 1933 года разместили в здании, из которого выехало ГПУ–НКВД. В подвалах оставались еще решетки на окнах и железные двери с волчками. Там, в бывших камерах, мы устроили типографию — наборный цех, печатный, склад бумаги. Редакция заняла большую сводчатую полутемную камеру, где и днем приходилось зажигать свет. Уже в первом семестре меня назначили ответственным секретарем. Редактором был доцент-физик, член университетского партбюро. Он преподавал, писал научные работы, недавно женился на красивой студентке, и поэтому был постоянно занят множеством вне редакционных дел; явными заботами о здоровье жены и плохо скрываемой ревнивой тревогой. Тем больше приходилось работать мне. На заводе мы привыкли к штурмам и авралам ежедневной газеты, а листовки для танкового отдела и строителей выпускали не менее десятка в сутки. И работа в еженедельной университетской многотиражке казалась поначалу просто развлечением. Авторы студенты и преподаватели — были куда грамотнее заводских. Их статьи и заметки приходилось только сокращать. Проблемы возникали главным образом из-за соперни-

чества факультетов. Физики и математики традиционно презирали краснобаев-гуманитариев. Они, а также химики, биологи и географы занимались в старом здании на Университетской горке, куда мы ездили трамваем, и воспринимали их как беспокойных туземцев другого континента.

Иногда с утра, перед лекциями, почти в каждую перемену и обязательно после занятий я приходил в подвал верстать, держать корректуру, собирать очередной номер.

Прохладный, сыроватый сумрак бывшей камеры случалось возбуждал тревожные мысли: кто здесь сидел? Не отсюда ли уводили расстреливать?.. Я пытался представить себе, какие они, эти шпионы, петлюровские, белогвардейские заговорщики, фашистские агенты... Почему-то считалось, что оппозиционеров и спецвредителей держат не в подвальных, а в «верхних» камерах, вроде той, в какой побывал и я в 1929 г. О пытках, избиениях я не думал. Это было немислимо.

А ведь уже в 31–32 годах прошла пресловутая «золотая кампания». Ювелиров, часовщиков, зубных врачей, священников, нэпманов и всех, кто считался богатым, кто ездил когда-то за границу, вызывали в «экономотдел» ГПУ и предлагали добровольно сдать имеющееся у них золото, валюту и другие ценности. Взамен обещали «боны Торгсина». (В закрытых магазинах «Торговля с иностранцами», предшественниках нынешних сертификатных «Березок», продавали всякую редкостную снедь и продукты, которые были несравненно лучше получаемых по карточкам.)

Тех, кто отказывался, или давал меньше, чем должен был по мнению оперативников, арестовывали.

В битком набитых камерах нельзя было даже лечь. Полураздетые люди сидели «раскорякою». Горели жарко ослепляющие пятисотваттные лампы, и камеры были натоплены во все времена года. Кормили ржавыми селедками и не давали воды. Но каждого, кто соглашался отдать «утаенное» золото, немедленно отпускали и утешали: в анкетах на вопрос «был ли под судом и следствием», он может отвечать «нет», так как все, что с ним происходило — не арест,

а лишь «временное административное задержание». Нашего соседа, немолодого бухгалтера, который до революции работал в банке, «задерживали» трижды или четырежды. Каждый раз его выкупали жена и родственники, приносявшие золотые монеты. И каждый раз он встречал в камере знакомых, которых тоже вновь и вновь забирали, чтобы «выкачивать золотишко».

Мне было жаль незлобивого старика, а его рассказы о том, что с ним происходило, не вызывали сомнения. Многие люди, чьи родственники, знакомые, соседи побывали в таких камерах, рассказывали о том же — об удушливой тесноте, слепящем свете, пытке жарою и жаждой, о циничных вымогательствах чекистов — «золотоискателей».

— Не отдадите все, не скажете, где спрятали, так и помрете. А там мы возьмем вашу жену, пардон, вдову, или сирот или других родичей. Так неужели вам будет от этого легче лежать в могиле? Ведь они, может, даже не знают, где ваши схованки. Им придется мучиться уже совсем напрасно...

И сам я видел, как мерзли в сельских «холодных» крестьяне, не сдавшие хлебопоставок.

Все это были поганые, жестокие дела. Однако неизбежные. Ведь и хлеб и золото необходимы стране. А прятать драгоценности могли только своекорыстные, классово чуждые людишки. Конечно, случались ошибки; страдали и вовсе ни в чем не повинные. Это плохо. Такого следует избегать. Но из-за отдельных промахов нельзя же прекращать широкое наступление на фронтах пятилетки.

Нет, я не поддавался сомнениям и колебаниям. И добросовестно редактировал и сам сочинял статьи, репортажи, заметки о борьбе против вражеской идеологии в философии, в политэкономии, в истории; обличал «меньшевиствующий идеализм» Деборина, «механическую метафизику» Бухарина, «ползучий эмпиризм» Сарабьянова, примиренчество к «субъективистской» теории относительности Эйнштейна и т. д. и т. п.

Думал ли я о том, насколько справедливы были эти грозные обличения?

Если иногда и задумывался, то бесплодно.

...На фронте, в первые месяцы войны, читая трофейные газеты, журналы, военные документы и слушая немецкое радио, я понимал, что их сводки и корреспонденции часто куда правдивее наших. А их статьи про нас, показания военнопленных, перебежчиков и рассказы жителей оккупированных областей были и не только вымышленными и не слишком преувеличенными.

Все это я объяснял так: гитлеровцы хитроумно используют «малую правду» фактов, событий, обстоятельств, чтобы пропагандировать величайшую ложь нацизма. А нам приходится из-за неблагоприятных условий скрывать, а в иных случаях даже врать, отстаивая и утверждая нашу всемирно-историческую правду.

В годы войны и потом в тюрьме я рассуждал менее примитивно и менее цинично, чем в пору юношеского радикализма. Но понадобилось еще не меньше двух десятилетий, прежде чем я стал различать понятия *искренность* и *нравственность*. Искренним бывает и злодей-фанатик, когда его слова и поступки соответствуют его убеждениям. А нравственен лишь тот, кто постоянно сверяет свои убеждения с жизнью, с тем, куда ведут слова и поступки, определяемые его убеждениями (Достоевский).

И еще позднее начал я сознавать, что «нравственность человека лучше всего выражается в его отношении к слову» (Лев Толстой). «Убийство правдивого слова... было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями» (Лидия Чуковская).

Поднимаясь из редакционно-типографского подвала наверх, я окунался в океан знаний. На лекциях и семинарах старался ничего не упустить. Записывал все возможно подробнее. Читал все, что было обязательным, все, что преподаватели называли «факультативным», не обязательным, выискивал и такие книги, которые вовсе не называли. И, разумеется, хвастался каждым подобным «встречным планом».

Профессор философии В. Чемоданов (брат московского лингвиста) доказывал, что Фалес, Демокрит и Аристотель — прямые предшественники марксистского материализма, что Спиноза был

чистой воды материалистом и атеистом, а Гегель стал по-настоящему велик и гениален лишь после того, что Маркс и Энгельс перевернули его диалектику «с головы на ноги». Тогда как без этого он повинен во многих грехах, и Ленин справедливо писал на полях его сочинений: «врет, идеалистическая сволочь!»

Профессор математики Воробьев так понятно и увлекательно объяснял нам основы аналитической геометрии, дифференциального исчисления, интегрирования и теории вероятности, что мы прощали ему явно примиренческое отношение не только к старинным идеалистам Декарту, Ньютону, Лейбницу, но и к «неисправимому махисту» Эйнштейну.

Политэкономия читал маленький подслеповатый лысый профессор, страстно влюбленный в «Капитал». Он говорил о нем вдохновенно и косноязычно, как говорят о женщине или о стихах. Меня он заразил этой влюбленностью. До глубокой ночи, не уставая, читал я и конспектировал; старался уследить за каждым движением властных мыслей, то плавно растекающихся до необозримой широты, то стремительно порывистых, круто поворачивающих молниенными зигзагами, то нагромождающих утомительные подробности, сложные умозрения, то вспыхивающих поэтической метафорой, шуткой или вырастающих в зримо пластический образ. Главу о первоначальном накоплении читал и впрямь, как поэму.

Профессор истории, пожилая не улыбочивая «парт-тетя», говорила не столько о событиях и фактах, сколько о различных порочных концепциях и теориях. В лекциях по античной истории она прежде всего изобличала всяческие буржуазные, фашистские и «социал-фашистские» толкования, опровергала зловредного Каутского, который представлял раннее христианство источником социалистических и коммунистических идей.

Русскую историю мы учили, «прорабатывая» ошибочные суждения Плеханова, а позднее и Покровского, которого на предшествовавшей экзаменационной сессии полагали главным марксистским историком. И особенно яростно проклинали украинских «буржуазных националистов» — Грушевского, Яворского, Ефремова.

Семинар по истории вела молодая ассистентка, которую мы прозвали «бешеной». Она с неподдельной личной ненавистью поносила Мирабо, жирондистов, глубоко презирала оппортунистов Дантона и Демулена, снисходительно жалела Робеспьера и его сторонников, «ограниченных мелкобуржуазностью» и пылко восторгалась геберистами, бешеными и, конечно, Бабефом.

Лекции по литературе мы слушали на литфаке. Александр Иванович Белецкий был первым, кто объяснил мне, что вторая часть «Фауста» — не рифмованная образованность, а великолепная поэзия. Его лекции учили снова и снова перечитывать «Фауста» и стихи Гете, каждый раз находя в них все новые неожиданные клады.

Языковед профессор Булаховский насмешливо зло полемизировал с Марром, который тогда считался основателем и лидером марксистской лингвистики. Но рассуждения Булаховского были и понятнее и интересней, чем тягостно вязкие статьи Марра — иные оказывались для меня почти непролазными. Я старался критически воспринимать подозрительные по идеализму уроки Булаховского, но покоряли его знания, остроумие, изящная точность мыслей. К тому же тогда казалось, что в языковедении не может быть серьезных политических уклонов.

Именно поэтому два года спустя в Москве я поступил уже в институт иностранных языков, надеясь, что, познавая языки и словесность других народов, буду полезен стране и мировой революции без таких сделок с совестью, которые стали неизбежны для тех, кто занимался философией, политэкономией, новейшей историей, — особенно отечественной, — и журналистикой.

Но еще за год до этого решения, которое мне представлялось трагически смиренным отказом от юношеской мечты о революционной политической деятельности, я хотел изучать прежде всего философию, историю, политэкономия — т. е. приобретать знания, необходимые для участника (а, может быть, и одного из руководителей) грядущих войн и революций.

Впрочем, новую стоическую решимость облегчила давняя любовь к Шиллеру, Гете, Гейне, Байрону, Диккенсу, Гюго, Гвену и мно-

гим другим зарубежным поэтам и писателям. Мне не приходилось заставлять себя; корни этой науки никогда не казались мне горькими.

Летом 1934 года все военнообязанные студенты нашего курса стали на три месяца красноармейцами-бойцами 337-го стрелкового полка 80-й донбасской дивизии и проходили сбор в палаточном лагере на крутом берегу Азовского моря вблизи Мариуполя.

С не меньшим рвением, чем «Капитал», изучал я винтовку и пулемет, зубрил уставы. И тайно завидовал товарищам, которые быстрее меня бегали, дальше бросали гранату, лучше «работали» на спортивных снарядах, метче стреляли...

Командир моего отделения, тихий, но упрямый сельский паренек с литфака Грицько Гелеверя ежедневно в немногие свободные часы натаскивал отстающих — в том числе и меня — мы прыгали через «кобылу», швыряли деревянную гранату, утяжеленную свинчаткой, перебирались через отвесный забор, выламывались на брусках.

Кормили нас плохо. Трижды в день каша из лежалой перловки. В обед суп из нее же и клочки жесткой солонины. Хлеб с закальцем и чаще всего черствый.

Не хватало воды. Умываться бежали повзводно к морю. И весь день донимала жажда — наждачно шершавая, удушливая.

К вечеру мы уставали до чугунного изнеможения.

Требовалось неистовое усилие, чтобы после ужина протащить-ся три сотни шагов вниз к морю умыться. Тепловатая соленая вода освежала не надолго. Обратно в лагерь взбирались веселей, но вскоре выдыхались и после бесконечной вечерней поверки — каждая минута казалась часом — не дожидаясь милого сигнала отбоя, который расшифровывали: «спа-ать, спать, по пала-аткам!» — сваливались на нары, на комкастые соломенные тюфяки и засыпали блаженно, густо, прочно. Иных не будил даже внезапный дождь. Только наш заботливый неутомимый отделком просыпался, опускал задранные «полы» палатки и на утро посмеивался:

— Колы б не командир, то вы бы як немовляты в записанных постелях спали.

Не реже одного раза в неделю нас будили ночью «по тревоге».

В толчее тесной палатки нужно было стремительно одеться, обуться — невысказанная задача правильно намотать портянки! — и ничего не забыв, ни скатки, ни противогаза, ни фляги, ни подсумка, ни лопатки, мчаться к барраку, где стояли винтовки и ручной пулемет отделения. Взять именно свое личное оружие. Потом обязательно всем взводом, всей ротой бежать на лужайку за лагерем, где полагалось строиться по тревоге. Там стояли командиры из штаба полка с часами и отмечали, в каком порядке и насколько быстро мы собирались и строились. Сперва наше отделение, а потом и взвод, хитро усовершенствовали готовность к тревогам. Все снаряжение мы на ночь привязывали к скатанной шинели, портянки засовывали в карманы штанов. Едва раздавался тревожный горн и крики дневальных «в ружье!», мы вскакивали мгновенно; бежали за винтовками в тесный барак не все, а трое-четверо самых сноровистых. Каждый брал на себя и на товарища. Другие тем временем наматывали портянки. Потом сменяли на ходу «оруженосцев», чтобы те успели переобуться... После отбоя очередной тревоги, командир полка перед строем сказал:

Сегодня первой была вторая рота студбата. Три минуты двадцать семь секунд. Объявляю благодарность всем бойцам и командирам роты.

Мы долго орал «ура» и я радовался и чувствовал, как радуются все, кто рядом, впереди, сзади — вокруг. Это была двойная радость — почти счастье от того, что мы первые, мы опередили, и от самого ощущения МЫ — от слитности, сопричастности, связанности всех нас — таких разных и таких похожих, одинаковых парней в пропотевших гимнастерках и тяжелых кирзовых сапогах. Мы, пахнувшие оружейным маслом и дешевыми папиросами, оружие дружно и лихо, были готовы хоть сейчас, сию минуту в любой поход, в смертельный бой...

Наша дивизия считалась самой «скороходной» в Красной Армии и нас ежедневно тренировали.

Утром после зарядки еще до завтрака весь полк пробегал не меньше двух километров. От лагеря до полигона где стреляли боевыми патронами и штурмовали «полевой городок» было пять с лишним километров. Туда шли обычным шагом, но обратно «марш-броском». Ни в коем случае нельзя было бежать. Но «шире шаг и даешь темп, так, чтоб три шага в секунду!»

...Сердце колотится под самым кадыком. Горячий пот слепит, жжет. Сапоги и винтовка словно тяжелеют с каждым шагом. Рука, сжимающая ружейный ремень, затекает. И уже начинаешь ненавидеть командира роты — ему-то в хромоных сапожках легче; и никакого груза, кроме планшета; а как безжалостно частит: «Ать-два-три! Ать-два-три... Шире шаг!»

Но вот он словно услышал наши безмолвные проклятья: взял у одного скатку, еще и попрекнул: «Не умеете скатывать. Это ж лепешка какая-то. Согревающий компресс в жару». Сам надел неуклюжую скатку. У другого взял винтовку. Еще у кого-то противогаз, лопату, подсумок... И все на ходу, все частя «ать-два-три!» И вот уже шагает с полной выкладкой, веселый, краснорожий, белобрыйый, голенастый...

Мы его очень любили, нашего комроты Малахова, бывшего шахтера, ставшего кадровым командиром. Он бегал быстрее всех нас, жонглировал пудовыми гирями, сто раз выжимался на турнике, был лучшим стрелком в дивизии, играл на баяне и отлично пел хриповатым, но задушевым голосом. Неумолимо требовательный строевик, он никогда не ругался, не орал, только хмурился, грозно стискивая толстогубый рот в прямую щель, и говорил нарочито медленно со злой железной внятностью. Но он всегда знал, кто в роте захворал, кто растер ноги, кто не успел поесть. И неукоснительно следил, чтоб лечили, перевязывали, кормили. Вечерами он часто приходил в «ленпалатку» — дощатую беседку, где на столах лежали газеты и журналы, можно было сыграть в шахматы или шашки — иногда приносил свой баян и распевал с нами; знал множество на-

родных песен, шахтерских романсов, частушек и, разумеется, все революционные и армейские. В дивизии была своя песня, которая нам казалась нескладной, похожая на десятки других полковых и дивизионных маршей.

Артиллерия Донбасса
Мощь Союза крепко нам кует.
В смертный бой идти готова
За трудящийся народ.

Комроты очень гордился, когда возникла наша ротная песня, вскоре ставшая батальонной. Слова сочинил я, а мотив подбирал он и кто-то из бойцов:

Мариупольцам запомнится,
Как пыль под небо прет,
Когда быстрее конницы
Студбат в поход идет.
И если будет нужно,
Под вражеским огнем
Мы тем же шагом дружным
К Берлину подойдем.

«Широкий быстрый шаг» стал и нашим кошмаром, и нашей гордостью.

Командовал полком бывший кавалерист, черно-смуглый, кривоногий. В первый день он представился нам:

— Мое фамилие Ургатаури. Я сам с Кавказа, из такого народа, что вы даже не слышали. Очень, очень маленький народ; только двенадцать тысяч душ есть. Но все за Советскую власть. В гражданскую войну все наши джигиты — это значит мужчины — были красные конники.

Комполка (тогда еще не было офицерских званий), заметив небрежно запроваленную койку, невыметенный мусор, говорил сопровождавшему его дежурному неизменно ровным голосом:

— Товарищ дежурный, запишем: командиру взвода мое замечание. И чтоб доложил, какое взыскание даст бойцу, который делает такую безобразию. Записали? А вы доложите командиру роты, чтобы наложил взыскание на дежурного — значит, на вас — за то, что показывали командиру полка такую безобразию, не догадались убрать раньше... Понятно? Ну, а если понятно, почему не повторили приказания? И еще доложите, что забыли повторить приказание. Но за это взыскания не надо, а пусть ему, командиру роты, будет грустно, а вам будет стыдно.

Он тоже иногда приходил в ленпалатку и поучал нас, все так же негромко, без тени улыбки, только чуть щурился, когда мы хохотали.

— Вы должны ходить лучше, чем кони-лошади. А почему? А потому, что кони-лошади не такие сознательные. Лошад не принимают в комсомол, не принимают в профсоюз. Лошад может быть очень умный, но не может быть студент и иметь политическую сознательность. А вы все студенты. Имеются члены профсоюза. Имеются многие члены Ленинского Комсомола. Значит, вы должны быть политически сознательные. Должны ходить быстрее, чем кони-лошади. Чтоб завсегда 130 шагов минута, и когда надо скоростной маршбросок 170–180 шагов минута. Это есть ваша святая заповед. Красная Армия должна быть самая быстрая армия на весь мир. Наша дивизия самая быстрая дивизия на всю Красную Армию. Наш полк самый быстрый на вся дивизия. Значит, если вы будете самая быстрая рота на полк, вы будете самые быстрые бойцы на весь мир... Это будет очень большая приятность для ваши отец и мать и девушка...

В то лето я очень старался быть хорошим бойцом и очень хотел стать хорошим командиром. Ежедневно выкладывался на спортивной площадке; скрывал хвори и к концу лагерного сбора получил значок «Ворошиловского стрелка» и звание помкомвзвода — три треугольника в петлицах.

Но, вернувшись в Харьков, опять свалился с тяжелым приступом колихолицистита. И опять болезнь помогла образованию. За несколько недель в постели я законспектировал два тома «Капита-

ла», «Малую логику» Гегеля, зубрил математику, физику; выздоровев, сдал все сессии за второй курс и перескочил сразу на третий.

...Шла партийная чистка. Ежедневно в самой большой аудитории старого здания заседала комиссия. Каждый желающий мог придти, задавать вопросы, высказывать свое мнение о том, кто проходил чистку. Комиссия оглашала те письменные заявления, иногда и анонимные, которые считала нужным проверить публично. Большую часть нашей газеты стали занимать отчеты о ходе чистки и заметки о разоблаченных перерожденцах, обманщиках, скрывавших свое происхождение или бывшие грехи, очерки о достойных коммунистах, чьи заслуги и добродетели были подтверждены проверкой.

Когда чистили нашего редактора, он стоял на трибуне, смущенный, растерянный, а ему из зала задавали вопросы о неправильно поставленных отметках, о квартирной склоке, о каком-то родственнике — нэпмане. Потом вышел к трибуне сотрудник редакции городской газеты, который стал рассказывать, что наш редактор писал «политически ошибочные статьи», восхвалял каких-то недавно разоблаченных физиков-идеалистов и даже вовсе буржуазных, иностранных ученых.

Тогда и я попросил слова и стал защищать идеологическое целомудрие нашего редактора, доказывал, что его обвинитель злонамеренно искажает факты, выдает за восхваление простую информацию о зарубежных научных работах, своей демагогической болтовней о бдительности проповедует невежество...

На следующий день в редакционный подвал вошел некто в темносинем френче и сапогах, пожилой, уныло серьезный, то ли партработник районного масштаба, то ли преподаватель истории партии.

Он положил на стол несколько листов бумаги, исписанных крупным почерком с завитушками. (Одно время я увлекался графологией и считал, что такие завитушки свидетельствуют о тщеславии, самодовольстве, умственной ограниченности.)

— Это надо передовой в следующий номер.

— Передовые у нас пишет ответственный редактор, а следующий номер уже в машине.

— Ваш редактор еще не прошел чистку. Хотя у него и очень языкастые защитники, но комиссия еще не приняла решения. А этот материал нужно давать немедленно. Так что машину придержите.

Листки были заполнены стандартными фразами о партийности, бдительности, о благотворных последствиях чистки, призывами повышать, углублять, усиливать... Подпись — Блудов мне ничего не говорила.

— Не вижу причин, чтобы останавливать машину, задерживать номер. В нем серьезные конкретные материалы о чистке, а тут одни общие фразы.

— Вы слишком много себе позволяете. Это партийные установки, а не фразы. А вы — наглый мальчишка, вы еще не знаете, с кем дело имеете, сопляк!

— Нет, знаю с кем. С набитым дураком... И в полумраке было заметно, как взблеснули его тусклые маленькие глаза. Взблеснули злобно и удивленно.

— Ах, вы так разговариваете?! Ну вы еще пожалеете, очень пожалеете!

Он сунул листы в карман и ушел.

На следующий день я узнал, что это был новый ректор университета. Прежнего уже вычистили. Друзья из университетского комитета комсомола советовали мне пойти извиниться, либо даже лучше написать письмо: «Простите, не знал, закрутился, распахивался»... Но я не хотел. Ведь он первый начал ругаться. И спор был не идеологический, не политический. Обыкновенная свара, как в трамвае, и к тому же наедине.

Наш редактор благополучно прошел чистку. И вскоре докладывал новому ректору о газете. Тот ничего ему не сказал о стычке со мной. Дал ту же самую статью. И она, разумеется, была напечатана. Мы сочли, что «инцидент исперчен».

Шли последние ноябрьские дни 1934 года.

Холодный сумрак нашего подвала стал мне привычен. Случалось, я назначал там свидания девушкам. Иные пугались:

— Ой, неужели тебе здесь не бывает страшно? А если бы двери запереть? Я бы, наверно, с ума сошла, если бы тут одна осталась.

Такие испуги и настоящие и тем более нарочитые приятно ускоряли и усиливали близость.

Кто мог бы тогда предсказать, что холодное дыхание тюрьмы, которое я впервые ощутил весной 29-го года и так бездумно воспринимал в подвале университета, просквозит через все последующие годы, то неслышно, гнилостно расплзаясь моровой язвой, то взывая в удушливых смерчах, круша, губя, испепеляя миллионы жизней, что это мертво-холодное дыхание нагонит меня уже на фронте, за Вислой, и скует на много лет.

Убит Киров. После 2 декабря 1934 года газеты были начинены гневными и скорбными словами, проклятиями, заклинаниями, призывами к мести, к бдительности...

Правительственное постановление: судить террористов без права апелляции, немедленно расстреливать. Опубликованы списки расстрелянных «в порядке возмездия». В одном из них трое Крушельницких — дядя и двоюродные братья известного артиста Харьковского театра, политэмигранты из Польши; еще несколько знакомых имен западно-украинских коммунистов...

Это означало террор. Неужели опять массовый террор, как в 1918 году после убийств Урицкого и Володарского, после покушения на Ленина?

В мире вокруг нарастала тревога. Гитлеровцы были уже почти два года у власти. Окрепили. Японцы все глубже проникали в Китай. Война приближалась и с Запада и с Востока... А мы едва начали приходить в себя после голода. Только что ввели продажу «коммерческого» хлеба, без карточек. На ХПЗ еще не отладили выпуск новых типов БТ. Еще недостроили три больших цеха.

И вот, оказывалось, у нас в стране возникло новое контрреволюционное подполье. Хотят истребить наших вождей.

Значит, необходим террор.

Сообщение о том, что убийцу Кирова направляли зинovieвцы, поразило и испугало. Но я поверил. Еще и потому, что помнил

одну из листовок оппозиции в феврале 29 года, перед высылкой Троцкого. Квадратик бумаги со слепым шрифтом: «Если товарища Троцкого попытаются убить, за него отомстят... Возлагаем личную ответственность за его безопасность на всех членов Политбюро — Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича, Калинина, Кирова, Куйбышева, Рудзутака...»

И еще помнил Мосю Аршавского, который в марте 1929 года представился:

— Я из Харьковского молодежного центра большевиков-ленинцев.

Долговязый, тощий, коротко остриженный, он никогда не улыбался, брезгливо презирал «хлипких интеллигентиков», «дрейфующих либералов», «бумажные души», «кабинетных вождей». Так он честил Зиновьева, Каменева, Преображенского, Радека и других лидеров оппозиции.

— Лев Давыдыч с них получше будет. Раньше имел хватку. Но он тоже трепач. Буквояд. Теоретик. Вот Сапронов и Шляпников это пролетарские вожди без понту. Я лично «децист». Мы, конечно, входим в объединенную ленинскую оппозицию. Но только мы настоящее революционное ядро. Ты на што надеешься? На листовочки, брошюрочки? Што вы переговорите, переумничаете аппаратчиков и они вдруг отменят решения 15-го съезда? Сталину дадут по жопе, а Льва позовут обратно в Политбюро? Маком!.. Все эти писанины, разговорчики для болота. Штоб с либералов хоть какую-нибудь поддержку иметь, штоб в армию проникнуть. Решать будет настоящая борьба: забастовки, вооружение рабочих. А там, если понадобится, и Кремль штурмовать будем. Революцию бумажками не делают...

Аршавского я считал диким фанатиком, возражал ему, спорил, ссылаясь на документы «ленинской оппозиции», которая должна действовать только внутри партии и комсомола, и к беспартийным рабочим обращаться только от имени партии, как ее лучшая часть. Но от споров он отмахивался.

— Ни хрена ты не понимаешь. Книжная труха у тебя в башке.

Об Аршавском кое-кто говорил, что он, возможно, провокатор ГПУ.

— Корчит из себя ультралевого боевика. Считается подпольщик, а в комнате у него, прямо против дверей портрет Троцкого пришпилен. И держит дома полный чемодан литературы, жалеет отдавать. Все это подозрительно.

Его радикальные монологи отталкивали. Я не верил тем, кто называл его провокатором, но все же скрывал от него имена, адреса своих друзей и сочувствующих. Он только хмыкал.

В конспирацию играешься? Ну, давай, давай.

Если бы он действительно оказался агентом ГПУ и его фанатизм провокацией, я, возможно, лучше бы думал об оппозиции. Но в мае 29 года его арестовали и притом одного. Тогда уже не было больших «выемок». Чемодан с литературой — книгами, брошюрами, листовками забрали. Его приговорили к трем годам ссылки. Новый представитель «центра» Саша Богданов — молодой рабочий-металлист, сдержанный, немногословный — внешне прямая противоположность Мосе, — говорил о нем сочувственно:

Толковый парень. Настоящий большевик. Горяч малость, но в общем и целом на правильной линии.

Меня эти речи убеждали, что от оппозиции надо уходить.

В январе 1935 года я думал, что если где-то там, за границей, на Троцкого напали фашистские провокаторы, то здесь его подпольные сторонники-фанатики вроде Моси, в отместку могли решиться убить Кирова.

Сообщили о расстреле Николаева и членов «ленинградского центра» — Каталынова и других. Зиновьева и Каменева судили; они каялись и признавали свою «моральную ответственность» (тогда еще не было речи ни о прямом соучастии, ни о подстрекательстве). Их проклинали все бывшие оппозиционеры. Радек доказывал неизбежность преступного вырождения любой антипартийной группы. Горький и Алексей Толстой писали о них с отвращением. Изо дня в день во всех газетах требовали мести, взывали к революционной

бдительности рабочие, колхозники, студенты, старые большевики, писатели, артисты...

В справедливости этих призывов я не сомневался. И, вспоминая, что лет шесть назад я считал себя единомышленником тех, кто уже тогда готовился воевать против партии, против советской власти, я испытывал стыд и страх — мучительное сознание, что теперь и на меня могут смотреть с подозрением, с недоверием.

Надя уехала на зимние каникулы в Киев, к своим родителям, а я перебрался к моим, на мамины харчи.

Вечером внезапно пришли Дус Рубижанович и Лева Раев, тревожно возбужденные.

— Илья Фрид объявил голодовку. Его уволили из редакции. Говорят: иди обратно в цех или совсем уматывайся. Петя Грубник сперва не хотел увольнять «Мы ж его все знаем». Но в парткоме как драконы: «Это политическое дело. Кирова убили зиновьевцы... А ваш Фрид исключался за оппозицию. Даешь бдительность! Нехай идет обратно к станку, докажет»... А ведь это ж они сами его из цеха в редакцию тянули. Мы ж все помним: как слона уговаривали. Ну вот, Илья объявил голодовку и написал заявление в ЦК, лично Сталину. Заперся в комнате. Никого не пускает. Написал, что будет голодать, пока не разберут партийное дело, не восстановят правду. Мы к нему приходили — гонит.

Тоскливый ужас. Что делать? Куда идти? Ведь я тоже числюсь «бывшим оппозиционером». Если попытаюсь к нему, решат, что сговариваемся. И что советовать Дусу и Левае? Что они могут сделать? О такой голодовке — на воле, не в тюрьме, — я читал в автобиографическом романе Василенко «Карьера подпольщика». Голодал революционер, которого товарищи заподозрили в предательстве. Но в романе голодавший подпольщик убедил товарищей. А убедит ли Фрид? И как долго ждать ответа от Сталина? Дойдет ли до него письмо?

— В парткоме знают о голодовке?

Дус пожал плечами.

— Вроде нет. Пожалуй, никто на заводе не знает. Илья не верит, что у нас тут чего добиться можно. Сколько лет уже даром старается. А теперь еще такая мура с бдительностью...

Тогда я был уверен — где-то вычитал, — что человек умирает на девятый день «сухой» голодовки и на 20-й, если пьет воду. Неужели просто ждать, пока Илья умрет? Я позвонил Александрову; ведь он-то знал Фрида.

Ответил Малиновский.

— Вот как, голодовка! Странно, что мы до сих пор не знали. Хорошо, что вы позвонили. — (В отличие от Александрова он всем «выкал»). — Конечно же, надо помочь. Но это, мягко выражаясь, странный способ доказывать: голодовка! Не по-большевистски. Не по-нашему... Да, знаю я, знаю вашего Фрида; все его заслуги нам известны. Конечно, надо помочь.

Прошло несколько дней и я услышал, что арестован мой двоюродный брат Марк⁴⁴.

Меня вызвали прямо в райком комсомола. Парторг факультета Кубланов и комсорг курса Антоновский говорили, что я — не разоружившийся троцкист, поддерживавший подпольные связи со своим двоюродным братом и с «троцкистскими центрами» на паровозном заводе и на других факультетах университета. Они называли множество фамилий. Некоторые из них мне были знакомы по газетам — из корреспонденции о разоблаченных двурушниках, — но большинство совсем не известны.

Секретарь райкома спрашивал Кубланова и Антоновского: — А кто его дружки-приятели на факультете? Ага, это вы еще не установили? Про внешние связи вам, конечно, другие сигнализировали, а вы сами, значит, только ушами хлопали. Он же у вас отличник считается. Через курс прыгал. В редакцию многотиражки пролез. А кто ему помогал из членов комитета? Из преподавательского состава? Там же у вас наверняка целое гнездо. А он еще тут в райкоме, слышите, как доказывает за свою сознательность, что он всей

⁴⁴ О деле брата Копелева Марка см. Приложение 2. — Прим. Ред.

душой, значит, за генеральную линию. Вроде мы не знаем, как все они, такие, значит, умеют говорить и писать за Советскую власть. Даешь! Ура! А делать, значит, совсем наоборот, тихой сапой. Самое нахальное двурушничество.

Он даже не спросил, хочет ли кто-нибудь из членов бюро райкома высказаться. Заседали уже несколько часов. В тот день рассматривали десятки персональных дел; главным образом исключали. В кабинете секретаря было душно. Тускло желтый свет люстры со стеклянной бахромой расплывался в сизом табачном дыму. Все сидели усталые, осовелые, сонные. Непрерывно курили. Секретарь тоже явно устал. Он смотрел на меня без неприязни и гнева, с безнадежным и словно брезгливым равнодушием. А ведь мы были давно знакомы. Раньше он работал на ХПЗ, был секретарем цеховой ячейки, членом заводского комитета, приходил к нам в редакцию. Однажды после субботника на строительстве Тракторного он и еще кто-то притащили в котлован водки, луку и соевых пряников. Мы все выпили. Обрато шли с песнями, с частушками. Запевали попеременно то он, то я. После этого вечера мы встречались как приятели. Когда он стал секретарем райкома и пришел на собрание в университет, то окликнул меня по-свойски: «Здорово, паровозник! Значит, в науку подался? Грызешь гранит? Философ? Это хорошее дело. Значит, держи комсомольский паровозный курс в философии. А кто тут еще из наших есть?»

Но теперь, когда я пытался возражать на абсурдные, лживые обвинения, он оборвал:

Хватит, наговорился. Все ясно. Мы вам не верим, и верить не будем. Значит, одно мнение — исключить. И еще добавить пункт, что, значит, не место в университете. И еще: отметить притупление бдительности факультетской организации. И пункт на дальнейшее: чтобы, значит, проверили связи. Кто ему подсоблял, на кого он мог влиять. А также сообщить в организацию паровозного завода, где его принимали. Кто за? Против нет? Воздержавшихся тоже.

И я вышел на вечернюю зимнюю улицу. Одинокий в многолюдной толчее. Встречавшие и обгонявшие разговаривали, смеялись. За освещенными окнами — розовыми, желтыми, разноцветными —

в трамваях, в автобусах — всюду люди, занятые своими делами, бедами, радостями. Они близко, но никому нет до меня дела...

Подумал, что, вероятно, так должен чувствовать мнимый покойник, оцепеневший в летаргическом сне. Вокруг жизнь. Друзья, родные, знакомые. Хлопочут. Живут. А его несут в могилу и никто не может помешать...

Через несколько дней вернулась из Киева Надя. Как отнесутся на ее химическом факультете к моему исключению? Я знал, что она ни за что не отступится от меня. Но она не умела ни отругиваться, ни лавировать-дипломатничать. И совершенно не умела говорить неправду. Что, если и там есть наглые демагоги, вроде Кубланова?

К счастью, Надя не была комсомолкой и на химфаке не нашлось особенно бдительных активистов. Ее не тронули. Зато неожиданно возникло «дело» у моего брата Сани. Он учился в химико-технологическом институте на втором курсе. Недавно стал комсомольцем. Сосед и приятель наших родителей Иван Иванович Плисе, сын сельского кузнеца, в юности был членом боевой организации боротьбистов; после 1905 года попал на каторгу; в 17-м году стал большевиком, комиссарил в Красной Армии; одно время был заместителем наркома сельского хозяйства Украины. В ту зиму он работал где-то в России, но семья еще оставалась в Харькове. Иван Иванович, его жена — тоже член партии, и сын — школьник очень хорошо относились к Сане. Их книжный шкаф стал главным источником его политического образования. Саня нашел там и сборник «За ленинизм против троцкизма», изданный в 1924 году, составленный из статей Зиновьева, Каменева и Сталина, дружно поносивших Троцкого — автора «Уроков Октября», как меньшевика, отступника, врага ленинизма и т. д. Эту книгу у Сани выпросил на одну ночь секретарь его комсомольской ячейки. То ли ее заметил кто-то из бдительных соседей в общежитии, то ли сам секретарь поспешил отличиться, но доброжелатель из комитета предупредил Саню, что на него заведено персональное дело о распространении троцкистско-зиновьевской литературы и что его обязательно будут спрашивать, у кого он достал эту книгу.

Не прошло и года с тех пор, как во время партийной чистки Ивану Ивановичу напоминали о «боротьбистском прошлом», после чего вынесли выговор по какому-то другому ничтожному поводу. Наши родители и его жена были в панике. Если станет известно, откуда взята опасная книга, это приведет к жестокой расправе с Иваном Ивановичем и с его женой.

Сане только что исполнилось двадцать лет. День рождения 14 февраля был очень печальным; гостей не звали; заседал тревожный семейный совет. Мы решили, что он не смеет ни при каких обстоятельствах даже упоминать об Иване Ивановиче. А ответ на вопрос «откуда книга» подсказывала судьба. Когда арестовали Марка, то у него забрали два мешка именно таких книг. Саня, хотя и не дружил с ним, как раньше я, но все же иногда заходил, советовался перед зачетами по диамату. Решено было: он скажет, что книгу взял у двоюродного брата, без спроса, не застав его дома. Не подозревал, что это вредная книга, ведь в ней статья товарища Сталина. Саня обещал ни на шаг не отступать от этой версии, ни с кем больше не откровенничать, забыть об Иване Ивановиче и не вспоминать меня. Если спросят, говорить: «Старший брат уже пять лет живет в семье жены, общих интересов у нас нет, мы с детства не ладим».

Это все было в общем правдой. Ссылка на Марка тоже не была выдумкой: ведь Саня у него действительно брал книги. Иван Иванович действительно ничего не знал о том, кто рылся в его шкафу.

Но Саня был растерян и подавлен. Он впервые встретился с предательством и отступничеством. И должен был врать, чтобы накликать беду на других людей.

Его, разумеется, тоже исключили из комсомола и из института.

В те же дни я узнал, что арестован Илья Фрид.

На собрании заводского комитета комсомола Дус и Лева отказались его осудить и не хотели признать, что его голодовка была «антисоветской, контрреволюционной демонстрацией». Они упрямо твердили, что знают его как честного коммуниста, который никогда себя не жалел, готов отдать жизнь за партию, за Советскую власть.

Секретарь комитета Костя Трусов, принимавший всех нас в комсомол, был для нас образцом прямоты, справедливости, самозабвенного служения долгу. Он спросил:

— Разве вы не понимаете, что заступаете за человека, который уже повторно действует против партии? Мы все его знаем и мы его осудили. Он арестован органами ГПУ. Если чекисты решили его арестовать, значит, за дело. Как же вы можете его защищать?

Дус возразил:

— Мы его знаем лучше, чем все. Арест может быть ошибкой. Второпях погорячились. Сейчас такое время, повышенная бдительность. Именно потому, что мы знаем про эту голодовку, какие у нее причины, чего он хотел, мы считаем — нельзя вот так: раз-раз и все наоборот. Вчера был свой — друг-товарищ, а сегодня — враг-вредитель. Не могу я говорить комсомолу неправду, если я так не думаю.

— Так с кем же вы, с ними или с нами? — Костя говорил негромко, но внятно произносил каждое слово. — Вы должны выбрать.

— Нам надо подумать.

— А ты как считаешь?

Лева не мог отречься от друга.

— Я тоже так. Надо подумать.

Ночью их арестовали⁴⁵.

На следующее утро после заседания райкома, на котором меня исключили, в университете был вывешен приказ ректора: «исключить из состава студентов как неразоружившегося троцкиста».

Я позвонил в заводскую редакцию. Петя Грубник говорил нервно:

— Исключили, говоришь? И ты уверен, что неправильно? А про Фрида уже знаешь? И про этих, Рубижановича и Раева, тоже? Ты же с ними дружил. Что значит «все дружили»? Каждый должен отвечать за себя. Я уже свои ошибки признал. Потерял бдительность, как шляпа. Верил Фриду и его друзьям. И тебе верил. Я же тебе рекомендацию в партию давал и характеристику подписывал. А тебя

⁴⁵ О деле Фрида, Рубижановича, Раева см. Приложение 3. — *Прим. Ред.*

вот исключили из комсомола. Я не отрицаю, что верил. Если надо, дисциплинированно приму кару. Умел воровать — умей и ответ держать. А сейчас ты чего хочешь? Чтоб я опять за тебя писал? Ручался, да? Ну и что ж, что знаю? Если спросят, скажу, что знаю. Я и про Фрида и про Дуську знаю, я им тоже давал характеристики. Вот и получил строгача с занесением. А теперь еще и за тебя отвечать? Нет, Ты скажи, что бы ты на моем месте делал? Скажи честно! Не знаешь? Ну, вот, и я не знаю. Пиши заявление в комсомольскую организацию. Пусть коллектив решает, какую тебе давать новую характеристику по случаю исключения. Или в партком напиши. От нас ты уже больше года, как ушел. А что ты это время делал, лучше знают те, кто тебя исключал.

Секретаря парткома Василевского, того самого, кто в 32-м году уговаривал Фрида перейти из цеха в редакцию, мы недолюбливали. Считали его типичным аппаратчиком — смекалистым, деловитым демагогом и карьеристом, готовым на любые сделки с совестью. Обращаться к нему было бесполезно. К Трусову я не хотел идти; он только что исключил Дуса и Леву, обрек их на арест. И я опять позвонил в заводское ГПУ, Александрову. Он говорил, как всегда, приветливо, спокойно, хотя в иных словах слышались новые, жесткие интонации.

— Чего же ты раньше не звонил, пока еще дело в райком не пошло? Вот как, значит, миновали ячейку. Поспешные там у вас товарищи. На устав не смотрят. И уже из университета наладили? А насчет здешних дел знаешь? Да, это ведь ты Малиновскому про голодовку позвонил? Что значит, не понимаешь ареста?! Решали, конечно, не мы. А те, кто его знает не хуже, чем ты, да я, а много лучше. Мы дали объективную характеристику. Но высшие органы расценили голодовку, как провокацию. Да ты не ахай, не ахай. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты уже не пацан и не барышня с ахами да охами. Все, что ты можешь сказать, называется субъективная точка зрения. Субъективно он, может быть, тебе кажется честнее самых честных; душой и телом за Советскую власть и хотел доказать, как лучше. Но объективно получилась антипартийная провокация. А при

его прошлом — вдвойне вредная, даже опасная. В Гражданскую войну бывали такие, например, факты и в армии, и у нас в Чека: свой парень, крепкий большевик, лично честный, даже геройский, субъективно хотел, как лучше, а вышло наоборот упустил вражину или гробанул своих. И его к стенке. Безо всякого. Не взирая ни на старые заслуги, ни на хорошие намерения. Вот так и теперь. По всей стране боевая тревога. А эти дружки Фрида вообразили себя умнее партии, умнее органов. И что делают? Лезут защищать оппозиционера, арестованного за антисоветскую провокацию. Как это можно расценивать? У тебя же у самого в прошлом пятно есть... Ну и что ж, что пацаном был? Другие пацаны злее стариков. И родича у тебя опять посадили. Так чего же ты хочешь? Чтоб за тебя заводская организация заступилась или ты, наоборот, за этих заступаться будешь? Ты слышал, как они себя вели на собрании?..

Он спрашивал не слишком настойчиво, без подозрительного недоверия и «поддавливания». Отвечая, я говорил о Фриде, о Дусе, о Леве только хорошее. И старался говорить возможно более достоверно, убедительно. Напоминал о необычайной доброте Фрида, о его бескорыстии, скромности, о том, как он подбирал беспризорных детей; снова и снова повторял, что он человек, не способный соврать, беспредельно искренний. Для вящей объективности несколько свысока говорил о его чудачествах, как он теряется в обществе женщин, не выносит матерной брани. О Дусе и Леве я сказал, что совершенно уверен: они — хорошие, честные парни, только политически неграмотные, интересуются главным образом футболом, девчатами, выпивкой. А Фрида они просто очень уважали, как старшего товарища и жалели, как доброго чудака.

Сначала мне даже показалось, что Александров слушает сочувственно. И я стал как бы подсказывать ему возможные защитные аргументы. Предложил, что сам все это напишу подробно. Он прервал резко:

— Этого еще не доставало: твоей писанины. Ты радуйся, что нам все доподлинно известно. И тебя не спрашивают. Дело на все сто процентов ясное. Не то могли бы и еще кой-кого привлечь. А ты

ведь с ними компанию водил. И ты же не только футболом интересуешься. Ты должен за собой особенно строго следить. Мы тебя знаем. Но университетские товарищи, видишь, как лихо распорядились. И это безо всякого конкретного дела. А ты сообрази, что может быть, если полезешь в адвокаты? Ты что, газет не читаешь? Совсем заучился?

...И я испугался. Начал «отстраняться» — сказал, что уже почти два года не встречался с ними, что единственная встреча за последние месяцы была, когда они рассказали мне о голодовке и я сразу же стал звонить ему. Говорил, что из-за напряженной учебы — я ведь перешел с первого курса сразу на третий, — и общественной работы, — я ведь почти что один делал еженедельную университетскую многотиражку, — и из-за болезней, я вообще отдалился от всех старых заводских товарищей... Все это тоже было правдой «в общем». Но я старательно подчеркивал выгодную для меня правду.

Александров, должно быть, услышал мой испуг.

— На тебя у нас компромата нет. Это я, как раз, точно знаю. Был разговор в связи с этим делом. Но ты имей ввиду: «кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба долой!» Твое комсомольское дело сейчас пойдет в горком. Ты напиши им, чтобы запросили завод — организацию, которая тебя в комсомол принимала и на учебу послала. Я поговорю в парткоме, как член бюро. У нас без вины виноватых не должно быть. Это не по-советски. Но только ты сам будь аккуратней с разговорчиками. А то язык и дальше Киева довести может.

И я последовал его совету.

В горкоме комсомола мое дело не рассматривали, но завод запросили и потом все материалы передали в бюро обкома. Меня вызвали на заседание. Все было совсем по-иному, чем в райкоме. Неторопливо. Спокойно. Секретарь обкома Гриша Железный доложил коротко, что парткомитет и комитет комсомола паровозного завода «характеризуют положительно». Вот пишут «активно боролся на идеологическом фронте, также и с троцкизмом и с правым уклоном. Хорошо проявил себя в трудных условиях, в прорывах и на селе...»

Исключение отменили. Но вынесли мне выговор за притупление политической бдительности. Ведь мой двоюродный брат был арестован, а я, хотя раньше его знал, как троцкиста, проглядел его деятельность в последние годы.

Ректор, не напоминая о нашей первой встрече, отказался восстановить меня в университете. Сослался на выговор и на то, что не сдана сессия, которая проходила как раз в те дни, когда я был исключен.

Пришлось апеллировать в Наркомпрос Украины и для этого поехать в Киев.

До середины мая я жил в Киеве, то у родственников, то у друзей, дольше всего у Олеси С. Еще в школе Олесю, лихую спортсменку, прозвали «девка-бек». В нее попеременно были влюблены два моих друга, некоторое время и я. Ее отец Иван Федотович С. до революции был подпольщиком, политкаторжанином, в Гражданскую войну членом ревкома, армейским комиссаром. Потом бывал секретарем разных горкомов и ок ружкомов. В 1934 году стал Наркомсобес. Все друзья Олеси его почитали. Ко мне он всегда относился хорошо: ему нравилось, что я увлеченно изучал политграмоту, историю, старался побольше узнавать о событиях и людях революции и гражданской войны. И все это не для зачетов, а для себя. Я рассказал Ивану Федотовичу о своих злоключениях. Он задал несколько вопросов, поглаживая серо-седые запорожские усы — «подковой».

— Добре. Я тебе помогу. Только потерпи. И сам никуда не суйся.

Он был приятелем Наркомпроса Затонского и уполномоченного НКВД–ОГПУ по Украине Балицкого.

Мне оставалось только ждать, пока он находил «подходящие условия», чтобы поговорить, а потом, чтобы напомнить. (Весной 1935 года отношения между старыми партийными товарищами, которые стали сановниками, наркомаами, были уже достаточно усложнены престижными, номенклатурными соображениями, оглядками на внутривнутрипартийные союзы и конфликты.)

Иван Федотович в конце концов добился: наркомпрос отменил мое исключение из университета. Помог он и Сане, его восстановил ЦК Комсомола Украины.

Подробно рассказывал я ему также о Фриде, Дусе и Леве; просил совета и помощи.

Но он возразил хмуро.

Допускаю, что они хорошие хлопцы. И этот твой Илья Фрид, что называется щирая душа. Но очень уж мягкий у него характер, Христосик. А политическая борьба жестокое дело. Его голодовка вредная глупость. За такое панькаться не будут. И нельзя панькаться. Те хлопцы, которые за него против целой организации уперлись, может, даже еще вредней. В оппозицию играть вздумали. В такое время. Вот ты вчера за чаем нам докладывал про саарский плебисцит. Какой богатый край Гитлеру достался. И варшавские паны с ним уже дружки-приятели. И румыны, и прибалты в ту же сторону гнутся. А у нас тут черт-те-шо делается. Выстрел в Кирова — грозный сигнал. Очень грозный. Для нас оппозиции всегда поганое дело были. Ты же сам покоштовал того меду. Должен понимать. Теперь любая оппозиция — уже прямая контрреволюция! Никакой снисходительности быть не может. У Сталина крутой нрав. Но сейчас необходим именно такой вождь. Прекраснодушные слюнтяи, добренькие болтуны могут привести только к поражениям, к страшной катастрофе... Ты говоришь: эти хлопцы хотели хорошего, чтоб все по-честному. Один заграничный мудрец, — забыл я его прозвище, сказал «благими намерениями вымощена дорога в пекло». Вот они и вымостили себе дорожку в ДОПР. Мой совет и наказ тебе не путайся в ихние дела. Дружба дружбой, но партия нам дороже всех друзей. Я взялся тебе помогать не за твои карие очи, а потому что знаю: ты дельный комсомолец, полезный партии и Советской державе. А если б ты такие же дурацкие штуки или вроде выкаблучивать стал, если б тебя за дело притянули, я бы и мизинцем не поддержал. А, может, и сам бы дал хорошего тумака. Кто бы там ни был, хоть брат, хоть сват, хоть мои дорогие дочери, — если пойдет против партии, — и знать не хочу.

В мае Сталин произнес речь о том, что люди — самый ценный капитал... что необходима чуткость и забота о человеке.

Вернувшись в Харьков, я узнал, что Марк Поляк и Фрид осуждены на пять лет лагерей каждый, а Дус и Лева на три года.

В университете я на занятия не ходил, оформил восстановление, сдал сессию за третий курс и отчислился.

Отца перевели на работу в Москву и мы с Надей решили ехать с ним.

Марк погиб на Колыме. Фрид погиб на Воркуте. Иван Федотович, Затонский и Балицкий были арестованы и погибли в 37-м году.

А Дус Рубижанович летом 1957 года приехал в Москву из Красноярска, нашел меня через редакцию московского журнала и назначил по телефону свиданье в сквере. Часа полтора мы сидели там на скамье. Он больше расспрашивал — о войне, о том, как я попал в тюрьму и в лагерь. Рассказал, что Лева Раев после лагеря и ссылки живет где-то на дальней периферии. Я звал его к себе домой, он держался отчужденно, почти неприязненно.

— Ладно, ладно, если будет время.

Не пришел и больше не звонил.

Тогда я подумал: это потому, что у него жизнь не задалась, не мог доучиться, работает фотографом, кормит большую семью, а во мне видит столичного пижона; счел это мизантропией гордого неудачника.

Я написал в красноярский адресный стол, узнал его адрес, послал большое письмо. Ответа не было. И сообразил: он не хотел и не мог простить. Возможно, подозревал и худшее. Ведь я отступился от них — от Фрида, от него, от Левы; не пытался их защищать. И не искал их родственников; не писал им; не посылал посылок. Я не сделал ничего дурного, но и ничем им не помог. От нескольких добрых отзывов в разговорах не могло быть толку. А ведь я знал, что они ни в чем не виновны. Знал, что они настоящие, советские, партийные, — никак не хуже меня, а Фрид и много

лучше. И все же отступился от них из страха и по расчету: им не помочь, а мне опасно.

Однако тогда я и самому себе не позволил бы объяснять все так просто: «страх и расчет». Нет, я убеждал и тех ближайших друзей, от кого ничего не скрывал, что это определено высшей необходимостью.

К счастью, я все же был не всегда последователен в подобных обстоятельствах.

Когда погиб Иван Федотович, а его жену отправили в лагерь, большинство друзей Олеси и ее младшей сестры остались им верны. Все мы старались помочь им жить и учиться. Олеся стала инженером-электриком.

Когда в 1937 году в Киеве арестовали моего давнего друга, его отец приехал в Москву хлопотать и рассказал, что кроме всего прочего, сына обвиняют еще и в «троцкистских связях» со мной. Тогда я послал большое письмо прокурору. Писал, что мой друг всегда был приверженцем генеральной линии партии, не знал никаких колебаний и даже приврал, что именно он в 29-м году побудил меня порвать с троцкистами.

Его освободили в конце 39-го года — помиловали. Помог кратковременный отлив террора, наступивший после падения Ежова, а также ходатайства родственников и друзей. Но в этом случае я сознавал свою личную ответственность за судьбу невинного человека. Он не должен был страдать из-за меня. Тогда как о Марке его мать говорила, что арестован он за то, что переписывался со старыми товарищами — троцкистами, которые оставались в ссылке и в лагерях, посылал им деньги и книги. А Фрид, Дус и Лева попали в беду сами по себе.

Мне было мучительно вспоминать, что я им ничем не помог, но отступничества от друга детства я бы себе не простил...

Впрочем, этот и некоторые другие, подобные же добрые поступки были, в конечном счете, исключениями. А правилом оставалась неизменная преданность кумиру, в сотворении которого и я участвовал.

Наше столетие начинено такими кумирами больше, чем любое иное со времен Магомета. Наши прадеды чтили пророков, царей, полководцев, мыслителей; Петра, Наполеона, Бисмарка, Гарибальди, Руссо, Ницше... Но в них видели героев, законодателей, мудрецов, а не универсальных богоравных гениев, не вождей всего человечества — зачинателей новых «всемирно-исторических» эпох. Тогда как Муссолини, Гитлер, Сталин, Мао Цзе-дун становились уже именно кумирами. Их жрецы, служители и служки приписывали им сверхъестественные доблести, приносили им кровавые человеческие жертвы, стремились насаждать их людоедские верования на всех континентах. Для этого сочинялись и мифические генеалогии, учреждались посмертные культы мнимых предшественников — цезарей, императоров, героев, Маркса, Энгельса, Ленина...

Чумная зараза кумиротворчества расплозается по земле, вспухает все новыми нарывами и чирьями, в новой мифологии «предтеч» — Хо Ши Мина и Че Гевары, в канонизации новых региональных идолов — Насера, Кастро, Ким Ир Сена, Иди Амина. «И еще не весь развернут свиток, и не замкнут список палачей» (Волошин).

Потребность чтить живых богов — вождей, пророков, мессий — издревле присуща людям. И, вероятно, еще долго — если не всегда — будет рождать мифы и творить кумиров.

Только бы они в отличие от прежних не порождали смертоносной ненависти к инаковерующим, инакомыслящим, не требовали раболепного поклонения, не отучали думать — и, значит, сомневаться — не подавляли ни совести, ни слова.

От прошлого не уйти.

И поэтому надо вспоминать, вспоминать обо всем, что было с нами, с нашей страной, с миром. Ничего не скрывать, не укрывать. И заново обдумывать давние и недавние были. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет» (Ахматова).

На это я и надеюсь. На целебные силы памяти, освобожденной от недобрых пристрастий идеологических, сословных, этнических. Хочу верить, что память людей и народов можно очистить от лжи

всех кумирен, от жестоких предрассудков, от инстинктов мести и безрассудного эгоизма — личного и сверхличного: партийного, церковного, националистического... И тогда наши дети и внуки постепенно обретут пока еще редкую способность извлекать уроки из прошлого.

История учит не доверять больше тем откровениям, утопиям, идеологиям, которые, суля всеобщее блаженство, возвещают единственно возможный, и потому для всех обязательный, путь к этому блаженству.

Вопреки чудовищному безумию, вопреки самоубийственно-гибельным силам, владеющим сегодня моей родиной и значительной частью земли, я надеюсь, что в будущем веке и мои соотечественники, и все люди в мире будут жить лучше, разумнее, чем жили мы и наши предки.

В этой надежде для меня главный смысл жизни. Его питают не какие-либо сверхреальные божественные истоки и не мнимореальные кладези научного глубокомыслия, а простая вера в человека.

Человек возник во мгле миллионолетий. Он был жесток и милосерд, безрассуден и мудр, подл и благороден. Он возвестил: «Воздай за вражду благодеянием» (Лао Цзы); «Не причиняй другим того, чего не хотел бы, чтобы причинили тебе» (Конфуций); «Любите врагов ваших... благотворите ненавидящим вас» (Матфей, 8, 44); «...теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (Коринф. 13, 13). Человек разрушал и творил, отчаивался и надеялся, губил и спасал...

Сегодня я убежден: никто не может предсказать и никто не вправе предписывать будущие пути человечества. Вслед за Владимиром Короленко я повторяю, «что *не сотвори себе кумира* — великая истина и что народа, как мы себе его часто представляем, единого и неразделимого, с одной физиономией, — нет. А есть миллионы людей, добрых и злых, высоких и низких, симпатичных и омерзительных. И в этой массе, — в это я глубоко верю, — все больше и больше распространяется добро и правда. Если при этом можно

идти вместе с толпой (это тоже иногда бывает) — хорошо, а если придется остаться и одному, что делать. Совесть — единственный хозяин поступков, а кумиров не надо». (1893)

И для этого необходимо
...Отнюдь не забвение,
А прозрение вдаль.
И другое волнение
И другая печаль.⁴⁶

1960–1977

⁴⁶ Давид Самойлов.

В КОНЦЕ СТОЛЕТИЯ (Послесловие)

Может это истина открылась
Или просто молодость прошла...

Владимир Корнилов

Было время, когда мы говорили о двадцатых годах как о «Золотом веке». Потом нередко золото оказывалось фольгой или «обманкой».

Сегодня мы знаем, что романтические революционные порывы, о которых мы столько раз вспоминали с нежной грустью, у одних выродились в истовое служение палачеству, а других обрекли на каторжные судьбы, на бесславную гибель.

Сегодня мы, знаем, как наши тогдашние идеалы и мечты постепенно преобразились в унылое доктринерство или в бесстыдную ложь.

Но и сейчас я думаю, что тогда и впрямь жила, жарко дышала молодость. И не только телячья молодость моих ровесников, а *молодость века*. Утро эпохи, которую мы сейчас доживаем.

Были еще молоды надежды миллионов людей, были молоды научные открытия и политические вероучения, сулившие счастье всему человечеству. Были молоды поэты, художники и музыканты, которые возвещали начало новых времен и новых миров.

Мы вслед за Маяковским величали нашу страну «землей молодости». И как веселое заклинание твердили стихи Асеева:

Что же мы, что же мы, неужто размоложены?
Неужто нашей юности конец пришел?
Неужто мы седыми сквозь зубы зацедили?..

Молоды были и другие страны — Польша. Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Югославия, Венгрия — каждая из них была моложе меня. Молоды были республики в Германии, в Австрии, в Турции.

Молоды были и Комсомол, и Коминтерн — штаб мировой революции, которой еще предстояло родиться.

И даже наши злейшие враги не были стары: о них писали и говорили «фашистские молодчики».

Сорокалетние родители казались нам старыми, а шестидесятилетние дедки-бабки и вовсе дряхлыми. Они еще помнили царя и революцию 1905 года. А моим ровесникам война с Японией казалась такой же давней историей, как пожар Москвы, восстание декабристов или оборона Севастополя.

Мы не сознавали, как молоды были наши великие современники — Ахматова, Пастернак, Маяковский, Эйзенштейн, Шостакович... И лишь много лет спустя мы начали узнавать о Брехте, Хемингуэе, Фолкнере, Лорке, Неруде, Сент-Экзюпери. Они тоже были молоды в двадцатые годы.

Двадцатитрехлетний Брехт в нищей, голодной Германии писал о грядущих мировых катастрофах, о неминуемой гибели больших городов, от которых останется «только ветер, продувший сквозь них». А четверть столетия спустя, на пороге старости, он славил «рассветы новых начинаний, дыхание ветра с новооткрытых берегов.»

Вероятно, это закономерно. Молодость, не сознавая своего счастья, торопится к мудрой зрелости. А в старости острее сознаются утраты и тем дороже бывшие молодые мечты и молодые силы.

После 1956 года, во время «оттепели», казалось, начали таять и крошиться угрюмые ледники сталинщины и всплывали радужные воспоминания о двадцатых годах, как о поре «настоящей» советской власти.

Старики, которые возвращались после долгих лет тюрем и ссылки, призывали восстанавливать «ленинские принципы», воскрешать романтические идеалы их революционной юности. Они верили, что лишь так восторжествует правда, свобода и «подлинный социализм».

Молодые люди узнавали, как их обманывали учителя, пропагандисты и литераторы. И верили, что восстановленная правда двадцатых годов поможет им жить разумнее, честнее и смелее, чем прожили незадачливые старики. Эта правда казалась им сродни поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Волошина, прозе Булгакова, Зощенко, Бабеля, Платонова, искусству Петрова-Водкина, Мейерхольда... Эти сокровища национальной культуры, еще недавно запретные и вовсе неведомые большинству молодых, расколдовывались, высвобождались из тайных укрытий в то же самое время, когда реабилитировали, — чаще всего посмертно, — тысячи старых большевиков, тех, кто в двадцатые годы работал, активничал, запевал, верховодил...

Литераторы, художники, режиссеры, артисты радовались, что снимаются запреты и заклятья с наследства двадцатых годов, верили, что возрожденные традиции ослабят цензуру, смягчат казенную идеологическую опеку.

Примерно в то же самое время их коллеги в других странах стали так же настойчиво вспоминать о своих двадцатых годах, о «Roaring Twenties», «Goldene Zwanziger».

Искатели новых путей и послушники очередной моды находили в этих воспоминаниях и мифах, рождаемых ими, неизбытые традиции, неизрасходованные сокровища, несправедливо покинутые идеалы.

Но даже в тех случаях, когда такой ностальгией бывают захвачены молодые люди, я чувствую: это стареющий век тоскует по невозвратной молодости.

«Не календарный, настоящий двадцатый век» (Ахматова) начался в 1914 году.

Мировая война, революции, мятежи, усобицы были его кровавой купелью. На двадцатые-тридцатые годы пришлось его буйное отрочество и трагическая юность. Тогда еще не были утрачены многие старые надежды, истлели еще не все новые иллюзии; и голоса немногих пронизательных современников были почти не слышны в грохоте битв и погромов, в рокотании тревожных, боевых и победных фанфар, в разноголосом галдеже мятежных и ликующих толп...

Запрягайте кони, кони вороны,
Догоняйте лита мои, лита молодьи.

Мальчишкой, слушая эту песню, я иногда плакал. А с тех пор, как все отчетливей сознаю, что старею, она и печалит, и радует. Не запрячь коней. Не догнать лет. Но, если память о молодости еще влечет, еще забирает за живое, значит, живу.

Иногда все же хочется повторить извечно повторяющееся: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя». Я стараюсь избегать старческой аберрации восприятия жизни. Впрочем, всем возрастам свойствен *генерационизм*, то есть склонность пристрасно выделять свое поколение, его историческую роль, его добродетели или страдания. Но я внятно чувствую: одряхлели не только мои ровесники, но и век. Холодны его закатные тени.

И суть не в том, что новое «племя младое, незнакомое» по-иному глядит на сегодняшний мир, и не в том, что полвека назад мы совсем иначе видели тогдашний мир. Такие различия естественны.

Но вот мы смотрим на людей, впервые ступающих на Луну, читаем, слушаем о космических полетах, о пересадках сердца, о думающих машинах... И все мы — и молодые, и старые осознали и ощущаем эти чудеса по-иному, чем некогда люди разных поколений воспринимали полеты Амундсена, Линдберга, Чкалова, Громова, рябое мелькание первых киножурналов, шипение и свист первых радиоприемников, рассказы о конвейерах, об автоматах... Изумле-

ние старших, их восторги и страхи, наивные сомнения или дерзкие фантазии заражали или вызывали на споры молодых.

А теперь, хотя мы и не старше, чем тогда были наши деды и родители, но куда более спокойно — даже вовсе равнодушно — воспринимаем несоизмеримо более чудесные чудеса, скорее забываем о них.

Немецкая писательница послевоенного поколения рассказывала в личном письме 12 ноября 1969 года.

«Чудо высадки на Луне я пережила в деревянном доме, в Австрии, в горах... Мы все таращились на экран, потом некоторые сидели всю ночь, однако я не испытала особого сердцебиения. И вспомнила: моя мать девочкой шла однажды из школы и на дороге встретила красный автомобиль, в котором сидели некие очкастые фигуры в диковинных одеждах. Она решила, что едет сам дьявол и с криком побежала через поле. А Луна, как мне кажется, была нами воспринята и усвоена еще до высадки. Сидеть всю ночь нужно было для шику. Я говорила с некоторыми из тех, кто не мог обойтись без этого. Нет, настоящим (т. е. личным) событием это для них не было. Просто так. Из честолюбия».

В марте 1977 года я вспомнил об этом письме, потому что мы с женой не могли припомнить, когда же была первая высадка на Луну: в 1972 или в 1973 году. А наши молодые друзья, которые уверяли, что я несправедливо принижаю наше время, говорили: высадка была в 1970 году... Несомненно, многие люди тверже помнят даты недавних великих событий, имена современных героев. (Стыдно признаться, но из имен американских астронавтов я уже могу назвать только Армстронга.) Однако никто из всех молодых людей, которых я спрашивал, не помнил своих первых встреч с телевизором, с самолетом. Для них это повседневный быт. А я никогда не мог забыть, как в первый раз пошел в *синемаотограф*, как там пахло, как сиял экран. Прекрасное чудо! Годы спустя его стали называть «кино» и это слово сперва казалось мне жаргонно фамильярным.

В часе езды от Киева у железнодорожных переездов крестьяне накрывали головы лошадей мешками, крепче ухватывали под узды. Сельские лошади еще шалели, завидя и заслыша поезд.

Осенью 1925 года мой одноклассник, сын преуспевающего врача, вечером, когда родители ушли, показал мне редкостное сокровище. Черная лакированная шкатулка, на ней крохотная металлическая рюмка, с плотно воткнутым свинцовым кристаллом, а рядом на тоненькой стойке короткая проволочная спираль. Он взял с меня клятву молчать, — чудо было запретным — вручил большой наушник, щелкнул рычажком и начал осторожно царапать проволокой по кристаллу... Сквозь шорохи, скрипы, шипенье и свисты внезапно пробилась ниточной струйкой музыка, потом тихий голос... «говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна...». Я почувствовал себя героем Жюль Верна или Уэллса.

И почти так же внятно запомнились первый звуковой фильм «Концерт», показанный в Харькове в 1931 году, и первый цветной («Соловей-соловушка» и в тот же вечер «Куккарача» — в 1935), и первый телевизор с экраном не больше открытки, увиденный весной 1940 года в холле гостиницы «Москва».

В нашем столетии некоторые писатели — Уэллс, Замятин, Орвелл, Хаксли предчувствовали, предсказывали но, видимо, все же надеялись предотвратить вырождение человечества, растлеваемого безудержным научно-техническим прогрессом и разными видами тоталитаризма.

Современные философы, естествоиспытатели и социологи обличают «смертные грехи цивилизации» (Конрад Лоренц), мифологию «машинного века» (Жак Эллюль, Луис Мамфорд), самообманы фанатиков прогресса (Раймон Арон) и вопреки жестоким урокам новейшей истории утверждают «принцип надежды» (Эрнст Блох), идеалы «радикального гуманизма» (Эрих Фромм), призывают обуздать те бесчеловечные губительные силы, которые человеческий разум пробудил и в самоубийственном ослеплении продолжает воспроизводить и наращивать. К этому призывали Андрей Сахаров

в России, Александр Митчерлих в Германии, Роберт Ардри в США, Вольфганг Краус в Австрии и др.).⁴⁷

Будут ли наконец услышаны спасительные предостережения, увещания, призывы?

Австрийский писатель Герберт Цанд печально размышлял о неразрешимых противоречиях, возникающих из развития «массового» искусства. «Сегодняшнее общество избирает себе смертных богов, однодневных. Творческий человек создает непреходящее. Исполнитель производит скоропреходящее... Тот, кто стремится к преходящему, уже подсознательно не верит в будущее, осененное атомными грибами, не готовится к будущему. Художник-исполнитель вынужден осваивать прошлое. (У него самого нет будущего, есть только сегодняшняя слава.) Приметы одряхления общества».⁴⁸

Эти приметы явственны не только в искусстве. *Массовое производство* кинофильмов, механических звукозаписей, репродукций — все виды консервированного, многотиражного, удешевленного искусства ослабляют обаяние того чуда, без которого нет настоящего художественного творения, единственного в своем роде, неповторимого.

Массовое производство технических диковин, изобретений, усовершенствований ослабляет обаяние чудотворной человеческой мысли.

Открытия в макро— и микрокосмосе разрушили те представления об основах реального мира, о времени и пространстве, которые считались незыблемыми с тех пор, как люди стали сознавать эти понятия.

Войны — мировые, гражданские, колониальные, — мятежи и революции разрывали «связи времен» и связи между людьми — родовые, семейные, национальные. А взамен возникали новые —

⁴⁷ Называю лишь тех, чьи суждения мне представляются особенно значительными и чьи взгляды я, хотя бы частично, разделяю.

⁴⁸ см. Herbert Zand. *Kerne des paradiesischen Apfels*. Wien, 1971, s 124.

скоропреходящие, но зато далекоохватные, международные связи политиков, ученых, спортсменов, журналистов...

Сотни, тысячи и миллионы разноплеменных странников движутся по земле, пересекают границы и океаны, чтобы найти убежище от бедствий, работу для хлеба насущного или новые досужие развлечения...

Миллиарды газет, журналов, листовок, книг, десятки миллионов телевизоров, киноэкранов, радиоприемников ежеминутно извергают потоки новостей, пропаганды, рекламы... И в этих шумных и мутных потоках отражаются, преломляются, перемешиваются мировые катастрофы и мелочные скандалы, подвиги и злодеяния, блистание недолговечных «звезд» политики, спорта, массового искусства и живой огонь бессмертных светил, изуверские заклинания лжепророков и негромкие уговоры просветителей, болтовня шарлатанов и речи мудрецов, уродливая пошлость и прекрасная поэзия...

Хаос бытия в нашем стесненном и все же необозримом мире, миллиарднократно отраженный хаос, уродует мысли и души, разрушает исторические и нравственные мерилы.

И тогда великие события дробятся в мишуру мимолетных сенсаций, а гроздя мыльных пузырей кажутся рождением новых вселенных; балаганы разномастных деспотий воспринимаются как благодатные деяния, а трагедии, разрушающие судьбы народов, толкуются как досадные происшествия; властвующие пигмеи — муссолини, сталины и гитлеры — кажутся великанами, посредственности — гениями, а гении — чудаками, негодяи — героями, а герои — безумцами...

Неужели так будет всегда? Неужели наш век не временный кризис абсурдно противоречивой, дряхлой, но все еще не издыхающей цивилизации?

Нет, не могу и не хочу поверить, что наступило необратимое вырождение, что навсегда иссякли те родники, которые питали умы и души в давние времена, когда рождались великие религии,

а в новые эпохи вдохновляли мыслителей, правдоискателей, художников.

Верю и хочу верить, что нашим внукам еще доведется испытать рассветно знобющую радость новых путей, открытий и начал, что люди новых веков будут знать новые радости, причащаясь тайн вселенной, воспринимая чудеса искусства и поэзии.

...На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет.
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.⁴⁹
Так и я верую. Но кто поможет неверию моему?!

Москва, 1976–1977

⁴⁹ Арсений Тарковский.

НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ КОРОТКОЙ ДОРОГИ
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ
ВАСИЛИЯ ПЕТРИКА¹
(Повесть)

1

Вася Петрик родился в 1907 году в белорусской деревне, в семье коваля — кузнеца — старшим из трех детей; сестра погодок ходила вместе с ним в школу, а младшая еще ползала по хате.

Отец чинил плуги, бороны, телеги, подковывал лошадей, отпускал косы и направлял пилы. Он говорил, что все железо, какое есть в деревне, прошло через его руки.

С германской войны он вернулся без ноги; но ловко хромал по кузнице.

— Я быстрейший из всех двуногих ковалей. Потому, как не боюсь ни зашибить ни спалить свою деревяшку.

Вася с самых малых лет возился в кузнице, помогал отцу: раздвигал горн, таскал уголь; потом и за клещи, и за малый молот хватывался. Он любил отцовскую железную работу больше домашней — мусорной, навозной.

Кузнеца уважали все — и поп, и барышня-учительница, и самые богатые хозяева — владельцы молотилок, и председатель сель-

¹ Chalidze Publications New York 1982.

рады, о котором насмешливые бабы говорили, что он такой важный, что и до ветру с портфелем ходит.

Вася помнил, как плакали, вопили бабы, как пели-орали хмельные хлопцы, уходившие на войну. Но революция прошла стороной от их деревни, далеко за густыми лесами, по большим дорогам. Ездившие в города соседи рассказывали, что где-то наступали паны-поляки, а потом наступили червонные, которые делят панскую землю...

Васю все это почти не занимало. Куда важнее было, когда отец сказал матери вечером нарочно громко:

— Ну, теперь в нашей кузне два подмастерья. Васек наш стал батьке подручный. На тот год отпущу старого хлопца. Будем вдвоем с сыном управлять.

Но к этому времени он уже в школу ходил с большей охотой, чем в кузницу. Он быстро и точно решал задачки, легко заучивал стихи. На спор с ребятами выучил «Кому на Руси жить хорошо» за три дня. Он любил читать стихи с «выражением» — то ласково, жалостливо, как мать, когда уговаривала отца не пить водку, чтоб в грудях не болело, то грозно, зычно, как отец, когда кричал на подмастерья, перекалившего лемех, то важно, торжественно, как батюшка в церкви...

Старая барышня хвалила его; дарила книжки—он и дома читал по вечерам. Читал вслух матери и сестрам про Ваньку Жукова — маленького сапожника, про собаку Каштанку, читал сказки Пушкина и стихи Некрасова...

Приходили послушать соседские ребята, а иногда и взрослые соседи. Бабы восхищались — «ну до чего складно, даже плакать охота... Таки дробненьки букочки, а такая у них великая сила... Надо тебе, Васек, на попа учиться... Может, еще мы тебе ручку поцалуем». Мужики приходили реже, некоторые посмеивались — «Грамота гэто хорошо... Только смотря какая. Грамота — она разная. Попов теперь новая власть не уважает. А ковалям почет делает... Учиться гэто хорошо, а заучиваться погано. Вот у мельника сын учився-учився и про батька-мать забыл. В городе уже другой раз оженился, от живой жены ушел, детей двух имел, а покидал, как цуценят... Так

что его судом судили. В тюрьму, правда, не посадили, в Сибирь не послали — теперь законы безбожные, слабые... Но все-таки ж наказали деньгами. Называется «лименты». Каждый месяц платить должен, чтоб не блудил — грамотный».

Учительница приходила в кузницу, говорила отцу, что у Васи «большие способности», и надо посылать его в город учиться дальше.

— Поверьте мне, Петр Васильевич, вы будете гордиться сыном.

Кузнец благодарил за ласку и смущенно мялся.

— Верю я вам, барышня, как можно не верить... Но для гэтого, для города большие гроши нужно... А где их взять? Я ж за свою работу мало когда гроши получаю, а все больше житом, бульбой, салом чи медом...

Когда Вася закончил школу, в последнем седьмом классе оставалось меньше дюжины учеников, все их товарищи и товарки уже давно работали на отцовских делянках, в хатах и огородах. А кое-кого увезли в города. Кузнец вспомнил, что его двоюродный брат работает где-то на Донбассе, раньше был шахтером, но стал уже вроде начальника. Выпросил у тетки адрес и написал. Получил ответное большое письмо, и Вася неполных шестнадцати лет впервые выехал из деревни. Впервые увидел поезд с паровозом. Раньше знал о них только по книжкам с картинками. И отправился в неведомый край со сказочным названием Д о н б а с с.

Дядя — «выдвиженец» из шахтеров — заведовал какой-то конторой при шахте. Он устроил племянника по-родственному в ремонтные мастерские в ближнем поселке; в шахту не пустил.

— Это ж не жизнь для юноши — цельные дни без солнца, без поветря, в черной грязи. Там ты с непривычки только чахотку заробишь. А слесарь по ремонту — очень хорошая квалификация. Ковать, клепать ты уже у батька учився. А тут станешь железный мастер на все руки!..

Васе понравилось красивое слово к в а л ф и к а ц и я. Понравилось и жилье в бараке для холостяков: в одной комнате, светлой, чистой, полтора десятка парней. У каждого своя железная койка с матрацем. Большие простыни с печатными буквами «ноги», по-

душки ватные и одеяла суконные толстые — теплые, а сверху застилать покрывка вроде простыни, белая, но с тисненными цветами, как на девичью постель. На каждых двух жильцов, один шкапик, называется тумбочка — разную мелочь ховать, а у стены большие шкафы для одежды. В бараке таких комнат восемь и еще умывалка: над жестяным рукомойником корыто с двенадцатью сосками. На четыре барака в сторонке пятый поменьше — отхожее место, по городскому «уборная». Дощатый помост с десятком очков и вдоль стены жолоб; пронзительная вонь негашеной извести и карболки. Вася долго не мог привыкнуть на людях справлять большую нужду. Стыдно было. Терпел до ночи. В мастерских лучше, там хоть перегородки есть, вроде как стойла — с трех сторон закрытые. Можно было забраться в самое дальнее.

У дяди был свой домик — маленький, беленый; впереди палисадник с двумя кустами сирени, грядкой анютиных глазок и незабудок, а сзади, за дощатым сараем, где куры и поросенок, огород. Но дядя сказал:

— Ты молодой юнош, так и живи с другими юношами. А то у меня дочки, а это не хорошо им в одной хате с молодым человеком жить. Родня-то ты родня, но только какая? Нашему забору троюродный плетень. Жениться тебе зарано. А разговоры могут пойти гадкие.

Вася не обиделся — это было справедливо. Он ходил к родичам по воскресеньям в гости. Старшая дядина дочка, такая же — курносая и говорливая, — работала в конторе, стригла волосы в кружок, носила красную косынку, по вечерам уходила с комсомольцами в клуб. Средняя была в мать — бледная, тихая, носатенькая — училась кройке и шитью, все время сидела дома у швейной машинки. А младшая школьница с косичкой еще играла на улице в классы. На Васю они глядели равнодушно. Ему казалось — даже высокомерно.

Однако и на них он не обижался — понимал, куда ему нескладному, застенчивому деревенскому увальню до развязных поселковых хлопцев. Не только отчаянные забойщики, разудалые конононы, бойкие речистые мастеровые, но и самые плюгавые паца-

ны — плитовые — так лихо матюкались в рифму, циркали черными плевками, небрежно жуя папироску, и так свысока снисходительно поглядывали на девчат, даже на самых языкатых, смешливых, задиристых, что он рядом с ними и сознавал, и чувствовал себя жалким, беспомощным.

Все же он ходил и в клуб. Там была библиотека: он брал книжки, аккуратно оборачивал их в старые газеты и потом иногда обсуждал прочитанное с библиотекаршей — приветливой седой в маленьких очках на тесемке — такие называются «пенсне».

Она была первым человеком, говорившим Васе «Вы». Приятно было, когда их суждения совпадали, и они вдвоем наперебой хвалили справедливые душевные завлекательные книжки. Но иногда случалось, Вася, привыкший к новому знакомству, начинал возражать очень азартно. Она густо розовела, снимала пенсне, подолгу терла его носовым платком.

— Нет, Василий, я с этим не могу согласиться... Эти ковбои, конечно, храбрые, ловкие, у них есть чувство товарищества... Но они так жестоки, так беспощадны, никакой жалости к более слабым и вообще никаких идеалов... О вкусах не спорят, но, по-моему, это люди без души... Вы, разумеется, можете не соглашаться со мной, но я попросила бы вас все-таки выбирать выражения. Ведь я не только старше вас, я... женщина, и я не позволяю себе кричать и говорить дерзости вроде «чепуху порете» ... «ваши добренькие только сопли распускают» ... «начхать на все идеалы, если нужно гада перехитрить». Подобные выражения я прошу вас не употреблять хотя бы в разговорах со мной.

Он терялся, спешил извиниться. Библиотекарша некоторое время дулась, но потом они опять дружно хвалили Чехова, Горького, Короленко и соглашались, что новые писатели еще не умеют так писать.

Там же, в клубе, каждую субботу и воскресенье показывали кинокартины, а потом были танцы под гармошку. В будни по вечерам работали кружки и школы ликбеза для малограмотных и вовсе неграмотных.

Через полгода Вася получил уже четвертый разряд, стал зарабатывать больше пяти червонцев в месяц.

Зимой в Москве умер Ленин: на собраниях — их называли траурными — в клубе и на площади поселка и прямо в мастерских в обеденный перерыв старые и молодые рабочие говорили о том, какой он великий вождь всего рабочего класса, какой простой и хороший человек — Ильич, призывали выполнять его заветы, укреплять советскую власть.

Дядя сказал Васе, что вступает в партию. В мастерской на открытых собраниях партийной и комсомольской ячейки принимали каждую неделю несколько человек. Называлось это «по Ленинскому призыву». Вася вступил в комсомол. Его выбрали рабкором стенгазеты. Он писал стихи, заметки и фельетоны про пьяниц, прогульщиков, бюрократов и подхалимов, щеголял новыми красивыми словами: «индустриальный пролетариат», «научная организация труда», «классовое сознание».

В ячейке хвалили: «активно рабкорствуешь; пишешь здорово, с пролетарским духом».

В цеху он работал так же увлеченно и весело, как раньше в отцовской кузнице. На второй год считался одним из лучших слесарей ремонтников. Даже старший мастер, презиравший «сопляков-горлопанов» — комсомольцев, поручая ему сложную работу, похваливал, одобрительно ворчал.

— Этот длинный еще имеет рабочую совесть. Понимает, где надо зубилом, а где бархатной пилкой. Не то, что другие — только галдеть знают: «борьба с борьбой борьбуется», «даешь трудовую дисциплину»; а сами кто? Литейщики борща да токари по хлебу.

Вася был потрясен, впервые увидев паровой молот: одна тонна — шестьдесят пудов! А едва нажмешь рукоять, взлетает пушинкой. Даже не сравнить с отцовской кувалдой.

Он страстно завидовал мастеру кузнечного цеха. Неказистый коротыш, лысоватый, рыжеватый, с маленькими мигающими глазками работал необычайно красиво и величественно на трехтонном молоте. Саженные валы он ковал играючи, как отец подкову. И этот

же огромный грохочущий молот под его рукой делался нежно легким, как серебряный молоточек ювелира. В спичечную коробку огромной махиной он одним нажимом вгонял сапожный гвоздик да так, чтобы в коробке ни трещины, и говорил небрежно:

— Это что! Простой хвокус. Вот меня учил мастер Гаркавый; он якость заспорил с главным инженером-немцем, тот носил в жилетке часы на цепке и с крышечкой. Так Гаркавый на спор, открыл крышечку от такочки на полпальца и молотом закрыл. И стекло не хрупнуло. Тогда еще мастера были! А теперь что? Тяп-ляп, абы грому побольше.

Вася научился забивать однотонным молотом гвозди в доски, не ломая их. Но в ячейке его отругали.

— Мелкобуржуазная мастеровщина. Индивидуализм разводишь. Свое «Я» показать хочешь, чтобы лучше всех быть. Это бессмысленные фокусы. Какая от этого польза — паровым молотом гвоздики забивать, часы закрывать. Сознательный пролетарий должен не штукарством заниматься, а работать с пользой, соблюдать трудовую дисциплину, но вперед не вылазить, не строить из себя чемпиона, который лучше всех товарищей; должен экономить свою энергию и государственную. Сколько у нас таких молотов? Если каждый начнет ими гвоздики забивать, что получится! Анархия!

Вася признал ошибку. Искренне признал. Ему было стыдно — ведь он действительно хотел работать лучше всех, хотел, чтобы ему завидовали так же, как он завидовал чудо-кузнецу. И он стыдился, понимая, что это неправильно, что надо мечтать не о себе, а обо всем производстве, обо всем рабочем классе...

Глазастая Ганя табельщица, член бюро ячейки, объясняла:

— Это в тебе знаешь, что проявляется? Деревенская, мелко-собственническая стихия. — Моя хата, мое хозяйство, я хочу быть самый заможный, самый сильный...

Однажды вечером после кино, — показывали картину про любовь с поцелуями, драками, погонями, — он провожал Ганьку, а в тихом закоулке у девчачьего барака притиснул ее к стенке и стал

целовать в щеки, в глаза, лоб... Она не слишком отбивалась. Смеялась.

— Эх ты, деревня! И целоваться еще не умеешь! Вот я тебя научу.

И так впилась губами ему в губы, что ему показалось, будто на мгновение потерял сознание.

Небывалая сладость! Счастье!.. Он стал тянуть ее подальше от барака. На пустырь, где в глухом бурьяне обычно укрывались поселковые пары. Но она уперлась.

— Ну, нет, мальчик, это уж не пойдет. Я — не мешанка. Но аборты для здоровья очень вредны. А жениться нам с тобой нельзя — нет ни времени, ни квартиры, ни зарплаты...

Они еще несколько раз так целовались по вечерам в укромных уголках, в клубе, у мастерских, у барака... Он все больше привязывался к ней. Радостно было поглаживать ее волосы, светлые, как солома, и мягкие. Ему нравилось в ней все — и короткие пальцы с маленькими розовыми ногтями, и как она оттопыривает нижнюю губу, и темная родинка на подбородке, твердом, как молодая картошка. Он предлагал ей жениться. Доказывал, что это будет хорошо, высчитывал, сколько им надо будет на комнату, на харчи. Но Ганя только смеялась:

— Эх, все-таки сидит в тебе собственник, — семьянин, хозяин...

Она стала избегать его. То говорила, что занята комсомольскими нагрузками, то просто удирала из кино так, что он не успевал догнать. Девчата рассказывали, что она стала гулять с чубатым, чернявым коногоном, который приходит в клуб, красуясь огромной пестро-клетчатой кепкой, и курит дорогие папиросы.

Васе казалось, что он заболел от обиды. Не спал две ночи, потом впервые в жизни напился и подрался в садике у клуба с какими-то парнями, которых счел коногонами. Его жестоко побили.

В шишках, синяках, ссадинах, с вывихнутым большим пальцем на правой руке он прогулял целый рабочий день.

А потом на ячейке его «драили с песочком». В те дни газеты как раз много писали о хулиганстве. Вася попал «под кампанию».

Конторские девчата предлагали исключить за бытовое разложение и хулиганство. Но парни из мастерской заступились — ведь в первый раз такое, он же еще молодой, не вполне сознательный, имеются пережитки деревни...

Большинство проголосовало за строгий выговор с указанием — работать над собой, повышать классовую сознательность и политический уровень. Ганя на собрании молчала — голосовала за выговор.

На следующий день он получил записку: «Товарищ Вася! Мне было очень неприятно за твое поведение, потому что я знаю причины, что ты так несознательно и не по-комсомольски относишься к личным делам. Я тебе пишу как старший товарищ; я старше от тебя не по годам, а по комсомольскому стажу. И еще как имею к тебе хорошее личное отношение. Не потому, что мы раньше проводили время, а потому что понимаю, как ты вполне можешь быть достойный комсомолец и сознательный рабочий. Но я тебе уже много раз говорила, что у тебя еще есть мелкобуржуазные элементы в твоих настроениях. Помнишь, я читала тебе стихи товарища Безыменского: «есть чувства эсеры и чувства меньшевики». Так вот и у тебя тоже есть такие чувства, и ты должен их изживать и с ними бороться. Как член бюро и старший товарищ и как знаю тебя по личной жизни, я со всей ответственностью призываю тебя проявить сознательность и выдержку, выполнять решение ячейки и тогда с тебя вскорости снимут выговор. Советую тебе прочитать книжку товарища Тарасова-Родионова под названием «Шоколад,» где показано, какой вред бывает от личных чувств. И еще советую систематически читать текущие газеты, политлитературу и активнее участвовать в работе клуба. Ты уже долго не писал в стенгазету. И еще призываю тебя по-комсомольски относиться к девчатам. У нас есть много хороших девчат и ты можешь найти себе подходящего товарища, чтобы проводить время и в дальнейшем возможно строить новый пролетарский быт. Но только не надо разводить мещанские чувства с пьянками и хулиганством. На меня ты не должен сердиться, я отношусь к тебе по-товарищески, с полным откровением и желаю

тебе успехов в работе и учебе. С комсомольским приветом. Знакомая Ганя».

Вася был согласен с выговором и с этим письмом. Он никогда не уступал никому ни в драке, ни в споре «на слабо». Но если ему объясняли, доказывали, зывали к совести, уговаривали «подумай сам», он чаще всего начинал винить себя. Ему бывало легче увидеть свою неправоту, свои ошибки или слабости, чем разглядывать чужие.

И втайне он гордился этим — если он умеет сознавать свои недостатки, грехи, то сколько бы их ни было, он избавится от них, воспитает себя, как Рахметов, Овод, Мартин Идеи... Про них рассказывала в школе старая барышня — учительница. И ее глаза поблескивали влажно, когда она говорила о героях, не жалевших себя ради народа.

Отец, всегда во всем уступавший матери, не участвовал в семейных и деревенских ссорах, и любил повторять:

— Я — гэто последняя буква в букваре... Кто добрый только за ради спасибо — дзякую, тот может еще хуже злого... Не шукай в чужом оке палку, кады в своем не видиш балку.

2

После расставания с Ганей, драки и выговора, Вася решил начать новую жизнь. Он будет учиться. Советской стране теперь нужны новые красные спецы, образованные пролетарии. Не о семейной жизни он должен думать, не о девчатах... — Хоть и трудно бывает, особенно в весенние ночи. Сколько раз он вскакивал с постели; в трусах выбегал на улицу в сырую прохладу, делал гимнастику, по тридцать-сорок раз поднимал несколько кирпичей. Потом засыпал усталый. Чтоб не думать о девчатах, он заставлял себя вспоминать стихи, решал в уме задачки по арифметике.

А Ганька вышла замуж за коногона. Девчата рассказывали, что она уже беременна. А коногон, хотя и комсомолец, но никакой не

активист. В каждую получку пьет. И вообще пижон — ходит в ботинках «джимми»; в пивной давал на чай...

Васе иногда мерещилось, как там Ганя с мужем в их отдельной комнате в семейном бараке, где на окнах розовые бумажные занавески и горшки герани... Он не хотел думать об этом, хоть кулаком себя в лоб колоти, чтоб не думалось. Но в закрытые глаза все лезли и лезли поганые картины, как они там, на своем пружинном матраце...

Вася еще не знал женщин, зато наслышался несчетных похабных анекдотов и рассказов завязтых юбочников, которые хвастались, что каждую субботу с другой гуляют. Они подробно описывали все — где и как.

— Она сказала... А я ей обратно... И даешь молокотрест... Она с понтом: «брось, кричать буду!», но грозит шепотом, а сама уже мостится, чтоб со скамейки не упасть.

Вася накрывался подушкой, чтоб не слушать. Иногда его дразнили «монах, слабак». Или еще обиднее: «та он же сознательный комсомолец, он же ни баб, ни девчат не признает. Он сам себе и чоловик, и жинка. На ручной дрезине катается».

Он отругивался, огрызался. О Гане он никому не мог бы рассказать.

Вскоре после того, как он узнал о ее замужестве и беременности, субботним душным летним вечером он пошел в клуб шахтерского поселка. Смотрели фильм «Лесной зверь». На экране усатый бандит, сверкая белками, тащил в кусты голую девушку. В темном зале ойкали и повизгивали девчата. Кто-то из парней свистнул, другие гоготали.

Потом были танцы. С Васей пришел один из самых лихих щеголей поселка, — пестрая кепка козырьком на глаза, прическа «политика», — две пряди на две брови, — белая рубашка «пупс» с большим отложным воротником, суконные брюки клеш, из кармана выглядывает рукоятка финки, на цепочке к поясу. Он и представил Васю девчатам.

В первые мгновения его оглушили визгливый и сиплый хохот, пронзительно громкие быстрые речи. Зарябили пестрые платочки,

блестящие зрачки, румяные щеки, белые зубы. Обдавали густые сладкие запахи.

Он словно захмелел. И даже решился танцевать. Но сразу признался, что ничего не умеет. Его взялась учить высокая девушка, грудастая, голенастая, курносая, с маленькими полусонными глазами. Услышав, что ее тоже зовут Ганя, он смутился и обрадовался. Она сказала, что работает сортировщицей на шахте. Ребята в бараке говорили: «Это самые курвы на весь Донбасс: в кустах сортировщицы куда больше зарабатывают передком, чем руками на шахте».

Но эта девушка показалась ему скромной, неуклюжей и застенчивой. Она танцевала серьезно и старательно. Осторожно топя большими ногами в коричневых туфлях с бантиками, терпеливо учила его, тихо командуя: «Давай лево. Давай право. Теперь тую руку давай на плечо. Не части...»

Улыбалась она редко; и зубы между большими и толстыми губами были неожиданно маленькими, очень белыми. Когда он ее обнимал, прижималась доверчиво и глядела, пристально щурясь, «со значением».

После танцев он сказал напряженно тихо: «пошли прохолодимся», и они пошли на пустырь.

Они сели в густой сухой бурьян, остро пахнувший полынью, и Вася начал целовать ее так, как учила та, другая Ганя, — в губы и поильней, чтоб аж до зубов. Она сперва отворачивалась, отталкивала, но смеялась и тихо спела:

Не целуй меня взасос,
Я не богородица,
От меня Исус Христос
Все равно не родится.

Обеими руками поворошила ему волосы, начесала на лоб и сама уже стала целовать, потом откинулась, расстегнула кофточку и шепнула: «А сюда не хочешь?» И вывернула из-за холщевго лифчика большую белую грудь с темным соском.

Он целовал, пугаясь внезапной мутной тошноты от сладких кисловатых запахов впервые так близкого тела.

Она запрокинулась навзничь, потянула его крепкими руками. И сперва торопила, задыхаясь:

«Ну давай, давай. Ты что, не умеешь?..» Потом еще крепче обхватила его, совсем безвольного, казалось, терявшего сознание, и командовала уже ласково, тяжело дыша: «Ты не спеши, не спеши... Не дрова пилишь». И уж совсем неразборчиво бормотала, стонала и несколько раз больно укусила в плечо.

Он лежал на сухой твердой земле. Опустошенный. Липкий от пота. Глядел в черно-синее небо, густо посоленное звездами. Тошнота не уходила. Запахи стали еще противнее — кислые, гниловатые.

Она положила голову ему на плечо, прижалась словно бы робко, беспомощно. И волосы пахли уже по-другому — полынь придушила помладу. Пахли робко, беспомощно.

— Ты что, в первый раз?.. Ну это, так гуляешь в первый раз?

— Еще чего! Откуда ты взяла?

Ему не хотелось врать — не умел. Но признаваться было стыдно. И тошнота была постыдной. Лежавшее рядом тело стало гадким, но сам он еще гаже.

— Да это же сразу видать, что в первый раз.

— А ты в который? В десятый?

Голова, прижатая к его ключице, потяжелела и рывком поднялась.

— Ты что думаешь: я такая?.. Да?.. Кто вспоймав, тот и взял? Я до тебя со всей душой, ничего не пожалела, а ты так?

Она всхлипнула и села; стала торопливо застегивать блузку, повязывать платок.

— Я думала, ты добрый хлопец, душевный. Думала: такие у него очи карие, завлекательные, но без хитрости... А ты сам полез... А теперь с грубостью — «десятый раз!» Да на что вы мне все поддавались, козлы поганые! Чтоб мои очи вас не бачили! Что ты мне в душу плюешь...

Она всхлипывала, говорила надсадно, отрывисто, пыталась встать.

Ему стало жалко. И еще стыднее, теперь уже за свою подлость...

Недавно он слышал из открытого окна дома, где жили инженеры, песню. Женский голос, медово протяжный, пел «Только утро лю-юбви ха-аа-рашо, хороши то-олько пе-е-е-рвые робкие встречи...»

Слова застряли в памяти, свербили каждый вечер снова и снова.

И сразу вспомнились в сухой горячей полыни рядом с его первой женщиной.

Она такая вроде крепкая, рукастая, ногостая, захныкала вдруг, как маленькая, от горя, от обиды... Это он ее обидел. А за что? Ведь она же его первая, самая первая... Не побрезговала, что он такой неуклюжий, неумелый... «Только утро любви хорошо».

— Ну ты брось!.. Ну не скули... Я ж не хотел... Ну, я извиняюсь. Вот честное комсомольское, извиняюсь! Я ж не мещанин, я понимаю, то все предрассудки. Это я с непривычки. Ты ж правильно угадала — я в первый раз так... гуляю.

Он обнял ее, стараясь, чтоб понежнее. Ощутил твердые лопатки, твердые мосластые плечи, а груди мягкие, теплые... Она затихла, ткнулась лбом в его ключицу; прижалась доверчиво.

— Гань, а Гань, давай поженимся...

Она подняла голову; смотрела пристально, и маленькие глаза в полутьме уже не казались сонными, поблескивали смешливо.

— Ой лышенько, ото ж мне жених!.. Ну и дур-ный ты, Василь! Поженимся. Приду-умал! Невеста без места, жених без штанив... Не — е, жениться нам нельзя. Гулять это другое дело. Если я тебе и ты мне, значит, нравишься, ну значит у нас любовь есть... А вза-муж я дома пойду. Вот зароблю себе на посаг, — на приданое, — чтоб не хуже, как у других девчат: и одежду купить, и подушки, и одеялы, все, как надо... А то я же сирота. Отец убитый в германскую войну. Мама хворые, слабые. Старший брат, как в москали, ну значит в армию пошел, так не схотел до дому вертаться, в Киеве живет, же-

нился уже. А я с четырех сестер старшая — скоро двадцать годов... Перестарок. А тебе сколько? Неужели восемнадцать? Ну ты, правда, старше выглядаешь. Это через твою поважность. Смотришь без смеху, как будто уже в больших годах.

Она прижималась все крепче. Потягивало ветром. Ночь остывала. И говорила-говорила все доверительней.

— Ну конечно, я взамуж пойду. Это ж всякой девушке надо. И пойду так, чтоб по-людски было. Там комсомол, комнезам, сельрада... это все гарно, я ж не против. А только венчаться я буду в церкви, как мои папа и мама венчались, так само.

И так, чтоб мой чоловік — ну муж значит — держал меня за честную... А ты не гыкай, не гыкай...

Она сильным толчком, но весело опрокинула его на спину, навалилась сверху и зашептала жарко, влажно в ухо.

— От слухай, что я скажу. Как я тебя увидела, я сразу к тебе и симпатию заимела и веру... Вижу, что ты с простым сердцем... От извинялся и жениться схотел... Так я тебе за это расскажу тайну. Чтоб знал, как девчата хитруют... Сам же когда-то взаправду жениться будешь. Так от знай. Если там лимоном смазать, так для хлопца и даже для дорослого мужика будет ну совсем, как целая, как честная. И еще надо горобця или курченка самого малого придушить и под подушку сховать, а потом, когда чоловік заснет, головку оторвать и кровью помазать сорочку и простыню. Так и свекруха, и все, кто схочут, увидят, что невеста была честная.

От признаний, горячо, щекотно нашептаных, от ее тяжести, сперва жесткой угловатой — локтями на грудь, а потом душевной, мягкой — привалилась вся — опять подступила стыдная тошнота, — но уже слабее, и опять желание застилало глаза мутью... Он рывком перекатил ее с себя... Задыхался от сердцебиения, клоко-тавшего почти в гортани. И хотя опять поташнивало, но уже не терял сознания, примечал: «бедрa у нее снаружи шершавые жесткие, как наждачные, а изнутри нежные гладкие... И дышит она все чаще, все слышнее, и уже не командует, а шепчет — шепотом припекает — «ой, любый, ой, коханый...»

Они пролежали в бурьяне до самого рассвета, еще и поспали, тесно обнявшись, до первой росы.

Вечером в бараке кое-кто из хлопцев стал подначивать Васю:

— А ну Расскажи, как разговелся!..

Он молчал. Но теперь уже молчал по-иному. Не было обидного сознания неполноценности, жалкости. Он отмалчивался спокойно, с достоинством, как настоящий мужчина. Ему и не хотелось, — да и не мог бы он, — рассказывать об этой ночи. Никому, даже самому близкому другу.

Гордо сознавая свою новообетенную зрелость, он только презрительно поглядывал на тех ерников-юбочников, которым раньше втихомолку завидовал. Они были настолько ничтожны, что и отругиваться не стоило; их шуточки уже не задевали, и молчал он без усилий.

В воскресенье они в кино не пошли — показывали ту же самую картину. И танцевали меньше, танцы кончались раньше — на следующий день всем на работу. И на пустыре она спешила проститься.

В будни они не виделись. К ней в гости он ни разу не ходил. Даже не знал, где именно их девчачий барак. Провожать себя она не позволяла.

— У нас там шахтерня — бандиты, гайдамаки. Как увидят хлопца с чужого поселка, так сразу убьют, зарежут и завтра забудут.

В будни он почти не вспоминал ее, не скучал... Но к концу недели с нетерпением ждал субботы. Не так уж радовался, когда видел ее, но потом спешил поскорее увести с танцев, сердился на каждую задержку.

Танцевал он все ловчей, развязнее. Ганя хвалила. Но ему надоело топтаться, потеть, крутиться в галдящей толчее. А она не хотела уходить. Едва кончались кадрили, польки и падэспани, толпа раздавалась по стенкам, а на середину из круга выходили бойкие девчата. Растянув платки за спинами, постукивая каблукками, они выпевали, выкрикивали, вывизгивали частушки.

К ним подсакивали парни. Размашисто швыряли кепки на пол, так, что пыль всполаживала, и, подбоченясь, или нарочно вих-

ляя руками, будто привязанными, дробили чечетку; распалившись, пускались в присядку, выкидывая ноги то вперед, то в стороны...

Васе было скучно и глядеть и слушать. Но Ганя упиралась.

— От почекай еще... Я счас тоже выходку сделаю.

Она растягивала платок на лопатках; выходила неторопливо и, щуря маленькие глаза, гундося, нараспев кричала, мешая русские и украинские слова:

Ой, не ругай меня, маманя,
Що я поздно гулять ходю.
Я ж остатний год гуляю,
Скоро взамуж я пойду.

Потом они все же уходили на пустырь. И когда он, блаженно утомленный, отваливался на бурьян и лежал, глядя в темное высокое небо, она лускала семечки и рассказывала ему про своих подруг — кто с кем гуляет, как одни красят щеки бураком, а другие конфетными бумажками. И всего подробнее, какие подарки они получают от своих ухажеров — платки набивные «з квитами», материю на кофточку или духи с пудрой в одной скрынечке, а внутри шелк-бархат, и такой дух от нее, как вроде сад, и все цветы цветут.

Посреди такого рассказа она спросила:

— А что ж ты мне так и не подаруешь ничего? Ведь ты же кавалер. Или может комсомол не дозволяет?

В следующую субботу он принес пучок ярко-красных бумажных гвоздик, кулечек конфет-подушечек и свою самую любимую книжку — стихи Есенина.

Больше года он хранил ее под подушкой, читал-перечитывал и уже почти всю знал наизусть.

Она взяла подарки церемонно-бережно, прищурилась и улыбнулась необычно только уголками стиснутых губ:

— Спасибочки-спасибоньки... А я тебе хусточку вышила... Незабудками.

И протянула крохотный холщевый квадрат, обшитый по углам голубыми цветочками.

Из кучки девушек послышался громкий шепот:

— Ой, хустку дарить нельзя — то ж на разлуку, на слезы...

В этот вечер они не пошли на пустырь. Ганя сказала:

— Не могу я... Что значит, не могу? Ты что — малый? Не знаешь, чего у девчат каждый месяц бывает.

Он смутился. Поверил, хотя явственно ощутил холодок отчуждения. Подарок ей видно не понравился... Но у него было трудно с деньгами. Часть полочки он отсылал домой. Отец болел; мать писала, что плохо живут и корова доиться перестала. А он еще и долг выплачивал. Зимой купил себе хорошее драповое пальто и высокие хромовые сапоги... Он же ей все это рассказывал.

В следующую субботу он, как всегда, пришел ко второму сеансу кино, взял два билета и ждал у входа на лестнице, засыпанной шелухой семя-чек. Подошла Ганина подруга — тоже сортировщица — Маруся, маленькая, чернявая с мелкими кудряшками на лбу и круглых ярко-румяных щеках.

— Здравствуйте вам, Вася... А только ждешь ты здесь напрасно. Ганя сегодня пошла на первый сеанс... Ну что смотришь? Ей-богу, не вру. Ее пригласили... Там... одна кампания с нашей шахты. Они все вместе пришли. Вроде культпохода. Ты же, кажется, тоже комсомолец; должен понимать... А ты что, уже билеты взял? Может, меня пригласишь? Я тебе на ту субботу отдам. Ты за сколько брал — за двадцать копеек? или за двадцать пять?.. Ну, если угощаешь, как кавалер, это даже с нашим удовольствием... Я очень уважаю заграничные картины. А сегодня как раз эта Мери Пикфорд... Хорошая артистка. И такая жизнь у них вся интересная. И такая красивость. У меня даже мурашки бегают по спине. А ты какие картины уважаешь — где про любовь или где стреляют?

Она стрекотала, не ожидая его ответов, цепко ухватив за локоть маленькой, но сильной рукой. В кинозале сразу же прислонилась к нему острым плечиком; хватала то за руку, то за колено, шептала:

— Ты смотри, ты смотри, какая она интересная... Ах, какое платье, одни кружева. Это ж не меньше ста рублей плачено... А ту-

фельки видишь какие... Ой, что это он задумал? Ты соображаешь, чего он хочет!.. Ах, вот где красота... Аж мурашки по спине...

Потом на танцах он увидел Ганю. Та кивнула, посмотрела на него, на Марусю и сразу же отвернулась к белобрысому зубатому красноглазому парню, сильно потевшему в новой пиджачной паре. Из карманчика на груди торчал углом розовый платочек. Маруся хихикнула и зашептала: — Это Серега с нашей шахты. Электромонтер. Он только приехавший с Луганского или с Лисичанского. Образованный — профшколу кончил. Говорит — «холостой». И самостоятельный. Костюмчик-то полушерсть. И при часах. Старший механик с ним всегда за ручку здороваются — «Сергей Петрович, как поживаете?»... А ты чего на танцы в нечищенных ботинках? Это уже некультурно... Ну и чего, что далеко ходить. Надо было дома почистить и тряпочку в кармане иметь... Сюда пришел, раз-раз и обратно блеск... И никакое это не пижонство, не мещанство...

Ты вот портреты Ленина видел? Есть такой: он стоит в кепочке, ручки в брючки. Так ты посмотри, какие на нем ботинки. Блеск! И галстук, и при жилетке. А ты ж про Ленина не подумаешь: пижонство-мещанство.

Она говорила-стрекотала непрерывно, пока они танцевали, старательно ступая и пристукивая маленькими крепкими ножками и прижимаясь к нему, тычась чуть повыше пояса маленькими крепкими грудками.

Он вспомнил Ганины рассказы — Маруся вату в лифчик записывает, а гуляет со стариком-бухгалтером. У того жена больная. Маруся нанялась полы мыть, прибирать, стирать, а старик подарил ей шерсти на платье и чулочки фильдекосовые...

Он слушал ее стрекотание и не понимал, с чего это ему так нестерпимо тошно, чего он злится? Ведь не любит же он Ганьку, никогда и не задумывался даже, красивая ли она, — у нее жирные напомаженные волосы, жесткие кости, шершавые бедра. Он то и дело поглядывал — выплясывает с пижоном электриком и смотрит на него так же сонно и «со значением». И сейчас они пойдут туда же

на пустырь. Или может у того в бараке загородка есть с кроватью. Но потом она уедет к себе в село: будет венчаться. Наденет белую кисейную завеску; дружка будет держать над ней золотую шапку, — он видел, как в церкви венчают, — поп с дьячком запоют: «Исайя, ликуй»... А потом она намажется лимоном; воробья под подушкой спрячет... И будет с мордатым куркулем... сопеть, стонать, кусать в плечо, бормотать: «любый, коханий»...

Он злился до боли в гортани — тоскливой боли, мешавшей дышать. И не понимал, на кого, на что злится. На Ганю? На красноглазого? Да нет, тот вовсе не при чем: подвернулась девка-давалка, чего ж упускать...

Больше всего злился на себя. Ведь и вправду хотел жениться; подарки таскал... Не уважал ее, а все ходил. В понедельник забывал, как и не было, а в пятницу спать не мог — думал про мосластую...

Когда танцы кончились, Ганя одной из первых вышла на круг; растянула за спиной новый платок: черно-красный с позолотой и густой бахромой.

— Видишь?! Это ей Серега уже подарил, — зашептала в подмышку Маруся, — один раз погулял, и такой фасонный подарок! Вот что значит самостоятельный при хорошей квалификации.

Ганя протопала перед ними и, глядя в сторону, гундосо запела:

Ой, подруга, ненажора,
Ты одбила ухажора.
Я любила — ты одбила; —
Я бы так не зделала!
Маруся фыркнула.

— Слышал? Это она ж на меня намек делает. Вот девка шустрая, сама с другим загуляла, а мне упреки строит. Вот шустрая.

Ганя пошла второй раз по кругу, посреди которого уже грохотал чечеткой верзила в клеше, потряхивая длинными желтыми во-

лосами, падавшими на плоский угреватый нос... Она запела, снова оборотясь к ним спиной. Под туго натянутым роскошным платком топорщились лопатки.

На столи стоять чорнила,
У чорнилах два пера.
Давай, миленький, разойдемся;
Не скучай ни ты, ни я.

— Слышь? Это она уже на тебя намекает... Ну так я сейчас тоже выходку сделаю. Скажу частушку по-нашему, по-воронежски, со значением:

Не меняй миленков часто,
Не бывать от сменок счастья.

— Ох, мне бы такой платочек! Только не совсем такой. В этом черного много. А я же — дама крестей. Ганька бубновая; ей такой подходящий. А мне надо, чтобы голубенький с красненьким... Я на тебя уже давно внимание имею. Сразу увидала, какой ты серьезный и самостоятельный. Ты за Ганькой не жалеешь. Она ж деревенская. Кулацкая душа! Ей такие ухажеры нужны, чтобы при деньгах, чтобы ей в сундук совать... А я девочка городская, рабочая. Я на улице росла, меня курица снесла. Для хорошего мальчика сама сниму колечко с пальчика.

Она шептала все быстрее, нетерпеливо перебирая ногами, пристукивая каблукками. Внезапно оторвавшись от него, выскочила на круг, развязывая голубую косынку. Натянула ее за узенькой спиной; засемила, притаптывая и визгливо крича гармонисту:

— А ну давай чаще!.. Чаще сыпь... По-воронежски:

Ох, гармошка вся потерта,
Гармонист похож на черта.

Вокруг смеялись: «А ну, Маруся, дай-ка жару!.. Вот девчонка шахтерская — огонь с перцем». Она пела пронзительно, визгливо...

А я маленька была,
Да удаленька была.
У подружки самой длинной
Ухажера увела.

Парни и девушки — рядом с ним — позади — впереди смеялись, хихикали, хохотали, гоготали... Он услышал сиповатый женский голос: — Так это ж они для понту ревность показывают. Намсамделе они тех ухажеров меж собою, как схочут, делят-переделят, и с них же смеются. Он почувствовал, что краснеет; уши горят, пот затекает в глаза. Это ведь про него, над ним потешаются бесстыжие наглые девки. Это он — «ухажер». Слово какое поганое! Они за платочки в бурьяне с кем попало валяются, хоть с ним, хоть с пижоном электриком, хоть со стариком бухгалтером... А он дурак раскис: «Только утро любви хорошо»... Пакость!

Пригнувшись, он стал проталкиваться к выходу. Скорее бы только вон отсюда. Уже пробравшись к дверям, где толпились парни, дымившие папиросами и самокрутками, он услышал опять заунывно-гнусавый голос Гани:

Ой, надену черне платья.
Надевай, подруга й ты.
Нас миленки побросали,
Треба новеньких найты.

Он припустил почти бегом. Решено: сюда больше ни ногой! И ни к одной девчонке он теперь не подойдет.

На утро в бараке сосед, еще осоловелый с похмелья, начал зычно рассказывать:

— А вчерась в клубе за нашего Ваську две шахтерки чуть не побивались...

Он похолодел от ярости, накатившей внезапно. Рванул табурет; замахнулся; прохрипел: «Уб-бью!..»

Сзади его ухватили несколько рук, отняли табурет, стали теснить, оттаскивать в другую сторону. Задиристый и вовсе не трусливый парень сразу умолк. Его уговаривали:

— Васька же божевильный... Псих. Не надо его занимать. Он и правду убить может... Ненормальник!

3

То лето 1927 года Васе еще долго казалось самой трудной, самой сложной порой в его жизни. — Скоро уже 20 лет... Настоящие люди в эти годы становились поэтами или революционерами. А он все еще даже не понимал толком, кто он есть. И не знал, как избавиться от мутной неотвязной тоски. — Неужели он «страдает» из-за непутевых девок? Из-за неудачной первой любви? Да разве это любовь была!?..

Работал он по-прежнему без натуги, даже с удовольствием. За работой забывались недобрые стыдные мысли. Зарабатывал хорошо.

Мать писала, что отец выздоровел и опять работает в кузне уже с новым подмастерьем; старшая сестра вышла замуж за доброго хлопца — молодого агронома; младшая хорошо училась, и сельсовет посылает ее в город за казенный счет учиться дальше на ветфельдшера; новая корова отелилась, и молока хватает. Так что пусть он больше не шлет денег, а справляет себе хорошую одежду и откладывает на случай, когда сам будет жениться.

Вася расплатился с долгами. Отдал дяде — главному кредитору — последний червонец. Тот вычеркнул его из списка должников, который вел в особой книжечке, и стал советовать подавать заявление на учебу.

— Пока у тебя голова молодая, пока холостой, учиться надо. Можешь заделаться инженером или бухгалтером; в большие начальники можешь выйти. Если б я пограмотнее был, я бы уже, может, каким-никаким трестом заведовал. А теперь только на одну контору хватает.

В ячейке по-прежнему его главной «нагрузкой» была стенная газета. Он писал заметки, фельетоны, стихи. Хлопцы из редколлегии хвалили: «Хорошо пишешь, душевно»... И тоже советовали идти учиться на редактора или прямо на писателя. Еще в школе он

начал сочинять стихи. В четвертой группе, когда учительница дала домашнее сочинение на свободную тему, он стал писать, и вдруг сами собой получились ладные строчки:

Солнце золотое
Вышло над полями,
Я иду по полю
Босыми ногами.

Тогда он чуть не заплакал от небывалого счастливого волнения. Потом уже нарочно придумывал, сочинял. Учительница поправляла отдельные слова; хвалила. Он переписывал стихи начисто в особую тетрадку, обернутую глянцевитой бумагой; ребята называли ее «золотой». Он целый лист выменял у поповского сына за «кинжал», который сам смастерил, склепал тайком от отца...

Уезжая в Донбасс, он эту заветную тетрадь обернул мешковиной, положил между двумя кусками железного листа и закопал под ветлой за огородом.

Потом старался вспомнить старые стихи и переписывал их вместе с новыми уже в толстую записную книжку, которую всегда носил с собой. Переписывал попережку со стихами Есенина и других поэтов.

Первой Гане он читал из этой книжки. О Есенине она рассуждала строго.

— Есть у него хорошие стишки «Здрав штаны, бежать за комсомолом». Понимал значит, что надо. Жаль не добежал. Не было в нем правильного сознания. Хоть сам из бедняцкого крестьянства. Но все-таки деревня. Поэтому и пьянствовал, и упадничество распускал. Вот про товарищей Бакинских комиссаров он хорошо сочинил, красиво, душевно. А тот, — как его, — «Черный человек», это уже совсем незачем. «В цилиндре стою» — чистое мещанство!.. А зачем повесился? Сам же предлагал товарищу, — должно быть, девушке, — «не грусти, не печалься» — и тут же повесился. Вот до чего доводит упадничество.

Васе трудно было спорить. Он не находил возражений. Он соглашался, что с есенинщиной нужно бороться. Но Есенина любил и жалел, хотя и не мог объяснить с классовой точки зрения, почему любит его стихи больше, чем те, которые печатались в газетах.

Прочитал он Гане и свои стихи, сказав, что их сочинил один знакомый хлопец. Она выслушала и усмехнулась.

— Складные стишки. Но только для чего: «...поле, месяц, речка?» А где тут идее? Такие стишки в старорежимных гимназиях писали. А теперь надо по-боевому, по-пролетарски, как у товарища Демьяна Бедного, у комсомольских поэтов — товарищей Жарова, Безыменского «Вперед заре навстречу, товарищи, в борьбе штыками и картечью проложим путь себе». Это по-пролетарски, по-комсомольски.

Вася прочитал ей свое новое стихотворение:

На синем небе серые тучки,
Одна догоняет другую.
А я сажу коло тихой речки
И весь печальный тоскую.
Чего же ты, хлопец, зажурился?
Ветер спросил меня.
И я ответил тихо:
Ганю не видел три дня.

Она выслушала, насупившись. Помолчала. — Выходит, значит, ты у нас поэт? Как Пушкин, как Есенин. Я уже раньше догадывалась. Ведь это ж ты в стенгазете стишки-частушки помещаешь, подписанные «Зубило». Хорошие бывают. Но вот это — с нездоровым настроением: «Тоска... печаль... зажурился...» И одна только личная жизнь. Это не по-комсомольски. И еще зачем называть девушку по имени? Это даже совсем лишнее. Ты должен соображать. Я член бюро ячейки, и вдруг такие упадочнические стихи... И вообще все неправда. Где ты здесь речку нашел, чтоб над ней тосковать?.. Ты это тоже в стенгазету дашь? Нет?.. Ну, гляди. Но еще лучше, когда бы ты придумал другие стихи — бодрые, боевые, как в живгазете поют: «Брось тоску, брось печаль, даешь уголь, даешь сталь».

Больше он не пытался ей читать, да и дружба их скоро оборвалась.

В одну из встреч со второй Ганей, после того, как, уставший от танцев, от нетерпеливого ожидания, он в душном бурьяне едва ли не со злостью выталкивал, выливал в нее настоявшуюся похоть, а потом старался быть нежным, ласковым, он стал читать стихи. Сперва Есенина, потом и свои, но не говорил, что это он сочинил. Она слушала, притихнув.

— Хорошие вирши. Такие и петь можно. Тогда он прочел и то стихотворение, которое осудила первая Ганя; прочел, одолевая неловкость, ведь обманывал.

— Гарный вирш. Значит, Есенин тоже гулял с дивчиной, которую Ганя звали?.. Та неужели?..

И правда — ты сам все придумал? Или, может, только имя подставил?.. У нас девчата тоже сами вирши придумывают, чтоб на кругу петь. Или только имя подставляют — «Вышел Вася на крыльцо, сделал умное лицо. Извозчики ругаются, что лошади пугаются»...

Ему польстило, что она приняла его стихи за есенинские, но обидело подозрение, будто он мог присвоить чужие стихи и «только имя подставлять».

— А чего ж там сказано «три дня»? Тож неправда. Ты меня с той недели целых пять днів не видел.

Он смутился, но тут же переиначил строфу:

— Чего ж ты зажурился? —
Ветер меня спытал.
А я ответил тихо:
«Я Ганю пять дней не видал».

— А хочешь, могу и по-украински:

Ой, не журыся, козаче,
Витер мене просив.
А як же мени не журитись,
Я Ганю не бачив п'ять днів.

Она глядела удивленно и, ему казалось, даже почтительно.

— А ты й справи вирши придумываешь. Як справжний кобзарь... Ну так придумай мени коломыек, ну частушек — на кругу спивать.

Он предложил ей частушки, написанные раньше для стенной и для «живой» газеты, которую уже почти год готовила в клубе их ячейка.

Мы работаем на совесть,
Хоть мороз, а хоть жара.
И назло буржуйам-гадам
Даем уголь на-гора.
Кто читать-писать не может,
Все равно, что глух и слеп.
Но Ликнеп ему поможет.
Дашь, все вступай в Ликнеп!

Она пожала плечами и зевнула: — Таки частушки може для вашей стенной газеты годные. А на кругу их слухать не станут, еще и с меня смеяться будут. Надо знаешь, какие:

Вы, девчата, без миленьких –
Ниточки без голки.
Надевай червони хустки,
Идуть в комсомолки.

* * *

В редакциях стенгазеты «Красный ремонтник» и «живой» газеты «Червонный шахтар» Васю называли «наш поэт», хвалили, но стихи о любви и природе брали у него редко. Зато настойчиво заказывали:

— Ты давай, знаешь, боевую агит-полит-поэзию. Вот, например, насчет международных дел... про китайских товарищей, ко

дню «Паркоммуны», к первому, к октябрьской годовщине; увяжи день смерти Ильича и гибель товарищей Либкнехта — Люксембург, это ж как раз на одну неделю приходится.

Васино стихотворение о забастовке английских горняков напечатали даже в городской газете «Червонный прапор», в которой украинские тексты перемежались с русскими.

«Стоп, машина», — сказал шахтер.
И кепку снял и пот утер.
Стал он на страже сознательный, гордый.
И тогда от страха вспотели все лорды.

Подпись гласила: Рабкор Василий Петрик (Ремцех Мехмастерских им. Революции 1905 года).

Он купил два десятка газет. Три штуки послал домой, одну подарил библиотекарше, пять отдал дяде, чтобы и ему с теткой и каждой из трех дочек.

Это произошло уже после разрыва с Ганей второй. Раздарив несколько газет ребятам в цеху и в бараке, он бережно уложил оставшиеся на дно фанерного сундучка...

На самом доньшке его потаенных мыслей тлела надежда — подарит их когда-нибудь настоящей коханой: красивой, умной, любящей и понимающей...

Стенгазетчики и жив газетчики поздравляли «нашего поэта с первым выступлением в печати». Некоторые девчата смотрели «со значением» и беспричинно смеялись нарочито громко.

Главным литературным соперником Васи был счетовод — болезненный тонкий паренек в очках — за несколько недель до этого на «литературной страничке» «Прапора» было напечатано его стихотворение.

Наш Ильич бросил клич:
Рабочий класс, даешь Донбасс!

Вася тогда не испытывал зависти, только удивился - стихи ему не нравились; «Ильич — клич» рифмовали уже сто тысяч раз.

И другие слова были громкие, но какие-то пустые, как бочка в крыловской басне.

Мы работаем с плеча
Для заветов Ильича.
Мы — донецкие шахтеры –
Даем угля целы горы.

Он не решился критиковать, чтоб не подумали, будто завидует. Просто поздравил товарища. Но очкарик, когда все другие поздравляли Васю, ехидно сказал:

— Это, конечно, плюс, что пропечатали. Но только этот стих уже устарел. Английская забастовка в прошлом году была... А на сегодняшний день надо про китайскую Красную армию... Я вот уже начал.

И, скрестив руки на груди, — он так всегда читал стихи и чужие, и свои, — очкарик стал выкрикивать, как пацаны, продававшие на улицах ириски и газеты:

Встает! Поднимается! Красный Китай!
Даешь Нанкин! Даешь Шанхай!

Но другие хлопцы и девушки оттерли завистника. Он должен был понять, кто настоящий триумфатор.

Ответственный редактор стенгазеты — электротехник Никола — вскоре после этого радостного дня отозвал Васю в обеденный перерыв.

— Во-первых, Василь, имеется тебе боевое задание — нужны частушки за прогульчиков и пьянчуг. В механическом есть такие, что каждый понедельник с похмелья прогуливают. Пробери их с песочком... Вот. А во-вторых, браток, есть нам всем партийная установка — писать по-украински. Есть линия партии на украинизацию. В мастерских, правда, много нашего брата — кацапов. Но молодежь и шахтеры уже больше с сельских хлопцев. И надо нам всем учиться. Донбасс есть радяньска Украина, хлеб и сало мы едим украинские. Значит, даешь, комсомол, на штурм украинской мовы!

В клубе три раза в неделю собирался кружок украинского языка. Там занимались языком служащие контор и несколько молодых «домохозяек» — жены инженеров и служащих, собиравшиеся поступать на работу. Вася оказался единственным рабочим. И руководитель кружка — школьный учитель-комсомолец — обрадовался ему так, что стал заниматься с ним отдельно, приглашал к себе домой, одалживал книжки и журналы, хвалил Васиных стихи.

При этом он, как о само собой разумеющемся, говорил о преимуществах народной, эпической и боевой революционной поэзии перед «интимной лирикой». Эти слова Вася тогда услышал впервые.

Вдвоем с учителем они читали стихи Шевченко, Франко, Леси Украинки, Эллана, Сосюры, разбирали их, так чтобы понимать каждое слово, каждую мысль. Вася многие запомнил наизусть. Он полюбил и часто про себя повторял страстные строки Франко.

Люде, люде, я ваш брат,
Я для вас рад жити.
Кров'ю свого серця рад
Ваше горе змити.
А що кров не може змить,
Спалимо огнем то.
Лишь боротись значит жить.
Vivere memento!

В кружке он учился так же азартно, как некогда в школе, как недавно в цеху. Каждую свободную минуту он читал украинские книги или газеты, повторял стихи. Ему нравилось, что в этом языке есть «закон милозвучности». Не только правила спряжений и склонений, а еще и закон для живой речи, чтобы она красиво, мило звучала, чтоб было приятно слушать.

Он стал писать и стихи и заметки по-украински. По началу часто хватался за словарь. Потом все реже и реже в него заглядывал. Когда он пересказывал разговоры, споры, то сами собой смешива-

лись украинские и русские слова — так, как говорили его товарищи в цеху, в бараке, в клубе...

Он радовался, когда замечал, что ему и любопытно и весело описывать знакомых хлопцев и девушек, подбирая им другие имена, изменяя иные внешние черты, подробно, точно рассказывать, как они выглядят, как одеты, как гуляют, танцуют, курят, целуются, какие шутки шутят... О главном редакторе Николе в ячейке говорили: «Чистая пролетарская кость, а грамотный, образованный, не хуже инженера... Читает все газеты и журналы, и книжек у него полная хата...»

В комнате Николы в семейном бараке были заняты книгами две этажерки, несколько полок на стенах и половина рабочего стола. Вторым столом с примусом и посудой распорядилась его жена, маленькая, взъерошенная, как воробей. Она работала в конторе машинисткой. И на ее столе тоже лежали стопочки книг. А соседи по бараку говорили: — Она хоть малая, а тоже начитанная-зачитанная. С того и хлопчик ихний такой бледный и тоненький... Два года только, а не слышно, чтоб крикнул или заплакал. Его ж наверное в газеты пеленали, а вместо соски брошюрки сосал.

Николай иногда приглашал Васю к себе домой, угощал чаем и печеньем, одалживал новые книжки, каких еще и в библиотеке не было, и разговаривал о его сочинениях. Он читал их внимательно, медленно, поправлял ошибки, объясняя, почему надо сократить или переставить слова... Сокращения Васю почти всегда огорчали, но ошибки он признавал.

Никола был старше его на добрый десяток лет. Он еще и в царской армии служил, — там и стал электротехником, — а в гражданскую войну даже где-то начальником был. Но он разговаривал, как равный, не важничал, не «давил на авторитет».

— Насчет стихов я тебе не скажу. В этом деле не очень разбираюсь... А правду сказать, так совсем не тямлю... Ну там песничастушки это, конечно, хорошее дело. Но у тебя же не только они. У тебя, можно сказать, настоящие стихи. Для них большое понимание требуется. Я так думаю: раз одни умные люди пишут стихами,

а другие умные люди читают и хвалят, значит есть от них какая-то польза, которую я еще понимать не могу. Поучиться бы надо. Было б только время... Когда мне столько лет было, как тебе сейчас, я еще и грамоту еле-еле разбирал. Крестьянскую работу умел всякую — и пахать, и боронить, и сеять, и косить, и скирды ставить, и молотить, и веять... Все такое хорошо умел. Но, когда в первый раз электрическую лампочку увидел, как огонь без спички загорелся, так меня, веришь, и в жар и в холод бросило, как лихорадкой тряхануло. Хоть уже слышал разговоры про этот городской холодный огонь... Тогда-то я и взялся электротехнику учить. Учил и так и сяк, и сейчас еще учу — конца не видно. Вот журнал получаю. Каждый раз новое узнаю. Хочу радиом заняться... Это, брат, замечательная штука — телефон без проволоки. И сразу везде слышать можно. Потому и называется радио. Что такое радиус, ты знаешь? Расточной радиальный станок видел? Так вот, радио это такая штука, что дает электрический ток по всем радиусам и прямо без проводов. В Москве говорят, а по всей земле слушать можно за тысячи верст, хоть морзянку, хоть живой голос. Только приспособление нужно, чтоб ловить этот слабый ток. Вот я сейчас учу. Пока так, самоуком. Но хочу проситься на рабфак. Мне, правда, уже 29 годов; не хлопец — мужик, но, может, еще успею... А на стихи, пожалуй, не хватит ни сил, ни времени... В том, что просто так написано, как говорится, прозой, в этом лучше разбираюсь. Очень уважаю писателей Льва Толстого, Максима Горького, Александра Куприна... Очень уважаю. И сейчас в Москве, в Харькове есть хорошие новые писатели. Правильно описывают нашу жизнь. Неверов, Либединский, и другие есть... И как ты пишешь, мне нравится. Все, как взаправду, вроде как бы и видно и слышно... И вообще, можно сказать, душевно пишешь. Но только очень длинно. Разве такое можно поместить в газету, хоть стенную, хоть печатную. Вот ты написал «Наши веселые досуги: рассказы из жизни». Прямо скажу — здорово написано. Не в бровь, а в глаз и пижонам, и хулиганам, и вообще мещанству... Но посчитай — тут же 42 страницы, да еще какие страницы — это ж ты с бухгалтерской книги нарвал. Почерк у тебя

разборчивый, — тут ничего не скажу, — буквочки все аккуратные. Но ведь мелкие какие — чистое просо! Если б даже городская газета это стала печатать, так на три-четыре номера хватило бы. Но чтоб уже ничего кроме. Только заголовок и твои рассказы... Нет, браток, с этим не в газету надо, а в большой журнал или, может быть, сразу в книжку... Был рабкор — будешь пролетарский писатель. Это уж точно, это я могу со всей ответственностью сказать.

Вася уходил радостный. На улице ловил себя, что ухмыляется, бормочет под нос, поет... Встречные прохожие поглядывали неодобрительно: думают, пьян в будни, как отпетый коногон... Он будет писателем. Будут книжки в нарядных цветастых обложках — «Василий Петрик... роман»... «повесть»... «рассказы». Он станет знаменитым, как Пантелеймон Романов, будет жить в Харькове или в Киеве. И все время только писать!.. Нет, не только. Он же будет пролетарским писателем. Настоящим, без отрыва от производства... Но, по-скольку известный, знаменитый, он и работать станет на знаменитых заводах. В столицах. И будет переходить из цеха в цех, чтоб все видеть, все изучить... И ездить станет из города в город — в Ленинград, в Москву, туда, где радиомашинки делают. А потом и за границу, в Англию, в Германию, в Америку; там есть, что посмотреть и, конечно же коминтерновские связи налаживать... Когда старушка-библиотекарша его в первый раз спросила, какие книги современных писателей ему нравятся, он сказал: «Ташкент — город хлебный» Неверова, «Дневник Кости Рябцева» Огнева и «Джимми Хиггинс» Элтона Синклера. Она ему посоветовала прочесть «В тупике» Вересаева, «Русь» Пантелеймона Романова и все, что было в библиотеке Джека Лондона; а первая Ганя хвалила Тарасова, Родионова, «Шоколад», и «Преступление Мартына» Бахметьева.

Все это он читал, и все ему нравилось. Но неужели он сам не сможет написать такие же книги? Чтоб были не хуже, а, может, и еще лучше... Научиться этому ведь не хитрее, чем паровым молотом гвозди забивать...

После занятий в кружке он стал читать украинские книги — повести Григория Эпика, стихи Владимира Сосюры; оба они рань-

ше были донецкими рабочими — комсомольцами, а стали знаменитыми писателями... Труднее было читать прозу Юрия Яновского и Миколы Хвильового; каждое слово по отдельности понятно, и целые выражения понятны, а все вместе, хоть и красиво, но едва проницаемо; и так можно растолковать и этак, то на загадку похоже, то как в песне, где важен не смысл, не простые вразумительные слова, а мелодия, настроение...

Чтобы это понимать и уметь объяснять, нужно было еще учиться. И не откладывать. Ему скоро двадцать. Отец в эти годы уже был женатый. А ведь отец еле грамотный был. А Вася уже столько узнал, столько испытал... Две Гани — две горьких неудачи... Впрочем, нет, не только неудачи. Для писателя и несчастная любовь — хороший урок. И вообще, не должен он лихом поминать тех девчат. Первая научила целоваться и презирать мещанство — хоть сама потом и подалась в мещанки, но раньше ведь правильно, хорошо учила. А вторая сделала его мужчиной и открыла ему глаза на бабьи, на девчачьи хитрости... Так что уж третья — Маруся — не могла его соблазнить... И он должен — обязательно должен — написать роман «Лимонная честность» про донецких девчат и хлопцев с правильной пролетарской идейностью и настоящей любовью... Будет у него еще и такая. Он уже больше не «юнош», как говорит дядя, а взрослый рабочий — пролетарий, рабкор и скоро станет — должен стать — пролетарским писателем.

Надейка — старшая дочка дяди — встречая его в клубе, улыбалась все ласковее, шурилась «со значением».

— Чего ж ты, братику, нас забываешь?.. Уже почти месяц не приходил. Загордел, наверное?

Он приходил в крохотный домик, — три года назад казавшийся ему панскими хоромами, — ловил себя на том, что и вправду уже сверху вниз смотрит и на дядю с тетей, и на троюродных сестриц. Больше всех ему нравилась самая младшая, Любка; румяная, быстроглазая, она уже кончала семилетку, остригла косички и начесывала на левую бровь острую челку; блузку распирали крепкие круглые дыньки, и ноги тоже были крепкие, круглоикрые.

Тетя угощала его борщом, варениками и взваром, — «в столовке-то харчи похужее от домашних», — и все нахваливала свою любимицу Верочку — тихоню, прилежницу; показывала, какие нарядные сорочки та для батька сама пошила — и скроила и вышила, все сама, своими ручками, — какие рушники и хусточки вышивает для матери и для сестер... Тетя все вспоминала «родну веску» и подробно рассказывала о счастливых браках между молодыми сродичами — двоюродными и троюродными, нахваливала семейную жизнь «в своей хате», не сравнивать даже как лучше, чем в бараке, где трудно бывает уйти от плохой компании, от водки, от карт... А от этого же только болезни, разорение, ранняя смерть...

Обычно скупая на слова тетя растревляла себя этими речами, начинала всхлипывать, утирать неподдельные слезы:

— Ой, чего же гэто я старая дура плачу?.. У нас же в хате, слава богу, порадок идет, и все мы здоровенькие, слава те Господи, и душою и телом здоровые, как стеклышки чистые... Гэто я от жалости плачу. Жалею всех бедных юношев, которые без батька-матери жить должны.

Он понимал, что тетка «строит намеки», но не подавал виду, соглашался с ней во всем и успокаивал, что сам он не пьет и даже не курит, ни с какими плохими компаниями не водится, а все больше учится. И жаловался, что очень устает от работы и от учения. Но вот, когда окончательно выучится, тогда станет думать и про семейную жизнь.

4

Его рассказы хвалили и редактор Никола, и старая библиотекаряша. Он радовался похвалам. Радовался, когда ему самому казалось, что хорошо получается... Но, едва успев порадоваться, он начинал сомневаться. И тогда уже только отмахивался от любых похвал. И не верил в себя, и не знал, как одолеть это неверие. Знал, что нужно учиться, но не знал, чему именно. И не отлипала тоска...

В такие дни он беспричинно раздражался, ввязывался в дурацкие перебранки в бараке и в цеху. Драться не лез — научился сдерживаться. И стал приучать себя к молчанию, чтоб не отругиваться, когда поддразнивают, не идти, когда зовут посредничать в чужой ссоре, не возражать, услышав, когда рядом и вовсе чепуху говорят...

Он избегал и серьезных споров на больших собраниях, боялся, что распалится и наорет невесть что. К тому же он мучительно стеснялся говорить перед многими людьми, когда смотрит множество глаз, слушает множество ушей. В своем цеху, в своей ячейке он чувствовал себя свободней. Но в то лето, казалось, его уже ничто не может всерьез увлечь, заинтересовать.

А между тем собрания шли необычно шумные. В мастерские приходили студенты и парни из типографии, из депо — «Мы оппозиционеры, ленинская оппозиция, мы за товарища Троцкого, мы настоящие большевики-ленинцы...»

Они говорили, что ЦК партии гнет неправильную линию: в Москве командуют Бухарин, Сталин, Рыков, а на Украине Скрыпник, Каганович, Чубарь и другие бюрократы-аппаратчики. Они потакают нэпачам, куркулям — новой буржуазии, затирают рабочий класс и геройских товарищей Троцкого, Раковского, которых теперь поддерживают ленинградские пролетарии и предКоминтерна товарищ Зиновьев; он раньше вместе с Каменевым недооценивали, а теперь все правильно осознали. И товарищ Крупская, жена Ильича, с ними...

Другие парни из горкома и райкома кричали:

— Вы раскольники, бузотеры, троцкисты вы, а никакие не ленинцы, меньшевики, нарушаете партийную дисциплину, анархию разводите. Ваш Троцкий еще до революции меньшевиком был и прямо нарывался на самого Ильича, а теперь действует с хитростью, назвался ленинцем... Но он и его питерские дружки-горлопаны хотят поссорить рабочих с крестьянами, разрушают смычку с деревней, подрывают авторитет ЦК и, значит, всей партии... А это значит — разруха. Империалисты нас голыми руками возьмут.

Вася слушал споры в пол-уха. Речь шла о далеких и не всегда даже понятных ему делах. А он думал, придумывал и передумывал,

как ему жить дальше, в чем смысл его жизни, может ли он стать писателем...

В газетах, на митингах учащались, густели тревожные известия.

Весной радовались наступлению китайских народных армий. Когда они взяли Шанхай, у ворот мастерских собрался веселый митинг; подошла толпа шахтеров с флагами, с плакатами на палках. Никто вроде не приказывал, не собирал, словно бы сама собой построилась колонна; двинулись с песнями к центру города. Пели «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», «Смело мы в бой пойдем» и старые народные песни — украинские и русские. Бойкие девчата и хлопцы на ходу выплясывали прямо на мостовой.

Подошли к зданию Горсовета и Горкома партии. На площади густые толпы и тоже с флагами, с плакатами. На балконе Горсовета стояли несколько человек в косоворотках, толстовках, гимнастерках, и говорил настоящий китаец. Худой, чернявый с круглой, коротко стриженной головой, он кричал высоким мальчишеским или даже девчоночьим голосом.

— Луссыкая лабочия, китайсская лабочия товаличи, былатия, сесытылы... да зыдасытуит миловая ливалюцья!!!

Вокруг оглушительно кричали «Ура-а-а». Несколько хлопцев стащили китаецца с балкона и качали его, высоко подкидывая. Он взлетал, растопырив руки и ноги, смеялся и тоже кричал-верещал «Уа-а-а-а!»

Но через несколько дней стало известно, что главнокомандующий китайских товарищей Чан Кайши изменил — расстреливает коммунистов в Шанхае и в Кантоне; там погибли и советские граждане... В Лондоне полиция обыскивала советское торгпредство. Англия разорвала дипломатические отношения с СССР. А в Варшаве убили советского полпреда товарища Войкова... И опять шли демонстрации из поселка в город. Солнце накалило булыжник. Сквозь подошвы ощущался жар. Каменные и беленые стены домов дышали душным теплом. На тополях и каштанах устало обвисала пожухлая пыльная листва. Воздух, пахнувший сухим углем — жесткий воздух донбасского июля, — шершавил ноздри и гортани.

Вася шагал в мокрой потной майке и вокруг него шагали парни и девушки в таких же светлых или цветных майках и косоворотках, прилипавших к плечам и спинам... Он надел на голову носовой платок, завязав на углах узелки. Шагали все ладно и, несмотря на жару и духоту, крепко стучали по горячим булыжникам худыми подошвами и пели дружно, зычно, с присвистом:

Вскормили меня и вспоили
Отчизны родные поля,
Меня беззаветно любили,
К труду приучили меня...

Вася чувствовал — горло перехватывает от радостного гордого сознания живой связанности со всеми, кто рядом, впереди, сзади и вовсе далеко — где-то в Харькове, в Москве, в Китае, в Польше...

И он пел со всеми, стараясь, чтобы громче и чтоб в лад:

Теперь для нас тревожный час
борьбы настал, настал,
Коварный враг на нас
напал-напал.
И каждому, кто сын нужды,
кто сын нужды,
Мы говорим: спеши в ряды —
спеши в ряды!

Он уже спешил. Он уже шагал в рядах. Как мелки, как жалки были все его печали, тревоги, сомнения перед этой всемирной, всеобщей тревогой, перед величием этих общих рядов.

За-аводы без нас опустели,
Готовься на бой, молодежь!
И за коммуны, за власть советов,
Под красным знаменем вперед, вперед!

На следующий день, сразу после работы, он из цеха пошел в венкомат, подал заявление: «Прошу принять добровольцем в Крас-

ную Армию». До призыва оставалось ему еще больше года. Но он должен был стать бойцом немедленно, и лучше всего, если бы во флот. Море он только в кино видел.

С оружием в руках, в колонне красноармейцев, на борту боевого корабля он, конечно же, избавится от непонятной, нудной тоски-печали, от постыдных сомнений, копаний в себе.

Но военкоматский врач, осмотрев его, сказал, что он не годится ни для флота, ни для армии — рост высокий, а грудная клетка узкая, легкие слабые.

— Ты поднажми на допризывную подготовку. Занимайся физкультурой. Каждый день делай гимнастику, обтирайся холодной водой, побольше гуляй, бегай на чистом воздухе. Курить ни-ни, полный запрет! И спиртного ни капли. Разве только изредка пива. Но есть надо регулярно — три раза в день. И старайся побольше жиров — масло, молоко... Тогда можешь через год-другой стать достойным бойцом РККА... Так что, не спеши, хлопец. На сегодняшний день войны нет. Пока закаляйся, подковывайся...

Тогда он решил последовать советам дяди и редактора Николая.

Пришел в райком комсомола. Хочу учиться. Прошу направить, куда больше всего надо.

Лохматый инструктор райкома, молодой, но, видно, бывалый парень, разговаривал дружески-сочувственно.

— Эх, поздно ты спохватился, товарищ... э-э Петрик: скоро ведь учебный год начинается. Вступительные экзамены уже везде идут полным ходом. А где и кончились. У нас все лучшие путевки разобрали — в машиностроительный, в горный, в электротехнический ни одной не осталось. Вот есть еще одна на рабфак Инхоза — Институт народного хозяйства — правда, зато в самом Харькове... В Инхоз у нас больше девчата берут. Хлопцы носами крутят — не хотят, видишь ли, менять рабочее звание на портфель, бюрократами делаться... Но я тебе вот что скажу: это тоже несознательность. Уклон с левого боку! Партизанщина и комчванство! А что нам требуется на сегодняшний день?

Он даже встал, уперся кулаками в свой узенький стол, заваленный папками, газетами, брошюрами, стал, будто на трибуне, и потрянул кучерявым чубом.

— На сегодняшний день партия и комсомол призывают рабочий молодежь: даешь учебу на всех фронтах! Потому что какую задачу имеет на сегодняшний день советский пролетариат?.. А такую задачу, чтобы занять все командные позиции, какие есть и могут быть... Чтобы все наши красные командиры и все инженеры и профессора, и все доктора, и все бухгалтера были из рабочей кости... Вот, к примеру, ты — товарищ, кто?.. Слесарь? И кузнечное дело знаешь? Отлично! А по происхождению, кто будешь?.. Отец-мать чем занимаются?.. Отлично! Так вот такие, как ты, потомственные пролетарии, и должны идти в Инхоз изучать всю экономику и там всякую алгебру-физику-бухгалтерию итэдэ, итэпэ. Изучать насквозь и даже глубже. И еще есть у тебя главная задача — крепко держать классовую пролетарскую линию... Это значит — комсомольскую, партийную, генеральную линию. На сегодняшний день это важнейшая задача... Что показали партийные дискуссии с троцкистами, децистами, зиновьевцами, хвилевистами и другими уклонами?.. Они показывают, что есть на сегодняшний день еще многие интеллигенты и даже которые с комсомольскими билетами и даже с партийными и даже с большим стажем, но такие, что они по своей мелкобуржуазной интеллигентской породе остаются неустойчивыми, не имеют пролетарской сердцевины и от того впадают и сползают, и некоторые даже окончательно загнивают... И должен тебе сказать, что такие факты есть на сегодняшний день особенно между студентами, где еще сильная мелкобуржуазная интеллигентская прослойка. А кое-где даже имеется засорение чуждыми элементами из лишенцев и враждебных классов... Так что давай, товарищ Петрик, бери путевку на рабфак Инхоза... И покажи, прояви себя достойным твоего пролетарского соцпроисхождения и соцположения и достойным доверия Ленинского комсомола... Вот распишись тут... Напиши свое фамилие четко, лучше вроде как печатными буквами. Инициалы давай полностью, а тут год рожде-

ния, место работы, разряд и тэдэ... А тут распишись... Порядок!.. Давай, передай наш боевой донецкий привет красной пролетарской столице — Харькову!.. Да, постой! Тут еще одна путебочка осталась, тоже в Харьков, в этот, как его, ферма-форма — вот она — фармацевтический техникум. На аптекарей учит. Я тебе не предлагал — это действительно уже девчине подходит. Может, ты знаешь какую на сегодняшний день сознательную подходящую девушку? Вместе поехали бы... Нет? И не припомнишь?.. Ну лады... Узнаешь в Харькове... Бывай!

Маленький листок бумаги с напечатанным текстом и несколькими строчками, написанными чернилом. «Путевка Районного Комитета ЛКСМУ ... Робітничий факультет Харківського Державного Інституту Народного Господарства». Этот маленький листок — знак новой решимости — словно отсек начисто и тоску и вялость, и все дурные беспомощные мысли. Опять, как в первые дни на Донбассе, он хмелел от нетерпеливого веселого любопытства, от ожидания новых открытий, новых знаний... Опять пестрыми снами наяву клубились надежды, мечты, воображались будущие праздничные торжества...

Хорошо, что путевка в Инхоз. Он расспрашивал всех знакомых, и Николу, и библиотекаршу, — перечитывал брошюры-проспекты разных ВУЗов... И радовался, узнавая, что будет изучать политическую экономию, историю, географию, высшую математику... Ничего этого он еще не знал. Конечно, он мог бы стать инженером. Вероятно, легче было бы учиться на инженера, — ему, слесарю высшей квалификации, умевшему работать и на разных станках и на паровых молотах. Их ремонтную бригаду посылали в разные цеха. И каждый раз он с любопытством исследовал новый станок, новый механизм, упрямо старался понять его и подчинить. И каждый раз такое новое знание-умение возбуждало радостную гордость: значит, есть и в нем разум-смекалка и настоящая врожденная способность к мастерству.

Отец любил повторять: «Настоящий коваль должен иметь особый нюх, особое чуйство, чтобы одразу учуять, когда железо еще

не поспело, не так накалилось, как надо, а когда уже давай, спеши-выймай, чтоб не перекалилось... И должен чутать, когда надо один раз крепко вдарить, а когда часто-часто дробненько постукотить... Такое чуйство не купишь, не позычишь. С ним, наверное, уже на свет Божий нарождаешься, как с колером очей и волос... Но, чтоб майстром стать, одного только чуйства мало. Надо еще иметь прилежность, надо сильно учиться, чтоб досконально понимать, как работать».

Вася был уверен в своем чутье и прилежании железного мастера. Но мечтал о другом. И, сомневаясь, колеблясь, споря с самим собой, временами едва не отчаиваясь, он снова и снова брал карандаш и писал, упрямо писал... Иногда тихонько посмеивался, похихатывал, — здорово получилось, ну ведь совсем как взаправду бывает, — иногда яростно черкал, вычеркивал, перечеркивал целые страницы, комкал, рвал на мелкие клочья...

Путевка на рабфак Инхоза придавала жизни снова ясный и прочный смысл.

5

Он приехал в Харьков за неделю до начала занятий. Экзаменовавшие его преподаватели удивлялись: путевка на рабфак, а сочинение написал впору наилучшему студенту из старших. Но совсем не знал политэкономии. Хорошо писал по-украински, хорошо решал задачи по алгебре и геометрии, но ничего не смыслил в химии и физике...

Зачислили его на третий курс рабфака, обязав сдать «хвосты» в течение года, назначили стипендию 46 рублей и дали направление в общежитие.

Студенческий городок был на ближней окраине города. Несколько рядов двухэтажных домов — светло-серых, с красными крышами, еще пахли сырой штукатуркой. Вокруг домов жиденькие

палисадники, редкие деревья, а вблизи от городка два кладбища — православное и лютеранское, там старые развесистые клены, дубы, липы, густые кусты.

Квадратная, недавно беленая комната. Четыре койки, четыре тумбочки. Большой шкаф у стены, большой стол посередине. Жильцы — два студента первокурсника и два рабфаковца- третьекурсника.

Староста комнаты, Миша Кутенко, плечистый, курносый, кудлатый — рыжевато-русые проволочные патлы — неторопливый, говорит медленно, словно бы раздумывает над каждым словом. Под куцым городским пиджачком опрятная вышитая «галтованная» сельская сорочка. Он приехал из села, где учителствует его отец.

Второй студент — Мишин «корешок» Семен — и подвижнее и говорливее. Остроносый, темноглазый, темные волосы причесаны «политикой» — две густых запятых нависают на лоб. Толстовка потерта и кое-где подштопана, но перетянута кавказским пояском с железными бляшками-висюльками. Рано осиротевший сын паровозного машиниста, он два года беспризорничал, после детдома учился на рабфаке.

Рабфаковец Гриша — Грыцько — голубоглазый, с выгоревшими светлыми, коротко постриженными волосами, казался куда моложе своих 19 лет; его иногда окликали «эй, пацан». Но его, как и Васю, приняли сразу на третий курс, хотя раньше он учился только в сельской семилетке. Младший сын многодетного середняка — он должен был много работать и в поле, и в огороде. Старшие братья разъехались кто куда, кто в армии, кто в город на завод. А Грыць в школе считался лучшим из лучших. И после школы упрямо продолжал читать, зубрить, решать задачи, ходил вечерами к учителям. Они-то и выпросили для него в районо путевку на рабфак. Оказавшись в одной группе с Васей, он с первого же дня к нему прилепился. Единственный сельский хлопец, да еще ребячливо моложавый, среди бойких горожан, учился он упрямо, истово.

— Мне ж еще сколько догонять-наздогонять надо. Вы — городские — с самого мала учитесь. Как только с дому выходите, уже гра-

мота в очи лезет — на всех магазинах, на всех стенках понаписано-понапечатано... А у нас в селе и школы не было. За четыре версты в соседнее бегали. И сколько раз бывало с хаты не пускают, потому как завирюха — метель — или потоп на дороге, или работа нужная. В нашей хате всех книжек была одна Псалтырь церковною мовою, ну и буквари, какие от старших братьев-сестер остались, и то не все странички, батько, случалось, выдирали на сигарки. А я любил учиться — и в школе, и так, от старших. Когда летом ночью коней пасти гоняли, хлопцы воколо костра всегда рассказывали, кто байки, а кто и правду всякую и за войну, и за царей разных, и за Ленина, за комнезамы... Пионеров у нас тогда никаких не было. А поп и сейчас есть. Наше село такая даль-далечинь; когда весной тает и когда осенью дожди сильные пойдут, к нам только верхом приехать можно, и то если коняка хорошая, крепкая. А если пешком идти, так лучше босому, как ни холодно, а то чоботы или постолы все равно в грязюке оставишь...

Грыць рассказывал о себе Васе охотнее, чем другим. Вася умел слушать, спрашивать участливо и понимающе. А Грыцю льстило, что такой серьезный рассудительный хлопец интересуется его делами. С другими он больше слушал сам, оставаясь немногословным, отделяваясь шутками. На собраниях тихо сидел в дальнем углу. С тем, кто ему не нравился, он «строил дурочку», прикидывался бестолковым, невежественным, даже глуховатым и подслеповатым. А со своими был сметлив, наблюдателен, остроумен и насмешлив.

В этом он не уступал Семену, который на курсе славился как остряк-заводида. Он и Грыць вдвоем придумывали товарищам и друг другу прозвища, которые прилипали надолго.

Василий начал вести дневник, записывал мысли, возникавшие при чтении, разговорах, впечатления за день — это должно было стать писательской «тренировкой». Он конспектировал прочитанные романы, рассказы и статьи.

Заметив, что он постоянно пишет и бережно прячет тетради, Грыць стал называть его «наш великий письменник» или «кум Вельпис».

Миша считался самым образованным и в комнате, и на курсе. Он выписывал газеты и журнал «Большевик Украины», над койкой он пристроил две длинные доски — книжные полки, на которых разместил свою личную библиотеку — книги Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Каутского, Бухарина, несколько толстых сборников по «Истории классовой борьбы» и много брошюр.

Семен и Грыць прозвали его «заместитель Карла Маркса», и кличка Замкармар укрепились за ним так крепко, что годы спустя новые студенты считали ее настоящей фамилией и спрашивали Мишу, откуда он родом.

Не обошли они и друг друга. Грыць прозвал насмешливого Семена «черный перец» и величал «кум Чорпер», а тот Грыця — «тихий омут» — или «кум Тихомутенко».

Несмотря на стычки-перепалки, подначивания и розыгрыши, все четверо жили дружно. В конце первого харьковского рабфакковского месяца Василий записал в дневнике: «Кажется, это самое счастливое время, какое у меня только было в жизни».

* * *

Он любил ходить по городу, особенно в первые дни, пока еще не втянулся в занятия. Но и позднее, случалось, откладывал книжки и тетради и шел, куда придется; играя с самим собою — шел, не намечая заранее направления, открывал все новые улицы, дома, сады...

Харьков ему нравился. Настоящая столица. Высокие дома пестрели вывесками, сверкали витринами, мерцали электрическими надписями. Поначалу ему забивали уши и кружили голову непривычные шумы, оглушительная разноголосица улиц; железный скрежет и переливчатый трезвон трамваев, храпенье автобусов, криканье автомобильных сигналов, топотание-лопотание-шуршание толп бесчисленных и нескончаемых.

Он бродил по улицам, покупал мороженое, разглядывал витрины, отдыхал в садах... Вечерами там в тенистых уголках, подальше

от фонарей, обнимались пары. Доносился девчачий смех и взвизги, а мужские голоса звучали невнятной, глуше.

В большом саду на Сумской — никто еще не привык называть ее по-новому Карла Либкнехта — он сел на пустую скамью, неторопливо облизывая маленький пухлый диск мороженого, зажатый между вафельными круглыми обложками с вытесненными именами «Нина» и «Галя». Такие же обложки для девушек продавец мороженого брал из другой коробки, с мужскими именами; изобретение это казалось Васе очень остроумным и симпатичным.

...Он думал, как странно, что и раньше в бараке, среди двух десятков самых разных хлопцев — были среди них ведь и задиры-хулиганы и выпивохи, и горластые зануды — ему удавалось легче отделяться, жить в одиночку, чем теперь в комнате с тремя добрыми «кумами»... Хотя они и разумные, образованные, хорошие хлопцы, и каждый из них ему куда ближе, куда больше по душе, чем самый лучший из товарищей там в бараке...

— Скучаете, молодой человек?.. Закурить не угостите?

На скамью присела девушка в кепке куполом, низко надвинутой на брови. Темная прядь волос колечком на очень румяной круглой щеке. Ярко пунцовые губы. Короткая юбка открывала толстые круглые колени.

— Не ку-уришь? Здоровье бережешь или грошей жалко?.. Просто так — не привык?.. А с отку-дова сам?.. А-а, донецкие — парни молодецкие! Донбасские — самые хватские!.. Работать приехал или в гости?.. Студент?! Как же это я не догадалась?! Сразу ж видно — серьезный, интересный мужчина... Надо же!.. А я с мала обожаю образованных. Так что студенту скидка вполтину. Пошли за полтинничек... Куда? А вона там за углом через три дома во дворе у мене уголок...

Достав из сумочки мятую с обугленным концом — недокурную — папиросу, она чиркнула спичкой, затянулась, придвинувшись к нему, толкнула мягким плечом и твердым локтем и запела вполголоса хриловато:

— Наш утха-ало-ок я прибра-ала цви-ита-ами... Пошли, студентик; не пожалеешь. Хоть со скидкой, но я тебе так поддам, что ты

в своем Донбассе ни в жисть не спробуешь... Не хотишь? Может, боишься: заразная? Не бойсь! Чтоб мне так жить — я здоровая, не хуже целки. Ты не думай, что я какая-нибудь проститутка блядская... Не-ет, ни-ни! Я бедная девочка, при маме в барышнях живу. А мама вдовые, — они санитаркой в больнице. Раньше я тоже служила кульершей в тресте. Но попалась в сокращение штатов. Теперь состою на бирже безработного труда. Каждый день обещают послать на работу. Но только с тех обещанок борща не сварить, даже чистой воды не скипятишь; за карасин в примус платить надо... Вот я от нужды, когда мама на дежурство уходят, и гуляю. Но только я с кем попало не пойду. Я в людях понимаю. Гнилому ффраеру ни за какое золото и пощупать не дам... Лучше возьму подешевле, но чтоб мужчина чистый, видный, приличный, самостоятельный... Пошли, студентик, поиграем в папу-маму... Что ж у тебя и полтинника нет? Все на мороженое проел? Или, может, ты слабак? Не маячит? Или, может, еще живой не видел — стесняешься? Пойдем, я тебе все покажу и так научу — за тебя все барышни-дамочки, как будяки, чепляться будут... А может, ты лидер? Не девочку хотишь, а мальчика?.. Что значит, ничего не надо?.. Ах ты комсомол, сознательный. Даешь заветы Ильича! Может, у тебя и хрен с красной звездочкой?.. А у меня дома есть красная хустка: могу и на голову повязать, как комсомолка сознательная, могу и фартучком, чтоб тебе с под нее слаще было... Ничего не хотишь... Тикаешь, студент засранный?!

Он уходил поспешно, едва не бежал. Растерянный. Почему все же не нашел слов, не поговорил с ней так, чтобы убедить. Ведь она же еще молодая девка. Из трудящихся. Живет в таком прекрасном городе. А сама похуже тех шахтерских... Они хоть в любовь играли, переживали. А эта продает себя бесстыдно, продает, как на барахолке...

В другой вечер он возвращался через кладбище. Впереди шла маленькая худенькая женщина в белой косынке, в широкой длинной кофте, явно с чужого плеча, и стоптанных туфлях на босу ногу. Он подумал жалостливо — должно быть, идет от могилы матери или отца. Перегнал, оглянулся участливо...

Белесый треугольник маленького лица. Мутно-красные пятна на веках, большие красные губы.

— Кавале-эр! Пошли в кусточки!

Густое зловоние перегара. Тусклые пустые глаза.

Он прибавил шагу, не оглядываясь.

...Об этих двух встречах он рассказал соседям — «кумовьям», сердясь и недоумевая — как же это еще возможно такое в пролетарской столице на одиннадцатом году советской власти.

Миша, протирая большие очки в железной оправе, помаргивал рыжими ресничками.

— Чего ж тут удивляться? Имеется на сегодняшний день НЭП, это ты разумеешь? Значит, имеется частный сектор в экономике. Имеется частная торговля; имеется также безработица... Ну, и имеются разные пережитки царизма и капитализма... И несознательность вообще, и в частности отсталость среди трудящихся... Особенно там, где не хватило индустриального пролетариата. Имеются также факты бытового разложения и обрастания среди совслужащих. И даже среди некоторых членов и кандидатов партии и комсомольцев. Это уже отражалось в печати... Поскольку имеются чуждые влияния, так сказать, угар НЭПа... Опять же имеются даже прямо антипартийные оппозиции... Вот только у нас в институте больше двадцати человек исключили из членов и кандидатов партии за поддержку троцкистов, зиновьевцев, децистов... А выговоров и простых и строгих с занесением так больше полсотни имеется. А ведь мы передовой идеологический ВУЗ.

Семен засмеялся.

— Ой, кум Замкармар, ты что же это доказываешь, что те курвы, которые к нему липли, значит, троцкистки или вроде?

— Ничего подобного! Не перекручивай, пожалуйста... Я только доказываю, какая вообще имеется обстановка. Харьков — действительно пролетарская столица. У нас тут заводы-гиганты: Хапезэ, Хэмз, «Серп и молот» и многие другие... Ты вот пойди к этим заводам в рабочие районы. Там таких девок не встретишь. А в центре еще имеется угар НЭПа и сильные мелкобуржуазные элементы...

Тут нужен диалектический подход, с точки зрения общей экономической, политической и соцбытовой обстановки...

Семен, насвистывавший «Интернационал» вперемешку с трагическим маршем «Вы жертвою пали», оборвал свист:

— Ну, завел шарманку, Замкармар: «диалектический», «экономический», «хвилософически»... А ты попробуй подумать свою голову — по-людски просто... Ну при чем тут НЭП, сознательность, несознательность?.. Бляди были при всех режимах. Про них уже в Евангелии писалось: «Кто без греха, нехай первый кинет камешку»... А я так думаю, что и при социализме какие-никакие, а все же бляди еще будут. Может, при полном коммунизме все дочиста переменится. За это не скажу... Но только на наш век их еще хватит. И я вам вот что скажу — по-моему так, такая откровенная девка, которая без всяких забобов берет рубль чи полтинник и за это тебе честно дает, куда лучше, куда симпатичнее, чем те хитрые курвы, которые бывают даже с комсомольскими билетами... Они галдят: «даешь новый быт!», «долой мещанство!» или же строят из себя интеллигентных целок — «ах, что вы, я не такая, я совсем другая». И они тебе сперва мозги запудрят, голову закрутят, да еще и помучат так, чтоб с конца уже кипяток закапал... И ты сгоряча бежишь в ЗАГС расписываться честь по чести... А на другой день она уже начинает канючить, чтоб ты с хлопцами не гулял, не пил, что ты ее не уважаешь, как товарища, не уделяешь внимания, что ты старый прижим, мещанин, забыл поздравить тещу, грубо говорил с тещем... Каждый день будет пилить — найдет причину... А потом сама будет втихаря давать и дружкам за спасибо и начальнику за карьеру, и чужому дяде за подарочки... А с тебя будет тянуть гроши на аборт. Или родит байстрюка, устроит развод, чтоб ты ей алименты гнал, а она уже загуляет, как схочет... Но чтоб ее все держали за сознательную, может, даже за активистку. Вот таких берегитесь, это я вам всем говорю — особенно тебе, Василь-письменник...

Миша, надев очки, то супился, то ухмылялся и несколько раз тщетно пытался перебить, восклицая: — «Ну это уже слишком». Се-

мен расхаживал взад-вперед у стола, за которым сидели приятели, широко размахивая руками:

— Ты не мешай, не мешай, теоретик Замкармар... А ты слухай сюда, Василько, и ты, Грыцько, слухай, я вам правду рассказываю из жизни. А Михайло, великий ученый марксист, достославный политэкономист... Он, конечно, когда оженится со своей Наталкой или с какой другой сознательной красуней, так перед тем, как в постелю идти, жинке доклад прочитает за текущий момент и какая имеется политическая обстановка... Потом они вдвоем «Интернационал» запевают и уж только тогда раздеваться станут... А ты, кум Тихомутенко, ты же селюк... Ты же, как в Харьков приехал, так и в кино не ходил ни разу и гулять ни с кем не гулял... Он же боится, что с него харьковские девки сразу штаны стянут и карманы повывертают... Его ж мама как учила? «Ой, не ходы, Грыцю, тай на вечерныцю, бо на вечерныци девки чаривныци»... А ты, Василь, хоть и моторный хлопец и передовой пролетарский активист, но от меня можешь еще разуму набраться. Я тут в Харькове не первый год, как вы. Я ж коммуну Дзержинского прошел и три года рабфака... А когда беспризорничал, так и в Крыму и в Одессе погулял. Я за всякую жизнь знаю... И скажу тебе, кум, дело — если сильно приспичит, сходи в аптеку, возьми на полтинник гандонов, чтоб без риску, и давай, гуляй на бульвар — пошукай ту в кепке, или еще какую получше найдешь. Трахнешь за свои гроши, и на душе легче будет, и других забот нема...

6

На занятиях семинара по политэкономии Василь объяснял разницу между конкретной и абстрактной стоимостью.

— Ну вот к примеру — мои штаны. Плачено за них шесть рублей. Для меня это вполне конкретная потребительная стоимость. Я платил и я ношу. А вот если Маруся пойдет покупать штаны для своего мужа, то для нее это уже будет абстрактная стоимость.

Маруся, польщенная вниманием и напоминанием о недавнем замужестве, засмеялась:

— Хороша абстрактная — шесть рублей... Очень даже конкретно.

Он упрямо доискивался объяснений, вразумительных толкований и наедине с книжками и конспектами, и на всех семинарских занятиях. Науки должны были иметь реально полезный смысл. Физика, химия, география, математика сразу обнаруживали свою нужность и полезность. История могла помочь ему лучше понимать смысл жизни всего общества и каждого человека, смысл того, что происходило в мире и вокруг него.

С политэкономией было трудней. Сначала, казалось, все было ясно — первобытные люди меняли топор на шкуру, товар на товар Т — Т... Впрочем, не только первобытные. Он помнил, как у них в селе люди меняли сапоги на сало. И сам он пацаном не раз менял самодельные ножки, которые склепывал в отцовской кузне на карандаши и на конфеты... Потом, когда появились деньги, стали продавать один товар, а за выручку покупать другой Т — Д — Т...

Но уже о стоимости абстрактной и конкретной, потребительской и меновой, конкретном труде и абстрактном, но общественно полезном рассуждал по-настоящему, кажется, только один Миша Замкармар. Но объяснял он слишком нудно, за каждым словом повторял: «ну вот, значит» или «в таком разрезе», и его объяснения оказывались еще более темными, чем лекции или книжки...

Семен утешал печальных рабфаковцев:

— Чего там понимать надо?! Вам надо сдать так, чтобы поставили «добре» или хотя б «задо-вильно» — «удовлетворительно»... А потом все равно все забудется, и вспоминать не схочешь... Так что сейчас просто зубри наизусть формулировочки. Оно ж даже легче заучивать, если не понимаешь, посторонние мысли не мешают.

Но позднее, когда стали «проходить» прибавочную стоимость и прибыль, все опять стало понятнее. Вот оно, как выжимают соки из рабочего. Полдня, а то и больше должен он работать за так на хозяина-капиталиста.

Семинар по политэкономии вела ассистентка Рита Моисеевна — щуплая темнорусая девушка в толстых очках, почти всегда насуплено серьезная. Улыбалась она редко, беспомощно, спешила погасить улыбку и потом еще больше хмурилась и краснела багровыми пятнами, всплывавшими на бледнорозовых щеках.

Семен при ней особенно старался отличиться. То и дело поднимал руку, задавал вопросы, свидетельствующие, что он «глубоко думает» и внимательно читает не только учебник, но даже «Капитал». Когда говорили другие, он отпускал вполголоса шутливые реплики, вызывая невольные улыбки Риты Моисеевны.

Он рассказывал вечером друзьям.

— Начал наш Замкармар тянуть вола за хвост: от тюточки, значит, имеется норма стоимости с одного боку, в таком разрезе, а тамочки, значит, имеется, так сказать, норма прибыли в другом разрезе, с другого боку... Тянет-потянет, вытянуть не може... Ну я и не выдержал: ты, говорю, хоть и дуже образованный политэконом, но, если б ты стал капиталистом, так скоренько бы разорился. Пошел бы милостыню просить в таком разрезе, с того и с другого боку. Тут моя Риточка аж поперхнулась от смеха. Но сразу бровки нахмурила. — «Вы, товарищ, пожалуйста, соблюдайте дисциплину. Реплики с мест неуместны. У нас тут семинар, а не митинг». А сама вся покраснела, как ягодка земляничка...

Рабфаковец Василий по всем предметам догонял и перегонял студентов. И задавал им иногда такие вопросы, что даже ученый Миша не мог ответить. Зато Семен радовался, благодаря этим вопросам он мог снова и снова поднимать руку на семинаре.

Когда Василь спросил, какими должны быть прибавочная стоимость, норма прибыли и норма эксплуатации при диктатуре пролетариата на советских заводах, он вызвал жаркий спор в комнате, который привел к совсем неожиданным последствиям...

Семен стал ежедневно бриться и несколько раз даже гладил брюки.

— Ну и удружил ты мне, Василь-письменник. Послушал я тебя и спросил Риту, она стала объяснять за прибавочный соцпродукт...

Это совсем другое дело, чем прибавочная стоимость. А тут один с хлопцев спросил, почему зарплата на заводах у капиталистов бывает больше, чем у нас. Она опять вся покраснелась и кричит: «Такого быть не может». А у нас на курсе двое хлопцев из Львова; они там на железной дороге работали слесарями. А потом здесь в депо тоже слесарили, пока на рабфак пошли. Один и говорит: «Там реальная зарплата выше получается. Там я, чтоб штаны купить, один день работал, а здесь надо не меньше двух, а то и трех.» И потом говорит: «Мы там против сдельщины боролись, бастовали. Сдельщина это ж чистая эксплуатация. А здесь обратно сдельщина, и возражать не смей. Скажут: подрыв труддисциплины, мелкобуржуазная анархия»...

Тут моя Риточка так завелась, чуть не плачет: «Как это можно даже сравнивать?! Там хозяева — капиталисты; вся прибавочная стоимость на их корысть, на их роскоши. А мы сами на себя работаем, соцпродукт берет рабоче-крестьянское государство...»

Так она разволновалась, занятия кончились, мы все еще в коридоре галдели. Потом я ее провожать пошел. Она с подругой живет. Вдвоем комнату снимают. Подруга в ИНО историю классовой борьбы преподает. Мы чай пили с бубликами, с конфетами. И моя Риточка дома вроде совсем другая. И улыбается чаще и краснеет не так. Очки сняла, а глаза у нее ласковые, зыркает хитренько...

Потом привела на семинар самого профессора — вкладывать нам ума. Так он уже говорил, что от подобных вопросов пахнет вредной демагогией антипартийных оппозиций, — троцкистов, децистов и еще каких-то хренистов... И опять мы погалдели, и опять я Риточку провожал и чай у нее пил. Подруга ушла, она там с каким-то физиком-химиком гуляет... А Рита принципиальная. Она мне, знаешь, как сказала: «замуж за тебя я, может, когда-нибудь и пойду, но только опосля, если ты докажешь, что имеешь серьезность отношения; и если я сама в себе буду уверенная, что это я не просто увлеклась моторным гарным хлопцем, а имею серьезные чувства». И тут же приказала: «А из моего семинара уходи в другой, потому что у нас теперь есть личные отношения и нельзя допускать кумовства в учебе. И если ты ко мне на экзамен попадешь, я с тебя

вдвое строже спрашивать буду, чем с других. И с твоих дружков-кумовьев тоже. Упреди их, чтоб на протекцию никто не надеялся». Вот какая принципиальная... Она ж старая комсомолка. Это она с виду пацанка. А ей уже двадцать пять годов. С девятьсот третьего года. Так и сказала «ровесница большевизма». Только на два с половиной года старше от меня, но в Гражданской участвовала. В ЧОНе сестрой милосердной. И на Всеукраинском съезде комсомола в делегации была. Правда, она с буржуазного происхождения. Ее родители — оба доктора в Полтаве. Теперь в поликлиниках-больницах работают, а раньше лечили как частники, вроде кустари. Но она с ними связь поддерживает, перевоспитывает. Зарабатывает она прилично, сотни полторы будет. Ну и у меня стипендия. Мы уже сняли комнату у одной тетки. Временно. Так что я пока эту свою койку сдавать не буду. Обещают нам площадь в семейном общежитии...

Миша смотрел на друга жалостливо.

— Семейном?.. Это значит — частный личный быт. Тут имеются кое-какие угрозы: для кого бытовое обрастание, а для кого и бытовое разложение... Ты же говорил, что никогда не женишься, что лучше с блядьми гулять...

— Говорила вишня, цвести не буду, говорила девка, замуж не пойду. Сгоряча и не такое скажешь, когда к тебе сильно ученые дурни с вопросами лезут... А у тебя с твоей чернобровой никаких угроз не имеется, никакого быта? Вы вдвоем только книжки читать будете и на собрания ходить?

Грыцько поспешил на выручку смущенному старосте.

— А ты, кум Чорперче, с тестем и тещей уже познакомился?.. Они же интеллигенты. Они, наверное, схочут, чтоб ты галстук носил — гаврилку или бабочку — и манишку накрахмаленную с воротничком... Вот я тут тебе с бумаги пока сделал, — это манишка, это галстук-бабочка, потренируйся пока. А потом купишь настоящие... Слухай, а они же с евреев. Они могут схотеть, чтоб ты себе обрезание сделал. По-ихнему, кто не обрезанный, тот не чистый... Ну, чего ты подушками кидаешься?.. Хорошо, что не чемойданом. Ты не сердись, кум Чорпер, я ж как друг посоветовать хочу. Ты не

забуди, когда тебя обрежут, недели две до жинки не лезь, потерпи. А то загноится, нарвет и совсем отсохнуть может. Тогда ты уже будешь не евреем, а турецким евнухом.

Василь перехватил Семена, гонявшегося вокруг стола за насмешником.

— Постой, без шуток. Мне на той неделе зачет сдавать. А принимает только твоя Рита. Так ты уж ничего про меня не рассказывай, раз она такая принципиальная.

— Поздно. Как же я мог бы не рассказать про великого писателя. Она ж только потому и согласилась жить со мной, что у меня такие знаменитые друзья.

К этому зачету Василь готовился особенно старательно.

Семен, заходивший к друзьям, рассказывал о Ритиной неумолимой строгости экзаменатора.

— Она что доказывает? В математике, физике, химии, — говорит — нужно зубрить, чужие придумки наизусть заучивать. А в политических, идеологических науках нужно самому думать, мозгами крутить, с душой подходить... Для нее главное — увязывай теорию с практикой, с актуальными задачами на сегодняшний день. Она меня как начнет гонять, так часто срамит и все требует: «Думай, соображай, добираться до сути».

Гриць кивал сочувственно.

— А если не сообразишь, уже конечно в постелью не пустит. Не понял, какая она есть, относительная рента с точки зрения НЭПа, ну и лягай спать на полу, бедолага. Так ведь? Ну чего ты кулаком в живот тычешь? Для домашних дискуссий тренируешься?

Василь пришел на зачет с портфелем, набитым книгами так, что он не закрывался, и можно было легко увидеть тёмно-красные обложки больших томов «Капитала».

Рита глядела на него испытующе. Сквозь толстые стекла очков глаза показались сверхчеловечески большими и холодными.

— Вы газеты читаете? Хорошо. Что в Китае происходит, знаете? Ну так вот вам вопрос: как можно объяснить сегодняшнюю политику китайской компартии в свете Марксовой теории товара?

Под ложечкой ощущение холодной пустоты. Спрашивает, чтобы наверняка провалить. Сдавал он досрочно. Хотел поскорее из рабфаковцев в студенты. Что же это она так обозлилась? Неужели Сенька ляпнул какую-то чепуху про него? А еще хвалился, чертов перец, что расхваливал друзей... Либо, может, перехвалил, а она теперь проверяет... Но смотрит, вроде, не сердито, не насмешливо.

— Вы подумайте. Не спешите, сядьте вон там, в сторонке, подготовьтесь. Можете набросать тезисы, конспективно. Можете пользоваться книгами. На этот вопрос нет готового ответа в книгах. Вы должны сами найти ответ, увязывая марксистскую теорию с политической практикой.

Говорит, будто читает. Настоящий профессор. И эту ученую умницу Сенька тискает и валяет так же, как он когда-то долговязую Ганю-шахтерку? Нет, с этой он бы не решился. Да и какая сласть в такой тощей, очкастой?.. Внезапно попытался представить, какая она там, под серой вязаной кофточкой и синей юбкой, широкой, длинной — ног не видно... Почувствовал, что краснеет, потеет, и рассердился.

— Да чего уж там готовиться?! Ваш вопрос, то есть Ваше питання, — для пущей официальности перешел на украинский, — хочь и не зовсим звычайне, но и не таке уже трудне... Шо нам говорить теория Маркса насчет товара и товарного общества?

Он затараторил уверенно, бойко. Главное было не останавливаться, не запинаться. Этому он научился еще в школе, а на рабфаке еще поднаторел. Даже хитрый Грыцько удивлялся, откуда у неуклюжего, медлительного парня внезапные порывы развязности и потоки неустанного красноречия...

Рита впервые видимо слышала такое. Она удивленно тарацилась и старалась внимательно слушать. А Василий уже гнал по торной дороге.

— Сначала, то есть с початку, я скажу за открытый Марксом в содружестве с Энгельсом закон стоимости.

И отчеканил наизусть цитату из «Капитала», небрежно заметив: «А тут конец цитаты, кавычки закрываемо», после чего, не переводя дыхания, припустил:

— Из чего вытекает теория товара, яка основывается на тех открытиях Маркса, яки разъясняют природу товара, який есть предмет, имеющий диалектически одночасно и конкретную потребительную стоимость и стоимость взагали, то есть вообще... Так вот китайская компартия, яка на сегодняшний день героически борется в условиях товарного общества, имеет особые задачи.

И он так же быстро пересказал все, что слышал на собраниях и читал в газетах, отчетливо, смачно выговаривая китайские имена, названия городов и провинций.

Очки блестели приветливо, она улыбнулась неожиданно по-детски весело и доверчиво.

— Ну что ж, отлично. То есть «видминно». Я вижу, Семен не преувеличивает. Больше я вас экзаменовать уже не буду. И значит, могу пригласить к нам в гости. Приходите вечером чай пить, и товарищей позовите — Михаила и Григория.

* * *

Семен окончательно женился. В зимние каникулы они с Ритой расписались в городском ЗАГСе и переехали в комнату в огромном темно-сером здании «дворца труда», где два этажа — длинные коридоры — были превращены в семейные общежития. Рита и Семен получили большую комнату с «мебелью от государства». Большая кровать с железной сеткой и высокими чугунными стойками, увенчанными блестящими шариками, после того, как они купили пружинный матрац, выглядела вполне буржуазно; у одного окна стоял рабочий письменный стол, у другого хозяйственный, обеденный, по стенам враспынную — несколько разномастных разнокалиберных стульев; большой шкаф для одежды, шкафчик поменьше для посуды; две этажерки для книг. Но стопы книг, журналов, газет ле-

жали еще и на подоконниках, на столах, на стульях и даже на кровати. Из комнаты в коридор вел маленький тамбур. Там Семен соорудил из двух досок стол для примуса и под ним «кладовку» — ящик с дверцей для продуктов. Это была их «отдельная кухня». Рита и он объясняли, насколько это удобней, чем в общей кухне, где постоянно шипели и чихали не меньше дюжины примусов, и тихие запахи лука, чеснока, постного масла, керосина, перловой и пшенной каши густо перемешивались с жгучими зловониями и удушливыми чадами пережаренных, пригоревших, перепревших харчей.

В общей умывалке заодно и стирали. У некоторых жильцов были малыши. В коридоре кисло пахло сырими пеленками.

Кухня, обе умывалки и уборные и коридор освещались пыльными лампочками. Яркие плакаты и тусклые машинописные объявления взывали к жильцам. — «Соблюдайте чистоту и гигиену!!!» Но в умывалке и в уборных не просыхали лужицы, в которых плавали окурки и бумажный мусор. Вдоль стен тянулись валики сметенной пыли и сора.

Рита и Семен говорили, что скоро все должно перемениться. На общем собрании коридорных соседей уже избрали старостат и санитарную комиссию. Как раз сейчас составляется «график дежурств и уборки». До сих пор не получалось из-за того, что живут студенты и преподаватели из разных институтов, служащие разных учреждений, а есть и вовсе временные жильцы — командировочные, кто на неделю, кто на месяц... Поэтому не было ответственных, не знали даже, кто должен оплачивать уборщиц. На другом этаже порядок много лучше. Там у каждого коридора свой хозяин — институт, райсовет, завод или трест... А тут у семи нянек...

Гости — Василь, Михаил, Грыцько и трое девушек — уходили после первого посещения квартиры новобрачных вполне трезвыми. На всю кампанию распили одну полбутылку водки, шесть пива и шесть сидро. А закуска была необычайно обильной: блюдо винегрета, миска баклажанной икры, большая связка тарани, большая тарелка тюльки, помидоры, огурцы, колбаса ливерная и чайная. Потом пили чай с пирожными...

Прощались долго. Рита и Семен говорили неестественно ласково и громко. — Так вы ж теперь приходите почаще... Теперь уже дорогу знаете... Не забывайте: это ж и ваша хата.

Семен подпер щеку по-бабьи и всхлипнул:

— Ой, куманьки, братики, не забывайте сиротину!.. Кто ж без вас меня тут защитит, кто на праведный путь наставит?!

Уходили, смеясь. Но едва вышли на зимнюю ночную улицу, притихли, погрустнели. К трамваю хлопцы шли отдельно от девочек. Мишина подружка, чернокосяя Наталка, несколько раз обиженно оглядывалась. Но он сосредоточенно слушал Василя.

— А ведь это и есть то самое, когда говорят «быт засасывает». Когда личная жизнь отрывает от общей... Семена-то нашего уже не узнать. Другой человек стал. И шуткует меньше. А как гордится, что подставку для примуса придумал и сколотил: «на-аша ли-ичная кухня»!!! И мечтает еще одну этажерку купить. Обрастает наш Черный перец... Вот увидите, они еще и канарейку заведут и кружева на постель, и кресла плюшевые, и картины в золоченых рамках и лампу повесят со стекляшками...

Грыць хмыкнул сердито:

— А как ты хотел бы, чтобы они жили? На голых лавках спали? А книжки на полу на расстеленных газетах? А на стене чтоб вешали стенгазетку и плакаты «Вступайте в МОПР!»!... Тогда б не было обрастания?

— Как я хочу? Дело не в моем — в твоём хотении. Я, может, просто так никогда не уйду из общежития — привык уже на людях и работать и жить. Мне нужно только, чтоб все чисто было и аккуратно в порядке, на своем месте и книжки-тетрадки и барахло. Ну как инструмент в цеху у хорошего мастера.

— Это ты все сейчас придумал. Сам на себя придумываешь. Я ж тебя уже добре знаю. Тебе ж на людях в общежитии, ох, как нудно бывает. Хоть нас только четверо-трое, и мы меж собою, что ни говори, а друзья-приятели... А ведь бывает нудно. И тебе, и ему, и мне, хоть я с мала-мала в хате в куче жить привыкал... Да ты не мешай, дай высказаться! Я ж тебя не докоряю. Я и про себя говорю. Мы

ж все-таки люди, а не овцы, чтоб всегда в отаре, хочется же когда-то и одному побыть или вдвоем... Ты когда пишешь, так не любишь, когда вокруг галдят, и еще хуже, если к тебе пристают с разговорами, хоть самыми хорошими... А ты, Замкармар, с твоею Наталкой, вот и зимою уже, все по улицам гуляете, по морозцу прохлаждаетесь... Ты хоть режь меня, не поверю, что вы не мечтаете про свой закуток, пусть самый малый, но чтоб свой, чтоб только на вас двоих... А Василь хочет, чтоб вы всегда в коллективе. Представляешь: «Дозвольте, дорогие товарищи, нам с товарищем Наталкой поцеловаться... Кто за? Кто против? Кто воздержался?»

— Забрехался, кум Тихомутенко, забрехался... И ты не смейся, Михаиле. Это ж демагогия. Чистая мелкобуржуазная мещанская демагогия! Разве ж я хочу жить, как в овечей отаре?.. Не-ет, я не против личной жизни. И я очень хорошо понимаю, что у каждого человека бывают такие моменты, когда надо быть одному, только одному, на свою личную ответственность или вдвоем, только вдвоем... Это я не хуже тебя понимаю, а, может, даже лучше. А говорил я про другое. Быт не должен быть сильнее человека. Или даже так — быт не должен уводить человека от общественного бытия.. Понимаешь? Наш личный и семейный быт должен быть не мещанским, не буржуазным, не таким, чтоб все только себе, в свой куток, в свой карман, а новым бытом, пролетарским, социалистическим...

— А как ты его мыслишь, этот новый быт?.. Вот я простой сельский парубок, но хочу понять досконально. Когда говорят капиталистическая собственность это так, а социалистическая совсем этак, то я точно понимаю, что так, а что этак... Но с бытом не могу сообразить. Что ж нужно, чтоб и в семье, как в институте, все по расписанию, или, как на заводе, по наряду, по норме? Или, как на собрании: «слушали — постановили»? И чтоб все, насколько возможно, коллективное? Ну спальня все же на двоих, но кухня уже общая, как в столовке? И детей всех до ясель, до детсадков? и харчи тогда везде по большинству голосов.

Двадцать человек захотят борщ, а только восемнадцать голосуют за кондер. Значит, все хлебай борщ. А если я вдруг лапши схотел,

то должен молчать в тряпочку... Или может, по плану-по расписанию в понедельник борщ, во вторник — кондер, а в субботу и лапшу можно?.. Ну а в кино, в театр или на футбол сходить, тоже, как решит коллектив?

— Нет, не так. И чего ты цепляешься и дурочку строишь? Какой он должен быть, этот новый быт, это всем надо соображать, решать, делать... Одной головы не хватит. Но я думаю так: Семен и Рита очень довольные, что у них своя хата, своя кровать, своя кухня с одним примусом. Так довольны, что им уже все равно, что тут же рядом в ихнем доме, который даже называется «дворец труда», грязь, мусор, как на помойке... Они думают только за свою «хату с краю». Вот это и есть старый быт. Поганный быт. И тем хуже. Пускай они там вешают портреты вождей и читают Маркса–Ленина и одну только партийную печать и поют революционные песни, то это даже еще хуже, если они живут только сами по себе, если завязли в своем барахольном быту, как воз в болоте — ни тпру, ни ну!

Тогда это и есть мещанство, обрастание, перерождение... Хороший стих написал Маяковский: «страшнее Врангеля обывательский быт»...

Как с этим бороться? Очень даже просто. Если б они все взялись, как Рита говорила, чтоб всем гуртом, сообща отвечать за чистоту, за порядок, если они с соседями будут не только «здравствуйте — до свидания», а хорошие общие дела станут делать — ну, там культпоходы в театры, праздничные вечера, может, даже библиотеку общую составили бы, — тогда у них у всех и другие интересы повьрастают... Ну, вот возьмем Семена и Риту и посчитаем: в институте на занятиях и по общественной линии они проводят 8–10 часов в будние дни; поесть-поспать еще 8-9 часов. Значит, остается каждый день еще 5–6 часов на личный быт — погулять, покохать, поразвлекаться и также на общественный быт поработать. В ихнем коридоре, в умывалке, в общей кухне кой-когда и руки приложить надо; лакеев, горничных, кухарок для них нет, и не должно быть... И если уж столько народу в куче живут, надо красный уголок иметь, радиоточку поставить, культработу вести... Так, чтобы всем по очереди нагрузка

не до поту, а для удовольствия... Вы подумайте, в селах, где все по отдельным хатам живут, и там люди стараются, чтоб не отрываться один от другого. Раньше каждое воскресенье в церкви собирались, и теперь ведь вместе праздники празднуют, гостей зовут, в гости ходят, гулянки устраивают. Зимой девчата на беседах, на досвитах собираются, и хлопцы приходят, разговоры разговаривают... И свадьбы, и крестины большими компаниями празднуют, и хоронят и покойников поминают сообща... Так вот новый быт — это чтоб тоже общие праздники, гулянья, гостеванья, но только без поповщины, без обжорства, пьянства, драк, а весело и культурно. Чтоб вместо церкви, например, постановка драмкружка, живая газета, лекция с волшебным фонарем или даже кино. Так, чтобы и формы новые, и содержание новое — наше пролетарское, революционное... Ведь ясно-понятно? Чего ж тут демагогию разводить?

— Ясно-ясно! Так ясно, что аж очи слепит... Вот Замкармар уже так прояснился, что побежал свою Наталку догонять. Видишь, как под ручку ухватил, объясняет ей наверное за новый быт... А Ритины подружки, видно, и сами уже все знают. Полезли в трамвай... Бывайте, девчата, и нас не забывайте!.. Значит, новый быт это очень просто: поженили Ваню с Маней в клубе и послушали лекцию за текущий момент или еще лучше — против пьянства и абортон, ну и живая газета, про то же... А на крестинах в клубе обратно лекция доктора. «Сифилис — не позор, а несчастье». Похоронили дедуся или бабуся и обратно в клуб смотреть картину «Закройщик из Торжка»... Все ясно.

* * *

Семен предложил всем вместе «сняться на карточку, чтоб память была».

Грыць глядел задумчиво, мечтательно.

— Ты повесишь потом эту карточку на стенке рядом с картинкой «Запорожцы пишут письмо...». И подпись общую: «Отцы и де-

ти» или лучше «старый и новый быт»... И тогда уже кум Вельпис должен будет стишок сочинить. Хороший такой виршик про запорожцев и про нас...

— Виршик? Пожалуйста... Бери карандаш, записывай... «Были в годы грозные веселые моменты» — это под запорожцев — «а мы всегда серьезные инхозные студенты»...

В воскресенье они особенно тщательно брились. Василий надел новую суконную толстовку. Грыць праздничную холщевую сорочку, расшитую на груди и на рукавах черно-красными узорами. А Михаил достал из глубин чемодана галстук черно-бордовый — «гаврилку» — и повязал его поверх свежепоглаженной голубой рубашки..

Семен ждал их. в подъезде гостиницы «Красная» на главной площади — там в первом этаже размещалась, по его уверениям, «самая лучшая фотографическая мастерская республики». Он тоже побрился и даже припудрился. Его синяя шерстяная толстовка с большими накладными карманами выглядела, как френч. На груди сверкали красные эмалевые с позолотой значки: «КИМ», «МОПР» и «ОСОВИАХИМ».

В большом вестибюле у матово-застекленных дверей фотоателье сидели уже довольно много людей, ожидавших очереди. Напротив гардероб сверкал серебристо начищенной жостью по темно-вишневому дереву. Плечистый русобородый швейцар в зеленом мундире с золочеными позументами разговаривал с двумя гардеробщиками — седым шустрым стариком и молодым парнем.

Семен объяснял так, будто он хозяин, принимающий гостей.

— Это здесь, можно сказать, главная гостиница Харькова... Есть и еще несколько гостиниц. Но эта, что называется, главная, правительственная.

Тут помещают самых ответственных ответработников из Москвы и с периферии, тут же квартируют важнейшие иностранцы, которые по линии Коминтерна или дипломаты... Ну, а кто просто командировочные и вообще приезжие, бывают даже и нэпачи, те идут в «Спартак» на площади Люксембург...

Швейцар и оба гардеробщика порывисто бросились навстречу невысокому старику с узкой бородкой в меховой шапке и шубе.

Грыць даже присвистнул.

— Глядите, хлопцы, портрет пришел... Это ж наш нарком товарищ Скрыпник... Только он старше своих портретов. Совсем дедусь... Шубу надел, хоть уже все потекло, и солнце припекает.

Скрыпник шел, сопровождаемый плечистым верзилкой в кожаном пальто и барашковой кубанке, который нес большой пухлый портфель.

Швейцар и главный гардеробщик бережно снимали с него шубу. Молодой гардеробщик, согнувшись пополам, стягивал большие «глубокие» калоши.

Семен толкнул Василия.

— От это да, дедушку наркома, как батюшку архиерея чи самого царя...

Василь толкнул Михаила, который и в очереди не терял времени и сидел, уткнувшись в книгу.

— Ты погляди, подивись... Это ж наш нарком. А холуи перед ним, как перед ясновельможным паном, крутятся-выкручиваются... грязные калоши руками тянут... Ты видал?

— Значит, имеются пережитки... Сколько раз уже говорили, имеются еще сильные пережитки мелкобуржуазной и даже буржуазной психологии... Имеются не только у чуждых элементов, но и в пролетарской среде и в советском и даже в партийном аппарате.

Скрыпник и его спутник, небрежно сбросивший роскошный кожан, подхваченный гардеробщиками, неторопливо шли вверх по беломраморной лестнице, высланной красной дорожкой, прихваченной на каждой ступеньке медным прутком с шариками на концах. Скрыпник в сером костюме; между бородой и жилетом пестрел галстук. Его спутник в бронзово-рыжем френче, синих галифе и сияющих сапогах. Отставая на ступеньке, он что-то шептал в плечо наркому, улыбаясь, и похохатывая. Тот шел, сутулясь, бледный, пасмурный и, казалось, не слушал.

Василь думал, сердито недоумевая, ведь он же старый большевик, революционер, народный комиссар... И он же, оказывается, пан, барин, корчит из себя вельможу... Ни на кого вокруг не смотрит, вроде и не видит, как выламывается этот подхалим с портфелем; ноль внимания на все.. Привык? Забурел?

Грыць будто услышал его мысли.

— А ты не переживай, Василь. Он же старый дедусь. Наверное, и хворый; бледный же, как мел. Ну вот люди и знают и жалеют — заслуженный ведь вождь!.. А вы сразу «пережитки», «панские» «архиерейские», «царские»... Это ж ему просто по-товарищески помогают, как старому геройскому деду... Какой тут подхалимаж может быть. Они же служащие гостиницы. И значит, Наркомпросу не подчиненные. Он им не начальник, а просто известный старичок пришел до кого-то в гости...

— Не подчиняются? Не «начальник». Ох, и дурное же телятко ты, кум Тихомутенко. Старичка, видите, пожалел...

Семен знал, что друзья не только посмеиваются над его семейным «обрастанием», но и тревожно-подозрительно следят за ним. Он хотел, чтоб они верили — он не изменился, он по-прежнему «свой» и принципиальный не хуже них; и говорил более сердито, чем думал, разжигая себя же.

— Никакие не жалости тут, а панские ухватки и чистый подхалимаж. Такого ни с чем не спутаешь... Старорежимный фасон и старорежимное холуйство!.. Только что на чай не дал... Но ничего, вертаться будет, наградит холуев пяточком или гривенником, как их барской милости схочется.

— Ну, это ты уже забрехався, переперчив, кум Черный перец. Михаил даже вскочил с кресла и закрыл книжку.

— Пережитки, конечно, имеются. Но ты уже слишком. Он же партиец, член ЦК, а не нэпач, не царский офицер...

— Давай на спор. Дождемся, пока выйдет. Если даст на чай, ты ставишь полдюжины пива. Если нет — я покупаю шесть пирожных: вам каждому по два, а сам, как проигравший, не ем.

— Правильно. Мы с Грыцьком судьи-рефери. Василий ребром ладони разделил рукопожатие спорщиков.

— А пока ты, кум Тихомутенко — самый хитрый и самый тихий, — давай на разведку. Распытай у этих слуг отечества, зачем нарком сюда ходит. Давай, но только швыдче, не тяни вола за хвост, а то скоро наша очередь.

Грыць пошел к гардеробщикам прикуривать. Простецкий наивный хлопец, который впервые снимается в такой роскошной фотомастерской. Прикурил; разговорился, беседовал, пока не окликнули друзья.

Снимал фотограф, немолодой с тщательно зачесанными поперек лысины набриолиненными прядями, с пышным розовым бантом вместо галстука. Они сидели на фоне белоснежного экрана, истово таращась в объектив большого треного аппарата, накрытого сзади черной занавеской, под которую нырял томно усталый фотограф.

После этого они снова уселись в вестибюле поближе к гардеробу. Грыцько доложил данные разведки. Нарком пришел в гости к артистке — певице Киевской оперы. Пришел уже вторично. В первый раз приносил ей огромный букет роз. — Это ж теперь в марте какие гроши стоит! — А в этот раз нес шоколадный торт. Гардеробщик сам видел, как адъютант проверял, чи не покрошился.

— Значит, имеется еще и бытовое моральное разложение...

— А может, она ему родственница?

— А ты, Замкармар, подумай диалектически. Если б родственница была, так она б сама к нему в гости ходила. Он же постарше. Вот Семен, семейный человек, может объяснить: если б приехала его сестра или тетя, или вроде, так он бы с ней где встречался?.. Конечно, в своей хате, совместно с дорогой супругой... Зато, если зайвится какая из тех барышень-дамочек, ну которые «ты помнишь ли, детка, те лунные ночи?», так он же ее к Рите не приведет, а будет видаться где подальше... Хорошо, если это знаменитая красуня, и ее в гостинице поместят. А то ведь пришлось бы к нам в старую хату проситься, чтобы мы пока погулять пошли... Это ж даже кум Ти-

хомутенко должен понимать, хотя он и молодое телятко. А ты «родственница»... Блядство здесь обыкновенное. Полное разложение!!!

— Ну, чего ты напридумывал?! Никаких у меня сестер и теток нет и никаких барышень-дамочек. Тебе бы только романы сочинять. Но фантазия у тебя хромая — кульгавая. Какое тут может быть блядство. Он же пошел вдвоем с тем портфельщиком.

— Так ведь там наверху ресторан есть с буфетом... Вот погляди, написано на стенке. Портфельщик в ресторане пиво пьет, а товарищ нарком с певицей отдельно народным просвещением занимается... А ну-ка, Грыцько, лучший разведчик, обследуй расположение противника.

— Нема чего обследовать. Они уже обратно идут.

Гардеробщики опять резво устремились навстречу с шубой, шапкой и калошами. Молодой успел и портфельщику подать его кожан.

Скрыпник бормотнул «дякую», полез в карман и, не глядя, сунул старому гардеробщику несколько монет. А потом сунул что-то и швейцару, который, сняв галунную фуражку, широко распахнул дверь и низко поклонился.

— Ну, теперь видели?!

Василий скрежетнул зубами. В гортани жестким комком злой стыд. Портреты этого старика висят во всех школах и вузах. По его книжкам учатся. Его речи печатают в газетах под большими заголовками...

* * *

В тот же вечер в их комнате шумно спорили несколько парней и девушек — однокурсники Михаила и Семена. Рабфак представляли только Василий и Грыцько. Решили написать коллективное письмо Скрыпнику, призывая признать не достойность своего поведения и сделать для себя выводы, как следует старому большеви-

ку и наркому. Текст поручили написать Василию, не позднее следующего дня обсудить, подписать и отправить.

Он писал до полуночи. Утром показал Михаилу и Грыцю — они одобрили. Вечером собралось меньше людей, чем накануне. Но спорили жарче.

Девушки настаивали, чтоб не было слишком резких слов: «возмутительно», «постыдно», «гневно осуждаем» и т. п. Семен говорил, что Рита тоже советует быть возможно сдержанней и вежливей, ведь Скрыпник — вождь партии и старый революционер, его весь Коминтерн знает. Можно выразить недоумение, огорчение, но не надо разводить демагогию и ругаться.

Михаил предложил дополнительный текст вводной теоретической части письма. На двух страницах он толковал о живучести старых обычаев, нравов и о таких повадках, которые имеются как пережитки капитализма в сознании, что возможно даже в психологии и в быту передовых, сознательных революционеров, но, поэтому, может стать тем более опасным.

Грыць предложений не вносил, — ему нравилось то, что написал Василь: «Мы, рабфаковцы и студенты Харьковского ВУЗа, вчерашние рабочие-производственники, воспитанники Ленинского комсомола, случайно оказались свидетелями того, как вчера в час дня, т. е. в рабочее время, вы, Микола Олесович, пришли в «Красную гостиницу навещать вашу знакомую даму...»

Из-за слова «дама» возник жестокий спор. Начала курчавая, чернявая, картавая студентка, ее поддержали другие девчата, а потом и Семен. Они доказывали, что это слово — слишком уж грубо и оскорбительно для советской артистки.

Кто-то предложил просто «гражданку», но большинство отвергло — неуместная официальность. Василь хотел заменить на «особу», Семен дополнил «особу женского пола». Это сочли насмешливым, ироническим. Он же пробыл там меньше часа. Семен возразил, что в романе Эренбурга «Трест Д. Е.» отец героя только на пять минут зашел к его будущей мамаше, больше ни разу ее не видел, но сына заделал... Все рассмеялись.

Грыць меланхолично заметил: «Когда запорожцы писали письмо турецкому султану, так они смеялись не от таких шуточек для детского сада...

К полуночи письмо завершили, и Михаил аккуратно переписал его — у него был самый разборчивый, красивый крупный почерк.

«...Мы, студенты и рабфаковцы Инхоза, выражаем свое удивление и огорчение тем, что наш старший, глубоко уважаемый товарищ, нарком и прославленный большевик и народный комиссар позволяет себе такие поступки, которые совершенно недостойны нашего нового пролетарского, социалистического быта. И мы убедительно просим Вас, товарищ Скрыпник, — обращение по имени-отчеству большинство отвергло, как слишком фамильярное, — просим ответить нам, как Вы лично сами расцениваете этот факт, и надеемся, что Вы признаете дальнейшую неуместность подобных пережитков...

С уважением к Вам...»

Дальше следовало семь подписей. Кроме четырех друзей, подписались еще только голосистая Нина и еще два студента. Остальные говорили: «там написано: «мы видели... мы оказались свидетелями...», а нас там не было, получается неправда.»

Письмо отправили заказным. В обратном адресе указали Институт и фамилии Василя и Михаила.

* * *

Их обоих через неделю вызвали в деканат. Милиционер с папкой дал каждому повестку — явиться в райотдел милиции к инспектору такому-то по делу — прочерк «... в случае неявки без уважительных причин будете доставлены в принудительном порядке под конвоем...» В райотделе им не пришлось долго ждать. Маленькая, квадратная светлая комната, широкий письменный стол, ма-

ленький шкаф в углу, несколько стульев, на стене портреты Чубаря и Дзержинского.

Инспектор — молодежавый, молодцеватый, в синей гимнастерке, обтягивающей мускулистую грудь, благоухал одеколоном, кожей португалии, пояса, кобуры и ваксой свеженачищенных сапог. — Горячий привет товарищам студентам от рабоче-крестьянской милиции... Прощу, присаживайтесь... Курите? Пожалуйста... Значит, грызете молодыми зубами гранит науки? Как успехи на фронте учебы? Хвостов не имеет? Очень хорошо! Отлично!

Тихо вошел человек постарше в темном пиджаке, высокий, узкоплечий. Инспектор приподнялся.

— А, сосед, ну, присядь, подожди, у меня тут беседа с товарищами студентами.

Тот кивнул молча, сел в стороне.

— Да, вот так, дорогие товарищи, — он раскрыл лежавшую перед ним на столе тоненькую папку.

— Это письмо на имя товарища Скрыпника вы писали и посылали? Лично вы или вы? Да, я вижу тут семь фамилий. Но не могли же все семеро одну ручку держать и один конвертик нести. Значит, кто же лично писал? Чья рука? Так-так.

А составляли все, а писали вы. Понятно, поэтому значит и на конверте именно ваши фамилии указаны... Значит, писали вы, а отправляли тоже вы?.. Ага, значит вы сочиняли, писали как бы проект, черновик, а вы, значит, переписывали уже набело? — Так, так, понятно... — Ну, а кто из вас подсматривал за наркомом в гостинице?.. — Почему же вам слова могут не нравиться? Это самые правильные, точные слова. Именно подсматривали, как он шубу снимал и калоши... Если б вы другие люди были, можно бы даже сказать — шпионили за наркомом, выслеживали.

— И пожалуйста, прошу вас, товарищ Петренко, ага, извиняюсь, Петрик, прошу вас голоса не поднимать, я же с вами вежливо разговариваю. И мы с вами здесь, — извиняюсь, — не на базаре находимся, не в трамвае и не на гулянке в своей компании. Мы находимся в отделении рабоче-крестьянской милиции нашей красной

столицы Харькова — то есть находимся в государственном учреждении, и я убедительно прошу вас — давайте не будем поднимать голоса, а давайте будем взаимно вежливы. И повторно спрашиваю: кто с вас лично находился, как видно из этого документа, в понедельник прошлой недели в помещении государственной гостиницы «Красная» в тринадцать часов ноль-ноль и вблизи этого часа?.. Так, так, вы обои и еще ваши товарищи Проскуряк и Гринченко. А эти другие три товарища Карамышев, Боверман и Сиволайченко тоже там находились? — Нет? Однако же подписываются как свидетели. Это, говоря по научному, для них большой минус. Так-так. А, позвольте спросить, что вы там делали? Какие такие дела в такой знаменитой гостинице у наших студентов? — Ага, снимались — фотографировались, значит? Так, так, и не подсматривали, а случайно увидели... Вы, значит, хотите уточнять формулировку. Это хорошо. Я тоже уважаю точные формулировки. Это даже наша обязанность всегда все точно формулировать. Значит, увидели случайно, как вошел... А как выходил тоже случайно видели? Вы когда фотографировались, до того, как нарком пришел или после? Ага, после того, как пришел и до того, как вышел. Ну вот, значит, специально ждали, значит именно подсматривали, следили... И это как раз самая точная формулировка... Что ты хотел спросить? Ага, конечно. Вот товарищ из гепеу интересуется, кто с вас первый схотел, чтоб следить за наркомом, кто лично проявил инициативу?

Михаил ерзал на стуле, покраснел, растерянно поглядывал то на спрашивающих, то на Василя, который сидел бледный, неподвижный, стиснув кулаки на коленях. Глядел прямо в глаза милиционеру, — светло-серые, очень спокойные, равнодушные глаза над веселыми белозубыми улыбками, над бойким говорком, — Василь сказал не громко, но твердо («пусть не думает этот зубоскал, что я его боюсь»):

— Это все я, товарищ инспектор. Я первый увидел. И очень возмутился. И предложил подождать, пока товарищ Скрыпник вернется... Подождать, чтобы проверить, чи даст он тем... подхалимам на чай. И мы увидели. И тогда я предложил написать наркому лич-

ное, товарищеское письма... И мы ожидали товарищеского ответа. И я не понимаю, почему вместо ответа нам устраивают допрос...

— Так, так, не понимаете. Я вижу, вы еще многого не понимаете, дорогой молодой товарищ. Например, вы не понимаете, что у нас тут никакой не допрос. Я же не записываю; не говоря даже о бланке протокола, как положено при допросе. У нас сейчас просто разговор — именно товарищеский разговор... Вы с какого года в комсомоле?.. Так, так, значит только три года. А я с двадцатого, уже восемь лет. Я в ЧОНе был; с бандами сражался, раненный в бою. И я уже кандидат партии. Так что я и по годам и по комсомольскому стажу и как партиец тебе старший товарищ. Поскольку я работник милиции и здесь служебное помещение, я обязанный говорить на «Вы», но как товарищи можно по-простому... Так вот, я теперь вам говорю: буза это, хлопцы! Да, да, бузу вы трете, демагогию разводите. Это письмо ведь чистая демагогия и даже, извиняюсь, хулиганство. Вы только подумайте: старейший большевик, вождь партии и Коминтерна, член нашего рабоче-крестьянского правительства, пришел вместе с помощником поприветствовать народную артистку от имени наркомата. Обслуга гостиницы оказывает ему уважение, помогает, поскольку имеет понятие за его годы и слабое здоровье. Но тут же, вдруг, откуда ни возьмись, задуже образованные студенты, напридумывали всякую демагогию, трут бузу и пишут хулиганское письмо... Что значит факты? Какая тут критика-самокритика?.. Да, вы что не понимаете, кто он, а кто вы? Ведь это же надо иметь, извиняюсь, нахальство, чтобы написать такое пакостное письмо такому товарищу... Ты чего хочешь?

Узколицый спросил тихим, скрипучим голосом:

— Скажите пожалуйста, Вы, товарищ Петрик, вы когда-нибудь участвовали в собраниях, обсуждавших внутрипартийные дискуссии? Участвовали в таких собраниях?

— Конечно. Я ж комсомолец.

— А когда и где вы выступали за платформу оппозиции? И какие именно пункты этой оппозиционной платформы вы поддерживали?

— Я?! Да откуда вы такую чепуху взяли?

— Полегше на поворотах, товарищ Петрик. Я ж просил вас, давайте будем взаимно вежливы. Товарищ уполномоченный Гепеу на чепуху говорит, а серьезный вопрос спрашивает.

— Вот именно. Я спрашиваю — когда и где Вы лично выступали в защиту оппозиции или отдельных оппозиционеров или отдельных пунктов оппозиционной платформы? Прошу отвечать конкретно.

— Ну, что ж, могу конкретно: никогда и нигде.

— Это вы точно помните?

— Совершенно точно. Никаких оппозиционеров, никаких ихних пунктов не защищал.

— Значит, выступали за генеральную линию?

— Нет. Я вообще редко выступаю на собраниях. Я не оратор.

— Только писать любите. Вас, кажется, прозвали «великий письменник». Вот и понаписали такое, что милиция должна заниматься, и у нас в Гепеу разговоры пошли.

— Странно. Не пойму, какие могут быть разговоры.

— А вот, мне странно, как это Вы — студент старшего курса рабфака, отличник учебы... Мы — чекисты все про вас знаем, больше, чем вы сами про себя знаете — как же это вы так все еще не можете или не хотите понять, что написали вредное письмо. Очень вредное. Антипартийное.

Он говорил, не повышая голоса, монотонно, зудяще и смотрел на Василя пристально, щуря маленькие темные глаза-семечки. Лихой милиционер примолк и только одобрительно кивал светлорусой головой, перетасовывая и передвигая по столу разноцветные папки.

— И еще нам кажется странным, почему это вы так стараетесь выставлять себя главным заводилой в этом деле. Прямо скажу, не хорошее это старание. Потому что и дело все не хорошее, не чистое. Правильно отмечал товарищ инспектор, не только бузовое, но вполне антипартийное. А вы все выставляетесь: «я заметил... я предложил... я написал...» Такое яканье и в хорошем деле для комсо-

мольца не достойно. А в таком, поганом даже больше, чем странно. Отчасти поэтому можно иметь предположение, что вы хотите так сказать по товарищески взять на себя чужую вину. А главный инициатор как раз товарищ Михаил Сидорович Кутенко, который тут отмалчивается, можно сказать, в рот воды набрал...

Василий слушал занудный голос. Такие, значит, бывают чекисты. Почему это он слова коверкает, меняет ударения: «Отчасти», «товарищеский», «Предложил»?..

Михаил встал так порывисто, что инспектор вздрогнул и откинулся, но чекист не моргнул и стал смотреть на Мишу маленькими глазами без белков.

— Позвольте мне слово. Тут имеется недоразумение. И я не хочу отмалчиваться. И не снимаю ответственности. Ты, Василий, действительно слишком... Не надо выставляться. Имеется моя такая же ответственность, такая же инициатива. Мы все видели, все обсуждали, а писал-то как раз я. Это доказывает факт моего почерка. И ответственность на мне больше, поскольку я старше по годам и по стажу. Так что если имеется ошибка или даже вина, то я готов признать и понести ответственность.

Василий видел взволнованного, потно-красного, толстогубого Мишу. Он неуклюже топтался перед столом и всей пятерней ерошил и без того взъерошенную шевелюру. И глядел сверху вниз на сидевших инспектора и гепеушника.

Василий думал: — Миша — хороший друг. Честный, душевный парень. А какие они: этот мордатый, надушенный мильтон и занудный чиновник, называющий себя чекистом? Что них в головах? Мишка всегда говорит то, что сейчас думает. А они ведь сами не могут верить в то, что пытаются доказать...

Разговор продолжался более двух часов. Уполномоченный ГПУ спрашивал, какие документы оппозиции они читали, что помнят из писаний Троцкого, Зиновьева, Преображенского? Читали ли книжки Винниченко, Грушевского, Хвелевого? Что думают об украинизации?.. Он стал главным, ведущим участником разговора. Инспектор уже только вторил, то пугая обвинениями и даже судом

за политическое хулиганство, то по-свойски уговаривая молодых товарищей осознать и признать ошибку, допущенную в такой острый политический момент. Гепеушник, который среди разговора представился «Александр Петрович, уполномоченный спецотдела», заговорил тоже почти дружелюбно.

— Вы ж только подумайте, что делается. Как нашей партии и всей советской власти сейчас трудно: тут эти, сучьи троцкисты, зиновьевцы, хвyleвисты, националисты, и великодержавные шовинисты, всякая оппозиция палки в колеса суют. А там Чемберлен — гад империализма делает полный разрыв отношений. В Варшаве товарища Войкова белогвардейский фашист убил, а в Китае паразит Чан Кайши ножом в спину, скольких наших товарищей зверски замучил. И по хозяйственной линии трудности: куркули хлеб прячут, цены набивают, нэпачи спекуляцию разводят, а безработные бузят, их детям есть нечего... И тут же преступность сильно прибавилась. Особенно хулиганство. Вчера на Кочановке опять хулиганы зарезали хорошего товарища милиционера, комсомольца. На текущий момент обстановка такая трудная, как после Гражданской войны еще не было. И вот вы, комсомольцы, да еще какие — студенты Инхоза, будущие руководящие кадры нашего хозяйства позволяете себе тереть бузу. Да еще против Наркома просвещения... Вы сами должны понять. Вы же развитые, сознательные, образованные... Прежде, чем вас вызывать, мы изучили ваши дела. Мы все знаем. Вот, например, вы — товарищ Петрик, скажу вам не как чекист, оперработник, а просто как партиец комсомольцу: ты парень с очень хорошими данными — сын сельского пролетария, сам передовой рабочий — производственник, активный рабкор, учишься, как говорится, «на большой», имеешь авторитет у товарищей, у преподавателей... Перед тобой большая дорога хозяйственной или партийной, а может и нашей чекистской работы. Нам нужны именно такие смелые честные хлопцы... И вам скажу, товарищ Кутенко: у вас соцпроисхождение, можно сказать, малость хуже — родители служащие. Но все-таки сельские учителя. Сельская интеллигенция классово ближе пролетариату, чем те городские профессора, которые вицмундиры

носили. Не случайно ты — учителей сын был первый комсомолец в своем селе. Нам все про вас известно. И за ваши заслуги мы вас уважаем, за ваши успехи в марксистско-ленинской науке и тоже большой авторитет среди студенчества... Но, как говорится, кому много дано, с того и больше спросится. Вы старшие от ваших товарищей, какие с вами живут от кого на год, от кого и на два года...

Василий думал: и чего он давит фасон, будто такой уж всезнающий; ведь это все за один час в канцелярии узнать можно — поглядеть в папках их анкеты и справки, — а он строит из себя Нат Пинкертона-Шерлок Холмса...

Хотел бы сказать, что мы свои анкеты тоже хорошо помним, но вспыхнула мысль: они с нами хитруют, демагогию разводят, значит, и мне нужно быть хитрым, прежде чем что сказать — посчитать до десяти, а то и до двадцати. Они хитромудрые, но и он ведь не дурень, зато умеет дураком прикинуться.

Гепеушник все старался заглядывать в глаза в упор. Ребята в школе так играли в «моргалки»; двое таращатся друг на друга, кто первый моргнул — проиграл. Василь был чемпионом своего класса и старших многих переигрывал. Теперь он также смотрел в переносицу гепеушника, смотрел пристально, не мигая чистосердечным «открытым» взглядом. И заговорил негромко, запинаясь, будто думал вслух.

— Ну что ж, может вы и правы... Может, мы перегнули... Ну, ошиблись... Хотели по-хорошему, а вышло... в общем, наоборот... Так, что ж теперь делать? Извиняться?.. А как извиняться — устно или письменно?.. И опять же, как писать — всем вместе или по одному... Если всем вместе, так надо будет собраться опять. И чтоб вы пришли — выступили, объяснили... А то я, например, еще не могу так доказывать... Я готовый признать свою ошибку и получить наказание... Но вот уговаривать других, это у меня не получится...

Он слышал, что Миша ерзает на своем стуле и заговорил торопливее.

— И я все-таки точно считаю, что моя ошибка наибольшая. Первое предложение было мое и я писал это письмо, а Михаил

только переписывал. А я совсем не хочу выставляться, но прошу дать мне наказание строже, чем всем...

— Вот это уже совсем другой разговор, товарищ Петрик; это уже настоящий комсомольский разговор. Чистосердечно признаешь ошибку... Ну собраний мы устраивать не будем. Покончим с этим делом здесь. Как вы, товарищ Кутенко? Согласны с предыдущим оратором?

Гепеушник впервые улыбнулся, так, что все его узкое лицо пошло складками. Михаил снял очки, стал протирать и глядеть беспомощно выпуклыми серыми глазами.

— Я... я конечно... Но только я же говорил, моя ошибка не меньше... Я готовый признать... Имеется перегиб с нашей... с моей стороны... Чтобы точно сформулировать, надо... еще подумать... Но так я признаю...

— Ну вот и порядок. В таком случае, мы с товарищем инспектором просто примем этот положительный факт к сведению... Протоколов, писанины, я так думаю, никаких не надо... И поскольку на конверте только ваши две фамилии, можно и не вызывать других товарищей, какие подписывались. Вы сами им разъясните по товарищески в общем и целом. И в ячейке, я думаю, ставить вопрос незачем. Значит и никаких наказаний-взысканий быть не может. Поскольку мы — административные органы — милиция, ГПУ — можем привлекать только по уголовной линии... Тут уже совсем другие наказания, даже кары бывают... Но раз вы оба чистосердечно признаете свою ошибку, мы можем ограничиться этим товарищеским разговором... Но другим вы должны разъяснить, как мы с инспектором вам разъясняли... По-честному, по-большевицки, по-комсомольски со всей откровенностью. И так, чтоб уже больше к этому вопросу не вертаться. Чтоб плюнуть и растереть, забыть и не вспоминать! И чтоб уже больше никаких разговоров об этом поганом деле никогда не было... Понятно?.. Никакой трепни. Ни слова, ни полслова!.. Не то предупреждаю, обратно же, по-хорошему, по-товарищески: если пойдут слухи-сплетни всякие, то пусть хотя самым тихим шепотом — все равно мы услышим. И если на-

чнут трепать имя товарища наркома и разводить вокруг демагогию — тогда уже будем расценивать, как злостную антипартийную троцкистскую агитацию-пропаганду... И тогда уже не будем разговоры разговаривать, а применять самые строгие меры... Понятно?! Ну, бывайте здоровы, товарищи студенты!

* * *

Они рассказали об этом разговоре Семену и Грише.

Семен разозлился.

— Эх, и дурак я, что полез в эту писанину! Ритка правильно упрещдала: «полегче на поворотах, могут расценить, как демагогию»... Но чтоб милиция и ГПУ такими делами занимались, никогда бы не поверил... А может быть все дело еще надо «разжевать»? С чего это они так разговоров боятся... Пугали они вас двоих, пугали, а кончили только тем, что молчать велели... А может, про все это надо сигнализировать повыше: в Москву — товарищу Менжинскому по линии ГПУ, и Луначарскому по линии Наркомпроса, и даже Бухарину по линии «Правды»... Надо с Ритой посоветоваться, может еще поспорим с товарищем наркомом, который паном заделался.

Грыць налил в стакан воду из кувшина и протянул Семену.

— Выпей, куме, и заспокойся. Знаешь, что вышло у мужика, который с губернатором судиться захотел?.. Сначала его выпороли — потом повесили. А до губернатора еще только добираются. Не-э-э, не трать, куме, силы. Ничего ты не докажешь. Так, что лучше сиди и молчи в тряпочку, а про себя говори спасибо, что не потянули, как Василя и Михаилу... И ты и я б на их месте и не так еще сдрейфили...

— Сам пей воду!.. И говори только за себя. Я когда пацаном был, беспризорничал, и тогда лягавых не дрейфил... И ножа не забоялся, когда на меня здоровый ракло полез. Так чего я теперь бояться буду, если я ничего не сделал поганого, не крал, не хулиганил.

Спорили не слишком долго. Согласились, что больше ничего придумывать не стоит и, чтобы не нарываться на новые обвинения, решили избегать разговоров.

Семен стал реже приходить в общежитие. Друзья подозревали, что сказывается влияние осторожной Риты; зато она часто приглашала кумовьев пить чай с печеньем. А потом сама тихо сидела в сторонке, читала, писала и не вмешивалась в их разговоры, либо заводила обсуждения новых фильмов и спектаклей. Она любила театр «Березиль»; доставала билеты на всех. После того, как все посмотрели «Народный Малахий» Кулиша, спорили несколько вечеров. Михаил счел пьесу националистической, идеалистической и хотя ему очень понравился актер Бучма, игравший главную роль, но о постановке он говорил — «слишком хитро закручено... Рабочему и селянину таких выкрутас не понять». Семен и Рита защищали пьесу и спектакль, Василь и Грыць соглашались и с похвалами и с критическими суждениями. Когда уходили поздно домой, Грыць заметил:

— Вот так и моя мама всегда хотела, чтобы я с хлопцами гулял где поближе, чтобы у нее на глазах.

* * *

На переменке к Василию подошел незнакомый парень и сунул ему конверт.

— Возьми и читай так, чтобы никто не видел.

Маленький листок исписан карандашом аккуратными прямыми буквами:

«Дорогой товарищ Петрик! Я должен с Вами поговорить по одному важному вопросу. Надеюсь, вы помните нашу беседу в милиции. Теперь это совершенно другой вопрос и к тому же совершенно секретный. Эту записку никому не показывайте и приносите с собой, когда придете по адресу в среду в 6 вечера.

Если товарищи будут спрашивать, куда идете, скажите, что в библиотеку, или придумайте, что другое, но вполне правдоподобное. С ком. приветом знакомый Вам Александр Петрович».

Василь растерялся. Идти нужно было уже на следующий день. Вечером он заметил, что Михаил то ли встревожен, то ли опечален. Садится читать и подолгу не листает книгу, вскакивает, молча расхаживает по комнате, чаще обычного снимает и протирает очки.

Когда Грыць вышел — а четвертого им еще не вселили — Василь тихо сказал:

— Эй, куме Замкармар, чего ты крутишься? Может, какое письмо получил?

— А ты тоже?

Оказалось, что Михаила пригласил тот же гепеушник по тому же адресу и на тот же день, только тремя часами позже, и предлагал ему сказать его «другу — товарищу Наташе», что должен обязательно готовиться к семинару и поэтому должен «попрощаться раньше обычного времени»... Опять, значит, хотел показать свою осведомленность.

Василий не мог понять, зачем их опять вызывают да еще так секретно. Михайло сказал, что догадывается.

— Наверное, будет уговаривать в сексоты. Меня в прошлом году один такой уже уговаривал. Мы на рабфаке придумали журнал выпускать на шапирографе, чтоб штук тридцать-сорок печатать. Секретарь директора сказал, что на шапирограф надо получить разрешение политконтроля ГПУ, ну я и пошел туда на Чернышевскую... Там принял уполномоченный, нестарый дядько в вольной одежде — пиджак, при галстукке. Он дал разрешение, а потом начал меня марьяжить. Говорил за исторический момент. Имеется обострение классовой борьбы; оппозиция ушла в подполье. Из заграницы враги засылают агентов — меньшевики, там националисты... И значит, я, как сознательный комсомолец, должен быть секретным сотрудником... Взять псевдоним, приходиться на явки и докладывать, когда устно, когда письменно... Про что докладывать?.. А про все, что имеется нездоровое или подозрительное на рабфаке и в об-

щежитии и дома, кто к моим родителям в гости ходит, про что разговаривают... А потом будут еще и другие задания давать и нагана дадут... Ну, я тогда отбрехался, болезнями отбрехался... Что значит, почему? Ты, что, сам не понимаешь, какое это дело? Конечно же, имеется у меня комсомольская сознательность и преданность на все сто. Если б меня прямо так послали в ЧК-ГПУ, работать я бы конечно в порядке дисциплины пошел. Хотя, если по правде, так характер у меня не подходящий. Я больше по части науки и пропаганды, могу доклад сделать, статью написать, беседу провести... Но сексот это ж совсем другое. Тут нужно сподтишка, подслушивать, притворяться: думаешь одно — говори совсем другое... Тут имеются такие трудности, каких я никогда не одолею, не справлюсь... Но прямо сказать тому уполномоченному тоже нельзя было — это же могло показаться ему обидным. Ну, так я сказал, какие у меня имеются болезни., И это же без обману: у меня близорукость минус десять и почки слабые, и малярия каждое лето трясет. И тогда уже сказал, что через свои нервы не умею никак притворяться, не могу удерживаться и секретов держать не умею... Говорил, говорил, аж вспотел... Он тогда сказал так похмуро: «неважный вы комсомолец и психология у вас интеллигентская». Взял подписку, что об этом разговоре никому ни словечка... Ну, я пообещал, что если где замечу или услышу что-нибудь про контрреволюцию или какую оппозицию, так сразу ему позвоню, он дал телефон... Завтра я думаю также объяснить. Раз имеются серьезные причины и такой мой характер... За год же ничего не изменилось... А ты что думаешь?

— Хорошо, что с тобой поговорил... Теперь буду готовый. С кондачка не возьмут. Брехать не буду, а в ябеды наниматься не хочу.

* * *

Александр Петрович встретил Василия в старой полутемной квартире, заставленной громоздкими шкапами, тяжелыми стульями и креслами. Он сидел за большим письменным столом, в полумраке,

а настолько лампа под зеленым абажуром светила прямо в глаза Петрику, что он не сразу заметил протянутую ему пачку дорогих папирос...

— Спасибо. Некурящий.

— Виноват, забыл. И что непьющий знаю. Счастливая будет твоя жинка.

Он заговорил почти точь-в-точь теми же словами, как накануне рассказал Михайло и в заключение, словно не сомневаясь в согласии, сказал:

— Встретаться будем здесь в этой хате. Место удобное. А телефон ты лучше не записывай, — запоминай наизусть.

Василий слушал внимательно, серьезно. И отвечал, глядя ему в переносицу, не мигая, вежливо, но решительно:

— Нет, товарищ... Александр Петрович, это дело не для меня... Почему же не уважаю? Очень я даже уважаю товарищей чекистов. Ваша работа важная, почетная, можно сказать, геройская. Это я хорошо понимаю. И сам был бы гордый, если б направили на такую работу. Но только, чтоб в открытую, чтоб я мог всем и каждому сказать: «я чекист». С гордостью говорил бы. Но вот к такой секретности я негодный... Тышком-нышком действовать не умею, не могу... Почему же это предрассудки? Никаких у меня таких предрассудков нет. Вот я с вами откровенно говорю. И со всеми людьми только так могу разговаривать. Начистоту. Если где контру встречу — сразу возьму за глотку. Если он сильней, позову товарищей, и вам конечно же сообщу. А если какой оппозитор пристанет, я постараюсь ему вложить ума по-комсомольски. Не выйдет, пошлю сами знаете куда... Я только так могу... Нет, извините, тут я не могу согласиться, не может такого быть, чтобы все комсомольцы должны были итти до вас в секретные сотрудники... Это дело тонкое, требует не только сознательности, но и способности... Ну вот, к примеру, я — слесарь, знаю и кузнечное дело, могу и за токаря и за сверловщика нехитрую деталь обработать. Но вот часы починить, или электромотор, хоть убейте, не возьмусь. Тут особое умение, особые способности надо. Или еще другой пример: я могу песню спеть и в общем правильно пою. А играть ни на какой музыке не способный, ни на пианине, ни на гармошке, ни на

балалайке... Даже чижика-пыжика не умею, сколько ни пробовал. Так я уверен, что и в чекистском деле нужны свои слесаря, и свои часовщики или электрики. И путать квалификации нельзя... Нет-нет, никак я не хитрую, а совсем наоборот, говорю точно, как думаю. Иначе и не умею. И вообще секретничать не умею. А почему нельзя рассказывать? Это, если б я уже был сексотом, тогда надо было бы секретничать... Почему же это антисоветская кличка? Это ж просто сокращение «секретный сотрудник», как Инхоз или Гепеу... И если мы с вами поговорили хорошо, как вы сами говорите, почему же я должен это скрывать, если же я не сделался секретным сотрудником?.. Ну, хорошо, если вы так настаиваете, постараюсь молчать. Трепаться я не собираюсь, и вообще — я не трепач, можете спросить у всех, кто меня знает. Просто я со всеми и всегда откровенно разговариваю, начистоту... Так меня батько учил, так и в комсомоле учат: правда — главное дело. Брешет, кто нашкодил: у него совесть нечистая... А честный пролетарий, честный комсомолец — всегда, везде, всем говорит правду и только правду... Ну конечно — конечно я понимаю, с врагом нужны еще и тактика и хитрость. Но только я еще никогда не встречался с врагами... Ну, значит, нет у меня способности понимать их хитрости. Потому что и сам хитрить не умею... Нет, и учиться пока не могу, да и по-правде, не хочу... Мне многому другому учиться надо и времени не хватает. Я ж вам объяснял: я слесарь и кузнец, а не часовщик, не электрик, не шахтер... И на новую квалификацию мне уже не выучиться... Ну, подумаю, конечно, подумаю. Но только я вам открыто признаюсь, нет у меня ни способностей, ни желаний... Так что ничего другого я уже не надумую.

7

Именно в эти дни я впервые встретился и познакомился с Василием Петриком. Он приходил в «Дом литературы имени Блакитного» на еженедельные собрания нашей литературной группы «Юнь»; читал свои рассказы, которые понравились и моим друзьям и мне. Бли-

же познакомились мы с ним и стали друзьями следующей зимой (1928–1929 гг.), когда мы оба состояли в новой литературной группе «Порыв». Тогда он стал уже студентом первого курса Инхоза.

Во время нескольких шумных споров оказалось: наши оценки и взгляды на то, что именно хорошо и что плохо в обсуждаемых стихах и рассказах, очень близки. После собраний мы уходили вместе; я жил неподалеку от студенческого городка.

В неторопливых вечерних прогулках выяснилось и сходство наших представлений о том, что русская литература самая богатая и самая революционная в мире, что украинизация необходима и украинская литература еще только вступает в свой «золотой век». Мы оба были убеждены, что украинский авангардистский театр «Березиль» превосходит все виды реализма «на подножном корму», что Маяковский самый великий из живых поэтов, но все же слишком задается и несправедливо писал о Горьком, что Есенин был еще более великим, но, к сожалению, отстал идейно и поэтому покончил с собой, что Тычина — гений, а Сосюра — только талант, но его стихи нужнее массам, так же, как простейшие повести Эпика доступнее, чем великолепная поэтическая проза Яновского, мы признавали достоинства конструктивизма, но считали вредным крайности, всяческие фокусы-покусы в архитектуре, живописи и скульптуре, и оба считали, что недавние дискуссии в партии велись «не совсем честно», и с оппозиционерами разделялись слишком сурово — «ведь они же хотели, как лучше», а им приписывали такие грехи, каких на самом деле не было...

После второй или третьей такой прогулки наше знакомство и литературное приятельство перешло в дружбу единомышленников. Тогда Василь начал подробно рассказывать о себе, обо всем, что я попытался пересказать здесь.

Он был старше меня на пять лет; настоящий пролетарий, комсомолец с трехлетним стажем, настоящий мужчина и уже студент, а я шестнадцатилетний сын служащего, исключенный из профшколы и из кандидатов комсомола за участие в самых обыкновенных пьянках и драках. (Правда, когда меня исключали, кое-кто из не-

другов говорил еще и о моих ошибочных выступлениях в защиту троцкистской линии по китайскому вопросу. Но эти идеологические грехи были только отягчающими обстоятельствами. Основное обвинение гласило: «хулиганство».)

На Василя я смотрел снизу вверх. Мне понравились отрывки из его романа с красивым по старинному витиеватым заголовком «Лимонная честность или страницы из летописи жизни одного молодого рабочего».

Он читал их на собрании «Порыва»; напряженный, покрасневший, подавляя смущение, листал рукопись, не поднимая головы, читал глухим, однотонным голосом.

Большинство слушателей хвалили. Я восторженно говорил о том, что впервые слышу в нашей среде «живой голос настоящего пролетария». И едва ли не со злостью возражал тем, кто посмеивался над нарочитой красотостью, банальностью описаний природы и внешности людей. Я доказывал, что все это легко исправимо, будет преодолено опытом и учебой, а зато диалоги у него необычайно точные, внятно слышны разные голоса, предстают разные характеры... Такие восторженные отзывы вероятно тоже содействовали его доброму расположению ко мне. Однако он дружил и с теми, кто строго и даже насмешливо критиковал его за обилие сентиментальности, старомодно-высокопарные выражения. Некоторые критики упрекали его в подражаниях, называли повлиявших на него писателей: Куприн, Короленко, Франко, Пантелеймон Романов, Петро Панч...

Такие утверждения ему казались даже лестными, а все конкретные замечания он старательно записывал, иногда печально покачивая головой:

— Ой, похоже, что правда... Написал, дурень, не подумав, как следует.

Мне всего приятнее было, что он словно бы не сознавал и не чувствовал своего превосходства, разговаривал со мной, как с равней, спрашивал советов, восхищался моими знаниями «иностранных языков», и памятью, в которой тогда легко застревают исторические анекдоты, даты и формулы политграмоты.

Когда мы подружились, он рассказал мне о письме Скрыпнику, обо всем, что за этим последовало, и о вербовке в сексоты.

Такой рассказ вызывал ответную откровенность. В те дни двоюродный брат Марк, принадлежавший к «харьковскому центру большевиков-ленинцев» (оппозиции), давал мне читать листовки, поручал прятать части ручной печатной машины «американки», мешочки с набором, и я разагитировал нескольких друзей — приятелей. Помня все, что раньше читал о «Народной воле», кружках эсеров и социал-демократов, о тайных организациях карбонариев и бланкистов, я мнил себя опытным конспиратором и хотел создавать «тройки» и «пятерки», не знающие ничего друг о друге. Каждый из первых завербованных мною сторонников должен был стать руководителем такой тройки или пятерки.

Вася был первым «взрослым», кому я давал «Завещание Ленина», «Платформу восьмидесяти трех», брошюру Троцкого «Критика Программы Коминтерна», запись беседы Бухарина с Каменевым (август 1928 года) и др. материалы из того, что сегодня называют самиздатом. Уже после первого круга чтения он сказал: — Вот теперь мне все понятно, что к чему. Наша история со Скрыпником не случайна. А лишь один из фактов перерождения аппарата. Значит, теперь уже и Бухарин, и Рыков, и Томский не годятся. Так кто же у нас останется в вождах? Хитрый бюрократ Сталин?.. «Каменная жопа» Молотов?.. Вояка-рубака Ворошилов?... Холодный сапожник Каганович?.. Ясновельможный пан Скрыпник?.. Я учился по книжке «Азбука коммунизма» Бухарина и Преображенского; еще пацаном знал, что Ленин и Троцкий главные вожди советской власти. Да, в общем, кого ни возьми: Зиновьев, Пятаков, Каменев, Раковский — их все знали и уважали. Это же они за революцию боролись, они советскую власть начинали. С чего же это все они теперь уклонисты, раскольники, враги партии?.. Не-е-т, я понимаю так: это они болеют душой за рабочий класс и за мировую революцию. Они хотят бороться против кулаков, против бюрократов, против нэпмачей... А новые чинодралы — вот такие зануды-гепеушники их зажимают и брешут, без стыда и совести... Нет, тут терпеть нельзя. И действо-

вать надо как следует, по-хитрому. Это я сообразил уже тогда, когда нам с Михайло в милиции мозги крутили. Нужна строгая конспирация, но для того, чтобы потом весь рабочий класс поднять.

Василий вскоре сколотил «пятерку». Блюда наши правила, я не спрашивал ни о ком, и познакомил он меня только со своим заместителем Михаилом. И рассказал, что его друг Грицько отказался участвовать:

— Дай мне сначала самому выучиться, потом уже стану других учить. Не могу я лезть в партийную оппозицию, если я в партии не состою и в комсомоле без году неделя... Не могу я разобраться: чи Троцкий лучше, чем Сталин, чи хуже. И тебе не советую. Давно сказано: «Паны дерутся — у мужиков чубы трещат». А если наши паны в драку между собой полезли, то у наших мужиков не только чубы, а и головы трещать будут.

Василию мало было только читать и обсуждать прочитанные материалы. Его не пугали сообщения об арестах, ссылках, заключении в политизолятор. Угрюмо супясь, он читал листовку с новым текстом на старую мелодию любимой песни Ленина: «Замучен тяжелой неволей...»

Товарищи! Старые песни
По-новому стали звучать.
В Бутырках и темных и тесных
Знакомое слышу опять.

Не встанет наш вождь из гробницы,
Не встанет наш вождь мировой;
Ему наша доля не снится,
Не знает он правды живой.

Товарищ и друг его верный
Не двинет нас в битву с врагом,
Томится он в городе Верном,
Прижатый к земле сапогом...

— Не-ет, этого не должно быть. Если мы сейчас не спасем советскую власть, завтра поздно будет. Правильно говорил Ильич; все правильно предсказал. Только от бюрократов может погибнуть наша власть... Вот они уже и губят ее полным ходом. Тут нужно действовать.

В зимние каникулы он поехал в Донбасс, чтобы наwerbовать пятерку из старых знакомых.

Марку я рассказывал о своих организационно-пропагандистских и организационных успехах, но не называл фамилии, ни с кем не знакомил. Вася один раз случайно встретил меня с ним. Но не подошел, догадался, что это «тот самый двоюродный, член центра». Марк так же серьезно играл в конспирацию и представил меня только одному из руководителей центра. Это был замдиректора какого-то треста, товарищ Михаил — член партии с 1917 года. Плечистый, бритоголовый, он казался мне старым ветераном, хотя был немногим старше тридцати лет. Марк говорил, что я один из «строго засекреченной» пятерки: со многими конспиративными ответвлениями. Больше мы уже не виделись, но Марк передавал мне от него «установки и указания».

В то время в одном из шахтерских поселков Донбасса жил мой давний приятель Шура Мерейнис, работавший плитовым на шахте. Он раньше, чем я пришел к убеждению, что «ленинская оппозиция» права, и в теории, и в том, что ведет пропаганду уже не только внутри партии. Осенью 1928 года он приехал в отпуск в Харьков и в первом же разговоре мы обнаружили, что на «ловца и зверь бежит». Не могли только согласиться, кто из нас ловец, а кто зверь. Для него я раздобыл у Марка «для новой донбасской пятерки» большую пачку брошюр и листовок. Незадолго до этого ГПУ провело большие «выемки» в Донбассе. По сведениям харьковчан тамошние центры были полностью разрушены или потеряли связи с Харьковом, и Марк не мог мне дать ни одной явки... Но Шура не был обескуражен. Вскоре я получил от него большое письмо — шутейное, обо всякой бытовой всячине. А когда нагрел листок над свечкой, проступили отчетливые коричневые буквы настоящего текста, напи-

санного молоком. Шура сообщал, что у него уже есть три пятерки, в которые входят рабочие двух разных шахт, и он завербовал еще нескольких единичных сочувствующих служащих.

Василию я дал явку к Шуру. Он связал с ним еще двух или трех своих старых приятелей, которых успел разагитировать за время каникул.

Именно тогда он решил жениться на младшей троюродной сестре Любе; та уже закончила вечернюю химврофшколу, работала в заводской лаборатории. Рассказывал ли он ей об оппозиции, не знаю, о таких вещах мы друг другу не сообщали.

Василий и Шура понравились друг другу. Вероятно, еще и по абсолютной противоположности характеров и судеб. Шура был неумно подвижный, говорун, задира, насмешник. Иногда он казался суетливым, легкомысленным и самоуверенным, но в действительности был всегда недоволен собою и упрямо переделывал, перевоспитывал, переламявал себя, тонкокостного большеголового мальчика из интеллигентной еврейской семьи (отец — адвокат, мать — врач), стараясь превратиться в настоящего, сурового пролетария-горняка.

Шестнадцатилетним он удрал из дому, уехал из Киева в Донбасс и стал работать в шахте. Над ним сперва смеялись, — за непрерывное чтение прозвали «хвылософ»; — но после нескольких драк и душевных бесед признали своим.

Весной двадцать девятого года Шура и его пятерки организовали на двух шахтах забастовки: требовали снижения норм, повышения расценок, требовали улучшить охрану труда и чаще менять спецовки. Забастовки продолжались на одной шахте два дня, на другой — Шуриной — три. Требования были частично удовлетворены, а Шуру и еще двух заводил арестовали.

Показания они давали хитро. Никто кроме них больше не был арестован. Шура не назвал ни Васю, ни меня. Но все трое признали политическую ошибку, подписали заявление об «отходе от оппозиции» и торжественно обязались не вести больше подпольной фракционной деятельности.

В подвале ГПУ продержали их не дольше двух недель, а, выпуская, посоветовали: взять расчет и уехать «куда подальше, чтоб хуже не было».

Шура приехал в Харьков, стал работать крановщиком на электромеханическом заводе.

Он говорил: «Я доволен, что участвовал в оппозиции. И что по сидел — тоже доволен. Это — полезный опыт. Но теперь буду жить по-другому. Ты ж сам признаешь, что пятилетка снимает наши основные разногласия. И значит, надо работать, а не бузить. И, вообще, я хочу всегда ходить по прямой. Я дал слово: не давши крепись, а давши держись. Если ты еще собираешься путаться с оппозиторами, я тебе не товарищ. Пока ты не отойдешь, я с тобой и видаться не буду. И скажи Петру (это была конспиративная кличка Васи) — он хороший парень, но встречаться с ним я не буду, не хочу. Вернее, не надо. И когда ты отойдешь, нам все равно лучше поменьше встречаться. И вот что поимей в виду: когда я писал заявление об отходе, следователь хотел, чтоб написал всех, с кем был связан или как-то знаком по линии оппозиции. Я сказал, что никого по фамилии не знаю, только по кличкам и помню приблизительно одного лишь — описал внешность, похожую на твоего кузена, он же все равно уже сидит. И он меня не знает. Следователь не стал и записывать: «Мухлюете, молодой человек. Такое вам и небитый ффраер не поверит... Только нам сейчас важно, чтобы вы отход написали как следует и отсуда уматывались поскорее. Но если будете в комсомол поступать, то придется полностью разоружаться, все выкладывать дочиستا...» Так что и ты знай, на случай, когда спросят. Я про тебя молчал, а ты, чтоб не врать, скажи, что только позднее, задним числом узнал про наши штуки на шахте. И Петру объясни. Я про него не говорил, внешность не описывал. Он хлопец головастый, сооразит, как надо.

(Год спустя Шура уехал. Он влюбился в невесту нашего общего друга, и она его полюбила. А друг в Магнитогорске зарабатывал прямо на женитьбу. Нам всем было по восемнадцать. Девушка и ее

отец, старый член партии, — настаивали, чтобы жених сперва «доказал, что он не пацан, а настоящий человек.»

...Шуре пришлось преодолевать трудные сомнения — и свою прежнюю любовь, — она жила в другом городе, — и угрызения дружеской совести. Ему было поставлено такое же условие. И чтобы доказать право на новую любовь, он уехал, но все же поближе — в Саратов, где строился завод комбайнов, директором которого был Иван Никитич Смирнов, давний друг Троцкого (именно его сдержанный отход в 1928 году принимали за образец все, кто хотел мириться с партией, все же меньше кривя душой). Шура и там работал крановщиком и стал рабкором настолько ретивым, что его несколько раз посылали в командировки «толкачем», добывать стройматериалы, проталкивать заготовки с других заводов. В декабре 1931 года по пути из Донбаса он задержался в Харькове, чтобы повидаться с невестой. Заболел сыпным тифом. Когда уже выздоровел, был в санаторном отделении, они вдвоем гуляли вечером перед больницей. Из густой февральской метели налетел трамвай. У нее было тяжелое сотрясение мозга, у Шуры проломлена голова. Он умер месяц спустя. В бреду он опять был троцкистом, призывал к забастовкам, говорил о листовках, о явках. Видимо, среди больных и врачей не нашлось доносчика. Шура и перед смертью никого не выдал.)...

...Весной двадцать девятого года в газетах уже открыто обличали правый уклон — Бухарина, Рыкова и Томского. Много писали о головокружительных планах первой пятилетки и о подвигах дальневосточных частей Красной Армии, разгромившей войска Чжан-Сюэляна, которые блокировали КВЖД. Впервые после 1920 года наша армия перешла границу, но в этот раз вернулась с победой.

С Василием мы встречались в лесопарке за городом; уходили на дальние поляны, убеждаясь, что нет «хвостов». Он угрюмился, говорил иногда неуверенно и от этого сердито. Но мы не спорили, я тоже был разочарован в оппозиции. Шагая, он стучал кулаком по ладони, словно отбивал точки в отрывистой речи.

— Кончать надо волынку, браток, кончать. Не тянуть. Некуда... Ничего мы не добьемся. Ни бумажками, ни такими забастовками, как мы с Шуркой устраивали. Рабочий класс не повернет за нами. Это уж точно. Про пятилетку ты правильно говорил. У нас в Инхозе докладчик был из ЦК; толковый дядька. Без фасона. Не похож на аппаратчика. Все объяснил за пятилетку. Догонять и перегонять надо. Нэпачей и куркулей прижимать будем. Это раньше за них правые старались. Теперь генеральная линия другая. Вот и Преображенский и Радек признают. Не может у нас больше быть разногласий. Не должно быть. Да еще когда враги отовсюду: там китайцы, тут паны-поляки, везде Чемберлены... Ты как решил? По второму заявлению Ивана Никитича отходишь? Знаю. Хорошее. Побольшеви́стски идет к партии, с открытым сердцем, а не на брюхе ползет. Лучше, чем Преображенский, Радек и Смилга. Они уж чересчур стараются: бьют себя в груди, как в бубны... Я тоже хочу за Иван Никитичем... Почему не надо?.. Пстой-пстой, что ты демагогию разводишь: ты, значит, будешь, открыто, напрямки, хотя ты еще даже не в комсомоле, — одной ногой всупил и сразу выкатился. — А я старый комсомолец и скоро уже кандидат партии, чтоб тышком-нышком, я не я, а хата не моя!? Нет, хлопец, маком!.. Я завтра же пойду в ячейку и все выложу: так и так было, занесло меня левым боком на лихую дорожку. А сейчас вот сам думал-думал и передумал, и пришел виниться перед комсомолом и партией... Искренне. Всей душой.

— А ты еще трошки подумай: что потом будет. Твоя пятерка, твои хлопцы и девчата тоже решили кончать?... Хорошо... Но про них еще никто не знает. Они может просто хотят поставить точку и жить по-другому, — честно жить и работать. А если ты завтра пойдешь, как сейчас хочешь, так ведь придется тоже в грудь, как в бубен, бить. И «разоружаться до конца». И называть всех, кого знал. А то какая же иначе искренность? Назовешь меня, это само собой понятно, но это какое же разоружение. Меня уже сажали. Я и сам тоже отхожу. А им всем ты жизни поломаешь. Они ведь по-новому жить хотят. Но, может, в бубны бить не умеют и не желают?

Я тебя называть не собираюсь. Знаю, какой ты честный, совестливый хлопец. Уверен, что если уж решил идти по генеральной линии, то больше не свернешь. А если б я тебя назвал, и тебя бы на цугундер взяли, тогда что? Такой, как ты есть сейчас, ты можешь быть полезен и стране, и партии. Очень полезен, в десять раз больше, чем раскаявшись. Сколько б ты ни каялся, ни старался, биография будет с пятном. Ты же не маленький, сам знаешь: доверие высших инстанций — как целка: поломаешь, не починишь... Шурка отходил, тебя не назвал, это я точно знаю. И ты можешь не сомневаться: если б назвал или только сказал, что приезжал студент Инхоза, описал бы внешность, тебя бы уже давно потянули. Забастовка — это не брошюрки читать. А Шурка даже меня не называл, хотя это я его втянул. Но если ты пойдешь разоружаться, значит должен будешь рассказывать и про Шурку, и как я тебя с ним связывал. И тогда ему сразу пришьют новое дело: скрывал соучастников.

Уговаривать Василия пришлось долго и не один раз. Иногда он взрывался, багровел, покусывал косточки стиснутых кулаков.

— Ты еще пацан беспартийный. Интеллигентский сынок. Ты производство не нюхал. И мелкобуржуйскую психологию сохранил. Поэтому и поддался на ихнюю фразу... Но почему я, пролетарий, комсомолец? Как же это я болван, говнюк, заучился и в письменники полез, в политику... А теперь сообразил, что нашкодил, что не туда свернул, и буду кусточками, ярками незаметно, тихонько на правильный шлях выбираться? Вроде ничего и не было. Как те девки, что лимонную честность наводят... Да иди ты!.. Не уговаривай меня, как слона. Сам хочешь быть насквозь честным, а мне, значит, можно и лимониться?..

Чем больше он злился, чем больше отчаивался, чем яростней ругал то меня, то себя, тем симпатичнее он мне становился. И тем упорнее, горячее старался я убеждать, увещевать.

— А ты отложи покаяние. Понимаешь? Отложи на несколько лет. Ну, скажем, на пятилетку. Кончай институт; поработай так, чтоб небу жарко, а пеклу холодно. Если война начнется, пойдешь на фронт, там еще скорее докажешь. И уже тогда признавайся: вот так

и так, был на мне грех, столько-то лет назад сбился с дороги, три-четыре месяца плутал, но сам же и назад вернулся.

Это ему показалось убедительным.

— Что ж, так, может, и годится. Надо еще подумать... В конце концов мы ж не против партии шли, не против советской власти... Мне новые паны-бюрократы обрыдли, и весь их НЭП вонючий. Ну, в общем, вся та линия, которую правые тянули... А за год-другой, пожалуй, многое переменится.

8

После этого мы долго не виделись. Стороной я слышал, что Василий досрочно, «по-ударному» кончил Инхоз и куда-то уехал.

В декабре 1932 года мы встретились на трамвайной остановке. Показалось, что он стал крупнее, шире в плечах, выпиравших из-под черной кожаной куртки, но лицо под зеленой фуражкой похудело. А глаза оставались все те же: светлые, выпуклые. И улыбался также, не разжимая губ; только впалые щеки вспухали складчатыми скобками.

После первых отрывистых вопросов: как живешь, где работаешь, — он предложил:

— Давай пройдем пару остановок, побалакаем... Так ты, значит, редактор многотиражки «Т-2»... Знаю-знаю, что это такое, какие у вас там самовары клепают. Значит, заслужил доверие... И комсомол уже в партию рекомендует? Гарно, дружище, гарно!.. А учиться не собираешься? На заочном труднее... Женатый — это хорошо. На гулянки больше времени и больше сил уходит. Детей не заводите? А у меня уже двое: пацан Сережка — два года, и Володька — полгодика... Им внимание требуется. Люба работать не может, ругается: отстает от жизни. А я мотаюсь, как соленый заяц; хорошо, если две ночи подряд в своей хате сплю... Ты признайся: ведь не поверил, как я сказал, что теперь красным директором? Ну, подумал, что

шуткую... А я уж скоро год сам себе хозяин — строю социализм на одном отдельном заводе...

Ты не лякайся, мой завод не так, чтобы гигант индустрии — механико-литейный имени Червонной гвардии; кадры — 264 рабочих разной квалификации, три техника-мастера, два инженера, один главный, один помощник, ну, и конечно, помснабсбыт и главбух, — я его коммерческим директором провести хочу... Есть и свои бюрократы — контора, и обслуга, и столовая, и ОРС. Весь коллектив уже больше трехсот душ, из них сорок три партийцы: члены и кандидаты, и комсомол уже под сотню подбирается...

Вот такое хозяйство. Имеем четыре цеха — литейный, механический, ремонтный и транспортный. Имеем две вагранки, одну медеплавилку. Сейчас как раз за электропечь хлопочу. Работаем запчасти для сельхозмашин и по заказам соседей: велозавода, молотилочного, промкооперации... И, конечно, ширпотреб, чтоб ни грамма металла не пропадало; делаем чугузки, котелки, керосинки штампуем, ложки, вилки, ножи. Промфинплан меньше, чем на 120 не выполняем. Встречный за встречным даем...

Но главное рабочий класс у меня и техперсонал, и служащие тоже, как солдаты у Суворова, — каждый понимает свою задачу и направление всего полка. И понимает, за что бой.

А уж насчет материальных стимулов, тут я из кожи лезу. И премиальный фонд, и по линии ОРСа насчет харчей стараюсь. В совхозе за Новоселовкой, у нас заарендованы огороды, парники, свиарник и коровник на полдюжины коров. Там свои рабочие, — большинство инвалиды работающие. Им и зарплата идет по ведомости ОРСа и натурплата — продуктами. Ну, еще и наши пролетарии в выходные приезжают на свежем воздухе погулять и поработать. Кто косит, кто пашет, кто в огородах копается, а кто у свинок и коровок помогает. Местные спецы им уроки задают. Зато у нас в столовой почти весь год свежая овощь. Теперь уже про фруктовый сад подумываем. Заводской двор озеленили. Тут — цех, тут — вагранка чадит, и тут же мальвы цветут. Хочу теперь яблони, сливы, груши посадить... Транспорт у нас: два грузовика полуторных, четверо

коняг-биндюгов, грузовые площадки есть и линейка, два шофера и два конюха. Без простоев работаем, когда надо я и сам за шофера сажусь, и главинж баранку крутить умеет... Работают у нас, мало сказать, по-ударному. Есть такие энтузиасты, что целую пятидневку по две смены тянут. Прогулов — самая малость. И с каждого прогульщика, — если без уважительной, — его же бригадники такую стружку снимут, что дирекции незачем и вмешиваться. А лутунство уже несколько месяцев ноль процентов: не уходит никто. Хотя мы и предприятие вроде как второй или даже третьей категории, с Хапезе или Хэмзом не сравниешь.

Мы шли по обмерзшему тротуару, оскользаясь, хватаясь друг за друга. Он говорил, широко размахивая руками, иногда останавливался, а я вставлял только короткие одобрителльные и восхищенные возгласы: «Да, ну!»... «Вот это здорово! Впервые такое слышу!»... «Великолепно!», «Отлично!»

И он поглядывал весело-вопросительно: достаточно ли я понимаю, способен ли оценить.

— Вот сейчас я откуда еду? — Из горсовета. Ходил выбивать жилплощадь нашему повару. Достал я повара самого высшего класса. До революции у князей работал, с начала НЭПа в самых шикарных ресторанах. Но зашибает... Понимаешь? Запои у него бывают: по два-три дня валяется, не человек, свинья-свиньей. Его за это и с работы выгоняли и жены бросали... Ну, я ему создал условия. Ведь надо же понимать, запои — это болезнь, а не преступление, как говорится, не позор, а несчастье... Мы ему доктора нашли. А сейчас комнату добиваемся. Он теперь женился на приезжей. И живут они квартирантами, снимают закуток. Я ходил смотреть: поганая ночлежка, как у Максима Горького... Я его держу и не отпущу. Он нашу столовую так поставил, что с больших заводов смотреть приходят. Ну, а чтоб от его запоев не было больших потерь, мы с партсекретарем кое-что придумали. Секретарь у нас хороший дядька — токарь высшего разряда, кадровик, в гражданку воевал. И предпрофкома стоящий, хотя и молодой еще парень, электромонтер. Оба никакие не аппаратчики: тянут нагрузки без отрыва от производства. Так

мы с ними всем треугольником придумали: постоянную комиссию общественного питания из жен, сестер и дочерей, а то и мамаш наших рабочих. Чтоб они по очереди при кухне дежурили, и помогали и присматривали. У кого дети есть, могут в свой день привести — покормить. Чтоб повар чего не подумал, не обиделся, мы объясняем без понта: это не контроль над ним, а помощь и подготовка кадров семейного и общественного питания. Мы ему и должность красиво назвали — шеф-повар и наставник-воспитатель. Сообразили ему даже надбавку к зарплате. Женщины, которые дежурные, получают харчами на месте. Каждый день дежурят по две, — чтоб все-таки контролировали друг дружку; продукты в каждой семье ведь нужны — иная какая может и соблазниться. И правило такое, чтоб дежурили вперемешку и не чаще одного раза в декаду — чтоб охватить побольше и чтоб не очень привыкали. Многие жены и матери у нас по линии ОРСа в совхозе стараются, тоже за натуроплату.

Вот по линии культуры у нас еще отставание. Стенгазета не регулярно выходит. Я добиваюсь, чтоб раз в пятидневку. И сам пишу, чаще под псевдонимами, — с директорским авторитетом надо осторожно. И красный уголок еще бедноват: один патефон, газеты, журналы... Ну, хор, конечно, есть, тоже нам помогают женщины, которые члены семей. И струнный оркестр есть кое-какой: балалайки, домбры. Хор и оркестр выступают на праздничных вечерах. А иногда и так в обеденный перерыв по цехам дают культзарядку. Еще и подшефная школа хорошо участвует, пионеры стихи читают, песни поют, сценки показывают... Но вот с драмкружком у нас пока не получается: живую газету один только раз запустили и неважнецкую, — талантов не хватает... Но по линии промфинплана, соцсоревнования, ширпотреба и общепита мы по всему району первачи... В «Харьковском пролетарии» уже статейки были, и в «Коммунисте»... Ты, редактор, зашел бы ко мне? Запиши телефон: он в конторе, ну, в моем кабинете, но я живу там же, близко. У нас с одним инженером велозавода квартира на две семьи, каждой по две комнаты, все удобства есть. Живем дружно. Сейчас добиваемся, чтоб телефон поставили. А по этому позвонишь, там всегда

кто-нибудь из конторских сидит, — позовет меня или передаст... Приходи, это тебе ж должно быть интересно. Может, напишешь про нас: положительный опыт строительства социализма на одном заводе. Ну и конечно, выполнение шести указаний Сталина — мы все, как есть, выполнили: имеем хозрасчет, единоначалие и никакой уравниловки, и кадры подбираем — учим...

Помнишь, как мы Сталина когда-то критиковали?

Он заговорил тише и разок-другой даже оглянулся на случайного прохожего.

— Я и потом еще, случалось, на него злился. Хотя и молчал, никому не говорил, но про себя злился. Когда коллективизация пошла и раскулачивание — все эти «головокружения»... Помнишь? Ты бывал на селе? Ну, значит, должен соображать... Но теперь я вижу ясно — ведь как тянем пятилетку; сколько настроили-наработали... А врагов не меньше; даже прибавилось... Японцы прут; это тебе не Чжаны-Суэляны, которые нас тогда «побить-побить хотели». Самураи — враги серьезные... И кризис по всему свету... Я немецкий язык учил; теперь, чтоб не забыть, выписываю «Роте фане», — читаю со словариком, а то и так соображаю. Что там делается! Полный развал! Заводы стоят; безработица; нищета... А нам рабочих рук не хватает. Я так считаю: Сталин тогда, выходит, лучше других сообразил во всемирном масштабе, а мы недопонимали. Однако хотели все же, как лучше...

Он говорил вполголоса, уже не размахивал руками, а глядел пристально-вопросительно. И я так же вполголоса вставлял: «Конечно», «вот именно», «правильно», «и я так думаю».

— Конечно, хотели, чтоб лучше. Мне и теперь противно бывает, когда все оппозиции, какие были лают контролю, как белогвардейцев ругают... Но, видно, так надо по линии бдительности... Я тебя, случалось, вспоминал, и Шурку. Но в общем, добром вспоминал. Как ты меня тогда отговаривал. А Шурка умер? Жаль парня, хороший был, горячий... Сейчас у нас трудно насчет прошлого... Вот у тебя прошлое, хоть и пацанское, но все же допускал, уклонялся, сползал... Если б не это, ты бы сейчас уже в партии был, и редакто-

ром не цеховой, а заводской газеты. Если бы я тогда каяться пошел, меня бы потом по всем линиям стреножили. ... Правильно было, что отложил. Уже три года прошло, но я считаю, что пока еще время не пришло. Когда пятилетку выполним, когда скажем: вот он, социализм, готов по всем линиям, — тогда и я расскажу все, как было; и расскажу и опишу. А ты еще помнишь мою «Лимонную честность»?... Нет, роман так и не кончен. Руки не доходят. Когда заболел раз на две недели, опять много писал. Иногда ох, как хочется... Так ты позвони. Сейчас конец года, штурмуем, суеты много, — позвони в январе.

Но в январе я не позвонил, меня отправили в деревню на хлебаготовки. Те самые, после которых был голод. Потом я долго болел. Потом поступал в университет.

Позвонил Василию только осенью. И услышал, что он уже полгода, как уехал из Харькова со всей семьей, его назначили куда-то начальником политотдела МТС.

Больше я ничего о нем не слышал. Вряд ли он мог уцелеть после 1934–1937 гг., когда на Украине лютовал террор.

ПРИМЕЧАНИЯ

В этой повести рассказано о действительно существовавших людях, но изменены почти все фамилии, т. к. эти люди, может быть, еще живы. История Александра Мерейнис (1911–1932) подлинная.

Тексты стихов, частушек и песен сочинены не мною, а услышаны от разных людей в 20-е годы.

СОКРАЩЕНИЯ

ВУЗ — Высшее учебное заведение.

ИНО — Институт Народного Образования (Педагогический) .

КИМ — Коммунистический Интернационал Молодежи.

МОПР — Международное Общество Помощи Революционерам.

Осоавиахим — Общество Содействия Авиации и Химической Обороне.

Хапезе (ХПЗ) — Харьковский Паровозный завод.

ХЭМЗ — Харьковский Электромеханический завод.

ЧОН — Часть Особого Назначения. Молодежные вооруженные отряды в 1920–1921 гг.; создавались местными уездными и городскими властями для охраны учреждений, складов, предприятий и для борьбы с бандитами.

Приложения

Приложение 1

«ХРАНИТЬ ВЕЧНО», глава 17

ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА

...Февраль 1929 года. Харьков. За всю зиму биржа труда подростков только один раз дала мне направление на временную работу — грузчиком на расчистке продуктовых складов. Свободного времени было много; целыми днями я читал. Иногда садился и за учебники — собирался осенью поступать, еще не решил куда — в электротехнический или на исторический... Читал беллетристику и стенограммы партийных съездов, книги и брошюры: Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Каутского, Бухарина, Троцкого, Луначарского, Зиновьева, Сталина, Преображенского, мемуары Клемансо, Носке, Деникина — все это тогда издавалось у нас, — журналы «Былое», «Каторга и ссылка»... В ту пору я был беспартийным и «неорганизованным». В 1927-м вскоре после окончания школы-семилетки, меня исключили из пионеров «за бытовое разложение» — за то, что я был застигнут курящим, изобличен в том, что пил водку и «гулял с буржуазными мещанскими девицами», которые красили губы, носили туфли «на рюмочках» и тоже курили. Незадолго до этого меня было перевели в кандидаты комсомола, но вскоре ячейка электротехнической профшколы, куда я поступил, отвергла меня как уже исключенного из пионеров за достаточно серьезные грехи и к тому же отягчившего их новыми проступками — участием в массовой драке и тем, что на собрании ячейки после доклада о международ-

ном положении выступил против линии Коминтерна в Китае — осуждал союз с Гоминданом. После Октябрьских праздников меня исключили из профшколы за повторение все той же злополучной драки. Подчистив в справке год рождения (сменив 1912 на 1911), я на правах шестнадцатилетнего встал на учет на бирже труда подростков. В 1927–1928 годах работу получал иногда на неделю, иногда на месяц — то чернорабочим на частных стройках (тогда еще строились на окраинах домики нэпманов, преуспевающих кустарей), то грузчиком, рассыльным, агентом по распространению подписки и т. п. Заработки старался утаивать от мамы, тратил на папиросы, кино, пиво. По вечерам ходил в дом писателей им. Блакитного слушать поэтов, критические дискуссии. Там же еженедельно собиралось наше «литературное содружество». Сперва оно именовалось «Юнь», потом «Большая медведица», пока нас было всего семеро, наконец «Порыв»; насмешники дразнили: «прорыв»... «надрыв»... «разрыв»... «нарыв». Из наших нестройных рядов вышли: Лидия Некрасова, Иван Каляник, Андрей Белецкий, Сергей Борзенко, Александр Хазин, Иван Нехода, Валентин Бычко, Николай Нагнибеда, Роман Самарин, которые впоследствии стали именитыми не только на Украине. Мы читали друг другу главным образом стихи, чаще всего плохие, изредка печатали их в многотиражках и на литературной странице «Харьковского пролетария».

В 1929 году в «Порыве» наметился раскол и разброд. По уставу все члены бюро председательствовали по очереди и каждый очередной председатель обладал диктаторскими полномочиями. Сережа Борзенко, став диктатором, исключил Л. Некрасову, А. Белецкого и Р. Самарина из «Порыва», заявив, что они антисоветские элементы; я протестовал и получил от него же строгий выговор «за примиренчество».

...Февральским утром пришел мой двоюродный брат Марк Поляк, пришел таинственно, сказал, что ждал на улице, пока мои родители уйдут на работу, а брат в школу; он вытащил из портфеля два больших пакета, обернутых газетами, перевязанных шпагатом: «Спрячь и получше. У меня может быть обыск. И никому ни слова...»

Марк, или Мара, как его называли дома, был старше меня лет на семь, его родители и все родственники считали его гением. Он закончил биологический факультет, опубликовал брошюру «Сон и смерть» — родственники говорили: «Он уже издает свои книги», — читал лекции в клубах: «Что такое жизнь?», «Происхождение человека»; я его чтил, как великого ученого и обладателя огромной библиотеки. Половина книжного шкафа (вторую половину занимали медицинские книги его старшего брата — врача) и стол были завалены разнокалиберными томами и тончайшими брошюрками: философия, биология, история, политграмота — никакой беллетристики. Над моими литературными претензиями и стихотворными упражнениями он снисходительно посмеивался: «Читай Канта и Гегеля, Плеханова, Ленина, Фрейда, а стишки — романтическая блажь, девятнадцатый век; девчонкам в альбомы писать. Но хорошая современная девушка тоже должна предпочитать науку, философию и серьезную политлитературу... А тратить время на вертихвосток, блаженных дурочек с альбомами еще глупее, чем писать стишки. Неужели тебя может привлечь даже очень хорошенькая барышня, если с ней не о чем говорить, а только: “Скажите, вы верите в любовь? Кого вы больше любите — Пушкина или Надсона? Ах, Лермонтов это так прелестно!!!” Нет, тогда уж лучше занимайся онанизмом, это менее вредно, чем такое времяпровождение».

Он всегда подсмеивался надо мной, не обижался, когда я, огрызаясь, обзывал его сухарем, книжным червем, головастиком, лапунцем — он только напускал таинственную многозначительность, а, главное, давал мне читать замечательные книги. Но у нас он бывал редко. В то утро он объяснил мне доверительно, что участвует в работе подпольного центра большевиков-ленинцев, т. е. оппозиционеров, которых бюрократы-аппаратчики, сталинцы, облыжно прозвали троцкистами, зиновьевцами или сапроновцами. Он давал читать мне листовки о высылке Троцкого, текст «Платформы 83-х» (объединенной ленинской оппозиции 1927 года), «Записи беседы Бухарина с Каменевым в августе 1928 года» и т. п. И раньше я вни-

мательно читал стенограммы XIV и XV партсъездов, партконференций, пленума Исполкома Коминтерна, «Дискуссионные листки “Правды”». И нередко читал, испытывая раздражающее недоумение. Речи и статьи оппозиционеров привлекали революционной логикой и пылом: они ратовали против нэпманов, кулаков, бюрократов-перерожденцев, против сделок с иностранной буржуазией, за мировую пролетарскую революцию, против уступок Чемберлену... Но с другой стороны, ведь большинство партии их отвергло, а воля большинства для коммунистов-большевиков — высший закон, и нельзя же допускать раскола, когда наша страна — осажденная крепость...

Мара возражал мне серьезно, как равному, ссылаясь на пример Ленина — он же выступал против большинства, если речь шла о принципах, основах, о судьбах революции, когда спорили о Брестском мире, о введении нэпа, а тогда положение было потруднее, чем теперь. Он познакомил меня со «связным Центра» — «товарищем Володей», то был Эма Казакевич, будущий писатель, сталинский лауреат. Эта часть его биографии, насколько я знаю, до его смерти была известна только нескольким самым близким людям. Один раз Мара брал меня «на дело»: мы привезли на извозчике тяжеленный чемодан — ручную печатную машину «американку», и я ее по частям перепрятывал у нескольких моих друзей. В начале марта Мару арестовали; оба пакета, о которых он многозначительно сказал: «Часть архива Центра, особо конспиративная», я дал перепрятать Ивану Калянику. Его отец, директор завода, был непоколебимым сталинцем, а Ваня сочувствовал оппозиции, хотя больше интересовался стихами — мы считали его лучшим поэтом «Порыва», — девушками и доброй выпивкой. Но именно к нему-то и пришли с обыском. Никого из других моих друзей, хранивших части «американки» и кое-какую литературу, не тронули. Видимо, на Ивана донес наш тогдашний общий приятель. Ваня держался великолепно, не назвал ни одного имени ни обыскивавшим, ни отцу. Тот был потрясен, когда в его квартире, в проеме между верхом печи-голландки и потолком, обнаружили пакеты, в которых оказа-

лись протоколы и резолюции подпольного центра оппозиции, тексты листовок, проекты воззваний, шифры, списки арестованных и т. п. Ваня говорил чистую правду, утверждая, что не знает содержания пакетов, не знал этого и я. Но он так же упрямо твердил, что не знает, как страшные пакеты попали на его печку, и на все наводящие вопросы отвечал, что никого не подозревает, не помнит, кто именно к нему приходил в последние дни, и вообще всю неделю был пьян. К чести его отца Ивана-старшего надо сказать, что он тоже не стал помогать оперативникам, сославшись на то, что мало бывает дома; его завод находился в другом городе, и он действительно только наезжал в Харьков, но о наших настроениях знал достаточно, так как нередко выпивал с нами и спорил. Ивану велели на следующий день прийти в ГПУ на допрос. Разумеется, я пошел с ним и признался, что это я спрятал пакеты без ведома хозяев квартиры, но что в них было — не знаю, честное слово! — и это была правда. А кто просил меня прятать — не скажу, так как обещал не говорить, и нечего взывать к моему долгу. Хотя я не состою в комсомоле, но идейно считаю себя коммунистом-большевиком-ленинцем, и мой долг велит мне не откровенничать в данном случае, так как органы ГПУ ведут неправильную линию, преследуют настоящих ленинцев. Уходя с Ваней, я был уверен, что меня арестуют, простился с девочкой, в которую был тогда влюблен, запаса папиросами и написал письмо родителям. Его должна была передать та же девочка через общих знакомых. Следователь сперва грозил и насмешничал: тоже мне конспираторы, вам еще в сыщиков-разбойников играть. Мы за вашим ученым братцем и за вами уже давно за каждым шагом следили. Мы про вас больше знаем, чем вы сами знаете. Сколько раз потом слышал эту сакраментальную формулу и всегда убеждался в ее примитивной лживости. В тот раз они не нашли ничего из того, что было спрятано у нескольких моих школьных товарищей.

Потом Ваню отпустили, и уже два следователя «воспитывали» меня, а я пытался их агитировать, и мне казалось даже, что произвожу впечатление, цитируя наизусть Ленина и Троцкого, приводя

неопровержимые факты, — в первом издании «Вопросов ленинизма» Сталин сам писал, что говорить о возможности построения социализма в одной стране, значит верить в утопию, глупую и притом вредную — национал-социалистическую... Но вечером они отпустили и меня, взяв подписку о невыезде. Я едва ли не огорчился: ведь уже состоялось такое волнующее прощание, она впервые поцеловала меня, потому что предстояла долгая разлука. Я чувствовал себя доблестным революционером, наследником народовольцев и старых большевиков... А тут просто выставили за дверь, как нашкочившего мальчишку. Все же хватило ума сообразить, что за мной будут следить, и в последующие дни я так петлял между посещениями разных друзей, знакомых и незнакомых, что не навел ни на кого из тех, кто мог быть интересен оперативникам ГПУ. Мне повезло: именно тогда я на целую неделю получил работу — собирать подписку на газеты и журналы. Поэтому я мог законно бродить по учреждениям, заводам и жилкооперативам, всучая рекламные проспекты и бланки для подписки (денег я не собирал, подписчики потом должны были сами платить почте). К тому же я знал множество проходных дворов, лазов, щелей в заборах и т. п. Радуюсь своему хитроумию, я занялся распространением листовки-протеста против арестов большевиков-ленинцев, против «самоуправства сталинских жандармов». Два моих приятеля разбросали по десятку листовок на Электрозаводе и на заводе молотилок «Серп и молот», на их след так и не напали, так как они там часто бывали и до, и после как «производственные практиканты», а я рассовал дюжину на паровозном заводе, куда ходил в библиотеку с проспектами, две штуки даже наклеил на дверях завкома и не удержался, похвастался тому же приятелю, который раньше знал про Ивана. На следующую ночь (29 марта) меня наконец арестовали...

Диковинно было вспоминать в полевой тюрьме и позднее в пересылках Бреста, Орла, Горького и даже в самой благоустроенной и благополучной из всех тюрем, в которых я побывал, в Бутырках, о десяти днях, проведенных во внутреннем корпусе Харьковского допра (дом принудительных работ — слово «тюрьма» тогда счи-

талось старорежимным, почти как «каторга»)… Камера на троих, чистая, светлая; окно, разумеется, без намордника; через стену внутреннего двора корпус уголовников, откуда слышались блатные песни, громогласные переговоры или перебранка с этажа на этаж. Каждое утро через кормушку можно было купить — нам оставляли по несколько рублей наличными — газеты, журналы, а через день приходил «ларек», торговавший французскими булками, колбасой, сыром, конфетами. Библиотекарша тоже приходила через день, можно было даже заказать желаемую книгу. Кормили нас невкусно, но сытно. Обед всегда был мясным, а иногда и на завтрак, и на ужин давали мясную лапшу или кашу с мясом. Надзиратели обращались к нам «товарищи». Перестукивались мы с соседними камерами беспрепятственно. С одной стороны сидел радикальный «децист», который обличал жалкое примиренчество зиновьевцев и пустое краснбайство Троцкого. Он говорил, что и зиновьевцы, и Троцкий по сути всегда подыгрывали Бухарину, а тем самым и Сталину. Он выстукивал, что нужно прекратить болтовню, а организовывать забастовки, демонстрации, захватывать командные пункты и, если потребуется, применять силу… С другой стороны были девчата-работницы. Они меньше интересовались теоретическими проблемами, да и перестукивались плохо, а расспрашивали главным образом, кому сколько лет, как зовут, какого роста, цвет волос и глаз, женат или холост… В один из первых дней в корпусе была шумная «волынка» — орали из камер, стучали в двери табуретками, кружками, выбивали «волчки», требовали открыть камеры, позволить выбрать старосту корпуса. За эту волынку я отсидел сутки в карцере — холодной полуподвальной камере, без постели, только голый топчан из железных полос, но курить позволяли, правда, обеда не полагалось и хлеба давали меньше, впрочем, я объявил голодовку. Допрашивали меня всего один раз, и это был опять не столько допрос, ведь я отказывался давать показания, сколько политический спор. Следователь — немолодой, болезненно тощий, усталый, сердито доказывал, что оппозиционеров приходится арестовывать и высылать потому, что они, сколько бы они ни трепались о своей

революционности и преданности заветам Ленина и советской власти вообще, на деле только вредят, подрывают авторитет партии, ослабляют государство... Он явно презирал, хотя и словно бы жалел, мальчишку, начитавшегося до «полной каши в голове», вообразившего себя невесть каким революционером.

— Вам бы поработать, в рабочем котле повариться. Вы про жизнь только с чужих слов слышали и, значит, ничего про настоящую жизнь не понимаете, а уже палки в колеса партии суёте.

Продержали меня в допре до 9 апреля и именно в этот день — мой 17-й день рождения — отпустили. В канцелярии тюрьмы отдали на поруки отца и опять взяли подписку о невыезде. Отцу помог его старый приятель Михаил Александрович Кручинский. В гражданскую войну он командовал Богунским полком, был заместителем Щорса, тогда же получил орден Боевого Красного Знамени — среди наших родных и знакомых он был единственным орденосцем, тогда это звучало еще очень гордо. Он дружил с генеральным прокурором Украины Михайликом, и тот одним телефонным звонком решил мое дело.

Выйдя на свободу, я еще не был достаточно поколеблен в убеждениях, несколько раз встречался с подпольщиками, читал и передавал другим листовки. Однако к маю уже явно наметился распад оппозиции, ускоренный разоблачением «правых» — Бухарина, Рыкова, Томского. В газетах все чаще появлялись письма «отходящих от оппозиции», особенно сильное впечатление произвело письмо Преображенского, Радека, Смилги — все трое были весьма уважаемые лидеры, давние друзья Троцкого. В начале июня за городом состоялось тайное собрание. Связные на платформе встречали участников и провожали их, минуя толпы воскресных гуляющих, в дальний укромный лесок. Приехавший из Москвы «товарищ Александр» делал доклад о «текущем моменте и задачах ленинской оппозиции». Он говорил, что ЦК фактически принял ту программу индустриализации, которую предлагали оппозиционеры, объяснял смысл дискуссии между «Экономической газетой» и «Торгово-промышленной». Эта дискуссия предшествовала окончательному раз-

грому «правых», которых еще раньше разоблачили большевики-ленинцы. Теперь опасность нэповско-кулацкого перерождения можно считать устраненной. Сталин сам взорвал, так сказать, и социальную базу, и теоретические опоры своей узурпаторской власти. Однако сохраняется еще бюрократический аппарат, система зажима и прижима. Сталин и Молотов бесстыдно присваивают мысли, теоретические концепции и конкретные предложения Преображенского, Пятакова, Зиновьева, Каменева, Раковского, Залуцкого и других ленинцев...

Докладчику задавали вопросы, которые превращались в реплики и дискуссионные выступления. Я оказался в числе нескольких запальчивых «оппозиционеров против оппозиции». Мы доказывали, что раз теперь начинается такое огромное строительство, «правые» разоблачены, и с нэпом скоро покончат, значит, генеральная линия в основном правильна. Ради чего же вести подпольную работу, бороться против ЦК? Спорить о том, кто первый сказал, что кулак не может вращаться в социализм, кто чьи мысли присвоил? В сравнении с великими задачами это уже мелкие дрязги. Вопрос о возможности построения социализма в одной стране, конечно, принципиальный, но сегодня второстепенный, так же, как вопросы расширения внутрипартийной демократии. Сейчас главное строить заводы, электростанции, укреплять Красную армию. Троцкий за границей пусть заботится о мировой революции, пусть там проявляет свои таланты пропагандиста и полководца, и это приведет его обратно в Коминтерн... А мы должны работать со всей партией, со всем рабочим классом, а не углублять раскол, не подрывать авторитет ЦК и советской власти...

Вскоре после этого вернулся из Верхнеуральского политизолятора Мара. Он «отошел» по заявлению Ивана Никитича Смирнова. То было наиболее сдержанно сформулированное отречение от оппозиционной деятельности.

Некоторых из тех, кто «отходил» по заявлению Преображенского, Радека, Смилги и других радикальных капитулянтов восстанавливали в партии и комсомоле. Присоединившихся к Смирно-

ву, — а были еще оттенки: — к первому или даже третьему варианту его письма, — просто отпускали из ссылки, из политизоляторов. Мара был беспартийным. Вернувшись, он устроился на работу в какой-то методкабинет по подготовке технических кадров. Он очень гордился своим четырехмесячным тюремным опытом, участием в голодовках, волынках и т. п.

Меня переубеждали газеты, разговоры со вчерашними подпольщиками, а больше всего Надя, которую я очень полюбил (год спустя, весной 1930 года, едва мне исполнилось восемнадцать, мы записались в загсе и стали жить вместе), и тем же летом я пошел в горком комсомола и подал заявление «об отходе от оппозиции».

Никто не встречал меня, ликуя и умиленно приветствуя возвращение блудного сына, хотя нечто подобное мерещилось, когда я сочинял длинное патетическое заявление. Председатель контрольной комиссии Волков — остролицый, поджарый парень в темной косоворотке — говорил деловито, бесстрастно.

— Так. Осознал, значит, что бузу трут товарищи? Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Так. И лучше сам, чем когда уже за шкуру взяли. Так. А теперь вот тебе лист бумаги. Пиши всех, кого там знал — всех, кто троцкисты, децисты, зиновьевцы-ленинградцы и тэдэ. Если кого не помнишь фамилии, пиши имя или кличку, кто, откуда, где встречал. Так. Что значит зачем?! Ты разоружаешься перед партией и ленинским каэсэм или только тень на плетень наводишь?! Так. Значит, садись пиши. Я тебя погонять не буду — вспоминай.

И я сел за его стол и составил довольно длинный список. Я хотел быть честным, я был убежден, что от партии, от комсомола ничего нельзя скрывать... Но все же я утаил с десяток имен и лиц и не включил в список никого из тех, кто еще ни разу не был арестован, кто не был исключен, не привлекался. О них я потом не говорил и самым близким друзьям и себе самому запретил вспоминать.

Тогда в кабинете Волкова за столом, накрытым заляпанной чернилами пористой розовой бумагой, под портретами Ленина, Дзержинского, Чубаря, Петровского, мне было неловко и потаенно стыд-

но, что я обманывал, скрывал. И все же я твердо решил не включать в список Таню А., Зину И., Киму Р., Зорю Б., Илью Б., Колю П. и других, всех, кого я сам же сагитировал за оппозицию и о ком знал, что теперь они думают по-иному, так же, как я, и не могут быть врагами партии; и, конечно же, никогда не станут вредить советской власти; я думал: если я назову хотя бы одно из этих имен, будет еще стыднее, будет нестерпимо... А если все же уличат, узнают, что скрыл? Тогда скажу, что забыл, что не придавал значения, что-нибудь придумаю... Но сейчас не напишу.

Волков просмотрел список. Делал пометки. О ком-то спросил, где работает? Или учится?

— Так. Никого не забыл? Точно? Значит хорошо. Значит в открытую разоружаешься перед партией. Так. А ты сам чего делаешь, учишься? Работает? Ну, биржа подростков это не дело. Ты ж не с села парубок, чтоб куда пошлют, лишь бы гроши и харчи хороши. Такой грамотный, что уже с оппозицией путался. Значит, твоя грамотность была нам вредной. Так. А теперь должен постараться, чтобы на пользу. Сейчас вся страна за ликбез взялась. Соцстройкам нужны грамотные кадры. Ты иди на свою биржу, скажи, что хочешь по линии ликбеза работать. Так. Нет, мы тебе никаких направлений не дадим, ты ж неорганизованный элемент. А совет даю. Иди сам. Они тебя пошлют, где требуются грамотные. Так. Покажешь себя на работе и подавай в комсомол. Но главное — работа. А то слова — хоть с трибуны, хоть на бумаге, пусть самые красивые, самые революционные — все равно только слова. Настоящая партийная, комсомольская проверка — дело. Так.

...С биржи направили меня на станцию Основа, в железнодорожное депо, и там я был назначен заведующим вечерней рабочей школы второй ступени, т. е. для малограмотных. Год спустя, в 1930 году, я уже работал в городе на паровозном заводе имени Коминтерна в редакции заводской многотиражки. За это время успел побывать в деревне в составе выездной редакции и агитбригады, помогал «социалистической перестройке сельского хозяйства». После неистового напора предписанной Сталиным сплошной

коллективизации он в нескольких статьях осудил «перегибщиков» и «шляп», свалил на низовых исполнителей ответственность за все расправы и насилие.

Этот циничный маневр многим из нас казался мудрой большевистской стратегией — ошибки исправляются, наказывают для примера «стрелочников», но авторитет партии остается незыблемым. Иначе и нельзя. Я подал заявление в комсомол и, разумеется, подробно рассказал о своих прошлых грехах — о «троцкистских связях». Эти грехи я не только не утаивал, а даже несколько преувеличивал — приятно в 18 лет считаться «человеком с прошлым». Был я недоучившимся электриком, плохоньким токарем, все еще писал стихи, и по-русски, и по-украински, но уже сознавал, что настоящим поэтом не бывать, не по силам, а от графоманского самоослепления, слава Богу, уберегло трезвое недоверие к себе. Едва начав работать заводским журналистом, я хотел казаться опытным политиком, преодолевшим серьезные колебания и сомнения и поэтому тем более основательно укрепившимся в убеждениях, тем более теоретически подкованным.

Но мои признания возбудили не столько уважение, сколько любопытство — скорее отчужденное — и насмешливые укоры. Секретарем заводского комитета комсомола был Костя Трусов — высокий, тонкий, как жердь. Девчата считали его очень красивым. У него был глуховатый голос и переменчивый румянец чахоточного. Он говорил:

— Ты здесь рассуждаешь так, что вроде даже мы должны держать тебя за очень заслуженного товарища, сколько ты книг и партийных документов проработал и как ты здорово там дискуссии разводил с троцкистами... Может, ты думаешь, что мы тебе за это должны спасибо сказать и комсомольский билет поднести на подносе с музыкой туш? Не считаешь? Ну что ж, но мы и за это тебе спасибо говорить не будем. А я вот думаю, что ты еще не все до конца осознал. Например, не чувствую, не слышу в твоих разговорах, чтоб ты понимал причины, вот именно главные причины, классовые корни всех тех твоих уклонов. Вот Пашка, он с твоего года, тоже семилетку кончил. Ты когда сочувствовал оппозиции, Пашка?

Вот слышишь, нет. Или Никола, он, правда, фэззу¹ кончал, но он даже постарше тебя будет, ты ведь с одиннадцатого? Ну так ты как на дискуссиях высказывался, за Троцкого или за Бухарина? Ага, ты больше за футбол интересовался... Ну вот видишь... А ты, Аня? Ты всегда, как цека? Доверяешь, значит, нашим вождам. Ну вот видишь — они рабочие ребята, с отцов-дедов пролетарская порода... Они только смеются со всех твоих колебаний-сомнений, уклонов-загибов. Понимаешь, какие пироги? Это называется здоровое классовое нутро. Хоть, может быть, или даже наверное, ты Ленина больше читал, да, вот видишь, не только Ленина, а еще и разных уклонистов — мелкобуржуазных, меныпевицких, левых, правых, а одним словом сказать, не наших, не пролетарского корня трепачей... Понимаешь? Вот ты и подумай, и поварись в рабочем котле, иди на производство, к станку, а в газету пиши как рабкор. Покажи ударную работу. И тогда добро пожаловать в ряды комсомола.

Почти год я работал у станка и в редакции, днем работал токарем в ремонтном цеху, вечером и ночью писал заметки, редактировал, дежурил в типографии, мы все по очереди были и корректорами, и выпускающими. Потом наша многотиражка стала ежедневной, спать приходилось не больше трех-четырёх часов в сутки. Когда я стал действительным членом КСМ, меня назначили редактором особой многотиражки танкового цеха, которая издавалась ввиду секретности производства отдельными листовками. Оставив станок — так выше четвертого разряда и не поднялся, — я работал уже круглосуточно. Благо и типография была своя, там же, где и редакция, в бараке у цеха. Там мы спали на стопах бумажного «срыва». Домой я приходил хорошо если раза два в пятидневку. В наш редакционный кабинет, отгороженный фанерой от наборного и печатного цехов, в редкие тихие вечера заходил уполномоченный ГПУ по заводу Александров — старый чекист, серьезный, но свойский, казавшийся нам сурово-добродушным, настоящим большевиком.

¹ Фабрично-заводское училище — ФЗУ.

Иногда он вызывал меня к себе в тихую длинную комнату в здании заводууправления. Вызывал и еще нескольких из нашей «большой» редакции. Павел Воробьев (это его ставил мне в пример секретарь комитета) был неумолимый заводила рабкоров, целыми днями пропадал в цехах, знал завод, как свою комнату, ненавидел трепачей, бездельников, как личных врагов, бывал беспощадно, зло насмешлив, любому начальнику резал в глаза самые неместные суждения. Паша умер от туберкулеза легких в 1932 году, знал, что умирает, но так же жадно читал газеты, радовался, что тракторный вышел из прорыва. Перед смертью он впервые заговорил с друзьями о своей матери-вдове.

— Вы ей когда-нибудь помогите, хлопцы, и не обижайтесь, что она у меня дура, в Бога верует, икону снять не позволила. Пускай ее, уже не перевоспитаешь, но ведь всю жизнь работала... Только не давайте мне на могилу крест ставить, я сам уж ей объяснил. Я же коммунист.

Володя И., недавний сварщик и деятельный рабкор, был тугодум, не слишком грамотен, но добросовестен, исполнитель — ты мне рас-толкуй как следует, что, зачем, к чему — и упрям до исступления.

Тигран М., вспыльчивый, мечтательный, страстный почитатель женщин — понимаешь, всех люблю, никак не могу жениться, сегодня хочу эту, завтра ту, все прэлестны, одна тем, другая этим. Он был обидчивый, но добродушный. Он раньше был рабкором в сталелитейном, считался хорошим формовщиком. После тяжелой травмы перешел в редакцию, стал моим замом. Мы то по одному, то «всея шатией» ходили к Александрову. Он поручал нам изучать настроение в цехах, выявлять кулацкую пропаганду, троцкистские и бухаринские «отрыжки». Он очень одобрял мои статьи в заводской газете, когда я разоблачал троцкистскую «контрабанду» в учебных программах ОЗУ или высмеивал демагогические выступления бузотеров, сомневающих во встречных планах, мешавших подписке на заем, и т. д. Но иногда он советовал: «Ты все же таких статей своей фамилией не подписывай. У нас тут есть разные элементы.

Некоторые могли бы попробовать с тобой связь установить, а ты их отпугиваешь».

Несколько раз я писал ему обзоры наблюдений по заводу, а потом и по университету (в 1933–1934 годах я совмещал работу с занятиями на философском факультете). Иногда даже сам пытался обобщать факты. Я был убежден, что троцкистского подполья уже не существует, что остались только отдельные следы настроений. Охотнее всего я рассказывал о тех бывших сторонниках разных оппозиций, а также бывших анархистах, махновцах и даже черносотенцах — членах Союза Михаила Архангела (были и такие у нас среди старых мастеров), которые стали искренними энтузиастами пятилетки. Это понятие тогда было ходовым. И примеров таких находилось немало. О тех бывших уклонистах, кто допускал рецидивы, как, например, бригадир сборщиков дизелей, отказавшийся брать повышенное обязательство, высмеивавший призывы к соцсоревнованию, или инженер-хохмач и «пределычик», потешавшийся над рабкорами, а также о тех «иноспецах» — техниках и инженерах из Германии, которые иногда по-хамски высокомерно отзывались о нашей жизни, о нашем стиле работы, я прежде всего говорил вслух на собраниях и в газете писал еще до того, как удавалось включить в обзор для Александра. Так же поступали Пашка, Тигран и Володя и самый старший из нас Илья Фрид, бывший член партии с 1918 года, бывший оппозиционер. Серьезный, рассудительный и вместе с тем наивно-добродушный, бескорыстный энтузиаст. Александр укорял нас:

— Неправильно вы действуете. Как в старину говорили: «Не поглядевши в святцы — бух в колокола». А теперь этот, которого вы продернули, перед вами будет скрытничать, на версту не подойдет. Нет, парни, надо вам изучать чекистскую тактику.

Эти поучения нисколько не коробили ни меня, ни моих товарищей. Звание чекиста представлялось нам достойным высочайшего уважения, а функции секретного сотрудника — сексота — были, конечно же, необходимы. Коварным врагам надо было противопоставлять свое умение хитрить, маневрировать, вести разведку

и контрразведку. В этом не могло быть ничего зазорного. Но для меня это оказалось более чем трудным, так сказать, по складу характера: увлекающийся, несдержанный, вспыльчивый, неспособный притворяться ни просто скрытничать перед друзьями — а их было немало, — я им рассказывал о встречах с Александровым и его помощником Маевским. Тот был более грамотным, вкрадчивым и любезным. Он куда настойчивее пытался внушать необходимость секретной тактики. Заводские уполномоченные ГПУ действовали разными средствами, были у них и настоящие сексоты, с которыми они встречались потаенно на особых квартирах. Но немало было и таких, как мы, более или менее открытых партийных и комсомольских активистов.

Когда зимой 1932–1933 года наша агитационно-редакционная бригада работала в подшефных районах, Миргородском и Староводолажском, на последних хлебозаготовках — тех самых, после которых начался голод, — с нами вместе жил, вместе ходил на собрания и на поиски закопанного хлеба уполномоченный ГПУ при полном обмундировании, с маузером в деревянной кобуре. И мы видели в нем товарища, помогали ему писать рапортчики, акты и донесения, из которых потом вырастали ордера на аресты «злостных недатчиков», постановления об административных высылках...

Вскоре после убийства Кирова в феврале 1935 года арестовали Мару, и он уже не вернулся. Его доконали в лагерях несколько лет спустя. Мы с ним давно не виделись, каждый был занят. Но уже через неделю после его ареста меня исключили из комсомола и из университета «за связь с родственником-троцкистом». Тогда я пошел к Александрову и с его помощью получил на заводе справку-характеристику: «...Не скрывал родственных связей и грубых политических ошибок, допущенных до вступления в комсомол... на заводе проявил себя... активно боролся против троцкизма и других видов вражеской идеологии». Месяц спустя бюро обкома комсомола отменило исключение, но все же вынесло выговор «за притупление бдительности». Так уж было положено, ведь двоюродного брата как-никак арестовали, а я даже не знал за что. В 1936 году в Мос-

кве меня опять исключили из комсомола в Институте иностранных языков, и уже только через полтора года в ЦК ВЛКСМ вернули комсомольский билет. За это время меня несколько раз вызывали через спецчасть института или непосредственно в райком, а потом и в горком, и там в дальних комнатах со мной разговаривали деловитые парни, прямо дававшие понять, что они работают не только в аппарате райкома или горкома, но причастны к более серьезным ведомствам. Они объясняли: классовая борьба сейчас обостряется как никогда. Разоблачено множество врагов народа, в самое сердце партии пролезли. И неизвестно сколько их еще затаилось, шпионят, вредительствуют, готовят диверсии. Сейчас бдительность необходима десятикратная. Доверять можно только с оглядкой, а проверять постоянно и строго.

Они давали мне проверочные задания: я должен был ходить в комитет эсперантистов — со школы я был членом союза эсперантистов, но потом остыл, а тут велели активизироваться, — установить, кто там бывает, какая получается иностранная почта. Иногда они требовали письменные характеристики некоторых преподавателей и студентов-иностранцев. В двух или трех случаях речь шла об уже арестованных. Писал я всегда объективно, все, что действительно знал. О Фрице Платтене, после того, что он уже был арестован, я писал только хорошее — внимательный, требовательный, но в то же время очень приветливый педагог, замечательный спортсмен; несколько раз увлекательно рассказывал, как ехал с Лениным из Швейцарии в plombированном вагоне. О Ленине всегда говорил с необычайной нежностью и восхищением. И о Труде Рихтер, о которой в институте было сообщено «шпионка гестапо», я мог написать только, что она была очень взыскательная и справедливая преподавательница стилистики, придирчивая, настойчивая, не спускавшая никому ошибок. Иногда очередной собеседник бывал недоволен:

— Вам бы в адвокаты идти. Видно, слишком доверчивый. А ведь если окажется, что расхваливали врага, это и на вас может пятно положить.

Но я был уверен, что долг комсомольца-патриота во всех случаях — правда, только правда. Сегодня я знаю и понимаю: правдивый донос — это все же донос. Сегодня я не вижу существенных нравственных различий между стукачом-фантастом и стукачом-реалистом. И мучительно стыдно вспоминать, все эти проверочные задания и мои самые сокровенные размышления о них тогда... «Но строк печальных не смываю...»

Ни райком, ни горком не подтверждали исключения, но и не восстанавливали. Дело кочевало из контрольных комиссий в канцелярии бюро, секретариаты, откладывалось, проверялось, переходило в следующую инстанцию. В начале 1938 года оно добралось до контрольной комиссии при ЦК ВЛКСМ, меня вызвали на заседание, и докладчик прочитал все ту же «александровскую» справку. В этот раз восстановили даже без выговора. Когда на фронте я подал заявление в партию, я рассказал обо всех перипетиях моего политического прошлого. И тогда тоже, видимо, что-то где-то проверяли. Подал заявление летом 42-го года, а приняли меня только в феврале 43-го.

Обо всем этом я говорил следователю. Подробно. обстоятельно. Благо, помнил почти все даты. В ЦК ВЛКСМ должна была сохраниться та харьковская справка.

Он слушал внимательно, записывал. Потом спросил:

— А все-таки чем же вас привлекали троцкисты?

Отвечал я на это уже на следующем допросе. Опять ночью, опять с головной болью и тошнотой...

Приложение 2

ДЕЛО МАРКА ПОЛЯКА

Найти архивно-уголовное дело Льва Копелева 1929 года в архивах не удалось — по-видимому, оно если и заводилось, то было уничтожено, т. к. Копелев пробыл под арестом всего 9 дней. А вот дела его двоюродного брата Марка Поляка 1929 и 1935 гг. хранятся в Харьковском областном архиве.

Марк Самойлович Поляк, 1905 г. рождения, был педагогом, политпросветработником. 7 марта 1929 г. он был арестован за «преступную деятельность, выразившуюся в том, что состоял членом антисоветской организации, печатал и распространял антисоветскую литературу, хранил у себя печатные станки, предназначавшиеся для печатанья на них антисоветских материалов». Приговорен по статье 54-10 УК УССР к заключению в политизолятор на три года. Освобожден досрочно 14 сентября 1929 году в связи с заявлением об отходе от оппозиции².

7 февраля 1935 года его вновь арестовали — «за контрреволюционную троцкистскую деятельность».

Из протокола допроса М. Поляка от 13 февраля 1935 года³:

«считаю необходимым указать, что во время своей подпольной контрреволюционной деятельности я вовлек в свою работу своего

² Харьковский областной архив, фонд № Р6452, опись № 1, дело № 5527.

³ Там же, фонд № Р6452, опись № 6, дело № 780.

родственника Копелева Леву. Он в настоящее время комсомолец, учится в Харьковском университете на философском факультете. Ни с кем после возвращения из политизолятора я не вел бесед троцкистского характера, ибо я твердо стою на том, что единственно верной является линия ВКП(б)».

Из протокола допроса М. Поляка от 21 февраля 1935 года:

Вопрос: Признаете ли Вы, что предъявленную Вам, изъятую у троцкиста Копелева Л. Платформу троцкистов Вы давали ему на хранение? По каким причинам Вы это делали?

Ответ: Я Копелеву ничего на хранение не давал и к предъявленной мне платформе троцкистов никакого отношения не имею. Меня поражает факт нахождения у Копелева платформы, ибо я считаю, что Копелев хороший комсомолец и троцкистом не является. Рассматриваю факт наличия у него платформы как мальчишество с его стороны.

Вопрос: Что Вы еще хотите добавить?

Ответ: Хочу добавить, что я лично считаю факт хранения у Копелева платформы троцкистов мальчишеским непониманием того, что нельзя у себя держать таких материалов.

Из протокола допроса М. Поляка от 21 марта 1935 года:

Вопрос: Признаете ли факт переписки с рядом троцкистов, проживавших вне Харькова и встречи с троцкистами в Харькове до последнего времени — Куперимидт, Зевин, Копелев, Файгенбойм.

Ответ: ...Копелева видел часто.

По-видимому, чекисты хотели обмануть Марка Поляка, говоря о Платформе троцкистов, а тот старался выгородить брата, ограждать его от репрессий.

Согласно архивно-криминальному делу⁴ Марк Поляк был приговорен 28 сентября 1935 года Особым Совещанием 3 годам исправтрудлагерей, в 1938 году — еще к 5 годам лагерей с запретом переписки. В сентябре 1946 г. семье сообщили, что Марк По-

⁴ Харьковский областной архив, фонд № Р6452, опись № 6, дело № 780.

ляк умер 7 декабря 1944 г. 39 лет от роду. Стараниями матери, Полины Борисовны Поляк, он был реабилитирован в 1959 году⁵.

На самом же деле Марк Самойлович Поляк был расстрелян под Медвежьегорском в период 27 октября — 4 ноября 1937 года в Соловецком этапе вместе с Лесем Курбасом, Мыколою Зеровым, Антоном, Богдатом и Остапом Крушельницкими, Марком Воронным и многими другими известными деятелями литературы и искусства⁶.

Евгений Захаров

⁵ Там же, фонд № Р6452, опись № 6, дело № 780.

⁶ Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. — Київ: Сфера, 1997. — С. 43.

ДЕЛО О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ ГРУППЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ХАРЬКОВСКИЙ ТЕПЛОВОЗНИК»⁷

Не менее опасным для Льва Копелева было дело о троцкистах, работавших в редакции газеты «Харьковский паровозник» — Фриде, Рабижановиче (в книге «И сотворил себе кумира» он ошибочно назван Рубижановичем), Раеве и Вернере Всюду в деле, где встречается фамилия «Копелев», он назван троцкистом.

Илья Соломонович Фрид, 1900 г. рождения, работал зав. отделом в редакции газеты «Харьковский паровозник». В 1929 г. был под следствием в Одесском ГПУ и выслан за троцкистскую деятельность по статье 54-11. 5 февраля 1935 г. арестован, обвинен по статьям 54-10, 54-11, 54-2 в том, что «состоял членом контрреволюционной троцкистской организации и проводил антисоветскую работу». Рабижанович Давид Львович 1913 г. рождения и Раев Лев Борисович, 1914 г. рождения, работавшие в той же газете, арестованы 14 февраля. Обоим предъявили одинаковое обвинение по статьям 54-10 и 54-11: «организационно связан с контрреволюционной троцкистской группой, проводил антисоветскую работу, оказывал материальную помощь троцкистам».

⁷ Харьковский областной архив, фонд № Р6452, опись № 4, дело № 1947. Все данные и цитаты в Приложении 3 взяты из этого архивно-уголовного дела.

Из протокола допроса И. Фрида от 17 февраля 1935 года:

Вопрос: С кем из троцкистов встречались и беседовали за время работы на ХПЗ, содержание, характер бесед?

Ответ: Встречался с Копелевым Львом Зиновьевичем, работавшим в редакции, во время его работы и по службе и на дому. После ухода Копелева из редакции встречался с ним несколько реже. Он у меня бывал редко, а я ходил к нему чаще. Беседовал с ним на работе, по политическим вопросам, по вопросам текущей политики и политических событий. Каких-либо антипартийных установок в наших беседах не было.

Из протокола допроса Д. Рабижановича от 15 февраля 1935 года:

Вопрос: Кого еще из троцкистов знали, каким образом, через кого?

Ответ: В начале своей работы в редакции газеты «Харьковский паровозник» я работал в поисковом отделе. Заведывал этим отделом Копелев Лева, о котором мне известно, что он был троцкистом и арестовывался не помню точно в каком году. С Копелевым я дружил до последнего времени, мы вместе бывали у Фрида. Троцкистских настроений со стороны Копелева я не замечал. Фрид у Копелева часто бывал, ел у него и был с ним близок.

Из протокола допроса Д. Рабижановича от 26 февраля 1935 года:

Вопрос: Каким образом, через кого устроилась на работу в редакцию газеты «Харьковский паровозник» группа троцкистов, кто им в этом содействовал?

Ответ: Копелев попал на работу в редакцию через редактора Менахина, который выдвинул Копелева из цеха. Менахин о троцкистском прошлом Копелева знал.

Вопрос: Каковы были отношения Менахина к указанной группе троцкистов?

Ответ: Отношения Менахина к Вернеру, Фриду и Копелеву были очень хорошими. Несколько испортились отношения с Копелевым к концу работы Менахина в редакции – на личной почве.

Вопрос: Что Вам известно о контрреволюционных троцкистских настроениях перечисленных лиц?

Ответ: У Фрида и Копелева я никогда не замечал каких-либо анти-советских мнений или троцкистских установок в каком-либо вопросе.

Вопрос: Знали ли Вы о голодовке, объявленной Фридом?

Ответ: О своей голодовке Фрид сообщил мне, когда я у него был, причем показал мне свое заявление в ЦКК при ЦК ВКП(б). Я отговаривал Фрида от голодовки, но он убедил меня в том, что голодовка эта не несет формы демонстрации. Об этом я рассказал Копелеву и просил его поехать со мной к Фриду и доказать ему ненужность голодовки. Копелев со мной поехал, и мы снова уговаривали прекратить голодовку, но он нас не послушал.

Вопрос: В чем Вы признаете свою вину?

Ответ: Признаю свою вину в том, что работал долгое время в редакции вместе с троцкистами, не возбуждал вопроса об очистке редакции от них. Не замечал протаскивания троцкизма Вернером в его статьях. Находился в личной дружбе с троцкистами Копелевым и Фридом. Оказывал материальную помощь троцкисту Фриду после снятия его с работы в редакции. Контрреволюционных троцкистских бесед ни с кем не вел и троцкистской литературы не читал.

Из протокола допроса Л. Раева от 26 февраля 1935 года:

Вопрос: Что можете добавить к своим показаниям о знакомстве и связях с троцкистами?

Ответ: Упустил при первом допросе сообщить, что я знал также бывшего троцкиста, ныне члена ЛКСМУ Копелева Льва, также работавшего в редакции газеты «Харьковский паровозник».

Вопрос: Каким образом в редакцию газеты попали работать известные Вам троцкисты Фрид, Вернер, Копелев, Красный?

Ответ: ...Не знаю, как устроились на работу Копелев и Красный.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

по следделу № 7420 по обвинению Фрида Ильи Соломоновича, Вернера Александра Марковича, Рабижановича Давида Львовича и Раева Льва Борисовича по ст. ст. 54-10, 54-11, 54-2

Секретно-политическим отделом Управления ГБ ХОУ НКВД ликвидирована на Харьковском паровозном заводе контрреволюционная троцкистская группа, в которую входили работники редакции газеты ХПЗ:

1. Фрид Илья Соломонович, 1900 г. рождения, в прошлом член одесского троцкистского центра, высылался органами ГПУ за активную троцкистскую деятельность;

2. Вернер Александр Маркович, 1905 г. рождения, в прошлом член Киевского комсомольского центра, также высылался органами ГПУ в 1928 г. за активную троцкистскую деятельность;

3. Рабижанович Давид Львович, 1913 г. рождения, бывший член ЛКСМУ, исключен в 1935 г. за связь с троцкистами Фридом и Вернером, чтение троцкистских материалов и оказание материальной помощи троцкистам;

4. Раев Лев Борисович, 1914 г. рождения, бывший член ЛКСМУ, исключенный из КСМ по тем же мотивам.

Деятельность этой контрреволюционной троцкистской группы заключалась в:

а) систематических встречах и обсуждении политики партии в явно контрреволюционном духе;

б) поддержании связи с одесскими троцкистами, через приезжающего в г. Харьков троцкиста Красного Иоганна Яковлевича и рядом местных троцкистов (Купершмидт, Копелев, Хедекель и др.)

.....

На основании материалов следствия:

1. Фрид Илья Соломонович, 1900 г. рождения, обвиняется в том, что...

в) вернувшись в 1932 г. в Харьков, возобновил троцкистские связи, встречался с троцкистами Копелевым, Вернером, Купершмидтом, Месонжником и Красным.

.....

ОСО при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР от 10 октября 1935 г. постановило заключить Фрида и Вернера в исправтрудлагерь на 3 года, Рабижановича — на 2 года сослать в Башкирию, Раева — на 3 года сослать в Татарию.

7 июля 1938 г. ОСО заключило Фрида в исправтруд лагерь еще на 5 лет, и он умер в лагере.

17 апреля 1937 г. ОСО заключило Рабижановича в исправтрудлагерь на 8 лет, а в 1951 г. постановлением ОСО Рабижанович был сослан в Красноярский край без указания срока ссылки. В 1954 г. он начал добиваться освобождения и реабилитации и добился этого в конце 1956 г. с третьей попытки. Как написал в своем протесте зам. генерального прокурора Кудрявцев, «из материалов дела видно, что обвинение Рабижановича является несостоятельным: знакомство Рабижановича с Фридом, выдвижение последнего по службе, оказание ему материальной помощи не образует состава преступления».

Лев Раев написал заявление о реабилитации в 1965 г., проживая тогда в г. Мирном Якутской АССР. В Заключении следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Харьковской области от 9 июня 1965 г. снова была повторена формулировка обвинительного заключения и прокурора, снова было сказано «встречался с троцкистами Копелевым, Вернером, Купершмидтом, Месонжником и Красным». Было возбуждено ходатайство об отмене решения ОСО от 10 октября 1935 года, и 9 июля 1965 г. дело было производством прекращено «за недоказанностью обвинения». Л. Б. Раев переехал жить в Ростов-на-Дону.

Представляется очевидным, что в 1935 году Лев Копелев чудом избежал ареста.

Евгений Захаров

СОДЕРЖАНИЕ

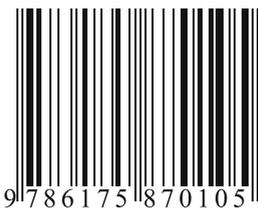
<i>Мария Орлова. Предисловие</i>	5
<i>Глава первая. Без царя, но еще с Богом</i>	11
<i>Глава вторая. Первая любовь и первая идеология</i>	32
<i>Глава третья. Потеря Бога</i>	55
<i>Глава четвертая. Между поцелуями и газетами</i>	88
<i>Глава пятая. Эсперанто</i>	113
<i>Глава шестая. В школе</i>	143
<i>Глава седьмая. У дверей литературы</i>	160
<i>Глава восьмая. Распутья, перепутья, бездорожья</i> . . .	198
<i>Глава девятая. Последние хлебозаготовки (1933)</i>	247
<i>Глава десятая. Конец юности</i>	312
<i>В конце столетия (Послесловие)</i>	344
<i>На крутых поворотах короткой дороги или некоторые события из жизни Василия Петрика (Повесть)</i>	353
Приложения	
<i>Приложение 1. «Хранить вечно», глава 17. Задолго до начала</i>	455
<i>Приложение 2. Дело Марка Поляка</i>	473
<i>Приложение 3. Дело о контрреволюционной троцкистской группе в редакции газеты «Харьковский тепловозник»</i>	476

Литературно-художественное издание

ЛЕВ КОПЕЛЕВ

И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА

ISBN 617-587-010-5



Ответственный за выпуск *Е.Е. Захаров*
Редакторы *Е.Е. Захаров, И.Ю. Раш*
Компьютерная верстка *О.А. Мирошниченко*

Подписано в печать 28.12.2010
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Minion Pro
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,1 Усл. кр.-отг. 29,3
Уч.-изд. л. 29,8. Тираж 1000 экз.

Харьковская правозащитная группа
61002, Харьков, а/я 10430
<http://khp.org>
<http://library.khp.org>

Издательство «Права людини»
61112, Харьков, ул. Р. Эйдемана, 10, кв. 37
Свидетельство Государственного комитета телевидения
и радиовещания Украины
серия ДК № 3065 от 19.12.2007 г.

Напечатано на оборудовании Харьковской правозащитной группы
61002, Харьков, ул. Иванова, 27, кв. 4